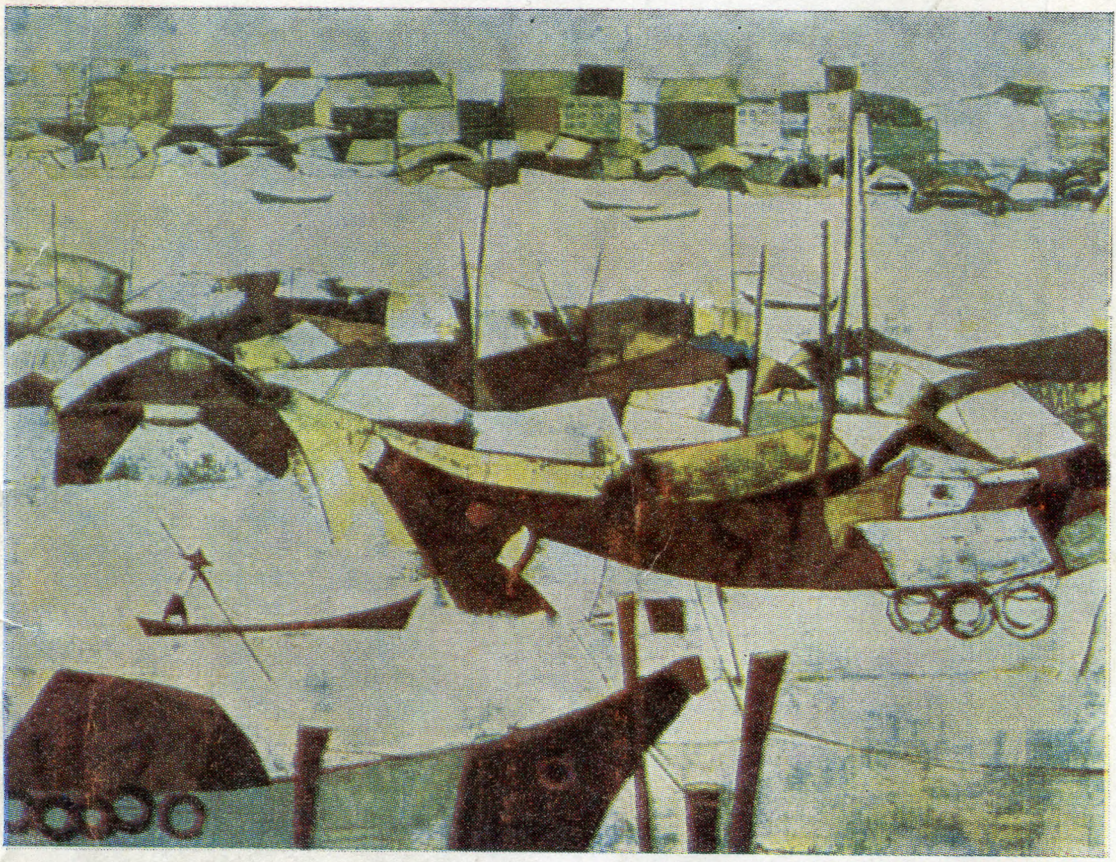
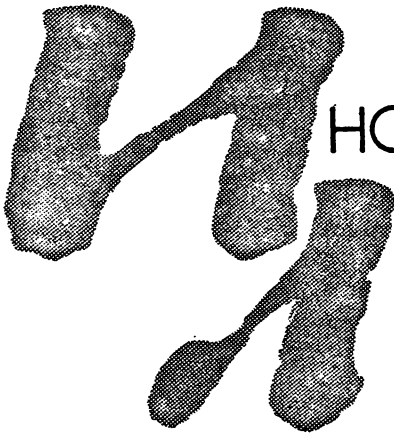
12.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1977

12

ДЕКАБРЬ

Содержание

АНДЖЕЙ БРАУН — Испытание огнем и водой *(Роман. Перевод с польского М. Игнатова и К. Старосельской)* 3

МИШЕЛЬ СУЛЕЙМАН — Стихи *(Перевод с арабского и вступление Михаила Курганцева)* 125

РОЖЕ ШАТОНЁ — Через самую высокую дверь *(Роман. Окончание. Перевод с французского Мориса Вакснахера)* 130

АНДРЕЙ ПЛАВКА — Полная чаша *(Окончание. Перевод со словацкого Н. Аросевой)* 172

Литературное наследие

ЭНДРЕ АДИ — Стихи К столетию со дня рождения. *(Перевод с венгерского Б. Дубина и Н. Горской. Вступление О. Россиянова)* 198

Критика

УОЛТЕР АЛЛЕН — Постскриптум к «Традиции и мечте» *(Перевод с английского И. Левидовой. Послесловие А. Мулярчика)* 208

Литература молодых: грани проблемы

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ — Новые имена в пенджабской поэзии *(Перевод с английского и вступление М. Салганик)* 220

Трибуна переводчика

ГРИГОР ЛЕНКОВ — Приближаясь к Пушкину 226

Культура и современность

Заметки на полях

А. Зверев — «Вверх по крутой дороге» 229

Публицистика

Во имя счастья человека (Зарубежные писатели о новой Конституции СССР)

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ — Форум культурного обмена 234

АНДРАШ АПОШТОЛ — Как измерить права человека? 235

Софийский дневник

Интервью, взятые Е. Стояновской у участников международной писательской встречи (В этом номере: Элтон Фэкс, Эрнешту Мануэл де Мелу-э-Каштру, Скотт Момадей, Отто Штайгер, Робер Андре, Элли Пеониду, Ана Мария Матуте, Уильям Сароян, Мариам Уоддингтон, Йозеф Рединг, Слав Христо Караславов) 238

Наши публикации

Письма советским писателям из-за рубежа (1923—1972) 254

Наши гости

Л. Завьялова — Мадлен Брон, Рубен Мелик (Франция) 267

Из месяца в месяц 269

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1977 год (№ 1—12) 281

Авторы этого номера 287

На обложке: картина художника ТАЙ БАК КОЯ «Река Сингапур»

© «Иностранная литература», 1977

АНДЖЕЙ БРАУН

Испытание огнем и водой

РОМАН

Перевод с польского М. ИГНАТОВА и К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Автор надеется, что искушенным читателям знакома природа романа, где все персонажи, фамилии и факты являются художественным вымыслом, а их совпадение с лицами или событиями подлинными может быть лишь кажущимся или случайным.

ЧАСТЬ I

Огонь

1

Уж если выкладывать начистоту, то я поехал туда, движимый недоверчивостью. Это моя врожденная черта. Кое-какие обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы она развилась у меня до пределов... Ну, скажем, вполне достаточных. А поводом для этого, то есть для поездки, послужили сообщения о пожаре на только что построенном танкере. Впрочем, откровенно говоря, все было куда сложнее.

Я уже давным-давно «болел» кинематографом. Раз-другой обращался ко мне режиссер Енджейчак, тот знаменитый Енджейчак, который снял «Перелом» и «Героев будней». Напишите, мол, сценарий, пан Тадеуш. Найдете какой-нибудь сюжет или проблему, позвоните мне. С комедией, дескать, трудновато, а вот бы современную драму... Должен сказать, что он попал в самую точку. Сценарий был моей давнишней, сокровенной мечтой, и мне польстило предложение режиссера. Что ни говори, это был Енджейчак, одно его имя в субтитрах сразу же настраивало на серьезный лад. Вероятно, ему не везло со сценариями, иначе чего бы ради он обращался именно ко мне? Мы были знакомы лишь постольку, поскольку оба столовались в «Бристоле» — там и кухня приличная, и обслуживают сравнительно быстро — да раза два вечером пропустили в баре по рюмочке водки. Я считал чудесным стечением обстоятельств его обращение ко мне именно тогда, когда и я помышлял о том же самом. Поэтому и просиживал часами за письменным столом, барабаня карандашом по бу-

маге. Увы, ничего не приходило в голову. Вот, например, несколько дней назад на моем столе снова задребезжал телефон, и я, не без смущения, услышал знакомый энергичный голос: «Говорит Енджейчак. Ну, что же вы не звоните?..» «Действительно,— робко подтвердил я,— не звоню. Видите ли... я в сущности не знаю, что такое драма... Разумеется, жизненная ситуация,— попытался я резонерствовать несколько выспренно и наукообразно.— Любой из нас в трудную минуту, сталкиваясь лицом к лицу с неприятностями в личной жизни или на работе, хочет быть на высоте... Но что это значит: быть на высоте? Что тут определяет — внешние факторы или исключительно совесть?..» В трубке послышалось нечто подобное покашливанию, и голос словно чуточку потеплел: «Я вас понимаю, но... дорогой мой, ради бога, поменьше философии. Здесь нужна не абстракция,— умоляю, поймите меня,— а кусочек жизни, что-то должно происходить!» Тут он меня окончательно обескуражил. Помнится, что в ответ на поток слов, хлынувших из телефонной трубки, я буркнул только: «Поищу...»

Итак, я упомянул о пожаре на «Карпатах» и о том, что поехал на Побережье, движимый недоверчивостью. Тогда, в начале шестидесятых годов, пожар, случившийся несколько месяцев назад, уже забывался, однако происшествие это чем-то меня тревожило. Подумать только: двадцать один человек погиб в огне, причем на таком показательном предприятии. Чем больше я размышлял об этом, тем более ужасался, не из-за количества жертв — собственно, на селе от пожаров тоже гибнет немало народа, не говоря уже о кораблекрушениях или катастрофах на шахтах. Я испытывал какой-то инстинктивный страх — это более точное определение, чем недоверчивость, хотя упомянутое выше чувство было связано с отсутствием доверия, ибо всегда испытываешь нечто подобное, когда случается беда, а ты недостаточно осведомлен. Я прочел тогда множество отчетов о катастрофе, нельзя сказать, что пресса ее замалчивала, но они изобиловали противоречиями. Репортерство меня испортило, приучило действовать бесцеремонно при сборе фактов и выявлении тех крупиц истины, которые удается выжать из очевидцев; несколько лет я занимался журналистикой и знал все теневые стороны этой профессии. Позднее, когда посвятил себя литературе, то есть писанию раздокументированной прозы, понял, что более широко понимаемые истины следует открывать самому в своих романах, но на стадии сбора материала все еще невольно прибегал к тем бесцеремонным, репортерским приемам. Вот и в этом деле как-то не мог разобраться: двадцать одна жертва, и неизвестно — было ли это неизбежно... Правильно ли вы меня понимаете? Если какое-то событие не является неизбежным либо кто-то не в силах его таковым изобразить, материал тянет не более чем на очерк.

Вы спросите: почему судоверфь и именно этот случай? Я не смог бы этого объяснить. Возможно, потому, что некогда, в первой своей книге, я описывал труд и подвижничество корабелов. Вероятно, отсюда у меня невольная неприязнь к словесам, которые слышатся ежедневно... Извините, я должен выключить радио, кто-то опять вещает в таком стиле. О, эти гладенькие общие места, словно обточенные водой камушки... Ну вот, теперь уже все в порядке.

Минутку... на чем же я остановился? С чего началось? С поездки на Побережье. Итак, в один прекрасный день я сел в ночной поезд. Ночные поезда — тоже моя причуда. Должно быть, это осталось с давних времен, когда длительные путешествия ассоциировались с ночью и вагоном. Я не признаю — впрочем, не я один — спальных вагонов и забываю о существовании дневных экспрессов. Только

мягкое купе первого класса и предвкушение многочасовой езды — словно увертюра, придающая остроту самому путешествию, да еще в темноте и, вдобавок, когда что-либо затеваю,— помогают мне психологически подготовиться и дать волю фантазии. А уж особенно в тех случаях, когда выезжаю за границу.

Итак, отбыл я около полуночи, весенней ненастной порой. Состав был почти пуст, в купе, кроме меня, никого. После нескольких чашек кофе сна не было ни в одном глазу и снедала меня какая-то подспудная тревога, как обычно, когда предстояло вникать в чужие дела — неприятные, неясные, гнетущие. Собственно, лучше было бы сидеть дома и выдумывать все от начала до конца, ибо тогда люди подчинялись бы мне, я руководил бы судьбами моих персонажей и моделировал их в соответствии со своими воззрениями на положение дел в этом мире. К сожалению, я всегда страдал острой недостаточностью фантазии и опасался, что мои выдуманные герои потерпят крах при любом соприкосновении с бурлящими где-то рядом подлинными событиями. Оглядка на действительность — мучительный комплекс, которым наградила меня журналистика. Поезд заносило на поворотах так, что, казалось, он вот-вот сойдет с рельсов, вагон был старый между прочим, я никогда еще не попадал в катастрофу. Но все же мне запомнилось, как яркие блики скользили по закопченному стеклу и ветер, врываясь в щель, трепал на окне занавеску, надувая ее, точно парус. Прихватив с собой кипу старых газет, извлеченных со склада «Руха» на Серебряной, я заново перечитывал некрологи. В черных рамках фигурировал длинный перечень имен, которые тогда ничего еще мне не говорили: Валясек, Дерковский, Рулка...

2

Некоторые из них отличались написанием в траурном списке, который я обнаружил уже изрядно потрепанным и слинявшим от дождей на стене у ворот судоверфи. Рядом красовалось какое-то другое, новое извещение, однако никто не осмеливался заклеить тот некролог. Когда я, наклонившись, дочитывал нижние строчки, вдруг пугающе резко взвизгнули покрышки, словно я штудировал газету посреди мостовой. Мне едва удалось увернуться от бампера красной «симки». И до этого меня толкали, некролог висел почти у самых ворот судоверфи, но ведь я все-таки стоял не на проезжей части. У меня невольно вырвалось:

— Сумасшедший! В самом проходе... Спятил, что ли?

Сквозь мокрые и запотевшие стекла разглядеть водителя было невозможно. Я не запомнил бы этой детали и она испарилась бы у меня из головы, если бы не услышал странные комментарии по поводу этого эпизода. Именно эти комментарии и запечатлелись в памяти. День был в разгаре, вокруг сновали люди. Рабочие спешили на утреннюю смену, и я отчетливо слышал замечания такого рода: «мы его знаем», «что ему чья-то жизнь», недвусмысленные замечания, относящиеся к владельцу красной «симки». Я поглядывал на этих людей, сбитый с толку. Машина уже давно исчезла. Я снова принялся исследовать размокший некролог. И при этом видел, что проходившие в ворота рабочие косились на меня и на траурный плакат, являющийся предметом моего изучения. Никто не обращался ко мне, но было ясно, что они прекрасно понимают друг друга. По их взглядам можно было догадаться, что люди принимают меня по крайней мере за кого-то из прокуратуры или иных «соответствующих инстанций».

Я прослонялся по судоверфи несколько часов. Давненько не доводилось мне посещать промышленные предприятия, но не стану

делиться своими впечатлениями и описывать тамошнюю обстановку, ибо ныне это уже считается дурным тоном, производственные страсти давно вышли из моды, и я могу кое-кому показаться смешным, как диктор телевизионных новостей. К тому же, если говорить честно, не разбираюсь по-настоящему в технике. Скажу только, что, как и на любого профана, на меня, в силу контраста между собственной мизерностью и величием общего фона, прогулка эта произвела большое впечатление. Я проходил по заготовительным и сборочным цехам, где монтировались массивные секции кораблей. Всюду кипела работа с ее оглушительным шумовым сопровождением. Позади меня и над моей головой двигались по эстакадам огромные стапельные краны, полыхали и поблескивали холодные огни газовых резательных аппаратов. Я чувствовал себя букашкой, над которой скользили рокоча могучие лебедки, разверстые недра кораблей выставляли напоказ путаницу стальных креплений и энергетических систем. Я спрашивал бойцов охраны и попадавшихся навстречу сварщиков, где стоит танкер «Карпаты», они отвечали что-то, чего нельзя было разобрать, я видел только их жесты и шевелившиеся губы, ибо все тут заглушал лязг стальных панелей и завывание подъемников.

Наконец я попал на берег достроечного бассейна, где была пришвартована вереница уже спущенных на воду кораблей. Одни — багровые от сурика, точно освежеванные туши, еще недоукомплектованные, другие — казалось, вполне готовые к выходу в море. На них наводили окончательный лоск и завершали отделку внутренних помещений. И сразу же внимание мое привлек стоявший несколько на отшибе, у стенки достроечного бассейна, внушительных размеров танкер. Солнце, просвечивая сквозь грозовые облака, словно блуждающим лучом прожектора озаряло отдельные части корабля. На первый взгляд он казался полностью оснащенным: выглядел так, точно требовал по мелочам доводки или ремонта. Судя по внешнему виду, танкер лишь несколько поизносился, как будто он попал сюда после долгого и тяжелого плаванья. И вместе с тем было в нем нечто мертвенное. И только когда солнце сквозь брешь в облаках осветило его поярче, я разобрался, в чем дело. Вся средняя часть судна и корма пестрели огромными пятнами, местами облезла краска. Надстройки почернели от дыма, темные полосы сажи и окалины покрывали корпус нефтевоза, торчали листы прожженной и оплавившейся бортовой обшивки, секции разобранного палубного настила, изрезанные и проржавевшие. Широкие потеки мазута и следы окалины напоминали камуфляж военных лет. Свежие деревянные леса обрамляли пепелища. Этот местами закопченный остов при зыбком свете весеннего дня производил впечатление зловещего гроба. В этой части бассейна царила полнейшая тишина. Не чувствовалось никаких признаков ремонтных работ.

Я простоял довольно долго, обозревая остов нефтевоза «Карпаты». Наконец, заметил, что в двух шагах от меня, на краю пирса, сидит какой-то человек с удочкой в руках. Он ни разу не глянул на меня. Я остановился рядом с ним.

— Клюет? — спросил машинально.

Мужчина почти не повернул головы. Лицо, смуглое и заурядное, было хмурым и непроницаемым. Взгляд чуть вызывающий.

— А вы кто? — процедил он лениво.— Тоже рыбак или контролер? Желаете проверить разрешение на отлов и уплату взносов?

Я молча уселся подле него. Достал пачку сигарет «Кармен». Рыбак переложил удочку в другую руку и, повременив, взял сигарету. Я попробовал зажечь спичку, которая, как всегда, сломалась в пальцах и, вспыхнув, упала на землю. Я затоптал ее.

— Осторожнее с огнем,— сказал рабочий, холодно посмотрев мне в глаза. Я уловил в его голосе саркастическую нотку.

— Это он? — кивнул я на обгоревший остов.

— Вот именно.

Я неторопливо затянулся.

— Сколько там было человек?

Он поднял на меня голубоватые глаза.

— Вы не знаете? — проговорил с расстановкой.— Ведь все описывали в газетах.

— Видимо, не все,— буркнул я.

— Видимо, нет,— согласился он безразлично.— Но о чем можно было, написали.

Рабочий махнул удилищем, свернул леску и положил снасть рядом с собой. На леске не было ни крючка, ни наживки. Пожалуй, он делал вид, что рыбачит только ради того, чтобы посидеть здесь, на берегу бассейна. Я присмотрелся к нему внимательней.

— Так сколько же? — спросил я.— Двадцать один?

Он ответил голосом глухим и безжизненным:

— Двадцать один погиб на посту...— И забросил леску, не глядя на нее, просто так, для виду. И продолжал, как бы обращаясь к самому себе, словно меня и вовсе не было рядом: — Двадцать один... Впрочем, кому это было известно. Какое-то время считалось, что двадцать два. Никто точно не представлял, сколько народу занято на корабле или хотя бы только в машинном отделении. Поэтому во время спасательных работ, когда переписывали на бумажке тех, кто отрезан, вышло, что осталось там двадцать два человека. На следующий день выяснилось, что того, двадцать второго, вообще не было на верфи. Дружок отметился за него в табельной. Теперь может считать себя везучим...

— Был там у вас кто-нибудь? — осведомился я, когда он замолчал.— Знакомый? Приятель?..

Он снова уставился на меня своими голубоватыми глазами.

— Уважаемый... Чего хотите?

Я швырнул окурок в воду. Ответил неторопливо, но твердо:

— Чего хочу? Знать...

— Ну так знайте, — ответил он просто.— Этим двадцать вторым был я.

Позади нас неожиданно вырос боец охраны.

— Граждане,— кашлянул он,— здесь не разрешается...

Я потянулся за пропуском. Мой собеседник повернул голову.

— А мне тоже нельзя? — ехидно спросил он вполголоса.— Неужто, старина, и мне нельзя посидеть, поглядеть, что и я мог бы тут...

Боец охраны быстро вернул мне пропуск и словно бы чуточку сконфуженно закивал головой в знак согласия.

— Ладно, ладно, Виктор. Я тебе не мешаю. Хочешь, так сиди...

Мой собеседник забросил леску бездумным, машинальным движением.

— Скажите...— возобновил я беседу, подождав, пока удалится охранник.— Ведь вы это знаете: нельзя было их спасти?

— Можно, нельзя,— встрепенулся он, словно разозленный солнечной рябью, слепившей глаза.— О чем речь? Кому это известно — *можно* или *нельзя*. Тоже мне философ. Что я, господь бог, что ли? Разве их не спасли бы, если бы была возможность?

Я с минуту помолчал, раздумывая.

— Значит... не было никакого выхода?

— Было и не было,— отрезал рыбак.— Говорить-то легко. Наболтали больше, чем можно было сделать. Вы думаете,— покосился он на

меня,— что есть тут человек, который бы ответил на этот вопрос?

— Его-то и разыскиваю,— ответил я серьезно.

Он вскочил, рассерженный не на шутку. В его голосе и жестах почувствовалась какая-то взвинченность.

— Нет человека, который мог бы разобраться в таких делах! — крикнул рыбак.— Ведь как бывает... Могу я, допустим, пожелать, чтобы что-нибудь не обрушилось нам прямо на голову? Пожелать могу... А сделать что-то? Лишь столько, сколько в силах... Чуть-чуть. Свою крохотную толику... А кто тут вправе,— рыбак очертил рукой полукруг, охватывающий достроечный бассейн, корпуса кораблей, ажурные стрелы кранов и серебристую, ослепительную рябь на воде под пегим апрельским небом,— кто тут вправе,— повторил он,— сделать больше, чем ему позволено? Уважаемый, не будьте ребенком, любой из нас — только человек и живет среди людей. Ни у кого нет таких прав,— вдруг вздохнул он,— чтобы уничтожить половину судоверфи ради спасения одного из бедолаг...

— Значит, все-таки был выбор?

Мой собеседник неторопливо сматывал леску. Помолчав немного, видно, успокоился.

— Был риск,— буркнул он равнодушно,— на который никто в целом мире не захочет пойти.

Слова моего собеседника прозвучали немного загадочно. Мне не хотелось, чтобы наш разговор на этом и закончился.

— А как началось? — заговорил я, торопливо доставая сигареты.— С чего началось?

— Что? — спросил он, подымаясь с земли.

— Ну, пожар?

Рыбак смотрел на закопченный корпус «Карпат». Я тоже разглядывал темные отметины. И слышал его голос, раздававшийся рядом, ибо ему все же хотелось выговориться:

— ...Что ж я могу сказать? Не о чем тут особенно рассказывать... Задание, которое получили Валясек и Дерковский из ремонтной бригады, было проще простого. Бригадир Собецкий, надо думать, только и сказал Валясеку: «Отрежьте кусок трубы да приварите вентиль».

Слушая это повествование, будничное, сухое, вроде отчета на производственном совещании, я старался представить себе обстановку, сложившуюся здесь всего несколько месяцев назад. Палубу танкера, путаницу трубопроводов, разбросанные инструменты, обычный, при доделках, беспорядок. Возможно, самый разгар солнечного зимнего дня — подмораживает, пар валит изо рта. Изредка попадаются люди в касках, в теплых ватниках под комбинезонами. Где-то сзади на смутно вырисовывающихся лесах — снег. Валясек, если верить моему собеседнику, ответил: «Ладно. Мы подготовимся, а вы потом покажете, в каком месте резать...» Я пишу «возможно, самый разгар солнечного дня», отмечаю, что сказать это мог Валясек, ибо не слыхал его слов, слыхал лишь рассказ случайно уцелевшего коллеги сварщиков. Найдутся другие свидетели, думал я, внимая собеседнику, и картина наверняка осложнится, я буду располагать уже различными версиями. Сказанное мертвым — в общих чертах повторят живые. Поэтому я не привожу здесь дословно рассказ Виктора. На то я и писатель, чтобы воспроизводить все эти сцены наиболее впечатляющим образом. И если предпочитаю выражаться предположительно, сие отнюдь не означает, будто что-либо выдумываю. Я попросту пытаюсь изобразить одну из возможных сцен.

Итак, Валясек идет на корму. Время — 11. 00. Валясек подзывает своего подручного, Дерковского. Они собирают инструменты, горелки

для резания металла и шланги. Дерковский, предположительно, спрашивает: «Куда идем резать?» — а Валясек отвечает: «В машинное отделение. На площадку «А». Они медленно спускаются по железным ступенькам в это машинное отделение. Дерковский готовится к операции, подключает горелки к энергосети, осматривает указанную ему трубу. Электрическое освещение в этих стальных дебрях явно слабоватое. Это я в состоянии себе представить. Лампочка могла гореть где-то поблизости, у них над головами. Дерковский спускается ниже, приносит два вентиля, которые они должны вмонтировать в трубопровод. Валясек отправляется искать по другим помещениям бригадира Собецкого. Наконец, все трое встречаются на площадке. Собецкий тычет пальцем. «Вот этот кусок трубы,— говорит он,— возьмите, отрежьте и здесь вставьте вентиль. А другой вон там...» Дело несложное, бригадир показывает им это на месте. Валясек прикидывает на глазок предстоящую работу. Проверяет, куда тянется трубопровод. Говорит, если опять-таки верить моему собеседнику, Виктору: «Хорошо, приступаем» (или что-то подобное). «Но у этого трубопровода,— добавляет,— есть где-то еще вентили. Надо их перекрыть, чтобы не поступал мазут». Так он сказал, вне всякого сомнения. Собецкий на это: «Вентиль в трех метрах отсюда, у резервуара. Сейчас перекроем». Подходят к вентилю, и Валясек перекрывает его. Бригадир возвращается в свою конторку в каком-нибудь из корабельных отсеков, садится за стол и приступает к составлению акта об упразднении трех умывальников. А Валясек скользит взглядом по трубопроводу, от перекрытого вентиля вверх, на палубу. Мой собеседник, этот счастливчик Виктор, сказал дословно следующее:

— ...Валясек, вероятно, подумал еще, что этот вентиль имеет дистанционное управление и его можно открыть с палубы. Вы понимаете? Кто знает, не подумал ли он даже: «Вот бы я влип в историю, если б кто-нибудь открыл вентиль с палубы и хлынул бы мазут». На всякий случай он закрепил намертво тумблер дистанционного управления...

Немного погодя, в соответствии с повествованием Виктора, Валясек и Дерковский вырезали автогеном кусок трубы, вместо которого предполагалось поставить вентиль. Теперь (я мог это себе представить) Валясек, покончив с резкой, регулирует горелку для сваривания. И тут в машинном отделении внезапно гаснет свет. Оба удивленно поглядывают на лампочку, пламя горелки шипит... Этот огонь, пожалуй, достаточно ярок, чтобы они могли продолжать работу, вопреки временному затемнению. Дерковский, помогая Валясеку, поднимает вентиль и приставляет его «воротник» к отверстию в трубопроводе. Валясек подходит с пылающей горелкой...

Что случилось? На момент мысленно перенесемся в помещение силовой станции, вырабатывающей ток, которым освещается весь корабль. Оглушительно стучат поршни дизеля. Вахтенный механик Рулка, по словам моего собеседника, следит за работой агрегата. Ритмично работающий агрегат, как следует предполагать, вдруг давится и замирает. И тут же гаснет свет. Рулка, несомненно, включает карманный фонарик, осматривает приборы и видит, что агрегат остановился, поскольку по трубопроводу не поступает горючее. Так я себе представляю эту немую сцену. Рулка, по утверждению Виктора, выругался: «Черт побери, кто-то перекрыл подачу топлива...» Тумблер дистанционного управления на палубе заблокирован. И он кидается к перекрытому вентилю у резервуара. Допустим, светя фонариком, мчится на площадку «А» в машинном отделении. Ведь речь идет об этом самом вентиле. Предположительно, в спешке пробегает мимо обоих сварщиков, Валясека и Дерковского, возможно, даже споты-

кается о протянутый по полу шланг (это детали несущественные, ведь не все известно), однако, по всей вероятности, не замечает, что те двое, стоящие к нему спиной, держат привернутую горелку. Подлетает к вентилю. Действительно, перекрыт... А бригадир Собецкий между тем сидит за бумагами. Это точно установлено, утверждает Виктор. Время — 11. 15. Рулка, вероятно, с фонариком в зубах, хватает обеими руками вентиль, силится его открыть. Представим себе чуть дальше, в темноте, трубопровод с прорезанным, зияющим отверстием. А возле — огонек ацетиленовой горелки. И вот Рулка энергичным рывком открывает вентиль. Одновременно, почти в ту же секунду, во мраке машинного отделения вспыхивает ослепительное пламя. Валясек роняет горелку, пытается погасить на себе одежду. Разумеется, кричит Дерковскому: «Огнетушитель!» Дерковский, если бы мы это увидели, лихорадочно ищет, но ничего не находит и очертя голову бросается, как установлено, к аварийному выходу в туннеле гребного вала. Рулка стоит столбом, не понимая, что пожар начался оттого, что им собственноручно открыт вентиль. Не пытается его перекрыть и тоже бежит к аварийному выходу. А огонь ширится, питаемый потоками мазута, вытекающего из полного резервуара. Мы можем представить себе также, руководствуясь словами, которые скупо цедил мой собеседник, все, что творилось рядом, в машинном отделении. В огромном лабиринте бок о бок трудятся десятки рабочих. Вдруг гаснут лампочки, озадаченные люди ждут, пока включат аварийное освещение. Толкаются вслепую, чувствуя себя потерянными в этой ловушке, они, как и мой собеседник, с судоверфи, а не с корабля, и не знают планировки помещений. Внезапно вспыхнувший пожар вызывает повальную панику. Никто уже не пытается овладеть положением, крик, беготня, люди мечутся в темноте и разбивают себе головы о выступающие части машин. Несколько человек, топча друг друга, добираются до аварийного выхода в туннеле гребного вала. Остальные рассеиваются и пропадают в вентиляционной системе. Темную стальную ловушку заволакивает дым горящего мазута и чад. Рельефнее я этого не смогу обрисовать, в конце концов, мне никогда не приходилось попадать в подобный переплет. Сдержанное повествование моего собеседника было похлеще любых кинокадров.

Мы сидели молча, я и Виктор, озаряемые заходящим солнцем, на краю пирса. Рабочий помахивал удочкой, искоса поглядывая на воду.

— Так оно и было,— произнес он без прежнего ожесточения и словно бы умиротворенный тем, что выговорился.— Не верите? Я знаю наизусть, что в какую минуту случилось, все по порядку. Мне это сотни раз рассказывали те, которые выбрались. Могу описать любой момент так, словно там находился... Ведь я должен был там находиться...

Когда он поднялся и ушел не простившись, я запустил руку под полу плаща и выключил мой новенький японский магнитофон.

3

Я не сводил глаз с обитой клеенкой двери, сидя в приемной-секретариате генерального директора. Вернее, уже вставая со стула, ибо обитая дерматином дверь вдруг приоткрылась. Я был не один. В глубине комнаты, у стены, какой-то мужчина, очевидно, здешний, чувствовавший себя как дома, развалясь в кресле, курил сигарету и тоже поглядывал на ту же самую дверь. Я решил действовать нахрапом и не допустить, чтобы кто-то опередил меня, в конце концов, я дожи-

дался уже довольно долго. Дверь действительно отворилась, и из кабинета вышел мужчина, по виду, как мне тогда показалось, молодой инженер. Помню, что у него было жесткое, упрямое выражение лица. На мгновение черты его как бы смягчились при виде коллеги, дожидавшегося в кресле. Да, теперь я не сомневаюсь, что тот поджидал его. Это меня немного успокоило. Секретарша, сидевшая за столом, положила телефонную трубку и, улыбаясь, показала мне на дверь:

— Пожалуйста, пан директор теперь свободен.

Я вскочил, обрадованный; поравнявшись с инженером, который вышел из кабинета, заметил, что тот держит сигарету и свободной рукой ощупывает карманы в поисках спичек. Я машинально достал коробок. Чиркнул спичкой, которая, как обычно, сломалась. Вторая также. Наконец, третья вспыхнула. Мужчина затянулся. Поблагодарил кивком, не останавливая на мне взгляда и не обращая на меня внимания. Вид у него был крайне озабоченный и вместе с тем несколько надменный. Этот незначительный эпизод наверняка бы не запомнился, если бы не то обстоятельство, что даже в эти считанные секунды он показался мне личностью. Трудно определить, что я под этим подразумеваю. Этот человек был личностью, а следовательно, кем-то, резко выделявшимся на общем фоне, самоуглубленным, неповторимым. Поэтому я невольно чуть помедлил, прежде чем повернуть дверную ручку. Ведь он оставался позади, в приемной, которая для меня интереса не представляла. Держась за дверную ручку и стоя к нему вполоборота, я краем глаза видел, как мужчины обмениваются рукопожатием. Дожидавшийся в кресле говорил вышедшему: «Что с тобой творится, Стефан? Не вижу тебя, старина, не знаю, что с твоим делом...» Мужчина, который вышел от директора, достал из кармана какую-то бумагу и показал ему. Тот пробежал ее. «Значит, ты оправдан!» — воскликнул он и смущенно покосился скорее на секретаршу, чем на меня, ибо я, посторонний, был тут, пожалуй, не в счет. Сразу же понизил голос: «Видишь ли, старина...» — и они проследовали в коридор. Все это какую-то секунду занимало мое внимание, я был настырным и намеревался таковым оставаться, машинально оглянулся и, когда голоса их стихли, вошел в кабинет.

Эта беседа у меня тоже записана. Я пытался впоследствии ее обдумать. На пленке не запечатлены мои приветствия и не вполне соответствующие правде объяснения цели визита. Не слышно поскрипывания стула и стука отворяемого окна, приглушенного шума и гудков буксира, доносящихся со стороны достроечного бассейна. Но я вижу, как генеральный директор встает из-за стола в своем кабинете, более просторном, чем приемная-секретариат, как подает мне руку, усаживает меня, отворяет окно, чтобы проветрить помещение. Помню часть панорамы судостроительного завода за окном директорского кабинета. На пленке нет также моего вопроса, заданного не сразу:

— Пан директор, с этими «Карпатами» действительно была такая спешка?

Генеральный директор задумался. Закурил сигарету и принялся листать настольный календарь. Задержал руку на страничке полугодичной давности. Все еще не смотрел на меня. Обманным движением, якобы доставая очки из внутреннего кармана, я незаметно включил мой магнитофон. Тут не следовало полагаться на память.

Пленка зафиксировала слова директора:

— *Да. Была спешка. Пятнадцатого ноября мы должны были сдать «Карпаты» арматору. В тот день танкер был еще в лесах...*

Я пытаюсь теперь воссоздать описываемую им сцену.

Директор сидит на этом же самом месте. За длинным столом — участники ежедневного совещания, так называемой «оперативки». Ин-

женеры, мастера и бригадиры с наиболее ответственных участков. Были там, в числе других, инженеры: Цецвеж, Малецкий, а также и Стефан Роман, кстати, я долгое время путал имя с фамилией. Это был главный инженер — строитель нефтевозов типа В-70, а следовательно, типа «Карпат»... Были те, кого тут перечисляю, ибо директор называл их фамилии... Итак, совещание тянулось уже несколько часов. Табачный дым, разбросанные бумаги и записки, обычный рабочий беспорядок. Участники совещания — предположительно — поснимали пиджаки, расстегнули воротники рубашек и расслабили узлы галстуков. Директор подводит итоги (пленка):

— ...*«Итак,*— сказал я,— *во избежание недоразумений... повторяю: сегодня истекает официальный срок сдачи «Карпат» Польским океаническим линиям... А как мы выглядим?..»*

Гул голосов почти заглушает его слова.

— ...*Насколько мне помнится, эти мои предостережения не были восприняты излишне драматически Знаю точно, ибо слух у меня хороший. Я провожу сотни подобных совещаний и, хоть притворяюсь, будто бы занят чем-то другим, слышу даже то, что не должен слышать, различные замечания, которыми обмениваются присутствующие Я не беспокоюсь за свой авторитет, могу их вам повторить... Например, инженер Роман буркнул Малецкому: «О чем разговор? Ведь это его самого не волнует?» Инженер Малецкий сказал: «Насколько я знаю, договор с Линиями предусматривает возможность полуторамесячной отсрочки. Следовательно?..» Инженер Роман уточнил: «До тридцатого декабря. Лишь по истечении льготного срока нам грозят соответствующие санкции». Малецкий на это: «Все равно. Так или иначе надо торопиться...» Я решительно стукнул по столу: «Второго декабря «Карпаты» должны выйти на ходовые испытания. Инженер Роман,— спросил я,— вы это себе записали?» Инженер Роман заявил: «А если я скажу, что этот срок нереален?» Я рассмеялся: «Вы? Вы этого не скажете инженер. Я еще не слышал от вас подобных заявлений. Вы считаетесь человеком, для которого не существует преград и вещей невозможных... если поднатужиться».*

Он обладал талантом рассказчика. Я почти слышу, как все смеются встают, гремя стульями выпрямляют занемевшие спины, расправляют плечи Как инженер Роман собирает бумаги с чуть иронической улыбкой человека, чье самолюбие публично пощекотали. А может, это был какой-то намек, смысла которого я не улавливаю...

— И что было дальше? — спросил я директора.

Он полистал календарь, нашел страничку, датированную восьмым декабря Вот продолжение записи его рассказа:

— ...*На следующий день после возвращения с ходовых испытаний мы проводили очередную оперативку...*

И это легко было себе представить Тот же самый кабинет, только в день, который показывал календарь Ведущие инженеры — предположительно — также размещаются вдоль длинного стола. И наверняка царит такой же рабочий беспорядок. Но люди, как я полагаю, одеты уже несколько иначе. Частично в матросских робах На оконных стеклах — отблеск снега ведь уже декабрь... Директор уточнял (пленка):

— ...*«Итак, окончательно,— заявил я,— пятнадцатого мы должны сдать корабль армагору...» Инженер Роман сказал тогда, обращаясь в мою сторону: «Соблаговолил ли пан директор детально ознакомиться с нашей дефектной ведомостью? Представляете ли вы себе количество и разнообразие работ, которые необходимо за эту неделю выполнить?..— И добавил: — Если говорить всерьез». Видите, я точно передаю, какие кто занимал позиции, не пытаясь скрывать, кто что думал*

Инженер Роман отдавал себе отчет в уплотненности всех этих работ. Уплотненности, столь пагубной по своим последствиям...

Впоследствии я доискивался, что он хотел этим сказать. Но пока что послушаем дальше (пленка):

— ...«Инженер,— сказал я,— не будем больше возвращаться к исходной точке. Сами понимаете, что я могу вам ответить. Ну, ладно, действуйте по своему усмотрению. Берите людей столько, сколько их сможет работать на борту, не мешая друг другу. Что касается рабочей силы — даю вам зеленый свет...»

Они понимали, что такое аврал. Ведь это были опытные специалисты, наделенные чувством ответственности. Но что мне оставалось делать? Я слышал, как один мастер говорил другому: «Это не игрушки. Чем больше людей набьется на корабль, тем сложнее будет наладить работу. Кто за ними уследит?..» Кто-то, перегнувшись через стол, обращался к инженеру Роману: «Помните об аккумуляторах? Мы их сняли после рейса, поскольку барахлило аварийное освещение. Трудно будет работать. Из четырех силовых агрегатов действует только один...» Инженер рассеянно кивал головой. «Буду помнить,— говорил,— постепенно все уладим». Мастер тыкал пальцем в документ: «Прошу помнить о сто шестом пункте дефектной ведомости»... Совещание закончилось, и люди стали расходиться.

Я мог представить себе этот гомон и шарканье отодвигаемых стульев, людей, встающих из-за стола, которые разбиваются на группы и, оживленно споря, покидают кабинет директора. Его самого — как он, прощаясь с уходящими, одновременно прислушивается к их спорам, которые так хорошо и так точно запомнил. А голос его между тем звучал (пленка):

— ...Я помню, как тот самый бригадир, который обращался к инженеру, продолжал объяснять кому-то, тыкая пальцем в ведомость, которую держал в руках: «Этот дьявольский сто шестой пункт... Помните?.. Арматор потребовал реконструировать систему питания этой установки. Вовсе это не нужно, и мы оспаривали необходимость потрошить все заново. Но что поделаешь, заказчики заупрямились. «А это сложно, понимаете? — говорил бригадир.— Чтобы переоборудовать трубопровод, придется остановить силовой агрегат, то есть лишить корабль освещения. Поэтому необходима точная документация и четкий график, определяющий сроки, а также очередность выполнения отдельных работ. Понимаете,— говорил он,— одно мешает другому. Если не будет освещения, станет работа...» Кто-то ему отвечал: «Но ведь у инженера Романа имеется ведомость, он должен об этом помнить...» Я не вмешивался, ибо детали не мое дело — на это есть руководители работ, а я был тут лишь для того, чтобы их всех поголовно мобилизовать, а также координировать сроки. Уже уходя, я видел в коридоре строителя «Карпат», инженера Цецвежа, который стоял, окруженный людьми, и вопросительно поглядывал на инженера Романа. «Ну, как?» — услышал я его вопрос. Инженер Роман сухо повторил мои слова: «Корабль должен быть готов до пятнадцатого декабря». А озабоченный Цецвеж закивал головой...

Это было все. Тут я выключил магнитофон. Теперь, прослушивая запись, я задавался вопросом, действительно ли директор все это помнил. Особенно не нравилось мне, что отдельные мнения вкладывались им в уста конкретным людям, но с другой стороны, я не заметил, чтобы он старался представить себя в выгодном свете или кого-либо в чем-то намеренно обвинял. Впрочем, мои дальнейшие беседы подтвердили подлинность всех приведенных им высказываний.

Я встал, чтобы попрощаться, директор тоже подымался из-за стола. Напоследок я спросил его:

— Мог бы я поговорить с кем-нибудь из членов приемной комиссии — участников ходовых испытаний на «Карпатах»?

Директор минуту раздумывал.

— Инженер Малецкий был в приемной комиссии.

4

Он сидел еще в рабочей одежде, хотя видно было, что покончил с делами и собирается уходить. За окном гомонила очередная смена, что-то скрежетало, сигналили машины, но в его небольшой комнате было довольно тихо. В этот день весна заявила о себе, едва рассеялись тучи, и я увидал за стеклом, рядом, деревья, густо опушенные молодой листвой. Малецкий сидел как-то боком, словно я захватил его врасплох, когда он поворачивался спиной. Голова круглая, розовощекий, лысеющий. Я сразу же смекнул, что это тот же самый человек, который был вместе со мной в приемной генерального директора.

— Пожалуйста, чем могу служить?

— Не знаю,— сказал я,— предупредил ли вас директор...

— Разумеется,— перебил он.— Говорил мне, что вы журналист и прибыли неофициально. Тем приятнее с вами познакомиться. Не скрываю,— продолжал Малецкий с едва ощутимой иронией, которая была как бы оборотной стороной его любезности и от которой, видимо, он мог бы избавиться разве что в минуты сильного возбуждения,— не скрываю, что дорожу знакомством с такими людьми, как вы, хотя, правду сказать, трудновато мне с ними договориться, особенно если начинают писать о море и тружениках моря, кораблестроителях... Видите ли, люди, которые у нас пишут об этих проблемах... впрочем, не стану вам докучать, вы наверняка не дискутировать сюда пришли, а с каким-нибудь конкретным вопросом. Пожалуйста — официально или неофициально, мне безразлично. Мне уже, знаете, со столькими людьми пришлось разговаривать и столько давать объяснений, начиная с прокурора, что вы, надеюсь, понимаете... официально или неофициально, не представляет для меня никакой разницы. Но, знаете что,— он произнес это почти на одном дыхании,— у меня в столе есть коньяк, время не служебное... если не возражаете, нам будет сподручнее беседовать...

Он уже тянулся к ящику стола, чтобы достать бутылку и две рюмки, которые оглядел на свет. Манжеты снежной белизны, ржавый пушок на тыльной стороне ладоней. Золотой перстень, обручальное кольцо, часы. Не переставая говорить, Малецкий разливал коньяк.

— ...Тут столько проблем, что, как говорится, без бутылки не разберешься...

С трудом удалось мне вставить скромно: «Право... я не хотел бы...»

— Прошу без церемоний,— говорил он, не сводя с меня иронически-веселого взгляда.— Ведь мы беседуем неофициально. Глоток коньяка поможет вам сосредоточиться. Обострит восприятие. Я знаю, уважаемый, ведь чтобы писать... особенно о вещах, которых, извините, наверняка не знаете...

Это меня задело, я не сдержался:

— По части смерти не надо быть специалистом. А что касается судостроительных дел... Действительно, постольку-поскольку...

Мы отпили по глотку. Инженер Малецкий причмокнул.

— Недурственно, правда? — прикинул на глазок содержимое бутылки.— Для разговора вполне достаточно. Итак, вернемся к делу. Вы говорите, что не надо быть специалистом по части смерти. А по части

жизни — напротив... Пан корреспондент, я так буду вас называть, хоть и знаю, что вы не газетчик. Вас интересует пожар на «Карпатах»? Сенсация, не так ли? Но разве это актуально, уважаемый? Ведь этим уже занимаются соответствующие органы. Вы не узнаете больше, чем прокурор. Дело еще не закончено. Послушайте, для пользы следствия... Еще рюмочку?..

— Минутку, пан инженер,— попытался я перебить его,— извините, вы тоже несете ответственность?

Он: «Ответственность. Легко говорить об ответственности. Понимаете ли, в этом деле, собственно, я человек посторонний. Не возбуждалось... лично против меня не возбуждалось следствие. В силу своих служебных обязанностей я был только участником ходовых испытаний, как обычно, когда осуществляется эксплуатационная проверка корабля.— Малецкий умолк, внимательно поглядел на меня.— Это не значит, что после всего этого я чувствовал себя сносно... Но скажите, дорогой мой, что ж вас интересует? Упущения, технические причины? Ведь все это уже изучено, описано. Прокуратура располагает документами. Газеты писали... Если стоило и надо было об этом писать...»

Он перестал разыгрывать хорошее настроение. Ироническая улыбочка исчезла с его лица. Малецкий еще раз наполнил рюмки. Конечно, это был серьезный человек. Он казался немного возбужденным.

— Я понимаю... — сказал инженер,— трагедия, люди погибли. Но вы... что вы хотите доказать? Чего еще не знаете?

Что ж, если бы я знал наверняка, чего не знаю, то был бы счастлив. Это не так-то просто. Я решил не спешить.

— «Карпаты» вышли на ходовые испытания в надлежащем состоянии? — спросил я, словно не замечая его запальчивости.— Каково ваше мнение на этот счет?

— Нет,— буркнул Малецкий,— полно было недоделок. Мы запаздывали. Вероятно, генеральный директор говорил вам об этом. В машинном отделении не функционировала вентиляция, не действовала автоматическая противопожарная система, аварийное освещение работало только на вспомогательных аккумуляторах, не была закончена сборка подъемного устройства... Эти и другие недоделки создавали угрозу пожара даже во время рейса и особенно при их устранении... Мы установили все дефекты, ибо это по нашей части. И все было зафиксировано. Для этого и производятся испытания...

— Значит, все огрехи были известны уже во время ходовых испытаний.

— Ну и что? — встрепенулся он.— Представляете ли вы себе, как приходится работать в таком рейсе при испытаниях? Все надо проверять в кратчайшие сроки, в тяжелейших условиях, аналогичных эксплуатационным...

Я решил не играть с ним в прятки. Достал магнитофон и бережно поставил на стол. Малецкий не обратил на него особого внимания. Больше присматривался ко мне.

— Японский? — спросил.

— Да, и я его не скрываю. Просто... никогда не бывал в подобных рейсах. Расскажите подробнее, как они выглядят, эти испытания. Всего не запомнишь, попробую записать. Вы согласны? Ничего не имеете против?

— Если сумею достаточно цветисто врать... — Он говорил вполне серьезно.

Малецкий умел рассказывать. Прослушивая впоследствии запись, я видел все настолько рельефно, словно выходил в море вместе с корабелами. Впрочем, некогда я участвовал в ходовых испытаниях, хоть и на корабле иного типа, однако не счел необходимым признаваться

в этом Малецкому. Пусть рассказывает так, как будто я сухопутная крыса.

И он пытался изобразить мне картину шторма на Балтике поздней осенью... Хмурый, туманный день. Бескрайний простор серо-зеленого взбаламученного моря, а там, где падают тени от облаков, буровато-серого. Водяная пыль и пена клубятся вдоль бортов. На ходовом мостике люди в штормовках, робах или прорезиненных плащах. За мокрыми от дождя стеклами и по-над релингами на крыльях мостика, где вихрь срывает капюшоны, виднеется окутанный туманом нос корабля, разрезающий всклокоченное море при качке восемь баллов. На мостике инженеры: Малецкий, Цецвеж, Роман, офицеры из испытательной группы и техники с судоверфи. Штурман бросает команды вахтенному:

— Полный вперед!

Вахтенный автоматически повторяет: «Полный вперед...»

Переводит рукоятку машинного телеграфа. Инженеры спрашивают:

— Сколько оборотов?

По телефону идут переговоры с машинным отделением: «Восемьдесят в минуту».

— Какая скорость?

Проверяют на лаге.

— Курс норд-вест, триста.

Рулевой стоящий на деревянном возвышении, неподвижный как изваяние повторяет: «Курс норд-вест, триста...»

Нефтевоз делает разворот и становится лагом к волне. Теперь явственней ощущаются ее удары или пинки: бортовая качка нарастает. Чувствуешь эластичность конструкций, вибрацию длинного корпуса Волна всплескивает выше борта, заливает надстройки белой кипенью.

— Так держать!

— Есть так держать,— вторит рулевой, как эхо.

Малецкий протирает глаза: «Проверяйте радар!»

В рубке в кругах света от низко опущенных ламп, склонясь над столами лихорадочно работают люди Мечущаяся на экране радара светлая черточка вдруг рассыпается фосфорическими искрами и гаснет. В наушниках стон визг путаница звуков Штурман, принимая радиосигналы, прокладывает курс на карте. Передвигает циркуль и угольник вдоль нашпигованной цифрами извилистой береговой линии.

Инженеры Малецкий и Роман спускаются по шатким ступенькам во внутренние помещения корабля. Тут пахнет еще свежей краской, всюду голо и холодно полы не застланы. Открывают поочередно двери и люки используя секунды неподвижности, обходят пункты, где размещены измерительные приборы, фиксирующие наклоны судна, данные о его плавучести вибрации локальную температуру и влажность Техники следят за агрегатами, снимают показания контрольной аппаратуры и докладывают наверх. В желтоватом свете электрических лампочек мелькают бледные лица невыспавшихся людей сверкают их зубы, когда они силятся перекричать грохот, и глаза в багровых прожилках Все данные и замечания собираются для включения в протокол Так они обходят десятки этажей и лестниц, карабкаются, как гимнасты спотыкаются о ступеньки И вся эта беготня и хождение сопровождаются гулом машин и вибрацией, завыванием вихря и шумом моря. Инженеры утомлены, насторожены, взвинчены. Время от времени раздаются только краткие вопросы и столь же лаконичные ответы: «Какая вибрация?» — «В пределах нормы». Инженер Роман отдает распоряжение по телефону: «Прибавить обороты! Так держать». И спустя

минуту новая проверка: «Какая теперь?» — «Изменения незначительны». Цифровые данные скрупулезно записываются. Затем инженеры приступают к осмотру системы трубопроводов. Техники и члены приемной комиссии встречают их краткими рапортами. А те сквозь тесные люки протискиваются во внутренние помещения судна, проверяют работу осветительных устройств, санитарных коммуникаций, системы питания. Эта утомительная работа идет под аккомпанемент шума и грохота машин, гула действующих агрегатов, что неоднократно подчеркивалось Малецким и в чем я не имел оснований сомневаться. Инженер Роман, как старший по должности, перечислял для занесения в протокол замеченные дефекты. Короче — напряженная, сложная и необъятная работа по проверке тысяч мелких устройств и деталей.

Я представляю себе этот гул генератора и энергоустановки, питающей осветительную сеть. Инженер кричит механику: «Почему только один в работе? А те как?» — «Там не действует система подачи топлива. Не доходит горючее. При работе первого нарушается подача топлива остальным...» Оба стараются перекричать друг друга. Остукивают пальцами кабель и трубопроводы. Сопровождающий их мастер записывает, чертит схемы. На минуту поднимаются наверх по железным ступенькам, потом, при сильной качке, снова сходят вниз, в машинное отделение. В коридоре, где немного тише, совещаются: «Надо переделать эту систему питания».— «Есть другой выход. Это бы затянуло дело...» — «Представитель ПОЛ упрямо гнет свое. Не желает уступить...» — «Скажите ему, чтобы он... я сам с ним потолкую...» Они уже внизу, в машинном отделении. Там адски грохочут дизели, работающие на максимальных оборотах. Ежеминутно слышится позвякивание телеграфа. Механики регулируют обороты. Снова обход, очередные рапорты. Инженер Роман, жестикулируя, объясняет что-то, но ничего не слышно. Судя по всему, речь идет об электросварке. Малецкий протягивает руку, камера, движущаяся вслед за его рукой, задерживается на больших плакатах, которые строго запрещают курение и предупреждают о том, что огонь опасен. Камера... Не угодно ли — вот я уже и пишу сценарий, смотрю глазами объектива... Не рановато ли? Что я, собственно, знаю обо всем этом? Не более того, что рассказал Малецкий.

...Инженер кричит мастеру, записывающему результаты проверки: «Вентиляция не действует!» Теперь производят контрольные испытания аварийной осветительной системы. Свет гаснет, что-то не срабатывает. Раздаются возгласы. Кружки света от карманных фонариков скользят по проводке, по мертвым, темным лампочкам. Но было ли так на самом деле? Или мы во всем этом убеждаем себя теперь, зная дефекты, которые были обнаружены и могли привести к катастрофе?

Между тем заглянем снова на верхнюю палубу. Нефтевоз продолжает маневрировать. Толстобрюхие желатиновые волны захлестывают далекий нос и передние танки. Промокшие люди возятся с якорной лебедкой, проверяют вентили трубопроводов на палубе. Перекликаются мегафоны, изрыгающие распоряжения. Тяжкая, валящая с ног работа продолжается.

В офицерской кают-компании собираются техники и инженеры, тут все словно на бивуаке. Люди стаскивают с себя куртки и отсыревшие свитеры, некоторые сидят в одних рубашках, курят сигареты, вытирают полотенцами мокрые волосы и перепачканные смазкой руки. Делают записи и обмениваются своими соображениями. Кто-то кому-то растолковывает в сторонке: «Чего беспокоишься, Роман уладит. Если он обещал — железно. Это голова... увидишь. Вытянет вовремя...»

Малецкий умел рассказывать. Мне казалось, что он пишет роман.

Поэтому так иронизировал относительно сухопутных крыс... Но интересно: когда заговаривал о своем коллеге, инженере Романе, то повторял одно и то же. Я как будто слышал голос диктора. Неужели Малецкий хотел заранее защитить Романа от чего-то? Только от чего? Этого я решительно не представлял.

Спросил прямо: друзья ли они? «Да,— ответил Малецкий, допивая коньяк.— Вдобавок у Романа были семейные неприятности». И прочел мне лекцию о том, что человека следует рассматривать в реальной жизненной ситуации. Что даже при такой нагрузке они отнюдь не превращаются в роботов... К тому же у них бывают свои огорчения, а также свои неудачные дни...

...Вот офицерская каюта, занимаемая инженерами Малецким и Романом. Вечер. Освещение барахлит, едва мерцает лампочка под потолком. Оба инженера, вымотавшись за день, сидят за столиком. Уже умытые, стараются прийти в норму. Малецкий откупоривает бутылку пива.

— Возьми, промочи горло... — говорит он.

Роман берет бутылку, пьет, рассуждая между глотками:

— Черт побери, сколько еще всего осталось. Каким чудом мы закруглимся к пятнадцатому? Монтаж грузовой стрелы не закончен, вентиляция не действует. Теперь с этой системой питания... Понимаешь, сварщикам придется работать на загруженном танкере. Хорошенькое дело...

— Действительно ли он думал об этом? — перебил я Малецкого. Тот ответил (вот фрагмент записи):

— *...Помню это отлично, дорогой мой. Я ему ответил: «Главное, что завтра возвращаемся. У меня уже башка трещит. Не гожусь в моряки...» Я откупорил вторую бутылку пива и продолжал: «Когда подсчитают штрафы... полагаю, что премия нам улыбнется. Меня это не касается,— добавил я,— но ты...» Видите ли, мне хотелось малость подзадорить его и, как бы это сказать, мобилизовать в связи с этими сроками. Тут речь шла не о деньгах, но в конце концов... о них также. Может, это неделикатно и мне не следует об этом говорить... Но ведь вы и так узнаете. Будете ходить, выспрашивать... уж это как пить дать... и наболтают вам разное. (Минутная пауза, позвякивание стакана и бутылки.) Итак, я сказал нечто в таком духе: «Извини, что вмешиваюсь в чужие дела, Стефан. Скажи мне, как ты намереваешься устроить свою... ну, знаешь, жизнь. Где ты, собственно, обитаешь? Мне это безразлично, только, старина, я должен знать, что говорить. Видишь ли, твоя жена заходила к моей Анке. Плакала и жаловалась на какие-то беды. Как женщина женщине...» С минуту он смотрел на меня. Потом улыбнулся. «Где обитаю? Дома. Стало быть, она знает, говоришь...» Я сказал: «Ты не обижайся, Стефан. Вы оба наши друзья. Это всегда усложняет. Ты знаешь, что делаешь... Но ты прямо как ребенок... А как та?» «Переезжаю к ней,— буркнул.— Пожалуй, больше нельзя тянуть. Не бойся, справлюсь». Я сказал: «Ты, брат, хорош... Но, старина, не сердись. Я вынужден был... сказать тебе. Во имя мужской солидарности. Слезы на меня действуют». «На меня тоже,— признался Роман.— Так уж все перемешалось. Танкер, женщины, неприятности...» Он любил взваливать на себя... Впрочем, я собирался говорить не об этом...*

К этому фрагменту записи я возвращался потом несколько раз. Не знаю, чего ради он мне все это рассказывал. Неужели снова хотел уклониться от темы? Какое мое дело до шашней Малецкого или его приятеля...

Но инженер снова заговорил о рейсе. Туманное зимнее утро. Пасмурно. За волнорезом оловянное, постепенно стихающее море. Буксир,

отрывисто сигналя, подходит к «Карпатам», откуда летит бросательный конец. Танкер, возвращающийся с испытаний в открытом море, входит в Новый порт. На ходовом мостике офицеры отдают команды. Танкер под победоносное завывание сирены отбуксировывается по входному каналу в бассейн судоверфи. В офицерском салоне проверочная группа со своими записями. Идет совещание комиссии под председательством инженера Романа. С машинописной страницей в руках он громко перечисляет замеченные дефекты или недоделки, обращаясь поочередно к руководителям соответствующих работ. Строитель «Карпат», инженер Цецвеж, вдруг обращается к нему:

— Значит, пан инженер, мы не оформляем официального акта сдачи?

— К чему, дорогой мой? — пожимает плечами. Роман — Чтобы терять еще день? Ведь в три у нас оперативка. В данный момент нам достаточно этой дефектной ведомости. У нас имеется полный перечень... сейчас, минутку, согласно нумерации... семьсот двенадцать замеченных недоделок и дефектов... Из них сто семьдесят относятся к машинному отделению...

Инженер Цецвеж качает головой. Люди углубляются в бумаги. В стороне сотрудник комиссии стучит на пишущей машинке. Гул совещания звучит у меня в ушах, когда я включаю магнитофон. Кончается ролик...

Малецкий умолк с рюмкой в руке. Я тоже немного призадумался.

— Не следует ли из вашего рассказа,— спросил я, наконец, осторожно,— что инженер Роман нес особую ответственность за формальные просчеты?

Малецкий замер, отставил рюмку. Потом ответил, растягивая слова:

— Дорогой мой... Вы меня превратно поняли... Если занимаетесь поисками тех, кто несет ответственность, то ошиблись адресом. Вы доискиваетесь, кто более и кто менее ответствен? Если уж об этом зашла речь, то все мы в известной степени... Я только хотел показать вам, какова наша работа. Это необходимо знать... Видимо, не умею рассказывать...

Я молчал. Немного погодя он сухо произнес:

— Инженер Роман — выдающийся специалист. По своим индивидуальным качествам... Ну, попросту, он на голову выше других. Это все. Вам, писателю, это должно быть понятно... человеческая индивидуальность... Но ведь он не руководит устранением недостатков. («Следовательно, Роман не отвечает за этот участок. А за что? Ведь в чем-то ты его оправдываешь?) С формальной точки зрения ремонтом занимался скорее инженер Цецвеж... согласно данным, полученным во время испытаний.— Малецкий чуть поморщился.— Ну, выпьем еще по одной?

Я улыбнулся:

— Спасибо. Я уже пьян в стельку.

— Шутите. А знаете что? Следовало бы вам как-нибудь отправиться с нами в такой рейс, ну на испытания... Будет о чем писать.

5

Еще несколько ступенек и, наконец, площадка. Я пыхтел, как настоящий старик, взбираясь всего-навсего на четвертый этаж. Видимо, я был не в форме, если эта лестница так меня вымотала. Злоупотребление куревом или перепады давления здесь, на Побережье, вдруг превратили меня в астматическую клячу. Сказались долгие часы, про-

веденные в прокуратуре за изучением документов, я основательно выдохся, и это помогло мне уяснить всю тщетность моих недавних мытарств именно в тот момент, когда подымался к Цецвежу. На лестничной клетке раздавались крики детворы. Лицо, появившееся в дверях, открытых лишь наполовину, не отличалось привлекательностью, а скорее было суровым, замкнутым. Передо мной стоял тучный мужчина в очках. Из-за спины инженера Цецвежа выглядывал огромный пес, боксер, который сопел, словно передразнивал меня. Хозяин поправил очки.

— А, это вы. Ну, что ж, входите.

Он впустил меня в комнату, типичную для новых жилых домов. Она была загромождена подержанной мебелью, перевезенной сюда из прежнего жилья. Я стоял посреди комнаты, а боксер меня обнюхивал. Инженер Цецвеж затворил балконную дверь, из-за сквозняка, трепавшего занавеску.

Я сказал:

— Извините, что терзаю вас этим неприятным делом...

— Времени у меня достаточно,— ответил он сухо.— Пока не работаю. До суда.

В его тоне был какой-то вызов. Разумеется, он чувствовал себя виноватым. Я спросил:

— А когда состоится суд?

Он ответил немного спокойнее: «Кто его знает. Дело затягивается. Следствие закончено, готовится обвинительный акт. Но будем говорить откровенно: если вы намереваетесь писать, то ничего от меня не услышите. Судопроизводство продолжается. Я уже давал показания. Вы должны это понять».

Мы все еще стояли посреди комнаты. Цецвеж не предлагал садиться. Он — огромный, массивный, тучный, я — ниже его на голову.

— Поверьте мне,— заговорил я примирительно.— Я не газетчик. До вынесения судебного приговора писать не собираюсь. Мне хотелось бы когда-нибудь сделать по этим мотивам фильм или книгу. Сам еще не представляю, в чем тут суть... Но хотелось бы знать, как дошло до пожара. Ну и, понимаете ли... гибель людей... Мне все еще недостает подробностей. Последовательности и взаимозависимости фактов.

Он неуклюже задвигался, словно освобождая мне место в комнате. Только теперь я услышал:

— Присаживайтесь. Что вы хотите знать?

Я коротко спросил:

— Как было с этой переделкой вентиля?

Не оборачиваясь ко мне, он подошел к окну. Закрыл его, как бы обрубив гомон детворы. Воспользовавшись этим, я включил под полой пиджака магнитофон. И сманеврировал таким образом, чтобы оказаться как можно ближе к собеседнику.

— Было так,— начал инженер Цецвеж деловым тоном.— На следующий день после совещания в дирекции и уточнения фактов — вам известно, что устранить дефекты намечалось к пятнадцатому декабря,— собрали техническое совещание на танкере. Наряду с другими вопросами обсуждался сто шестой пункт дефектной ведомости.

Теперь я мог легко представить себе эту сцену. Рокот грузовых стрел и шипение горелок сварочных агрегатов. Тогдашнюю обстановку в кают-компании «Карпат», столь зримо обрисованную инженером Малецким. Сгрудившихся вокруг стола, заваленного чертежами, людей в спецодежде, среди них — инженеров Цецвежа и Романа. Цецвеж (запись):

— *...Я сказал тогда: «Пришлите конструктора, чтобы подготовил документацию переделки этого вентиля...» Инженер Роман ответил: «Я этим займусь». Взял папку и сошел с корабля.*

Я вижу его (хоть и не знаю, как он выглядит) на палубе под снегопадом (допустим: тогда шел снег...). На палубе суетятся люди, тянут кабели и подносят инструменты. Инженер Роман сворачивает к трапу... Открывает дверь конструкторского бюро, среди чертежных досок и столов находит инженера Порембского (эта фамилия уже была у меня где-то записана). И по всей вероятности, говорит ему (так следует из рассказа Цецвежа):

— Мое почтение, это я. Видите ли, нам еще надо доработать систему питания агрегатов.

Как следует предполагать, они склоняются над столом. Конструктор выслушивает объяснения Романа. Потом почесывает за ухом.

— Ну да,— говорит он.— Впрочем, минутку... Ведь от нас специально участвовал в испытаниях Велёх, чтобы потом заняться устранением дефектов. Где он?

Конструктор Порембский (как следует из сообщения Цецвежа) берет, естественно, трубку, вызывает какой-то отдел, «А-3» или что-то в этом роде, спрашивает: «Где Велёх? Да... И что?» Кладет трубку, затем обращается к инженеру Роману:

— Черт побери! Велёх сразу же по возвращении с испытаний... то есть позавчера... уехал в отпуск...

Роман, конечно, ругается: «Проклятье!»

А Порембский утешает его: «Ну ничего, что-нибудь придумаем.— Набирает номер.— Соедините меня с начальником сектора проектирования силовых установок. Матуля? (Это имя я обнаружил в протоколах.) Говорит Порембский. Послушай, у нас прокол. Велёх ушел в отпуск. Кто бы его мог заменить и принять заказ? Да, разработка конструктивного решения. Овчинский? Ему поручаете? Порядок. Давайте его... Это Порембский. Вы должны разработать конструктивное решение дополнительного вентиля в силовой системе на «Карпатах». Крайне срочно. Понимаете? Ну, ладно, порядок...»

Басовитый лай боксера все заглушил на пленке. Пес что-то почуял. Любопытная реакция. Неужели услыхал бесшумный аппарат, работавший под полой пиджака? Он лаял и кидался на меня. Я уже начал опасаться разоблачения. Но Цецвеж успокоил пса, который снова растянулся у его ног. Мы сидели друг против друга за столом.

— Вы говорили с Овчинским,— спросил хозяин,— или с мастером Собецким? Им было передано это задание, и они могли бы сообщить подробности, если вас интересует очередность фактов.

Я покачал головой:

— Побеседовать с ними я не имел возможности. Но в прокуратуре читал их показания Помню эти протоколы...

Действительно, я хранил их в памяти. Я просидел немало часов над папкой с машинописными страницами Надиктовал на пленку отдельные листы из просмотренных документов. Помню подчеркнутый заголовок: «Бригадир Собецкий», а также первые строки протокола его показаний:

«...*Овчинский пришел на танкер и участвовал в совещании...*»

Это совпадало с тем, что рассказывал Цецвеж. Он был на совещании рабочих и бригадиров. Вел это совещание. Конструктор судовых силовых установок Овчинский и бригадир Собецкий тоже присутствовали. Совещание подходило к концу. И тут Собецкий поднял руку и спросил, перекрывая всеобщий гомон:

— А как с трубопроводом?

— Овчинский подготовит чертеж,— пояснил Цецвеж.

Собецкий (как он показал на следствии) встал и вышел. Совещание закончилось. Овчинский в своих показаниях отметил, что вместе с инженером Цецвежем спустился в машинное отделение. В тесном проходе они при слабом освещении осматривали трубопровод. Причем Цецвеж «все показывал руками». Конструктор Овчинский поднялся на палубу и стал искать бригадира Собецкого. Останавливал встречных: «Не видали тут где-нибудь бригадира Собецкого?» — «Нет, не видали. Наверно, его здесь нет». Таковы были ответы. Овчинский, пожимая плечами, вернулся в конструкторское бюро. Подсел к столу и принялся вычерчивать часть какого-то двигателя, то есть взялся за работу, не относящуюся к тому заданию...

Надиктованный отрывок машинописного текста с показаниями гласил:

...Инженер Порембский также больше не интересовался этим вопросом, хотя ему было хорошо известно, что переоборудование трубопровода — дело сложное и опасное, ибо танки заполнены нефтью...

Далее, согласно этим показаниям, события развивались так:

Бригадир Собецкий входит в конструкторское бюро. Подходит к технологу. Подает ему руку.

— Вот тут мой треклятый синодик... — говорит, тыча пальцем в перечень работ, порученных его бригаде.— Подготовьте требования на материалы, и я заберу их к себе на склад.

— А у вас есть документация? — спрашивает технолог.

Собецкий озабоченно качает головой:

— Нет, только заказ.

Технолог вздыхает: ай-ай-ай... но садится и выписывает требования. Бригадир берет их, вскидывает два пальца к козырьку.

— Ступайте к шефу,— говорит технолог,— пусть он завизирует.

Бригадир Собецкий проходит в соседнюю комнату, где сидит начальник отдела (фамилии я не записал). Он чем-то занят. Бригадир подсовывает ему требования, тот на секунду подымает взгляд от стола и без звука накладывает визу. Собецкий молча выходит, отправляется на склад и грузит на тележку злосчастные вентили.

Далее, согласно документам следствия, конструктор Овчинский с бригадиром Собецким спустились в машинное отделение «Карпат», на площадку «А». Остановились на уже известном месте. Овчинский показал:

— Вот этот трубопровод. Здесь и здесь вмонтируйте вентили.

Собецкий спросил:

— Это все?

— Так точно,— ответил Овчинский и удалился в темный коридор.

Инженер Цецвеж глядел на меня неприязненно. Я опасался, что кончится пленка, и время от времени выключал магнитофон, неуклюже манипулируя руками. То доставал очки из внутреннего кармана, то снова их прятал. Видя настороженность хозяина, старался побыстрее отвлечь его:

— И никто не позаботился о противопожарных мерах? В таких условиях...

— Я соблюдал их, по возможности,— подхватил он с горечью.— Напоминал. Но там были десятки людей, за которыми не уследишь. И сотни недоделок. Ведь я говорил, что вентиляция не действовала, не было огнетушителей, маркировки аварийных выходов...

Внезапно он вскочил и принялся расхаживать от стола к окну, впервые я заметил, как этого слоноподобного человека трясет от ярости.

— За все, что делалось на этом корабле, отвечаю как строитель и руководитель работ я. В том числе и за состояние техники безопасности... Вы думаете, что я ничего от них не требовал? Но все впустую. Порядок — нечто вторичное, производное от общего уровня слаженности, организации дела. А тут во главу угла исключительно ставились сроки... Сколько раз я ходил туда, в машинное отделение на «Карпатах». В тесных промежутках между огромными дизелями — десятки людей. Вы думаете, под потолком не висел большой, заметный плакат: «Курение строго воспрещается»? Бригадир сварщиков равнодушно поглядывал на эту надпись. Он видел, что рядом группа маляров распрыскивающими аппаратами и кистями красит различные участки машинного отделения. На полу повсюду стояли банки с краской. В каждом углу — олифа... Несколько человек отмывало керосином пол. Валялись кучи ветоши, пропитанной легковоспламеняющимися красками, нефтью или смазочными веществами... Бригадир должен был видеть все это и с легким сердцем дал своим людям указание приступить к сварочным работам. В тот день я наведывался туда неоднократно. Помнится, обратился ко мне один из маляров. «Пан инженер,— говорит,— это безобразие, что сварщики работают рядом с нами. Если попадет искра...» Я сказал сварщику, орудовавшему по соседству. «Видите,— говорю,— тут красят. В непосредственной близости сваривать запрещено...» Он прервал работу. Но чуть подальше действовали другие, которые, вероятно, не расслышали моих слов. Я не мог хватать каждого за руку. Мне приходилось заниматься тысячью вопросов одновременно. Где-то в проходе я встретил бригадира Собецкого. Голова у меня была забита самыми разными проблемами. Разминувшись с ним, я даже обернулся. «Подготовьте мне,— сказал,— акт о списании раковин упраздненных умывальников». Кажется, он посмотрел на меня так, словно хотел что-то сказать. Но ничего не сказал...

Инженер Цецвеж умолк и стал ко мне спиной. Его массивная фигура, провожаемая заботливым, как мне казалось, взглядом боксера, загородила окно балкона. Да, я припомнил теперь эту историю с умывальниками. Среди нагромождения сведений и фактов, совпадающих во времени событий, излагавшихся хаотично, в отрыве друг от друга, один конкретный факт проскальзывал в нескольких рассказах, становясь стержневым и определяя какой-то временной отрезок. Я уже знал, что это случилось в одиннадцать часов. Знал результаты и последствия того, что произошло... Сварщик Валясек перекрывает вентиль у бака с горючим — часы в конторке Собецкого показывают пять минут двенадцатого — гаснет свет, все погружается в темноту — агрегат чихает и останавливается — механик Рулка вскакивает — открывает кран — струя солярки хлещет на пылающую горелку...

Но мне это ничего не давало. Тучный, неповоротливый человек сидел против меня и неловко протирал очки. Глаза у него были невидящие, беспомощные, нагие.

— Теперь вы уже все знаете,— сказал он.— Как, почему вспыхнул пожар на «Карпатах». Это вас интересовало?

Я нервно почесал скулу.

— Знаю,— ответил я неуверенно.— Знаю, как это произошло, так сказать, технически. Разумеется, я хотел это выяснить... в первую очередь. Но мне мало того,— усмехнулся я,— что представляю теперь, как и когда... Я не инспектор по технике безопасности. Это важно для прокурора, для судебного разбирательства. Видите ли, меня интересу-

ет нечто другое. Если уж случилась беда, несчастный случай... Человеческие жертвы, материальные потери... Если уж случилось... Меня интересует, можно ли было этих людей спасти? Уже в ходе борьбы с пожаром. Что было, то было. А потом...

Он поднял голову: «Не понимаю».

То-то и оно. Мы мыслим разными категориями, а потому и говорим на разных языках. Эти люди, технократы, замыкаются в кругу профессиональной проблематики, чтобы избежать проблем иного рода.

— Видите ли, пан инженер,— заговорил я глухо,— мой вопрос таков: все ли было сделано? Не знаю, можно ли с этим вопросом адресоваться к вам. Вы не руководили спасательными работами... Насколько мне известно. Но вы знали корабль как строитель. Знакомы с технической стороной дела. Скажу откровенно, я в некотором сомнении. Основываясь на том, что я услышал из разных уст, можно предположить, что где-то тут заколебались и пошли на попятную...

Инженер Цецвеж взглянул на меня испытующе.

— При создавшемся положении,— начал он,— а я обрисовал его без прикрас, поскольку не хочу перед вами оправдываться, в принципе было сделано все, что можно, для сокращения числа жертв...

— Что значит «в принципе»? — перебил я.

Мой собеседник помолчал с минуту, потом начал осторожно:

— Я говорю «в принципе», поскольку не был предпринят некий, невероятно рискованный шаг, который мог бы способствовать спасению значительного числа отрезанных огнем, но мог также во много раз увеличить количество жертв и материальные потери...

Тут меня проняло. Быстрее забилось мое репортерское сердце, как у гончей, почуявшей зверя.

Инженер встал и походил по комнате, недавнее невозмутимое спокойствие и даже неприязнь к незваному гостю как бы оставили его. Я заметил, что он снова оживился. Исполненный бдительности боксер сопровождал своего хозяина.

— Понимаете ли,— произнес Цецвеж, останавливаясь посреди комнаты,— шаг этот заключался в том, чтобы пробить отверстие в корпусе корабля и через него проникнуть в машинное отделение.— Он стоял и смотрел, понимаю ли я.— Против такого решения был только один аргумент. Видите ли, при сложившейся ситуации огонь, бушевавший главным образом глубоко в недрах корабля... поддерживался исключительно за счет кислорода, поступающего с воздухом сверху... Пробоина в корпусе — не говоря уже о том, что это привело бы к еще более серьезным разрушениям судна, которое мы как-никак хотели спасти,— так вот, отверстие в корпусе выполнило бы роль гигантского насоса, нагнетающего кислород. Возникла бы сильнейшая воздушная тяга — между тем, как вам известно, пожар гасят прежде всего путем прекращения доступа кислорода к очагу загорания,— и горение бы резко усилилось. Ведь следовало помнить о двух тысячах литров мазута, находившихся в баках машинного отделения «Карпат», в непосредственной близости от главного очага пожара... Резкое увеличение пламени могло бы немедленно вызвать взрыв мазута. И тогда... представьте себе все это, уважаемый... Тогда список жертв наверняка пополнился бы сотнями спасателей и судостроителей. А если бы получилась цепочка взрывов, то разнесло бы и корабль, и большую часть судоверфи... Пожар произошел в достроечном бассейне, где временно были пришвартованы «Карпаты». Совсем рядом находятся склады с сотнями тонн легковоспламеняющихся лаков и различных взрывчатых веществ... Нет, уважаемый...

Инженер снова присел к столу. Перестал жестикулировать.

— Было ли это неизбежно? — спросил я.

Цецвеж немного подумал.

— Разумеется,— сказал он тихо,— этого могло и не случиться. Но существовала вероятность подобного развития событий. При создавшемся положении, после бурной дискуссии и поневоле торопливого разбора обстановки — дело было во время пожара — не рискнули принять такого решения. Вы удивляетесь? — взглянул он на меня.— Я не удивляюсь. Трудно кого-либо в этом винить. Других способов спасения людей, хотя бы ценой всего корабля, стоившего сто шестьдесят миллионов злотых, не существовало. Скажу вам честно,— он наклонился ко мне, обдавая горячим дыханием, припахивающим валерианкой,— ибо я несу ответственность: не будь всех этих упущений по линии противопожарных мер и техники безопасности... со светом, знаете ли, аварийными выходами и прочим... люди, отрезанные в машинном отделении, спаслись бы сами.

Наступило минутное затишье. Я обдумывал то, что услышал. Боксер, доселе не проявлявший ко мне симпатии, вдруг подошел к моему стулу и сел, уставившись на меня грустными, умными глазами. Я невольно потрепал его за уши.

— Прошу вас,— начал я настойчиво.— Скажите еще одну вещь. Кто конкретно мог тогда принять то решение, о котором вы упомянули. Попросту меня интересует, был ли такой человек?

Инженер Цецвеж развел руками.

— Пожалуй, никто не мог. По-моему... это было слишком сложное решение. Для одного человека.— Он взглянул на меня так, словно я лишь секунду назад явился к нему со своими вопросами. В его глазах я уловил знакомое выражение: усталость и беспомощность, скрываемые снисходительной улыбкой. Ах, вы, писаки, несмышлеными...— Ведь вы знаете мир, жизнь, структуру человеческих отношений. Нет у нас аналогичных ситуаций, в которых можно было бы самовольно брать на себя такую ответственность. Мы живем, дорогой мой, не в пустыне... Столь огромное предприятие, как судостроительный завод, это, уважаемый, громоздкий, сложный механизм, здесь все взаимосвязано. Каждый человек в отдельности обязан действовать внутри четко отлаженного механизма в дозволенных ему рамках. Этого требует закон. Иначе, что ж — была бы анархия, а не социализм. Но я скажу вам,— он наклонился ко мне, как бы желая поделиться величайшим секретом,— может, поэтому возникают у нас ситуации, когда за всех в ответе все — коллективы, иерархии... когда возникают пределы свободного выбора. В нашем мире не каждый может принимать кардинальные решения...

Я присматривался к нему некоторое время с холодным любопытством. Вот фрукт. Однако мне хотелось добиться своего.

— Но был ли человек,— настаивал я,— который хотя бы на минуту оказался, как таковой, перед необходимостью выбора, о котором вы говорите? Человек, который бы тогда мог ощутить свою личную ответственность за то, что там гибнут люди, а он от чего-то отказался... Знаете ли, не потом, а тогда, когда еще колебались чаши весов и можно было попытаться повернуть дело так... или иначе. Когда эти люди еще были живы...

— Там, на месте? — спросил Цецвеж.— В начальной фазе пожара?.. Пожалуй, инженер Роман...

— Он руководил спасательными работами?

— Нет...— неуверенно возразил Цецвеж.— Но во всяком случае, был старшим по занимаемой должности среди тех, кто там оказался. До того, как прибыл директор...

Ролик у меня кончился.

— А если бы приказал, его бы послушались? — спросил я.

— Возможно...— замялся Цецвеж.— Не знаю. Он пользуется авторитетом. Но сомневаюсь,— он покачал головой, сплетая толстые натруженные пальцы.— Руководство пожарной охраны... люди компетентные. Они представляли, чем бы это грозило...

Я помолчал, раздумывая. То, что он сказал, многое проясняло в собранных мною сведениях.

— Инженер Роман...— повторил я.— Значит, все же был такой момент. И в этом его обвиняют...

Я встал:

— Благодарю вас.

Боксер вскочил словно бы с облегченьем, оживленно задергав обрубком хвоста. Обещаю, дружище, что больше не буду докучать твоему хозяину. Наконец я начинал кое-что понимать.

6

Я знал, какой получу ответ, когда снова, преодолев слабое сопротивление секретарши, очутился в том же самом кабинете с видом на большую часть судоверфи, лицом к лицу с директором, стоящим за своим столом в глубине этой огромной комнаты,— знал, откровенно говоря, но меня интересовали комментарии.

— Инженер Роман? — переспросил директор.— Но его уже нет на верфи.

— Арестован? Уволен? — наседал я.

— Нет,— возразил директор.— Сам ушел. Скверно себя чувствовал... — Тут некоторое колебание в голосе.— Чувствовал себя виноватым.

— Ага,— подхватил я.— А почему он, пан директор, чувствовал себя более виноватым, чем другие, если прокуратура прекратила следствие? Почему он чувствовал себя более виноватым, чем, например, вы?

Директор испытующе взглянул на меня.

— Любопытная постановка вопроса,— буркнул он.— Впрочем, как вам будет угодно.— Потом вышел из-за стола и жестом предложил мне сесть.— Надеюсь, вы понимаете, что кроме аспекта административного или правового, который определяет степень и характер нарушения трудовой дисциплины, существует еще чувство личной моральной ответственности... Существует то, что мы называем совестью. Впрочем, если придерживаться фактов, а только в этом плане я могу быть вам полезен, то я, например, чувствую себя виноватым за то, что было потом. Я не имел возможности почувствовать это в ходе... Не столкнулся с альтернативой... Короче говоря, попал на место катастрофы, когда все уже свершилось. Инженер Роман был там несколько раньше... был там в х о д е...

7

Сопот встретил меня зноем и той веселой, суетливой праздничностью, которая присуща курорту летом, в разгар сезона, и обретает смысл лишь в погожие, солнечные дни. Август в то лето был что надо, на небе ни облачка, и лишь венок из белых барашков парил, словно на привязи, над изумрудом холмов в глубине материка, а над морем голубел чистый небосклон в обрамленье туманной линии берега.

Сопот встретил меня обилием летних нарядов, загорелых плеч и лиц, разомлевших туристов и крикливых экскурсий. Встретил, ибо я отсутствовал почти четыре месяца. Неотложные дела отозвали меня в столицу, ничего не поделаешь — надо же зарабатывать на жизнь, я не мог себе позволить до бесконечности прохлаждаться на Побережье, тем более что никто мне за это не платил. Я получил какую-то премию, был избран в какие-то руководящие органы Союза писателей и, обремененный не слишком конкретным редакционным заданием написать о фестивале (что обеспечивало мне гостиницу и постоянный пропуск), вернулся к морю. Я был утомлен неустанным хождением по судоверфи, запутался в этой истории с катастрофой, мне ничего не давало многократное прослушивание магнитофонных записей. Однако я не переставал думать о пожаре на «Карпатах», хоть и не ощущал прежнего рвения. А Сопот и все Троймясто жили под знаком фестиваля. Людям требовалось такое Сан-Ремо в миниатюре или Канн — я не разбираюсь в этих нюансах,— все бредили Большой Европой. Мой друг, известный поэт, был приглашен в жюри фестиваля, и это, пожалуй, предопределило, что мы отправились в путь вместе.

Сопот встретил нас транспарантами, фестиваль был у всех на устах, звучали имена певцов и певиц. Горстка развязных идолов эстрады и их утонченных обожателей возвышалась над обыденностью толпы и местного населения, каким оно мне запомнилось в ненастные дни ранней весны. Уже шагая с вокзала по направлению к молу, мы ежеминутно встречали знакомые лица — актеров, эстрадников, манекенщиц, кинематографистов, однако в основном, по определению моего друга-поэта,— молодящихся «плейбоев» и «телезрителей». Не знаю, чем ему не угодили последние, но я понимал, что он имеет в виду мифотворцев и идолопоклонников с так называемыми скромными умственными способностями. Скромными или нет, однако популярность кумиров была абсолютной.

Уже на подступах к огромной глыбе «Гранд-отеля» нас атаковала, подсовывая блокноты, орава подростков и ловкачей — собирателей автографов. Они напирали, толкались и хоть бы кто извинился. Правда, в руках у нас были чемоданы, но без иноземных наклеек — и лишь спустя минуту я сообразил: мы оба в темных очках. Неужели этих атрибутов было достаточно?

Мой друг-поэт махнул свободной рукой: «Здравствуйте, пан Мачек!» — и тут я понял все. По круто поворачивающему тротуару, на фоне зелени, шествовал в одиночестве живой Мачек С., актер-символ, кумир молодежи. Я осознал нелепость своего удивления. Атмосфера не была выдуманной, явь переплеталась с фантастикой. Ведь на месте любого из нас мог оказаться он — подлинный автографодатель. Значит, не было никакого недоразумения — что могли знать подростки и сорванцы... Попросту сон перемешался с явью. В царившей в вестибюле страшной сутолоке мы наконец получили ключи. За эти пятнадцать минут я видел в холле половину Варшавы. Поэтому, когда оказался в номере, первой мыслью было: бежать.

Судоверфь уже от ворот украшали транспаранты, оповещавшие о фестивале. Он должен был состояться в зале Дома культуры на ее территории. Место его будущих триумфов, Лесная Опера, еще не было освоено.

Было уже около трех, когда я после долгих поисков очутился в дверях управления строительством нефтевозов типа В-70. Я попал сюда впервые и поэтому несколько замешкался на пороге, не очень-то представляя, как опознаю особу, к которой мне рекомендовали обратиться. В комнате было душно, на столе жужжал вентилятор, букет великолепных цветов рдел в вазе. За столом сидела бывшая секре-

тарша инженера Романа пани Веся — я тут же установил ее личность,— дебелая, сногсшибательная блондинка в очках, достойная рекламировать «кадиллаки». Выглядела она весьма импозантно, и за нее не пришлось бы краснеть даже в самом изысканном обществе. Побережье, подумал я, это значит окно в мир и матросские трофеи со всего света. Возле нее вертелась какая-то сослуживица из соседней комнаты, молоденькая девица с начесом, а также мужчина, смахивавший на сакс-альт или гитару-бас, с модной рыжеватой бородкой.

— Тоже мне,— говорила секретарша томным, воркующим голосом,— наобещали золотые горы, разве нет?.. Дескать, для нас, наш зал на судоверфи...— Она воздела руки театральным жестом, как Анна Маньяни.— Этот тип из госэстрады еще вчера заверял меня, что два билета будут железно... Какого черта сам вчера позвонил?

Девица с начесом пожала плечами: «Что ты, Веська, избитый прием. Хотел произвести впечатление... благодетель... Видно, ему охота пригласить тебя на танцы...»

— Нужны мне за... — отрезала пани Веся.— Покажи-ка твой костюмчик.

Сослуживица вытащила из сумки шикарный эластичный купальник, тоже, вероятно, какой-нибудь матросский трофей. Между тем бородач крадучись подбирался сбоку, доставая из кармана два билета на фестиваль. Меня пока еще никто из них не замечал.

— А если бы оказалось,— начал гитарист или трубач,— что у некоторых имеются...

— Золотенький пан Владек...— заворковала Веся томным альтом.

— Вот видите, на кого можно рассчитывать? — набивал себе цену бородач.— А если бы я поделился?

— На сегодня?

— Нет. На завтра. Гала-концерт.

— Дорогой Владек! — воскликнула она, выскакивая из-за стола.— Я всегда знала, что вы единственный настоящий мужчина, что рядом с вами слабая женщина может... О, нет! Не отрывайте. Мне нужны два.

— Ну, знаете ли...— возмутился гитарист.

— Я должна пойти со старенькой теткой. Милейшая старушка, которой я обязана своим ангельским характером и образованием... Требуйте чего угодно, Владек, я ваша, я отдам вам все, но уступите мне эти два билета...

Поднялся крик и визг, обе девицы, шутливо препираясь, протягивали к нему руки. Я не был уверен, пора ли мне вмешиваться. Бородач нажимал на местный патриотизм:

— Вот видите... как до дела дойдет, то оказывается, что не какой-нибудь красавчик из Варшавы, не пан режиссер и не редактор с телевидения.. Нет! Или со мной, или я пойду с Ивонкой...

— Разве поцелуй скромной девушки...— Когда она чмокнула его в бороду, я переступил порог.

— А если бы оказалось, что есть еще два...— произнес я басом, многозначительно похлопав по карману.

Глаза пани Веси вспыхнули за стеклами очков, как звезды.

— Кто бы вы ни были, повинуюсь всем вашим желаньям... На завтра?

— Желанье у меня только одно,— ответил я.— Я отказываюсь от завтрашнего вечера, если вы пожертвуете мне нынешний. Придется вам немного поскучать, но самую малость. Это серьезное дело.

Только теперь я понял, какое произвел замешательство. Бородач с ненавистью глядел на конкурента. Пани Веся пригладила волосы и поправила очки.

Движение, которым она поправляла свою оптику и касалась прически, я запомнил хорошо, ибо жест этот повторялся многократно, вплоть до некоего момента... Но это было позже. Сейчас пани Веся проделывала его в сиянии спрятанных за деревьями прожекторов, которые выхватывали из мрака фигуры сидящих, резко очерчивая их контуры, и лица всех, сгрудившихся у столиков, были наполовину освещены, наполовину окутаны тьмой. В этом кафе на свежем воздухе, насыщенном запахом йода и ароматом морских водорослей, неподалеку от входа на сопоцкий мол, от ярких всполохов и подсветки фонтана клубы табачного дыма и водяная пыль окрашивались попеременно во все цвета радуги, заполняя пространство между ветвями. Сзади, в мельканье огней, проплывали по проспекту толпы гуляющих, наслаждаясь теплом летнего вечера, а сверху поглядывали на все это августовские звезды и серебряная, как на Гаваях, луна. Я сидел спиной к фонтану, напротив пани Веси, которая обнаруживала признаки легкой экзальтации.

— О, поверьте мне,— говорила она, манипулируя чайной ложечкой,— какой это был потрясный мужчина... Красивый, полный энергии и обаянья. Знаете, я умею наблюдать за мужчинами, я психолог, это отчасти входит в мои служебные обязанности.— Еще не оставляло ее изначальное возбуждение, вызванное вечерним рандеву, а также частыми поклонами, которые я отвешивал звездам эстрады или примелькавшимся на голубых экранах фигурам, сопровождаемым «мировыми» девочками, которых они неизвестно где подцепили. Она, вероятно, приняла меня за какую-то важную персону. Веся не представляла, что большинство этих людей я знал по совместным скромным трапезам в писательской столовке, называемым не без иронии «супчиком для интеллигенции». Возможно, потому и чуть пересаливала, рисуя в этом состоянии портрет своего бывшего шефа.— Все им восхищались,— утверждала пани Веся,— и даже завидовали ему. Он был из той породы мужчин, которым все давалось как бы слишком легко... Считался весьма способным инженером, специалистом по двигателям. Разумеется, такое впечатление производил потому, что все препятствия преодолевал легко, беззаботно, с какой-то юношеской бесцеремонностью. Это был человек самоуверенный, жизнелюб...— произнесла она с пафосом и запнулась, словно обескураженная столь избитым штампом. Рука с ложечкой принялась выделывать чудеса.— Он одерживал сплошные победы, счастье ему улыбалось... Женщины перед ним преклонялись,— добавила она, немного помолчав.— А сколько шуму наделал его роман с одной художницей-фотографом... Жена была чудовище. Я нисколько ему не удивляюсь. Впрочем, с женой они жили плохо, ведь я вам говорила — он крутил любовь с одной художницей...

— Он вам нравился? — подбросил я каверзный вопрос.

— Ну знаете... Я слишком много о нем знала. Он ничего от меня не скрывал. Мы спелись как хорошие дружки... Впрочем, не скрою, что и на меня действовало его обаяние. Такой мужик...

Я пытался увидеть Романа ее глазами. Давалось это с трудом, ибо фантазия моя отнюдь не была сродни женской, хоть я и знал, что пани Веся способна зарегистрировать, как фотокамера, тысячи деталей, которых не заметят другие. Мы наверняка выглядим совершенно иначе в глазах женщин, воспитанных на кинематографе. А ведь речь шла о совсем незнакомом человеке. Тут любая черточка, даже притянутая за уши, о чем-то свидетельствовала. Собственно, секретарша — по нынешним временам — почти член семьи. Итак, я пытался представить себе, согласно ее рассказу, обычный трудовой день на судоверфи месяца два назад. Лавину служащих, инженеров

и техников, растекающуюся по коридорам административных зданий, расходящуюся по канцеляриям и конструкторским бюро. Пани Весю, которая устраивается за своим столом, раскладывает на нем какие-то мелочи, ставит в вазу цветы, которые сама принесла, украшает секретариат. Ивону с начесом и как та заглядывает к подружке, как они целуются и о чем-то щебечут. Проходящих мимо мужчин, которые им кланяются. Цецвежа или кого-либо другого, когда они забегают, чтобы поздороваться. Уже раздаются первые телефонные звонки. Все успокаивается, включаясь в привычный ритм очередного трудового дня. У окна начинает стучать машинистка. День туманный, с утра зажжены настольные лампы.

Влетает инженер Роман.

— Здравствуйте, сударыни! Приветствую, панна Ивонка! Привет секретарю!

— Здравствуйте, пан инженер,— воркует знойная пани Веся.

— Ах, какие великолепные цветы!.. Ну и ну, в такую пору... Что за конкурента я приобрел на родном пепелище?

— Есть и такие, которые задерживаются здесь чуть дольше, а не пролетают, словно комета...

— Ох!..— разводит руками инженер.— Постоянная нехватка времени превращает меня в кочевника. Завтра начинаются ходовые испытания, а тут некогда...

Пани Веся подает ему бумаги, косясь на его небритый подбородок. Инженер, примостившись у стола, пробегает их глазами, подписывает на коленке, потом возвращает.

— Пани Веслава,— говорит он,— дорогая моя, любимая... Мне еще надо сбегать в достроечный бассейн, на «Карпаты»... Потом буду в фотолаборатории. Если... если позвонит моя жена, не говорите ей, что я тут был. Могила. Тайна. Вы меня сегодня не видели и ничего обо мне не знаете.

Я представлял себе, как, например, в эту самую минуту звонит телефон и инженер прикладывает палец к губам, а секретарша берет трубку и молча поверх очков смотрит на шефа. И как говорит в трубку голосом, сулящим неожиданности: «Да, да. Полный порядок. Знаю. Понимаю, пан инженер...» — иронически поглядывая на Романа. Я не был бы восхищен подобной фамильярностью.

Между тем инженер Роман уже исчез в своем кабинете. Сгреб со стола какие-то бумаги, а также рулоны чертежей. Секретарша с Ивоной в первой комнате молча переглядываются. Из-за закрытых дверей доносится монотонный, жужжащий звук.

— На корабле не было тока,— констатирует пани Веся вполголоса.

— Не ночует дома...— добавляет Ивонка.

За закрытыми дверями инженер, вероятно придерживая вилку в розетке настольной лампы, торопливо утюжит электробритвой обросший со вчерашнего дня подбородок. Заканчивает туалет, прячет бритву в ящик стола, проводит рукой по щекам и распахивает дверь.

— Если меня начнет разыскивать Малецкий,—говорит он,—я буду позже на «Карпатах». Там еще телефон не отключили? Хорошо.— Набирает номер коммутатора.— Соедините с «Карпатами».— Говорит:— Это инженер Роман... Да. «Карпаты»? Попросите панну Паславскую... Ну, которая оформляет кают-компанию...— Спустя минуту:— Кристина? Да, это я, Стефан. Как себя чувствуешь, дорогая?.. Я? Лучше не спрашивай... Пробудешь там до обеда? Чудесно. Я успею... если нет, оставь весточку... Да, только сегодня... Завтра «Карпаты» выходят в море... Ну, тогда целую пальчики...— Потом, обращаясь к секретарше

и откладывая трубку: — За мной самые лучшие розы, какие только найдутся в Гданьске...

Пани Веся — словно вижу ее — царственно кивает головой, а когда инженер выскальзывает в коридор, Ивона с начесом втягивает ноздрями воздух: «Крем «Ярдли»... только что брился...»

Этот царственный кивок она продемонстрировала мне еще раз в мерцании фонтана, склонясь к прохладной крышке столика, когда я машинально ответил на приветствие известного режиссера с телевидения, который протискивался из глубины сквера. Моей спутнице это, видимо, хорошо запомнилось. Она продолжала рассказ о своем бывшем начальнике, но косилась уже куда-то в сторону, что осложняло общение с ней.

— Нагло себя вел, правда? И что вы на это скажете? А знаете что? Я передумала. Пойду с вами завтра на концерт.У Владека я вымогала два билета, поскольку не хотела с ним идти, но вас не стану грабить. Должна была пойти с одной знакомой... Не ради альтруизма. Предпочитаю с вами, раз вы хотите писать о нас для телевидения. («Неужели я что-либо подобное обещал? Пресвятая дева!») Может, успею вам еще о чем-нибудь насплетничать.

Шум, значительно превышающий мою выносливость, фортиссимо оркестра, рев тромбонов, грохот барабанов и тарелок, хриплые вопли солистки, бурные аплодисменты и оглушительное скандирование — от всего этого разламывалась голова и вибрировало в ушах, ни дать ни взять — фединг ненастроенного приемника, который включен на полную мощность. Норвежка была из рук вон, крикливая ломака, но публику, разумеется, привела в неописуемый восторг. Скандирование в зрительном зале и завывание — вызовы на бис становились все громче. Прожектора, словно фары автомобиля, рассекающего толпу, выхватывали из мрака матросские бушлаты, расхлестанные рубахи, потные лица, восторг или негу в глазах, вереницы парней и девиц, которые сомнамбулически колыхались из стороны в сторону, как некогда в ритуальной пляске под бессмертные звуки песни: «Шла девица»... Юпитеры телевидения, скользя по морю голов, внезапно вспыхивали, как солнца, и надолго ослепляли меня. Несмотря на темные очки, где-то в глубине глазниц попеременно задерживались то искрящаяся блестками фигура певицы в светлом овале от луча прожектора-«пистолета», то стропила кровли, то слои серебристо-серого дыма, волновавшегося подобно взбаламученной воде в огромной чаше зрительного зала. Увидеть я смог не многим более того. Только почувствовал в этом ошеломлении, как пани Веся хватает меня за локоть. Пришлось наклониться, чтобы расслышать ее слова.

— Это она,— показывала головой пани Веся.— Взгляните. Вон там, сбоку... Это и есть фотографичка инженера Романа. Фотограф или фотографичка?.. Не знаю, как говорят...

Пани Веся была оформлена что надо. Глаза подведены, ресницы что павлиний хвост, светлые кудряшки. Во всем смелость и бездна вкуса. Ради ее оснастки, вплоть до мельчайших деталей, потрудилась добрая половина флота. Я упивался тонким ароматом духов Элен Рубинштейн. Кто бы подумал, что это скромный канцелярский работник с ведущего промышленного предприятия... Она сразила меня наповал уже в момент встречи на станции электрички — и я понял, что это ее большой день. Теперь она показывала мне подбородком Кристину Паславскую, с которой я хотел с ее помощью познакомиться.

Девушки красивее приятельницы инженера Романа мне, вне всякого сомнения, еще не приходилось встречать на Побережье. Это я

отметил в первую же минуту. Окруженная молодыми людьми, она то исчезала за чьими-то головами, то профиль ее опять возникал в блеске неугомонных прожекторов — и при этом необычном освещении я видел то ее лоб, то глаза или губы, великолепные светлые волосы, ниспадающие на плечи, и летний плащ, потом снова руку, тянущуюся за сигаретой. Старая это истина, что подлинную красоту описать невозможно. Все-таки извлек я выгоду из этого мероприятия, из этого безумного доморощенного Сан-Ремо, ибо уже знал наверняка, что Кристины не забуду.

Итак, все сегодняшние дела были улажены.

8

Концерт закончился около полуночи и, как все считали,— преждевременно. Черт побери, день-то, в конце концов, был не воскресный... Пани Веся выходила растроганная и пресыщенная впечатлениями, опираясь на мою руку. Я не знал точно, где проживает моя обворожительная спутница, как будто в Гдыне, во всяком случае в той стороне, ибо помнил, откуда она приехала на электричке, а поскольку меня ждал неизбежный ужин в сопотской гостинице, заявил в решительной форме, что теперь мы вместе перекусим. До какого часа работает городской транспорт? Это был праздный вопрос, поскольку Веся, знавшая каждый закоулок, провела меня напрямик, минуя хлынувшую из концертного зала лавину зрителей, и за углом, о, чудо, я увидел освещенную трафаретку «такси» над ветровым стеклом всамделишной свободной машины.

— «Гранд-отель», Сопот,— сказал я и заметил, как сверкнули в темноте глаза пани Веси. Она питала ко мне полнейшее доверие.

Уже в пути наша беседа начала смешить меня. Где-то сказано, что женщина такова, каков мужчина, ей близкий, либо каковой он желал бы ее видеть. Может, так бывает с супругами. При обычном флирте именно мужчина становится таким, каким женщина желала бы его видеть, ибо мужское тщеславие безгранично и достаточно соответствующего подбора вопросов, чтобы мы поспешили приноровиться к требованиям партнерши, благодушно приемля женскую лесть и комплименты — и этот ее идеал изображая. Лучшее тому доказательство — я сам, прикидывавшийся своим человеком в мире эстрады, хваставший знакомствами с людьми, которых в глубине души считал весьма заурядными, а все ради того, чтобы пани Веся получила желаемые ответы на свои льстивые вопросы. Но ведь золото именно то, что блестит.

— Вы только притворяетесь скромным, пан Тадеуш,— сказала она, когда мы подъезжали, и погладила меня по руке.— А скромничать не следует...

Возле отеля, сверкавшего освещенными окнами во мраке ночи, словно какой нибудь вожделенный «Карлтон» на Лазурном берегу, теснилась толпа избранников судьбы, и мне пришлось издали размахивать журналистским удостоверением, чтобы нас пропустили в здание. Разумеется, для гостей фестиваля был выделен зал — выделен дополнительно,— поскольку и во всех других помещениях толклись почти исключительно они же. Пани Веся обладала великолепными данными как сопровождающая дива — никто ее не знал, что вносило определенную свежинку,— а выглядела эффектно, прямо-таки «мировая баба», как выражаются в наших салонах. Публика была как будто уже основательно подогрета. В сонме физиономий, знакомых по Дому работников искусства или телевизионным экранам, мы то и дело

замечали звезд эстрады, которыми совсем недавно восхищались в светлом круге, отбрасываемом прожектором, на фоне оркестра пана Рахоня в искусном и хитроумном оформлении под неземных существ, а теперь разгримированных, в затрапезных блузках или вязаных кофточках, живых и будничных — хоть потрогай руками,— уплетающих лососину или бутерброды с селедкой. И вдруг, в каком-то порыве протрезвления, они показались мне обыкновенными, не первого сорта девицами. Благодаря своему бродячему образу жизни они чувствовали себя в любой гостинице как дома. Иными словами — казались попросту нагоняющими скуку. Но это не был вечер звезд чужих, а только отечественных.

Для почина мы столкнулись с известным режиссером-телевизионщиком, действительно способным и ценимым мной за врожденное чувство юмора. Он сопровождал миловидную блондиночку, выдержанную в стиле девицы из хорошей семьи. Блондинка была явно не из богемы. Следовало представить свою спутницу, иначе она никогда бы мне этого не простила.

— Это Веся,— сказал я.— Уроженка Вейхерова...

— Это Маженка,— режиссер показал на блондинку.— Родом из Быдгощи.

Последовали очередные «hallo», «ciao», «hey» [1]. Я увидел моего друга-поэта, который представлял польскую литературу в иноязычном жюри. Он явно был тут душой общества, не столько благодаря своим достоинствам и личному обаянию, сколько потому, что являлся звеном, связующим текстовиков-графоманов с настоящей серьезной поэзией. Мой друг, разрумянившийся, с веселыми глазами, принимал шумные знаки внимания официального куратора развлекательных жанров. Сам товарищ Драпаляк энергично пожимал ему руку.

— Enchanté [2],— поцеловал он ручку Веси, вырвавшись к нам от Драпаляка.— Знаешь, что он мне сказал? — поэт давился от смеха: — «Пан Сигизмунд, это чистейший парадокс, что мы знакомимся при таких обстоятельствах...» Ха, ха! А где же мы еще могли встретиться? На вручении Нобелевской премии?

Мой друг скорчил мину, огляделся вокруг и шепнул:

— Strange [3].

Начал и я осматриваться, осознавая всю странность и даже нелепость собравшейся тут публики. Все здесь было искусственно и подражательно, рассчитано исключительно на внешний эффект, все помешались на собственной утонченности, специфичности, загадочности. Посвященность определяла содержание всех разговоров, смысл существования и стиль бытия. Посвященность во что? В тайну подбора имен, лиц, ценностей, о которых никто бы ничего не смог сказать толком на понятном, общечеловеческом языке. Люди, оторванные от подлинно творческой среды, бунтующие или парящие в облаках, но одновременно пройдошливые и хваткие. А ведь было среди них несколько недюжинных талантов, которые, однако, тонули во всем этом окружении.

Мы бродили с пани Весей по остекленной веранде; поскольку «коктейльная» часть затягивалась, никто не торопился за стол, никто ничего не заказывал, одним словом, ужин превращался в обычную пьянку. Вокруг слышались профессиональные диалоги, на особом жаргоне, сводившиеся к выяснению, сколько платят тем или иным ансамблям и исполнителям.

[1] Hallo *(англ.)*, ciao *(итал.)*, hey *(англ.)* — приветственные возгласы. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Очень рад *(франц.)*.

[3] Странно *(англ.)*.

— Слыхала ли ты, старуха, последнюю запись Клиффа Ричарда с группой Шедоус? — добивался тощий, лысоватый верзила с харцерской радиостанции, ветеран молодежного движения, известный тем, что присутствует всюду, где что-либо творится, причем в четырех городах Польши одновременно. Он обнимал за шею пышногрудую блондиночку.— Чего мы тут теряем время? Это уровень? Пошли, можем у меня послушать, в моем номере...

— Ах, Хубби Шекер, вот кто поет твист,— говорила грубым, хриплым голосом ломовика знаменитая модельерша из дома моды «Коралл».— Например, «Иеллоу дримс»...

Ей кивал аранжировщик с маленькой головой и огромными баками, которого я, помнится, встретил где-то в предрассветный час...

— Какие это вокалисты...— морщился патриарх джаза в ошеломляюще ярком велюре,— это обыкновенные бродячие певцы. Таким бросали монетку, завернутую в бумажку, чтобы побыстрее спровадить к соседям. Только теперь у них микрофон...

Я был готов выразить свою солидарность с патриархом, но у нас под боком тучная экс-молодежная деятельница с микрофоном, некогда известная специалистка по вопросам бдительности и морали, брала интервью у руководителя биг-банда с блуждающим, меланхолическим взглядом.

— ...Аранжировка с вокалом,— трещала она, то и дело поправляя съезжающие очки.— Новое звучание — переломный момент в вашей карьере... А теперь, скажи нам, Гжесь, как ты расцениваешь этот эксперимент? Найден ли неповторимый стиль?..

— Немен предложил название: убеждающая музыка,— говорил руководитель ансамбля, с трудом подбирая слова.— Я бы сказал смелее: авангардистская...

— Спасибо, пан Гжесь,— тараторила дикторша.— Перед вами выступал руководитель ансамбля Богдан Гжесь Хщонщ... Это была группа «Эт цетэра» в составе... У них серьезная музыка сочетается с джазовой... Традиционный джаз со стилем hot [1]... а может, cool [2]... в известной теме пташки...

Мне делалось hot от шума, а может, cool от грамматики, я чувствовал себя как пташка... Тьфу, что я говорю, просто алкоголь ударил в голову.

Мы с Весей направились в другую сторону, где были люди посерьезнее, композиторы, режиссеры, кинематографисты.

— Ciao! — махнула мне рукой жена известного критика, кажется грузинка.— Что ты здесь делаешь, Фаддей?

— Преклоняюсь,— ответил я,— восхищаюсь.

— Неу! — воскликнула звезда актерской школы имени Зельверовича, любовница конферансье по прозвищу Ванильный Пудинг.— А ты что? — хотя мы не были на «ты».

Я ответил ей дословно то же самое.

— Hallo! — кивнула американка, жена режиссера-классика, которая дублировала в кино голоса иностранок, говорящих по-польски.

— Преклоняюсь, восхищаюсь.

— Salud, camarad [3],— схватил меня за локоть упитанный редактор литературно-художественных передач на телевидении.— Говорят, делаешь сценарий для Енджейчака. Небось треп. Ему не может нравиться твоя писанина. А это кто? — Он впился глазами в мою спутницу.

— Таких вопросов не задают, Влодек,— сказал я.— А вдруг это моя дочь? И что тогда? Благодарю, ты очень любезен.

---

[1] Жарко *(англ.)*.

[2] Холодно *(англ.)*.

[3] Привет, дружище *(исп.)*.

— Я знаю, ты думаешь, Енджейчак тебя понял,— загремел он не моргнув глазом.— Ты думаешь, что я не разбираюсь в литературе, но я еще огребу из-за тебя...

— Влодек,— сказал я,— не говори мне, что я думаю, ибо это я знаю сам. Пусть каждый займется собственными мыслями...

— Мерзкий тип,— сказала Веся.— А кто это?

Я счел, что она достаточно освоилась, и оставил ее на попечении друга-поэта, который во франкоязычной компании тщетно потчевал спиртным канадку. Пусть поучится иностранным языкам. А сам вернулся к клану солидных творческих личностей. Самым приятным среди них был рыжебородый Янек Анода-Фиялковский, отменный композитор, как они называют — киношный. Он стоял непринужденно, с рюмкой в руке, что-то снисходительно растолковывая тощему аранжировщику с баками в стиле «морской волк» (тогда они еще не вошли в моду). Среди всеобщей взвинченности и вымученной болтовни от Янека веяло подлинной беззаботностью человека, который не должен пыжиться, чтобы блистать.

— ...Я слушал их в Стокгольме, дружище, это был блеск, нечто неповторимое... Мы к нему нагрянули, он тогда лечился от наркомании, Стан Гец, понимаешь ли, ну и сыграли вместе... Значит, Стан Гец, сакс-тенор, Диззи Гиллеспи, труба, Иллинойс Жаке, тоже сакс-тенор и Джеймс Муди — флейта и сакс-альт. С ними еще играл ударник Руне Карлссон, швед из начинающих, очень толковый...

— Здорово, Ясь! — взял я подобающий тон.— Оставь в покое этого Карлссона. Скажи, что ты думаешь об ансамбле «Эт цетэра»...

Анода отражался в десятках очков, окружавших его.

— Шутишь... это лабухи, падкие на кассовые вещи,— пояснил он несколько свысока, как и следовало.

Меня обуял дух противоречия:

— А что значит — кассовые?.. Разве ты не делаешь кассовых вещей? Создаешь музыку преимущественно для кино, выступаешь по телевидению...

— Смотря что. Я тоже люблю почудить. Но ты, старина, не разбираешься...

Действительно, я не разбирался. Очкарики стояли уже ко мне спиной. Я убеждал себя, что композитор меня недолюбливает как давнишнего знакомого своей жены, полагая, что у нас была какая-то связь. Увы, этот мирок был тесен и одних и тех же лиц приходилось встречать все в новых и новых превращениях. В тот вечер и меня судьба не пощадила. Из кучки, распивавшей шампанское в самом центре зала, донесся смех Лилианы, нынешней супруги Аноды, бесспорной королевы погребков, где собирались джазмены. Ее смешили анекдоты и каламбуры моего друга-поэта.

— О-о-о! — воскликнула она.— И ты здесь! Что ты делаешь в этой сомнительной компании? — Она была уже заметно пьяна.— Он говорил мне,— обратилась она к моему другу-поэту,— что я попала в сомнительную компанию... Полюбуйся, Тадек, на своего друга. Он чудо, очарованье! Вот это действительно джентльмен. Бери с него пример. Ах, если бы ты до него дорос, обладал таким же остроумием...

Я заметил растерянность в глазах добрейшего Сигизмунда. Лилиана устроила мне банальную сцену, воистину не имея на это никакого права.

— Пей,— протягивала она мне рюмку водки.— Развлекайся в этой сомнительной компании. Близится обновленье, раз ты опять наверху. Значит, вы снова во главе, ты и твой Влодек — фискал...

— Ты что-то путаешь, дорогая Лилиана,— поспешно вмешался мой друг, отличавшийся безошибочным нюхом.

А такая была когда-то милая девушка, подумал я, или мне только казалось? Однажды она уже приветствовала меня подобным образом. «Вижу, что ты снова шишка, так что же — минувший этап возвращается?» Удивили меня этот вызов и страшный ералаш в ее голове. Я никогда не был шишкой, ни на каком этапе, а именно в тот момент, когда она меня так огорошила, вовсе ходил без работы. Но что поделаешь, есть разные точки зрения, и тут был налицо классический пример отсутствия синхронности в развитии. Она взбиралась по ступеням «элиты», когда мне это уже наскучило. Я никогда не ценил ни этих запоздалых, на мой взгляд, потуг, ни препятствий, которые люди настойчиво преодолевали, тогда как я чувствовал себя уже слишком старым для этого, а может, вообще досталось мне слишком рано и легко это вожделенное место в «литературной среде». Ее неудержимое, яростное стремление находиться в центре — чего угодно, любой области... Сфера, где Лилиане хотелось царить, была ей безразлична, лишь бы находиться на виду. И она совершала восхождение, подобно женщинам давних времен — с помощью мужчин. Была в этом какая-то доблесть, достойная восхищения, как любой азарт, возвышающая или низменная, но притягательная, ибо отнюдь не скрываемая. Одержимость Растиньяка в юбке и непреодолимый инстинкт, словно у ночной бабочки, которую манит свет. С музыкой она не имела ничего общего (хотя могла охотно ее слушать), однако искренне пеклась прежде всего о том, чтобы музыке этой воздавались почести. Попросту джаз входил в моду и обретал громкую известность в те годы, торжествовал победу в ореоле миновавшего мученичества, становился символом реванша всех обиженных. Когда этим символом были бывшие аковцы — Лилиана явилась мне как муза гонимых. Помню, как приезжала в Щчирек на мотоцикле, с парнем, и когда наше соперничество, а также моя наглость вынуждали его ставить вопрос ребром: «Либо возвращаешься со мной, либо остаешься с ним», Лилиана мялась до последней минуты, а потом припускала рысью за удаляющейся «явой», босиком, с туфлями в руках. Объясняла, что так легче бежать. И эта ее погоня босиком за успехом была весьма символична... Потом я встречал Лилиану в тяжкий для нее период, когда, ютясь в какой-то развалюхе, она зарабатывала на жизнь себе и ребенку тем, что мастерила елочные украшения. Новогодние сувениры для иностранцев. Этакий польский вариант девочки-разносчицы со спичками... Когда-то представлялась как дочь одного из руководителей польского подполья — спустя годы приветствовала меня снисходительно, в качестве королевы студенческих погребков. Являла собой образчик девицы «огромной пробивной силы» в нашем специфическом понимании. И все-таки мстила мне за все давнишние пораженья, вероятно, потому, что я не скрывал своего скептического отношения к ее карьере. В кабаке, в пьяной компании, декламировала мои старые политические стихи о войне, борьбе за мир, наверняка не самые удачные, а здесь особенно неуместные, звучавшие нелепо. Все это было довольно глупо и пошло.

— Вот видишь, Лилька,— сказал я.— Ты меня не жалуешь. А ведь я на тебе чуть не женился...

Опомнилась. Этого не могла не расслышать.

— А девушка ждала... Была готова...— бросила с оттенком меланхолии.

Слоняясь в шумной толпе, я потерял ощущение времени.

— Ну и что? Не развлекаешься, старина,— снова столкнулся со мной тучный редактор Влодек.— Где твоя дочь?— Он имел в виду царственную Весю.— Знаешь, дорогой мой, в ней есть нечто чертовски притягательное. Не будь она твоей... я бы ее не пропустил... Гм... по-

нимаю. Но тебе, видимо, ни к чему,— теснил он меня брюхом.— Ты, пожалуй, однолюб. Из тех, кому достаточно одной женщины. А я, знаешь ли, так не могу, мне каждый день подавай новую. Наверняка считаешь меня циником... Знаю, я всегда раздражал тебя, ведь ты аскет. Но сегодня это не имеет смысла. Послушай, хорошенькие девочки — это лучшее, что у нас есть... Все мы делали глупости в те годы,— вдруг начал он из другой оперы.— Мы верили, и это нас оправдывает («Я не делал никаких глупостей, по крайней мере таких, как он»). Ты всегда был принципиален. Старался сохранить свою индивидуальность. Но из-за этого тебя затирают... Я слыхал, что делаешь сценарий для Енджейчака. Ему не понравится твой текст, вот увидишь. Стиль у тебя тяжеловат — так сегодня писать нельзя. Ты-то, небось, думаешь...

— Послушай, Влодек,— перебил я.— Тебе уже было сказано, что я думаю... Пусть каждый занимается своими собственными мыслями...

— Ты по-прежнему остаешься соцреалистом,— прыснул он.— Но, знаешь ли, твоя дочь меня волнует...

Краем глаза я заметил пани Весю, которая увивалась вокруг моего друга-поэта и остроумного режиссера с телевидения. Во мне она как будто не нуждалась.

— А, вот и Мачек,— просиял редактор культурно-просветительных передач, ибо в дверях показался актер-символ, кумир молодежи.— Извини, но у меня к нему дело...

— Два слова, дорогой коллега,— налетела на меня располневшая экс-молодежная активистка с микрофоном.— Великолепно, что я вас встретила. Уделите минутку для третьей программы. Вы представитель поколения Колумбов, вы начинали с соцреализма, не так ли?

Я выключил микрофон.

— Никакой я не представитель Колумбов. А начинал с обучения чтению и письму. Букварь Фальского, потом «Гражина», «Балладина», обычный круг чтения школьников...

— Но ведь вы не отказываетесь наотрез?..

— Я ни от чего не отказываюсь. Охотнее всего отрезал бы вам язык.

— Эй, эй! Где твоя девушка? — помахала мне рукой Лилиана, неуверенно опираясь на стол.

— Развлекается вовсю. Ищет кого-нибудь покрасивее меня.

И тут я увидел Эстафету. Какая-то бешеная музыка долетала из холла и второго ресторанного зала. Эстафета ничуть не изменилась с той давней поры — первых послевоенных лет, когда мы вместе учились. Она всегда была для меня загадкой. Над ее кукольным личиком с огромными, широко расставленными, трогательными, как у лани, глазами, казалось, не властны ни время, ни водка, оно вечно и бессмертно, словно произведение искусства, но самое страшное заключалось в том, что, бывало, ни единого изъяна в облике, свежа и взгляд осмыслен, а оказывается пьяна в стельку, да только пока не заговорит — не поймешь. Поэтому я и побаивался ее. Я миновал угол, где поблескивали очки Мачека С., который уже успел прогнать редактора Влодека и теперь, улыбаясь, ораторствовал перед прилизанным мужчиной в нейлоновой рубашке, с виду чиновником по культурному ведомству.

— Мачек неотразим. Гений, но напился,— оправдывал свое отступление тучный Влодек.— Одна она им вертит.— Он покосился в сторону Эстафеты, которая показала ему язык.

— Тадек! — воскликнула она, хватая меня за пуговицу.— Спаси меня! Вырви из когтей этих зануд.

Я слыхал, что уже год она крутит любовь с Мачеком С. Это не было для меня неожиданностью, поскольку она успела перелюбить всех наиболее известных сердитых молодых и выдающихся старых, впрочем, отсюда и прозвище — Эстафета. И все-таки каждый раз я бывал огорошен ее выбором.

— Мне пришлось сидеть там,— показала она на зал с оркестром.— Подлизываюсь как могу к одному влиятельному парнишке, хочу съездить во Францию. Идем спасем Мачека.

— Здорово, старина! — приветствовал нас замечательный актер, хоть мы и не были на «ты». Но сегодня он был милостив.— Познакомьтесь. Товарищ Забава (или Направа),— показал на своего собеседника.— Мой земляк и друг. Без них я был бы ничем.

Эстафета не замечала его дружка.

— Давайте смотаемся отсюда и раздавим по маленькой,— заявил Мачек, одной рукой обнимая Эстафету, а другую возложив на плечи товарища Забавы.

Бросив взгляд в глубину шумной веранды, я убедился, что не так уж необходим Весе, и двинул вместе с ними. Мачек С. заглянул в зал ресторана с красной стойкой в углу — всюду толчея, всюду встречали его возгласами и взмахами руки. Вот что значит настоящая слава.

— Испаряемся отсюда,— сказал он.— Идем на вокзал.

Мы протиснулись сквозь толпу, загородившую выход, швейцар выпустил нас. Ни Эстафета, ни товарищ Забава не возражали, а мне было уже все едино.

— Вокзал — вот подлинная жизнь,— изрек Мачек С., вероятно противопоставляя естественность вокзала фальши «Гранд-отеля». В холодном, металлическом свете фонарей наши лица покрылись нездоровой бледностью. Ночь была теплой, словно в тропиках, воздух бодрящий, напоенный йодом и густой от запаха цветущих лип; пространство ограничивалось низким зеленым сводом подсвеченной листвы. А где-то выше, над всем этим, беспредельность небес мерцала расплесканным серебром созвездий. Мачек подпрыгивал, приплясывал, приседал. Чиновник говорил что-то вполголоса, монотонно и доверительно, о капиталовложениях в воеводстве и, казалось, находился в каком-то ином мире. Эстафета, обращаясь то ко мне, то к Мачеку, тянула монолог о какой-то белой дубленке:

— ...утром приходит домработница и видит в передней на вешалке эту самую белую дубленку...— Повествование, как следовало ожидать, касалось интимных воспоминаний, связанных с гардеробом Мачека С.

Из серебристо-изумрудного мерцанья теплой ночи мы угодили в душный, истекающий потом, сверкающий электричеством небольшой зал вокзального ресторана с обилием железнодорожных мундиров, пива, водки, а также грязными столами, которые осаждала толпа в пальто. Но и там удалось найти свободное местечко. Пьяным всюду лафа.

— Без вас я был бы никто,— твердил Мачек, стискивая плечо прилизанного товарища Забавы.— Если нет настоящей почвы, тылов... Послушайте меня, товарищ. Я всегда говорю, что я парень с Жешовщины. Где бы ни выступал или ни играл, чувствую под ногами эти два воеводства. Словно одна нога на Жешовщине, а другая — на земле Пшемысской.

— Мы гордимся вами, товарищ, гордимся тем, что вы выросли у нас,— приговаривал прилизанный с туманным взглядом.

— Только поэтому и могу вырваться вперед,— говорил актер.— Есть точка опоры, родная земля.

— ...Однажды я уже решила, что открою газ, но сначала пошла в парикмахерскую... Отпираю ночью своим ключом и смотрю, а тут все прибрано и на вешалке — белая дубленка...— продолжала Эстафета, глухая ко всему.

— Вам этого не понять...— сверкал очками Мачек.— Но подумай, старина, это товарищ из наших краев, мой друг. Они меня помнят. Дорогой,— обнимал он прилизанного,— безразлично, куда ни попаду — в Париж или Венецию,— всегда думаю, чем бы я был без вас. Знаю, что вы за меня болеете. А что у вас слышно?

— Товарищ Монка,— встрепенулся прилизанный,— вы знаете, это наш новый секретарь по пропаганде, говорил: «Мы должны учредить премию его, то есть вашего, имени...»

— Дорогая, я бродил под окном,— переключился Мачек на волну Эстафеты.— Насвистывал нашу мелодию. У тебя горел свет. И когда нашел ключи, которые, как всегда, лежали в кармане дубленки... Значит, товарищ Монка у вас... то есть у нас, ведает теперь культурой. А как с новым театром? Достроили его?

Можно было спятить от этого раздвоенного разговора. А Мачек С. умилялся то по одной, то по другой причине. И, судя по всему, был вполне искренен. Между тем диалог на два фронта продолжался — в одну сторону: дубленочка, пташечка, в другую: наше воеводство, наши люди...

— Послушай, старина,— обратился он ко мне.— Что бы ты сказал о таком сценарии. Ношусь с этим уже давно. Хотелось бы выдать нечто необходимое людям. Знаешь, только это еще эскиз. Послушай: он играет в кукольном театре. Крольчонок, понимаешь ли, замшевый крольчонок. Однажды увидел ее. Нет, она его увидела. Нет, он ее увидел. Знал, что бывала на спектаклях. Ходил за ней. Раз встретил ее, но она не говорила по-польски. Узнала его, когда изображал крольчонка... знаешь, так, шутки ради показывал на пальцах. Ходили на пляж, но ничего между ними не было. Обещала пригласить его к себе. Все это будет сыграно, как пантомима. Он долго дожидался. Не знал, что ее предка отозвали. Как-то проходит мимо, дождик накрапывает, понимаешь? Выносят запакованные вещи. И вдруг видит — в соломе крольчонок, замшевый крольчонок, которого подарил ей... Пожалуй, еще сыровато. А как по-твоему, старина?..

— Блеск...

— Не можешь ли ты прогнать этого типа? — сказала Эстафета, показывая на прилизанного, который уже отключился.

— Вам не понять, кто они для меня — там, в моем воеводстве.

— Не вернуться ли нам? — спросил я, ибо на пороге ресторана появились голубоватые милицейские мундиры.

— ...И мы уже получили согласие на учреждение такой премии. Товарищ Монка обосновал...— бубнил земляк Мачека.

— Сходим еще на мол,— предложил выдающийся актер.— Искупаемся при свете луны?

Меня одолевал сон. Луна, похожая на стертую металлическую пуговицу, уже клонилась к западу. Все свое сиянье она, казалось, растеряла где-то в пути, который проделала по небу. Мы перелезли через решетку запертой калитки, пробрались в сквер, а затем и на мол. Море отделяла от сапфирового неба тончайшая серебряная ниточка. На горизонте пульсировала искорка хельского маяка, словно ее кто-то непрерывно раздувал. Ближе дремали, точно рождественские елки, мигающие огоньками суда на гданьском рейде. Пахло водорослями, солью. Окна «Гранд-отеля» забрасывали золотистые удочки в наморщенное зеркало залива. Волны, плещущие между опорами мола, гром-

ко чмокали, как откупориваемые бутылки. Паутина бликов скользила по вздымающейся глади вод.

— Как ты мог играть в той же самой дубленке, почему забыл об этом? — лепетала Эстафета.

Прославленный актер гикал, подпрыгивал и приседал. Отражения фонарей поблескивали в его очках.

— Это величайший талант,— бубнил специалист по культуре.— Вы не представляете, кто он для нас...

— Замшевый крольчонок, стоящий на цоколе двух воеводств...— смеялся я.

Когда мы вернулись в гостиницу, изысканный вечер уже давно закончился. В холле и на веранде свет горел в полнакала, оркестр умолк. Лишь наиболее стойкие гости фестиваля перебрались в бар. Пьяные, осоловелые пары плутали по безлюдным залам. Я простился с моим очаровательным трио. В буфете у стойки восседала неутомимая Лилиана.

— Где вы пропадали с Мачеком? Твоя девушка искала тебя,— произнесла она сипло.

Я оглядел оставшееся охвостье в полумраке бара. И вдруг увидел Весю, в стороне, на высоком табурете. Вся ее гримировка слиняла. Перед ней стояли две рюмки виньяка.

— Я искал вас. Вы затерялись где-то в давке. Но вечер выдался приятный?

— Это благодаря вам,— сказала она.— И пану Сигизмунду. Выпейте со мной. Я жду.

— Где вы живете? Куда вас доставить?

— Выпейте со мной,— пододвинула Веся одну из двух рюмок. Свой виньяк проглотила, словно воду. Я уже был сыт по горло выпивкой.

— Выпей,— сказала она.— Никуда я отсюда не двинусь.

— Но Веся, дорогая, ты должна выспаться, отдохнуть. Завтра на работу... что я говорю... какое там завтра...

— Ты не выпил. И не беспокойся обо мне. Мне не хочется уходить. Разве я создана только для работы?

— Веся, ангел мой, ты создана для этого бара. Но тебе надо немного поспать .. Ну приляг в моем номере. Я переночую у Сигизмунда.

Она взглянула на меня со странным выражением лица. Мне не хотелось показаться неучтивым.

— Надеюсь, меня не выставят,— сказала она, соскальзывая с табурета.

Я взял внизу ключи. Повиснув на моей руке, она побрела на второй этаж. К счастью, мы почти никого не встретили. Видали только гениального Мачека С., который в картинной позе, словно призрак, конвульсивно прижимался к стене коридора.

— О, боже, как я люблю эту девку!.. — прохрипел он.

Мы очутились в моем номере. Не время было наводить порядок.

— Вид у тебя не слишком самоуверенный,— сказала она, не глядя на меня.

— Надеюсь, ты чуточку отдохнешь,— ответил я.

— У тебя есть ванная? — спросила она.— И никуда не уходи, не будь дураком.

— Ванная там. А я пока постелю на кушетке.

Она остановилась в дверях.

— Ты часто выезжаешь за границу?

— Часто ли? Когда посылают.

— Мой брат,— говорила она словно сама с собой,— бежал в Швецию. Смылся, понимаешь ли, на яхте... Поцелуй меня.

С ней творилось неладное. Мне вспомнились предостережения друга-поэта — и те, что были облечены в форму деликатных полувопросов, и те, что молчаливо таились на дне его добрых глаз. Я, видимо, вздремнул. Разбудила меня моя подопечная, выходящая из ванной. Она была в моем халате. Наступала на волочащийся пояс. Теплые руки обвили мою шею.

— Поцелуй меня,— шепнула Веся.

Халат, покрывало с кровати и что-то из моей одежды оказались на полу. Я ощутил все царственное великолепие Веси, недооцениваемой, достойной лучшей участи. По понятным причинам не стану вдаваться в подробности...

— Дай сигарету,— сказала она наконец. В ее лице было что-то дикое. Она нервно ломала пальцы, говорила хрипло.— Я хочу жить, как они! — прорвало ее.— Я не хуже этих девок. Хочу увидеть мир, побывать в Швеции, в Копенгагене, в Париже, в Канне. Не желаю бегать по комиссионкам, завидовать чужим, распластываться перед иностранцами. Я им ни в чем не уступаю, а что толку?.. Я не глупее их, но нет покровителя. Даже моего инженера затравили. Предпочел ту... на кой ляд ему со мной связываться?.. Мне тоже нужна собственная квартира, «фольксваген» и чтобы моя дочь могла ездить в Болгарию на Адриатику, на Канарские острова... Ты можешь мне помочь... Обещай! Почему мне позволено видеть это только в кино?..

И она разрыдалась. Дубасила кулаками подушку:

— Обещай! У тебя такие знакомства... Обещай!

Я не испытывал угрызений совести.

9

Все это, вместе взятое, вынудило меня переждать по крайней мере один день. С похмелья, невыспавшийся, я делаюсь резким и злым. Тогда не знаю пощады и, отдавая себе в этом отчет, стараюсь избегать людей — нормальная реакция после перебора. Недосып восполняется через сутки, а резкость остается, и я действую с удвоенной энергией, словно наверстываю упущенное. Собственно, мозг тоже чем-то сродни механизму, спиртное его промывает, прочищает. Поэтому после безрассудной гульбы я начинаю на все смотреть со стороны, я отталкиваюсь от какого-то дна, недавняя усталость уходит в прошлое, и можно начинать сызнова; кажется, минули века и пора, пора двигаться дальше Итак, в активе у меня прочищенный и восприимчивый мозг, а также новая толика разгаданных тайн — похмелье создает иллюзию передышки, какой-то встряски, которая обновляет. Между прерванными делами и необходимостью их завершения простирается бездна усталости, а следовательно, как бы времени. Но, повторяю, жестокость остается, и она-то превращается в дополнительный стимулятор. Вот диалектика всех мужских безумств.

Подобным образом размышлял я, входя в сопотское кафе художников, что против универмага, на главной прогулочной трассе. День был жаркий и солнечный, как и предыдущие, и от гостиницы всего два шага. Толпы курортников текли во все стороны, и хоть было самое время поваляться на пляже, кафе, модное место встреч, трещало по швам, заполненное молодежью, а также курортными львицами, которые проводили тут большую часть времени. Слава богу, по дороге не встретился никто из фестивального high life [1]. К счастью, я снова разминулся с общим распорядком дня. Шагал, не чуя под собой ног бла-

[1] Высшего общества *(англ.)*.

годаря чарам незабвенной Веси, и думал о ее братце, который смылся в Швецию. Однако помнил, что иду на свидание с самой красивой девушкой Побережья. Внутреннее убранство кафе, когда я взбирался по ступенькам, показалось мне типовым, попросту вычурно современным и внешность посетителей такой же. Кристина Паславская сидела за столиком на галерее, у открытого окна с видом на улицу. Удивляло не то, что она здесь сидит, а то, что еще никто к ней не присоседился.

Подойдя ближе, я поклонился. Кристина взглянула на меня с любопытством. О, эти ясные, бирюзово-лучистые глаза. Слегка подведенные, они были неотразимы. Вопреки сложившемуся мнению, такие глаза у блондинок — редкость.

— Это вы мне звонили? — осведомилась она спокойно.— Интересно, как вы меня узнали? Я вижу вас впервые в жизни.

— Прошу прощенья,— сказал я, торопливо присаживаясь рядом с ней.— Я не стал бы навязываться, если бы не знал, кто мне нужен. Мне показали вас издали...

— Неужели? Любопытно. Кому я могу понадобиться? — цедила она сквозь зубы, и это было ужасно.— Но уж если я согласилась встретиться с вами, пожалуйста. Чем могу служить?

Я заказал мороженое официантке, чье появление вызволило меня из затруднительного положения. С минуту тянулась неловкая пауза, которую я заполнял возней с бутылкой минеральной воды.

— Ну, пожалуйста, спрашивайте,— заговорила девушка.— Ведь у вас были какие-то вопросы? («Были, но ее красота!») Вернее, я хотела бы услышать... Вы что-нибудь знаете о Стефане?.. То есть об инженере Романе. Ведь вы упоминали о нем, говоря по телефону. Вы его видели? Что с ним?

Я почувствовал себя обманщиком. Видимо, она превратно меня поняла.

— К сожалению,— признался я,— понятия не имею. Никогда его не встречал. Меня интересует его дело. Хотелось что-нибудь услышать о нем.

Она молчала, опустив глаза.

— Вы его хорошо знали,— настаивал я.— Мне известно, что вы были близки...

— Вы прекрасно осведомлены. Собственно, кто вы такой? — Она присматривалась ко мне застывшими, ясными глазами. У нее как будто не было век. Вдруг Кристина решилась:— Да. Впрочем, это отнюдь не тайна... Мы собирались пожениться.

Теперь молчал я. Только поднял брови.

— Конечно, как только все прояснится... в его делах.

Эти глаза смотрели на меня точно с рекламы eyeshadow [1]. На мгновенье проскользнуло в них нечто человеческое... растерянность.

— Жена отказывалась дать ему развод. Ну, что ж, все это рухнуло по разным причинам.

— И вы не видали его... после того, как он уволился с судостроительного завода?

— Нет. Кажется, работает где-то в Познани...

Я угостил ее сигаретой. Закурил сам. У табака был металлический привкус. Мой отравленный организм бунтовал.

— Вы видели его в тот день? В день катастрофы?..

— Разумеется.

— Можете рассказать мне, как он себя чувствовал. Ну, когда все произошло...

---

[1] Тени для век *(англ.)*.

Она снова воззрилась на меня этими лучистыми, неподвижными глазами. Все-таки было в ней что-то кукольное, подумалось мне. Но тут же Кристина как бы опровергла это мнение.

— Конечно,— проговорила она задумчиво, выпуская дым.— Минутку... Ну да, к тому же это был день его рождения. Знаете, его... инженера Романа, очень любили. Поступил он сюда почти сразу же после окончания института, быстро рос. Ему прочили блестящую карьеру...— Начинались дамские словеса.— Собственно, я не должна этого говорить, ведь у вас может сложиться обо мне неверное представление. Но если бы вы его знали...

Все-таки дошло до нее, что я его не знал. Тем более хотелось ей говорить о нем. Это упрощало ситуацию. Следовательно, я попал в точку, ей хотелось излить душу.

— ... Я знала, что Романа очень любили. А некоторые просто боялись его... Он был очень самоуверенный. Впрочем, имел на это основания. Я не была ослеплена... Хотя, может, и была.— Она говорила сбивчиво. Напускное кукольное спокойствие испарялось.— Он пользовался репутацией завзятого волокиты, и я даже не думала, что дело примет серьезный оборот. Но это неважно...

Кристина была несколько взвинчена: видимо, вопреки подспудному желанию, ни с кем не говорила о том времени, казалось, прошлое властно возвращалось к ней. Спустя минуту она овладела собой.

— Так о чем же я собиралась рассказывать? Ага, о том, что произошло в день его рождения. Кто-то постарался, и ему устроили пышное чествование на работе. Получилось очень мило... даже если за этим и крылся какой-то подхалимаж. Цветы, пожелания, вино... Мне пришлось забежать к нему в отдел. Я, знаете ли, делаю для них фотокопии кое-каких чертежей и планов... Кстати, кто-то, якобы без задней мысли, сфотографировал нас вдвоем... Грустновато мне смотреть теперь на эту карточку, но я даже ношу ее с собой. Вот, полюбуйтесь. Можно сказать — сплошной триумф...

Она достала из сумочки большую глянцевитую фотографию. Наверно, сама ее увеличила. Я взял карточку в руки и долго рассматривал. Итак, это был он. Неужели я его никогда не встречал? Красивый, самоуверенный мужчина. Важный вид. Гордец? Лицо исполнено силы и решимости. Он не произвел на меня благоприятного впечатления. А может, виной тому просто похмелье и самая заурядная злость?

Рядом с ним стояла Кристина Паславская. Господи, до чего фотогенична! Почему ее до сих пор не обнаружил никто из фестивальной братии, даже из местных гданьских меценатов... Видимо, она принадлежит к иному кругу. А может, я все еще не протрезвел?

Сотрудники и сотрудницы из отдела веселой оравой окружают виновника торжества. И какую-то долю секунды я вижу, как он раскланивается, имитируя лобзания. Это Роман из рассказов Веси... Они быстро собирают букеты, и инженер выскальзывает следом за Кристиной из шумного секретариата.

— ...Мне хотелось немного побыть с ним вдвоем без посторонних. Мы заскочили ко мне, в ателье, якобы для того, чтобы отвезти цветы... Было, пожалуй, около одиннадцати... Он собирался вернуться...

Я видел, хоть этого не было на снимке, как они садятся в «симку» инженера. Она с букетами, он, воспользовавшись тем, что они одни в машине, целует Кристину сквозь цветы. Совсем как на открытках, которые я получаю порой от некоего художника. У него их целая коллекция, и все такие слащавые...

Я взял зеленую веточку из вазы, что стояла между нами на столике в шумном кафе, и обвил ею, как гирляндой, эти две головки на фотографии. Панна Паславская сидела напротив меня с бледной и

грустной улыбкой. А я представлял себе, как они входят в ателье. Должен честно признаться, что воочию увидел это помещение гораздо позже, а сейчас, передавая ее слова, описываю впечатления, которых тогда еще не было, но это, пожалуй, естественно — память все синтезирует и восполняет пробелы. Итак, они вошли в фотомастерскую — ателье Кристины и одновременно квартиру, как часто бывает у одиноких художников или фотографов. Это мансарда с застекленным потолком; тогда, по всей вероятности, пронизанная ярким солнечным светом, отраженным от снежного покрова. Огромные фотографические портреты и пейзажи загромождали половину помещения. Стол, уставленный проекторами, лампы на штативах, белые экраны и темные шторы. В глубине открытая дверь «темной» — лаборатории. На полках — альбомы, какие-то замысловатые изделия из керамики, лоскуты старинных тканей. А кроме того, всевозможные фигурки, обломки и бренные останки деревенских часовенок вперемежку с предметами бюргерского домашнего обихода или кухонной утварью — типичное скопище хлама во вкусе художников.

Кристина мгновенно переоделась в лаборатории, налила воды в вазы, возвышавшиеся среди ванночек с проявителем, и временно пристроила цветы. Вышла уже в домашнем платьице. Инженер, вероятно, обнял ее. Помню, как она мне это рассказывала, хоть и не записывал ее слов.

— ...Я сказала: «Дорогой мой, мы вечно будем так прятаться? Впрочем, что тут говорить о конспирации... Все о нас знают. Люди смеются надо мной... Неужели это тебе безразлично?»

Он ответил: «Если признаться откровенно, как на духу, то мне действительно... Ты же прекрасно знаешь, кто ты для меня...»

Кристина позволила ему поцеловать себя, потом выскользнула из его объятий. Взяла в руки полый стеклянный шар-поплавок, которыми рыбаки пользуются для маркировки сетей. Я прекрасно помню эти огромные шары в ее мастерской. Итак, она держала эту стеклянную штуковину в руке и всматривалась в нее, ни дать ни взять — гадалка во время сеанса.

Кристина сказала: «И что же с нами будет дальше? Видишь, дело обстоит так... по крайней мере для меня — дальше уже подобным образом продолжаться не может. До сих пор я была счастлива, теперь боюсь. Понимаешь ли ты, дорогой мой, что если бы сейчас что-нибудь изменилось, встало между нами... я не перенесла бы этого. Еще месяц, два месяца назад... Но теперь, теперь я уже боюсь думать о чем-либо...»

Он ответил ей: «Чего ты боишься, глупышка? Разве хоть что-то может идти в сравненье с тем, чем мы обладаем? Кристина!»

Она произнесла, вглядываясь в стеклянный шар: «Я боюсь ее... твоей жены. Если бы ты открыл ей всю правду о наших отношениях.... если бы сказал прямо и открыто, я не боялась бы. Какие бы это ни сулило неприятности... Любимый, ведь я понимаю, что это не просто. Я не беспокоилась бы ни о себе, ни о нас, если бы знала, что ей известна вся правда... из твоих уст. Не от кого-то там или откуда-то, а от тебя лично. Я не отличаюсь смелостью, но если бы знала, что ей все известно от тебя, могла бы не опускать глаз и никому не уступать дороги...»

Она склонилась над зеленоватым шаром. Я видел отражение их лиц, деформированное выпуклым стеклом. Роман ответил ей: «Но какое же это имеет значение? Ведь я ничего не скрываю. Даже то, что последнее время ночую на танкере, не составляет тайны. Неужели нельзя обойтись без сцены? Откуда эта потребность у тебя, Кристина? Ведь у нас получится жалкая драма с валидолом под занавес. И вдоба-

вок неискренняя, поскольку оба будем переигрывать, высказывая друг другу то, что хорошо знаем не первый год...»

Она спросила: «Неужели струсил?»

Он ответил: «Кристина, ты же знаешь, что все это мне претит. Не надо устраивать любительский спектакль. Меня ужасает подобная перспектива, ибо я не хочу привносить в наши отношения чего-либо такого, что бросило бы на них тень. К чему подвергать прекрасное чувство испытаниям грустным и отдающим безвкусицей, если все и так в курсе дела».

Она сказала: «А все-таки не подходишь к телефону... Приятно тебе это?»

Он в ответ: «О!.. Будем сохранять чувство юмора».

Она сказала: «Перестань. Не нахожу в этом ничего забавного. Нельзя же тебе прятаться на корабле, словно мальчишке, сбежавшему из дома... Стефан, так больше не может продолжаться! Что ты намерен делать?»

Роман ответил ей: «Что намерен, что намерен!.. Как-нибудь утрясется. Я устрою без шума, чтобы Александра уехала... Не стоит думать о таких вещах, когда мы вдвоем, Кристина. Ведь это именно то, чего ей хочется...»

Она сказала: «Действительно. У меня такое же впечатление. Что-то встает между нами. Именно поэтому...»

Роман схватил ее и привлек к себе. Стеклянный шар упал и с грохотом покатился по полу.

«Я суеверна»,— повторяла она мне многократно с пафосом пансионерки.

Он сказал ей: «Не в моих правилах поддаваться нажиму. Дорогая, в нашем распоряжении только полчаса. Все ерунда, и я ни в чем не усматриваю драмы... Перебраться к тебе, чтобы мне сюда непрерывно названивали?..— Он огляделся, ища бутылку вина.— Выпьем за мои тридцать пять... если тебя не пугает... Кстати, Наполеону было именно столько, когда он одержал победу под Аустерлицем».

Я услыхал громкий звонок телефона. Он пробился сквозь шум и гомон кафе, поскольку на антресолях становилось все оживленнее. Уставясь на меня своими неподвижными и лучистыми глазами, Кристина тихо говорила:

— Бог мой, трудно мне в данную минуту осуждать Романа после всего того, что случилось и что должно было потрясти его. Но не могу отделаться от мысли, что где-то там, в глубине души... это был человек безответственный. Ничто его не волновало, все ему давалось легко, он точно наслаждался пестротой жизни. («О боже, снова эта банальность!») И это притягивало...

Я опять услыхал навязчивое дребезжанье телефона. Звонок был пронзительный, задиристый.

Панна Паславская опустила глаза: «И тут его вызвали на пожар...»

Официантка возникла сзади, у нас за спиной.

— Панна Паславская...— объявила она.— Вам звонят.

Я провожал взглядом длинные светлые волосы собеседницы, ее поступь и худую спину.

10

Эту пленку я прокручивал чаще других. Даже пометил ролик красным крестиком. Усаживался в пижаме послеобеденной порой, когда начинались фестивальные репетиции, гостиница пустела и наступало самое тихое время. Я сидел, перевесив ноги через подлокот-

ник кресла, и, следя за вращающимся валиком, старался все это увидеть. Если не смог увидеть, думал я,— не смогу и понять. До войны «театр у микрофона» называли «театром воображения». Я сам неоднократно пытался писать для радио, правда, безуспешно, но все же представлял отчасти, что́ в магнитофонной записи следует дополнять «глазами души».

В начале этой пленки слышался мощный гул автонасоса. Столь громогласный, что местами приходилось уменьшать звук, дабы не беспокоить соседей. Этот гул напоминал мне пожарные машины с автонасосами и лестницами, которые поблескивали за окном красным лаком в открытых дверях гаража, а также на площадке перед зданием комендатуры. Если бы не стекло, гул бы почти перекрывал голос начальника и запись вообще бы не получилась. Там проводились учения. Бойцы пожарной охраны пробегали, выкрикивая команды, растягивали и сворачивали рукавный ход. Фосфоресцирующая лампочка вращалась на крыше серого автомобиля.

Я сидел в кабинете начальника пожарной охраны. На стене, позади него, виднелись плакаты с пояснительным текстом, схемами огнетушителей и прочего противопожарного инвентаря. Один из плакатов особенно привлек мое внимание, поскольку я уже рассматривал такой же точно на вокзале в Скерневицах, дожидаясь поезда в пять часов утра. Название его гласило: «Общий вид ядерного взрыва в пяти последовательных фазах». На первом рисунке изображалось маленькое солнышко, встающее над горизонтом. Последней фазы, пожалуй, не было. Обескураживал меня этот педантично отпечатанный плакат, который предназначался сонным пассажирам. Начальник пожарной охраны, седой и коротко остриженный, в мундире, наконец, притворил окно, и голос стал звучать отчетливее. Громкий гул автонасоса стих, приглушило его стекло. Я лучше слышал голос начальника, который начинал рассказывать, заглядывая для пущей важности в какие-то записи (пленка):

— *...Итак, когда раздался сигнал пожарной тревоги, объект находился в достроечном бассейне, пришвартованный к стенке. В нескольких десятках метров от него были склады с химическими веществами и легковоспламеняющимся сырьем... Беда, бесспорно, заключалась в том, что у руководителей работ имелись серьезные упущения в области противопожарной обороны. На корабле — ни внутри, ни на палубе — не было пожарных... Не сообщено нам, какие будут производиться работы... Одним словом, когда начался пожар, на танкере не оказалось никого, кто бы мог организовать тушение, показать аварийные выходы. Поскольку были открыты вентили системы, подающей топливо, всего метрах в пятнадцати от танков, очаг загорания возник прежде всего в машинном отделении, точнее, на площадке «А».* (Шелест. Начальник раскладывал на столе план «Карпат» с обозначенными помещениями и показывал их пальцем.)

...Все попытки перекрыть поступление горючего к очагу пожара, предпринятые снаружи, с палубы, оказались тщетными, поскольку сварщик Валясек заблокировал изнутри резервные вентили, чтобы ему никто не мешал работать. Вы понимаете... металлическое помещение, насыщенность легковоспламеняющимся материалом... в течение нескольких минут температура повышается. Все раскалено, постепенно накаляются танки, возникают газы...

Немолчный гул автонасоса, которому должны были вторить завывания сирен и рокот моторов, помогал мне увидеть тот мглистый, зимний день, заиндевелые стрелы подъемных кранов. Тушу нефтевоза у стенки, изрыгающую черный столб дыма. Смоляное грибовидное облако застилало низкий небосвод... Я видел это со стороны достроеч-

ного бассейна, где впервые беседовал с рыбаком о пожаре,— издали, отделенный водным зеркалом. Противопожарные катера держались на некотором расстоянии от горящего танкера, отплевываясь струями пены.

Штаб спасательных работ размещался у входа в бассейн. Отсюда были видны только величественный нос «Карпат» и шапка дыма. В призрачном свете, сочившемся сквозь разрывы в искусственной туче, подъезжали с воем и шумом кареты «скорой помощи», пожарные машины маневрировали на узкой кромке берега. Непрестанно сновали люди с какими-то инструментами, по лестницам и трапам карабкались пожарные в огнезащитных асбестовых робах, в противогазах и кислородных масках. Это напоминало научно-фантастический фильм о нашествии диковинных существ. Из мегафонов и рупоров гремели приказы для групп, находящихся на танкере: «Перекрыть вентиляторы и заглушки воздушной системы!», «Залить третий танк!», «Проверить, нет ли там кого-нибудь...», «Проверить кингстоны по левому борту!..», «Задраить пятую и шестую перегородки!», «Ковальский со вторым отделением — на корму!», «Проникнуть в туннель гребного вала... Направить туда людей...» Спасатели выносили первых пострадавших, обожженных и покрытых копотью рабочих. Черных от сажи, в разорванных комбинезонах. Снова динамик: «Внимание! Огонь распространяется! Задействовать огнетушители через осветительные люки!..» Видно было, как пламя пробивается наружу, густо сыпались черные хлопья гари. «Войцешак! Внимание, первое отделение! Попытайтесь проникнуть в машинное отделение со стороны третьей перегородки...» Фигуры в асбестовых костюмах пробегали по палубе «Карпат». Мощные струи воды били как фонтаны со всех сторон. К носилкам с первыми жертвами прорывались сквозь оцепление обезумевшие женщины, жены. Рыдания, пронзительные вопли и крики усиливали напряженность и трагизм обстановки.

Визжа тормозами и покрышками, мчалась от ворот по бетонированным улочкам «симка» инженера Романа. Ее заметили сразу. Дальше ехать было нельзя. Инженер выскакивает и бежит в сторону горящего нефтевоза. Вот он уже среди руководителей спасательных работ. Лицо бледное, мокрое от пота, но губы сжаты, не дрожат. Слышатся короткие вопросы, ответы, данные, которые удалось собрать: «Где загорелось?» — «В машинном отделении, на площадке «А», рядом с танками».— «Вентили?» — «Заблокированы. Невозможно перекрыть».— «Сколько там было человек?» Растерянное лицо Цецвежа. Проверяют списки. «Кто выбрался?» Все это под шум ширящихся спасательных работ...

Цецвеж докладывает дрожащим голосом: «В машинном отделении оставалось двадцать два человека...»

Поступали очередные донесения: «В туннеле уже никого нет».

— Выкачать мазут!— командовал инженер Роман.— Только учтите... с соблюдением всех мер...— Цецвежу: — Как долго они там находятся? — Начальнику пожарной охраны:— Вы полагаете, что они еще живы?

— Н-н-ну,— заикался начальник.— Ну, кто-нибудь наверняка...

Торопливо посовещались; секретарь парткома, инженеры, руководство спасательных работ.

— Заблокировать вентили,— говорил начальник пожарной охраны,— а значит, и прекратить приток горючего, невозможно. Перекачка его поможет лишь отчасти. Прошу помнить о повышении температуры. Взрыва можно избежать, если ослабим пламя...

— При постоянном притоке горючего?— спросил инженер Роман.

— Есть только две возможности,— настаивал начальник пожарной охраны.— На прекращение утечки горючего нечего рассчитывать, пока мы туда не доберемся; в данную минуту огонь преграждает доступ. Вторая возможность — это изолировать и погасить огонь, прежде чем произойдет взрыв...

— А люди?— спросил Роман.

— Пан инженер, я говорю ясно: необходимо прекратить доступ воздуха... А это крайне опасно...

— Знаю!— яростно рявкнул Роман.

— Прекратить доступ кислорода,— бормотал Цецвеж.— Лишь таким образом можно спасти корабль...

— Да вы что!— вскинулся Роман.— А люди внутри?

Решать было трудно. Пытались собрать какие-то мнения, найти у кого-то поддержку. На телефонной станции были перегружены все линии. Телефонистки соединяли, повторяя: «Алло! Варшава на проводе... Алло! Воеводское управление? Соединяю с дирекцией... Алло! Дирекция?.. Говорите...» Однако на все это оставалось чертовски мало времени.

Позади они видели толпу, скапливающуюся за оцеплением. Лица женщин, искаженные ужасом. Слышались вопли: «Спасите людей!.. Спасите.. людей!..» Они должны были осознать трагизм положения.

Инженер Роман стоял рядом с телефонным аппаратом, закрепленным на опоре подъемного крана.

— Да, пан директор...— повторял он.— В любую минуту может произойти взрыв... Нефть... нефть... Более двадцати человек... Хорошо, понимаю, пан директор. Люди... ну, понимаю, что люди... Но как? Только путем прекращения доступа воздуха. Если успеем... Двести тысяч литров. Ценой судна? Сто шестьдесят миллионов... Кто это возьмет на себя? Вы принимаете решение? Я... Понятно.

Роман бросил трубку и кинулся к группе, руководящей спасательными работами.

— Внимание! Спасать людей хотя бы ценой судна.

— Так что же?— спросил начальник пожарной охраны.— Вы принимаете решение прекратить доступ?..

Загремел голос в мегафоне: «Огонь подходит к танкам!»

Был отдан приказ: «Убрать всех с территории!» Поднялся крик и плач. Цепочка милиционеров попятилась. Но вокруг теснились склады, украшенные надписями: «Огнеопасно». Все больше было видно офицеров пожарной охраны и мундиров ВВС [1]. Истерически выли сирены.

Цецвеж твердил как оглушенный:

— До них не добраться...

— Значит,— проглотил слюну Роман,— им нет спасенья?

— Разве что...— забормотал Цецвеж.— Остается последнее средство... если вообще успеем.

— Какое?

— Вырезать отверстие в корпусе... на уровне машинного отделения,— сказал строитель «Карпат».

Инженер Роман быстро спросил:

— Сколько на это потребуется времени?

— Исключено,— вмешался начальник, упрямо качая головой,— это все равно что бросить туда бочку пороха. Не понимаете? Воздух... всосет. Возникнет огромная тяга. Разгорится сызнова... И тогда — девяносто процентов за то, что взорвется... Вдобавок где?.. Весь корабль и склады, половина судоверфи. Тут никто не уцелеет, пан инженер.

---

[1] Внутренняя военная служба.

— Вы правы,— захрипел Цецвеж.— Пресвятая дева!

Догорающая сигарета обжигала ему пальцы. Оборотная сторона пленки снова загудела отголосками рокочущей помпы, которые непрерывно доносились с улицы. Потом послышался голос начальника пожарной охраны (пленка):

— *...Так выглядела обстановка. Иного выхода не было. Либо погасить пожар, прекратив доступ воздуха,— если бы успели опередить взрыв нефти... Тут решали каждые четверть часа, каждая минута. Нельзя было медлить. И тогда бы никто не спасся из оставшихся там, внизу... Либо резать корпус, чтобы выпустить тех, внизу, открыть к ним доступ... и тогда взрыв почти неизбежен. На этот счет, уважаемый, у специалиста не могло быть сомнений. Тогда бы уже не один корабль, но и склады... прямо-таки конец света.*

Я услыхал свой собственный голос, запечатленный на пленке:

— *...Кто там был на месте? С самого начала. Когда принимали решение?*

Начальник: «*Сейчас скажу. Когда мы начали операцию, никого нельзя было найти. Так получилось. Генеральный директор в Варшаве, заместитель в Гдыне... Начальство собиралось постепенно. Начальника отдела, инженера Романа, каким-то чудом вызвали из города, от какой-то бабы... Он был одним из первых. Потом понаехало... И Воеводский комитет, и Внутренняя военная служба, и прокуратура, и Главное правление. Я ничего не мог делать без согласования. Вы знаете, такая ценность...*»

Мой голос: «*Так кого же вы слушались?*»

Начальник: «*Инженера Романа. Он был там, на месте, руководителем работ*».

Мой голос: «*А что он мог сделать?*»

Молчание. После раздумья: «*Ничего... Я должен был гасить...*»

11

Это был молодой человек, целиком и полностью взращенный после войны. Меня всегда поражала эта заранее предполагаемая зрелость и роль духовного наставника, официально вменяемая в обязанность. Ибо в чем же он мог быть искусен, кроме тактики, и каким обладать опытом, кроме того, который дает работа в аппарате. Он был частицей этого аппарата, но вполне ли сознательной? Доводилось ли ему хоть раз решать самому, на свою ответственность и от своего имени, пересматривая сложившиеся «нормы бытия»? Мог ли он встретить лицом к лицу жестокий приговор или заговор обстоятельств — как Цецвеж или прежде всего тот, незнакомый мне, инженер,— ломающий нечто большее чем служебная карьера? Однако секретарь парткома был выразителем официального мнения и одновременно очевидцем, с чьей точкой зрения приходилось считаться. Кроме того, он был молод, гораздо моложе меня, а мне хотелось выслушать самые разнообразные мнения. И вот я разглядывал его кабинет, украшенный портретами и эмблемами. Молодой человек, секретарь партийного комитета, сидел напротив меня.

— Вы были вместе с инженером Романом во время спасательных работ тогда, в тот напряженный момент, когда осуществлялся выбор: спасать ли людей ценой судна или судно ценою человеческих жизней? — спросил я.

Он взглянул на меня, вскинув брови. Произнес спокойно и задумчиво: «Так не стоял вопрос».

Я наклонился вперед: «Вы в этом уверены?»

И тут же, еще до того, как отзвучал мой вопрос, поставил свой репортерский магнитофон марки «Националь» прямо перед ним на стол и включил не таясь, так, чтобы секретарь парткома видел. Тот даже глазом не моргнул и повторил спокойно (запись):

— *...Не было такого выбора. Вообще не возникал вопрос — спасать ли судно ценой человеческих жизней. У нас была одна задача: спасать людей, если удастся, даже ценою корабля. Ну и вторая задача: как можно быстрее ликвидировать пожар, чтобы не было катастрофы. К сожалению, первое оказалось невозможным...*

Я: *«А идея пробить отверстие в корпусе?»*

Секретарь парткома: *«Не давала гарантии. Возможно, это вас не убедит, но специалистов убедило. Там некогда было гадать «если бы да кабы». И нельзя за это упрекать инженера Романа. Этому человеку такое пришлось пережить — как никому другому... Я был рядом с ним. Видел его лицо.»*

Итак, я снова смог представить себе своего непостижимого героя — в открытых дверях склада, напротив пылающего корпуса «Карпат», на сей раз по описанию еще одного свидетеля. Был он зауряден или необычен, никогда не смогу в этом разобраться. Во всяком случае тогда он наверняка был реальной личностью, ибо существовал для многих, многих людей. Секретарь парткома стоял рядом с микрофоном радиотелефона в руке. Рядом были — тяжело отдувающийся Цецвеж, рабочие, мастера и милиционеры. Подбежал начальник пожарной охраны.

— Так что же? — спрашивал.— Люди, решайте! Дорога каждая минута...

Цецвеж стонал: «Чего хочешь, мил-человек?»

Голос из мегафона бубнил в полумраке склада: «Огонь распространяется по вентиляционной системе. Второму отделению выйти наружу!»

В дверях, загородив свет, стал мастер Собецкий, как силуэт из черной бумаги. Весь в саже, в прожженной спецовке. Двое рабочих несли за ним следом автомат для резанья металла.

— Пан инженер...— захрипел он.— Будем резать?..

Секретарь парткома помнил лицо Романа. Лицо бескровное, окаменевшее. Инженер смотрел по сторонам, то на танкер, то на раскинувшиеся вокруг склады. Вытирал пот рукой. Встал, сделал несколько шагов к дверям, к узкому, сумрачному просвету, который заклинивала часть дымящегося корпуса. Там, за оцеплением, искаженные ужасом лица — родственники тех, что были отрезаны на танкере. Пожарные поливали из огнетушителей стены складских помещений. Инженер смотрел на танкер и на растущее облако дыма над ним. Ему бросился в глаза закопченный бок корабля на уровне машинного отделения. Проеденная огнем сталь, дым, сочащийся сквозь щели в борту, густой и черный словно конская грива. Затем инженер взглянул на лица-маски окружавших его людей. Никто ничего не говорил, лишь курился пар от дыхания. Все застыли в тягостном ожидании. Слышался только гул пожара. Инженер Роман медленно покачал головой. Сказал Собецкому:

— Нет, не будем резать.

— А люди?..— Собецкий побледнел. В ужасе попятился, глядя на инженера.

Роман сделал два шага в ту сторону, где стоял начальник пожарной охраны.

— Перекрыть доступ воздуха.

Секретарь парткома бросился к телефону. Закричал: «Пригото-

виться спасателям! Проникнуть в машинное отделение, как только получите сигнал, что огонь отступил...»

В глазах инженера должен был тогда отражаться густой дым.

Я слышал — и они у меня записаны — слова секретаря парткома (пленка):

— *...Так вот. Этот человек не мог принять иного решения. И одновременно сознавал, что пассивно взирает на гибель людей, не в силах помочь терпящим бедствие.*

Я: *«Руководство санкционировало его решение?»*

Голос секретаря парткома: *«Да»*.

Тогда я выключил и спрятал магнитофон.

12

Запись на оборотной стороне пленки этого ролика была сделана на следующий день из-под полы пиджака, отчего получилась не вполне отчетливой. Я сидел в воеводской прокуратуре, где меня уже знали, ибо я недавно просматривал тут документы, а теперь нанес визит прокурору, который вел следствие. Он производил довольно приятное впечатление. Вышел мне навстречу и усадил в кожаное кресло, поэтому я предпочел не демонстрировать ему магнитофон. Он проговорил деловито (пленка):

— *...А, это вы. Присаживайтесь. Кто вас интересует?*

Мой голос: *«Инженер Стефан Роман. В связи с пожаром на «Карпатах». Вы его допрашивали?»*

Прокурор: *«Да, я. Ну, что ж. Мы исследовали все обстоятельства. Непосредственной вины в нарушении инструкций в данном случае не установлено. Чего-то лично недосмотрел, что-то не сказал достаточно ясно. Но это заслуживает лишь дисциплинарных мер или оргвыводов. Такова картина в свете результатов следствия. Это так, но моральная ответственность, которая на него возлагалась, не снимается. На нем осталось некое пятно. Он получил жестокий урок... Должен сказать— хоть это и звучит парадоксально,— что мы были вынуждены до некоторой степени брать Романа под защиту. Люди, особенно потерявшие близких, считали лично его ответственным... Видите ли, те, кого постигло горе, склонны искать непосредственных виновников. Многое заслуживает упрека, но что случилось, то случилось — и нет чудес, которые исправили бы положение. Виноваты были очень и очень многие...* (Тут наступило минутное молчание, прокурор собирался с мыслями и набивал трубку. Затем — шипение зажженной спички и голос): *Видите ли, это может вас удивить, но мы, карающая десница, юристы, которых, казалось бы, должна интересовать чисто правовая, объективная или фактическая сторона человеческого деяния, больше занимаемся психологией, изучаем людей, с которыми имеем дело, как защитники интересов и безопасности общества. Может, даже больше, чем писатели. Вникаем в их положение, стараемся распутать... и оценить то, что других вовсе не касается. С какими только драмами не сталкиваешься ежедневно, чтобы защитить людей от того, что скрывается в них самих. По существу никто так тесно не связан с обвиняемым, как прокурор, никто так тесно с ним не соприкасается. С адвокатом обвиняемого связывает соглашение, допускающее умолчание. С обвинителем нет соглашения... есть только спор об истине...»*

Не скажу, чтобы я полностью верил прокурору. К тому же далее следовал фрагмент, который основательно подорвал мою веру в искренность его слов. Сидя в пижаме на тахте и болтая босыми ступня-

ми, я внимал откровениям прокурора. Это не имело значения, раз уж я получил из его уст официальное подтверждение того, что следствие по делу инженера прекращено. Остальное из сказанного им интересовало меня в несколько ином плане, расширяло мое представление о перипетиях Романа и общей картине, дополняло фабулу, которую я конструировал, собирая материал по крохам, где придется. Еще одна точка зрения, вдобавок не просто свидетеля, а свидетеля особого рода. Между тем голос прокурора продолжал звучать (запись):

— *...Сразу же после первого допроса я встретил его... ну, этого инженера, в довольно жутковатой обстановке, отчасти шекспировской. Ведь я был на похоронах жертв...*

Мой голос: *«Вы его подозревали и наблюдали за ним?»*

Прокурор: *«Что вы. С какой стати...»*

Но я слыхал уже об этой истории (безразлично от кого, это не суть важно), и тот рассказ свидетельствовал о противоположном. Погребение погибших, состоявшееся зимним днем, было памятным событием. У кладбищенских ворот толпилась тьма народа, с трудом протискивались автомобили. Похороны в нашей стране — явление незаурядное, по ним можно бы писать историю... Процессия уже формировалась на главных аллеях кладбища, которые сбегались в одну, ведущую к участку, отведенному жертвам пожара, лежащему в глубине. Было серебристо, бело и туманно, снег, как обычно на Побережье, выпал рано, и задубевшая земля едва поддавалась извечным трудягам — кирке и заступу. Солнце померкло, как на передержанном снимке, бессильное освободить деревья от белого кружева, которым обросли арабески веток, и все вокруг было кристаллическим, сахарным — от мельчайшей искорки инея до всего блеклого пейзажа; все напоминало промерзший насквозь белый морг, в который вторглась ошалелая толпа, окутанная клубами пара. Лишь ее горячее дыхание и слезы, согревающие щеки, были вызовом, который живая плоть бросала величаво-мертвенному сиянию зимнего дня. Желтоватое солнце, просвечивающее сквозь мглу, фиолетово-синие тени, абстрактная вязь веток. Белизна хризантем, этих поздних цветов, — а также багрянец транспарантов и венков, как кровавый след, ведущий к могилам.

Неподалеку от ворот, у свободной кромки тротуара, остановилась «симка» инженера Романа. Он выбрался из машины. Был весь в черном, с зонтом в руке. Он производил впечатление джентльмена, прибывшего на похороны шефа. В этот же самый момент, метрах в пятнадцати позади него, остановилась служебная «волга», и из нее вышел прокурор. Можно было услышать стук одновременно захлопываемых дверок. Взгляды их на мгновенье встретились. Казалось, прокурор приехал сюда следом за Романом, а очевидцы могли даже предположить — ибо нечто такое было в строгих, деревянных движениях чиновника,— что он желает при всем честном народе уладить какое-то важное дело. Поэтому две безмолвные шеренги у входа проводили их любопытными взглядами.

Инженеру Роману, как легко догадаться, было вдвойне тяжело. Прежде всего от сознания, что он присутствует здесь, на похоронах жертв пожара, а затем от мысли, возникшей позже, что прокурор следует за ним и все, вероятно, приписывают этому особый смысл. Его могла бесить эта зловещая сцена. Но он старался не думать об этом — сама процедура таких похорон была достаточно угнетающей. Возникла напряженная атмосфера ожидания. Инженер, пожалуй, отдавал себе отчет в том, что не мог не прийти сюда. А теперь они оба привлекают к себе внимание...

Погребальное шествие текло под серебристым сводом опушенных инеем ветвей. Каменное царство крестов, надгробий — и тьма людей,

тяжело отдувающихся, норовящих шагать в такт, отмеряемый хриплым оркестром. За лавиной гробов и знамен — семьи, знакомые погибших, товарищи по работе на судоверфи,— и Стефан Роман, отдельно, как бы в образовавшейся вокруг него пустоте, а чуть поотстав — прокурор. Мелькают лица выстроившихся в два ряда чужих людей, которые приглядываются к этим необычным участникам погребальной церемонии. Часть толпы застывает у одной из отверстых могил. Молкнет оркестр, и в тишине, воцарившейся внезапно, слышится далекое карканье ворон. Инженер Роман, со шляпой и зонтом в руках, выглядит — все это заметили — человеком больным, напуганным, постаревшим. Никто прежде не видал его таким, но не было жалости ни в чьих взорах. Наконец он, вероятно, понял это и почувствовал себя настолько скверно, что попытался украдкой выбраться из толпы. И тут увидел прокурора, который все время стоял рядом...

— *...Вы за ним наблюдали?*

— *Нет. Чего ради.*

Второй эпизод тоже был мне известен со слов некоего очевидца. Вещи, запечатленные с двух точек обзора, обретают объемность. Высокие, припорошенные снегом стены живой изгороди в парке, перед оливским собором. Это благодаря ей и своеобразному расположению деревьев храм даже с близкого расстояния не сразу заметишь среди городских зданий. Мой прокурор задумчиво брел по направлению к собору, где должен был состояться концерт органной музыки. В храме горело электричество, так как снег, от которого дневной свет стал чуть поярче, облепил витражи плотным, пухлым покровом, затемняя бездонное чрево готического собора. У прокурора был куплен билет. В великолепной оправе проспекта в стиле рококо гудели древние трубы органа, сработанного Вульфом еще в восемнадцатом веке, и звучание его заполняло все уголки высоченного нефа. Блуждающий взгляд прокурора останавливался на фигурках с инструментами, шествовавших деревянной походкой. Весь механизм был уже пущен в ход. Кукольные музыканты вскидывали трубы, размахивали бубнами и тарелками под звуки погребальной мелодии. Это музыкальное действо забавляло лишь при первом знакомстве. Сейчас прокурор почти не замечал его. В занимающей скамьи публике, чьи лица золотил отблеск электрических светильников, легко было заметить инженера Романа. По мнению прокурора, он выглядел как человек, потерявший кого-то близкого. Был в черном, я знал, что это его обычный наряд, немного в английском вкусе, так он всегда одевался, но в этой обстановке и атмосфере могло показаться, будто бы он умышленно носит траур. Выглядел изможденным, сидел прямо и неподвижно, отрешенный, весь обратившийся в слух. Прокурор осторожно присел неподалеку. Орган более чем на сто регистров гремел шестью тысячами труб «Реквием» Моцарта. Звучали секвенции («Dies irae»[1]). Рядом с инженером сидела Кристина (прокурор не упомянул ее фамилии). Его внимание привлекли не только ее лицо и распущенные волосы с металлическим отблеском, и даже не глаза — капли света,— но ее встревоженность. Глаза девушки не были, как обычно, неподвижны. Прокурор видел их выражение и то, как она бросала неуверенные взгляды на инженера. Наконец, пресыщенная пафосом этой «убеждающей» музыки, лучезарностью храма и моцартовской суровостью, она встала со скамьи и быстро направилась к выходу. Трудно было пропустить этот момент, как трудно было вообще не заметить Кристины. Только тут инженер словно бы очнулся, увидел, что девушка вышла, окинул растерянным взглядом окружающих его любителей музыки и встре-

[1] «День гнева» *(лат.)*.— обязательная часть траурной мессы.

тился глазами с прокурором, который все время наблюдал за Романом. А над ними гремел орган.

С минуту ролик вращался беззвучно, ничего не было слышно, кроме странных звуков, приглушенных полой пиджака, которые могло вызвать соприкосновение подкладки с микрофоном, ибо я не имел возможности включать и выключать его по мере необходимости, так что израсходовал впустую массу пленки и еще придется запись перемонтировать. Следовательно, мы некоторое время сидели молча. Мне казалось теперь, в тиши номера, что из динамика должны доноситься звуки моцартовского «Реквиема», поскольку я не знал, что звучит в моем воображении, а что на самом деле. Кто-то хихикал в коридоре, хлопали двери лифта, должны были поскрипывать кожаные кресла в прокурорском кабинете — а может, я уже больше ничего не сумел запечатлеть на пленке? Начали путаться даты, десятки голосов наслаивались друг на друга. Но вдруг услыхал доверительный голос прокурора (запись):

— *Видите ли, возможно, что тогда с моей стороны была проявлена известная, как бы выразиться... жестокость. Но хорошо, что я все видел. Мне это было необходимо. Это и есть, знаете ли, те самые узы между обвинителем и обвиняемым... А может, вас удивит, что я, работник прокуратуры, хожу на концерты в Оливу? Не удивляйтесь. Я меломан...*

Мой голос: «*Я не удивляюсь. Благодарю вас*».

13

Зной не спадал, и к назначенному месту я приплелся мокрый, взмыленный, как загнанная лошадь. Пересек площадку перед клиникой, озираясь по сторонам, чтобы не угодить под колеса снующих взад-вперед карет «скорой помощи». Словно какой-то мор напал на сонный город. Было чертовски жарко в эту послеполуденную пору солнечного августовского дня. В клинике по прохладным квадратам линолеума скользили врачи и сестры в распахивающихся халатах, под которыми виднелись купальные костюмы или одежда, ограниченная до минимума. Все это создавало какую-то беззаботную и полуотпускную атмосферу. Узнав в регистратуре, как пройти в кожное отделение, я шагал по стерильному, благоухающему карболкой коридору. Наконец, нашел дверь приемной амбулатории. Открывая ее, я невольно поморщился и постарался не прикасаться к дверной ручке, словно из опасения испачкаться. Таковы автоматические рефлексы, связанные с представлениями о венерических заболеваниях. В приемной сидели на белой скамье две девицы, весьма красноречивой и недвусмысленной внешности. Обе были крикливо одеты, но не по молодежной моде, с какими-то провинциальными прическами, и, как мне показалось, чувствовали себя в это время суток не в своей тарелке. С виду — типичные «пташки». Кроме них сидел еще пожилой мужчина с забинтованными кистями рук, который поглядывал на соседок с нескрываемой брезгливостью и отвращением. Девицы, замолчавшие было при моем появлении, снова бойко засудачили. Я присел в противоположном углу. Это смахивало на сцену из дурацкой комедии. Несколько минут продолжался молчаливый обмен взглядами, довольно странное взаимное изучение, в ходе которого каждый из дожидавшихся приема, дабы предупредить возникающие у других предположения, прикидывался, что он совсем не тот, за кого его принимают. Эту затягивающуюся пантомиму, ибо смешки девиц были не в счет, прерывала время от времени дежурная сестра, выкликая в порядке очереди

номера пациентов. Наконец, она подошла ко мне и строго спросила: «Вы к пани доктору Роман?» — и в ответ на мой утвердительный кивок смерила меня странным, оценивающим взглядом. Я скорчил воинственную мину: а что, разве я не могу быть пациентом? Нелепая комедия продолжалась.

Прием, пожалуй, подходил к концу. Я поднялся последним с неудобной скамьи, от которой началась ломота во всем теле, изнывая от скуки, поскольку меня уже давно перестала забавлять разыгрываемая роль. В кабинете пани доктор, Александра Роман, стоя ко мне спиной, мыла руки в растворе сулемы.

И только когда она уселась за столом с бумагами и картотекой, я увидел ее холодные глаза. Она напомнила мне кого-то из редакции или министерства, но та знакомая особа была не женщиной, а мужчиной.

— Слушаю вас.

Я чихнул от едкого запаха сулемы. Рубашка была мокрой насквозь.

— Вы идете обедать? — осведомился я.

Она взглянула на меня удивленно, даже с раздражением.

— В чем дело?

— Я не пациент,— пришлось объяснить мне.— Вчера мы условились, что сегодня, после приема, я приду к вам поговорить о вашем супруге, инженере Романе. Прием немного затянулся...

Она отложила перо и сняла очки.

— Но чего ради тут-то рассиживались? Нашли место. Не могли подождать на солнышке?

— Я люблю наблюдать новых знакомых за их повседневным трудом,— изрек я назидательно, не вполне уверенный, правильный ли это тон.— Поверьте мне, доктор... это помогает вести беседу.

Она ничего не ответила и не нарушила молчания, пока снимала халат, собираясь в дорогу. Заговорила лишь через четверть часа, вставляя ключ в замочную скважину дверей своей квартиры.

— Я не люблю ресторанов,— заявила пани Александра сухо, словно продолжая какой-то мнимый разговор, которого вовсе не было по пути сюда.— Приготовление пищи — достаточно серьезная функция, и человек самостоятельный, если это в его возможностях, должен заниматься ею лично. Я говорю не только с медицинской точки зрения. За этими занятиями легче думать и разговаривать.

Итак, мы вступили в бывшую квартиру супругов Роман. Так я должен назвать ее для себя. Ибо, хотя инженер и не заглядывал сюда уже год, все оставалось на своих местах. Я не мог слишком нахально глазеть по сторонам. Пани Роман разулась и надела домашние шлепанцы. Паркет сверкал, и я не сходил с мягких суконных половичков. Не было ни собаки, ни кошки, хозяйка не признавала домашних животных. В довольно современной и богато обставленной столовой на столе дожидался один прибор. Пани доктор достала второй. Она уже надела синтетический передник и принялась хлопотать на кухне, которую соединяло со столовой широкое раздвижное окно. Чтобы не терять визуальную связь с хозяйкой, я встал возле этого окна, как бы наполовину присутствуя в кухне. Я лез из кожи вон, желая создать непринужденную атмосферу. А в довершение всего — слишком много зная о своем несчастном герое — был вынужден постоянно держать ухо востро, чтобы о чем-либо не проговориться при его жене.

— Перекусите у меня,— сказала пани Роман отнюдь не в вопросительной форме,— если это вас устроит. Сэкономим время.

Вопреки всему, видимо, я произвел на нее благоприятное впечатление, поскольку она не выставила меня за дверь. Вероятно, почувст-

вовала мою интеллигентность. Пожалуйста, не смейтесь, говорю вполне серьезно: я человек интеллигентный. Что же касается моей внешности, то тут мне трудно сказать что-либо. Пани доктор в данный момент представляла собой наименее благодарный объект, на котором я мог бы производить какие-либо эксперименты в данном направлении. Ерзая на проклятых суконках между книжными полками и пушистым ковром, я осмотрел мимоходом несколько крупных фотографий инженера, демонстративно размещенных в квартире и свидетельствующих о некоторой слабости отсутствующего хозяина к собственной персоне: инженер возле машины, инженер на борту судна водоизмещением 10 000 тонн, инженер, пожимающий руку министра в момент награждения орденом. И всякий раз меня поражало одно и то же впечатление, что этот человек выглядит иначе, нежели я мысленно представлял себе его на основании рассказов Веси. Это не был Роман с фотографии, где он запечатлен вдвоем с Кристиной по случаю дня рождения, и не тот трагичный и загадочный, сидящий в дверях сумрачного склада против пылающего танкера, наконец, не тот жалкий неврастеник, за которым наблюдал прокурор. В рассказах всех вышеупомянутых лиц всякий раз выступал кто-то иной. Как же мне понять человека, которого я совершенно не представляю?

Наша беседа с пани Александрой продолжалась через кухонное окно. Я зорко следил за четкими движениями стряпавшей хозяйки. Меня обескураживала энергичность этой женщины, сдержанной и словно бы привыкшей к несколько грубоватой откровенности.

— Вы предпочитаете не слишком прожаренный бифштекс? — говорила она, молниеносно приготовляя обед.—Подавайте мне тарелки... Итак, вы спрашиваете, что это за человек? Меня, жену, спрашиваете? Что я пережила в связи с этим... А разве это так уж трудно себе представить?

Ей было удобнее чем-нибудь заниматься. Это давало время подумать. И она могла не показывать своего лица. Могла прерывать рассказ, уклоняться, молчать.

— Одним словом, вас интересует характер моего мужа. Я буду с вами откровенна... (Каждый мне заявлял это предварительно...) Собственно, у меня нет оснований отказывать в помощи вам, который предпринимает усилия понять некоторые дела человеческие. Благо для меня лично это, скорее, уже пройденный этап. Я сделала то, что мне положено.

Все это выглядело чуточку странно в сочетании с ароматом лука и громким шипением жарившихся бифштексов. Я почувствовал себя отчаянно голодным, и мне трудно было сосредоточиться.

— Дальнейшее уже превосходит мои возможности,— продолжала она, расстилая салфетки в красную клеточку. Сервировка напоминала итальянский ресторан, тем более что хозяйка велела мне жестом откупорить бутылку красного вина.— Итак, я расскажу вам, что думаю о его характере. Этот человек не вполне ответственный, хотя бы по душевному складу... Всегда был таким...— доносилось из окошка,— а когда повезло, положение его упрочилось и начались производственные успехи,— она снова исчезла на мгновение,— именно эти скрытые качества взяли верх.— Она достала из холодильника кувшинчик с водой.— Пожалуйста, берите салат... Человек... извините, что так говорю... но, по моему разумению, эгоистичный, крайне самовлюбленный, который не желает в чем-либо себе отказывать. Он думал, что весь мир принадлежит ему... Пожалуй, салат удался...— Она захрустела зеленым листком, политым оливковым маслом.— Он, к сожалению, не знал, что испытания, настоящие испытания еще впереди... Пожалуйста, накладывайте себе. Приведу один пример, извините, довольно

частного свойства. В конце концов, у меня как жены был несколько иной набор впечатлений...

В ходе этой беседы хозяйка дома завершила хлопоты по приготовлению обеда и продолжила свой рассказ уже за столом, приступая к трапезе.

— У меня есть младшая сестра, несчастная милая девочка в возрасте пансионерки. Теперь его называют биг-битовым. Живет она в провинции, без матери, с отцом-инвалидом. Шестнадцатилетние девочки обитают в мире экзальтированных мечтаний и иллюзий. Моя малышка не очень-то современна. У нее еще добавочный комплекс — одна ступня слегка деформирована, что вызывает легкую хромоту, не позволяет ей ни танцевать, ни участвовать в походах, и джинсы ей не идут. У Иоаси сложилось твердое убеждение, что наш дом — прибежище идеально счастливых людей. Я для нее олицетворяла богоизбранную особу, которая подтверждает возможность счастья на земле. Стефан сделался в ее глазах чудесным воплощением Тристана, а наше супружество — символом того, что, согласно ее предположениям, для нее недосягаемо. Каждый ее приезд к нам, на Побережье, становился посещением райского уголка, доказательством того, что в жизни — причем не где-то, а совсем рядом, в жизни ее собственной сестры — идеальное может обрести черты реальности...

Доктор Роман прихлебывала вино с водой, а я разглядывал стоящую позади нее на полке фотографию инженера в черном костюме. Так он должен был выглядеть в тот день, о котором рассказывала жена. Мне тем легче было представить все, о чем говорилось, поскольку я находился в той же самой комнате, вид которой год или полтора назад наверняка ни на йоту не отличался от нынешнего — в чем не приходилось сомневаться, зная хозяйку. Только был вечер. Иоася, свояченица инженера, вероятно, показалась в этих дверях в своем выходном, очень девчачьем, но наверняка нарядном платье. Полагаю, что мой дедуктивный метод безошибочен. Я никогда не видел и наверняка не увижу этой девушки, поэтому пытался подменить ее какой-нибудь актрисой, но в голову приходила только Анук Эме с отвратительным протезом из фильма «Шутник», что не годилось ни под каким видом. Инженер и его супруга тоже были в вечерних выходных нарядах. Это я уже выяснил у хозяйки дома. На столе, за которым мы теперь сидели,— такая же бутылка вина, остатки ужина.

Иоася, по словам пани Роман, сказала примерно следующее:

— Когда я у вас, Аленька, то мне кажется, что дышу каким-то особенным воздухом, которого нет у нас в Красныставе. Словно горят здесь палочки из дерева — ну, как оно называется?.. сандаловое.

Инженер сказал: «Не болтай глупости, малышка. Мы торопимся. Малецкие ждут с девяти часов...»

И осушил рюмку вина.

Пани Роман воскликнула: «Стефан! Ведь ты ведешь машину... Или — или. Я сажусь...»

Инженер обошел, приплясывая, вокруг стола. Он был в слишком хорошем настроении и, допустим, напевал: «Рыжий, рыжий, рыжий гриб мне найти охо-о-о-та...»

Пани Роман сказала рассудительно: «Не знаю, умно ли брать такую девчонку в ресторан», но увидев глаза Иоаси и жест мужа, торопливо потянулась за пальто, желая поскорее сгладить впечатление, произведенное ее словами.

Вскоре они мчались с чрезмерной, как обычно, скоростью в сторону Сопота. Сердито мигали фары обгоняемых ими машин. Инженер напевал и слишком резко крутил баранку. Жена, что я мог легко

представить, ежеминутно клала ему руку на плечо, чтобы сдержать его. В зеркальце поблескивали встревоженные глаза Иоаси.

Дальнейшее развитие событий этого вечера ныне известно мне также со слов инженера Малецкого, который изложил их мне, о чем я еще вам поведаю. Если я чуть забегаю вперед, то отнюдь не из пренебрежения к хронологии, по крайней мере к той ее функции, которая помогает систематизировать разрозненные факты, ибо по мере возможности хотел бы тут избежать какого-либо сочинительства — но должен лишь подчеркнуть, что фактическим материалом располагал в достатке. Однако фигура инженера Романа, обрисованная разными людьми, раздражала своей многоликостью — и он оставался для меня только таким, каким запечатлелся в чужой памяти.

На сей раз я больше доверял Малецкому, который как-никак считался его другом и был скорее беспристрастным свидетелем.

Итак, когда супружеская чета Романов вместе с родственницей появилась в ночном ресторане «Бунгало», гульба шла вовсю. С эстрады гремел твист, который безраздельно властвовал в те времена. Заведение, хорошо мне знакомое, помещавшееся в великолепном саду, напоминало скорее живописное подземелье, где «отплясывали разбойнички», нежели скучные интерьеры гостиничного типа. Инженер Малецкий, как сам признавался, уже изрядно выпил, рядом сидели его жена Анна и еще двое каких-то развязных молодых людей тоже в подпитии. Было многолюдно, пестро, душно. От недалекого бара доносился гомон, а со стороны дансинга — звон гитар. В этом шуме слились воедино приветствия в адрес вновь прибывших и бормотанье обоих юнцов. Супружеская пара с Иоасей пристроилась к столику, на котором порожние бутылки говорили сами за себя и были укором для опоздавших.

Малецкий объяснил обстановку:

— Мы не могли вас дождаться и обмыли злую шутку, которую вы над нами сыграли... Ведь дали слово...

Юнцы подобострастно кланялись, подлизываясь к Роману:

— Представьте нас, пан инженер... В вашем присутствии у нас нет никаких надежд на успех у женщин... а также у находящихся здесь танцующих дам...

В пополнившейся компании установилось равновесие. Юнцы, чьи фамилии Малецкий уже запамятовал, развлекали юную сестричку инженерши, особенно рьяно нажимая на ее невинный возраст, а также пытаясь изображать двух воспитанников детского сада; брали назад все неприличные слова либо двусмысленные шуточки, которыми сыпали, а поскольку не могли обойтись без «приправы» почти в каждой фразе, это был сплошной фарс в довольно разухабистом стиле. Инженер Роман все больше хорохорился, дамы дарили его заинтригованными взглядами. Малецкий развлекал жен. Время летело быстро. Роману раз-другой удалось проскользнуть к бару, видимо, в тот день на него нашел стих. Между тем на паркетном круге, отлично просматривавшемся с того места, где они сидели, уже некоторое время блистала, извиваясь в твисте, великолепная блондинка. Она танцевала столь мастерски, что вокруг нее и партнера, какого-то лопоухого парня в кожанке, незаметно образовалось свободное место, остальные пары предпочитали глазеть на них. За столиком Романов и Малецких тоже все невольно восхищались этими танцорами. Учитывая положение Иоаси, о радостях хореографии никто не помышлял, якобы по рассеянности, наслаждаясь лишь застольем и беседой. Однако атмосфера заведенья оказывала свое подспудное воздействие. Малецкий, круглый, словно обточенный биллиардный шар, то и дело добродушно отпускал шуточки насчет фурора, производимо-

го Стефаном, да приговаривал: «Ах, какой сердцеед должен скрываться под невинной внешностью нашего друга». Пани Александра принимала его остроты без восторга. Все это было не слишком тактично, но, как неоднократно подчеркивал друг Романа, ресторанная атмосфера и возлияние способствуют возникновению некоторой непринужденности и заглушают голос рассудка. Снова послышались восторженные крики зрителей, исполняющая соло блондинка привлекала общее внимание, все вместе со стульями поворачивались к паркетному кругу. Один из юнцов молитвенно складывал руки: «Ну и симпампончик, боже милостивый! Такую бы подцепить... пардон, пригласить в кафе-мороженое...»

— Кто же это такая? — ломал голову другой.— Почему я ее до сих пор не встречал?..

Малецкий попытался похвастаться: «Я знаю. Это какая-то художница-фотограф или, как говорят: фотографиня.— На кончике языка у него уже вертелся какой-то не слишком изысканный каламбур, но он пересилил себя.— Она работает у нас,— выдал тайну,— по фотокопированию чертежей... и оформлению интерьера».

Один из юнцов скорчил нарочито грустную мину. «У таких чурбанов, как мы,— сказал он,— нет никаких шансов... И вообще, кому из скромных тружеников по зубам такая красотка? Спорю на бутылку мартеля, что даже пан инженер получил бы от ворот поворот».

Это явно был камень в огород Романа, и он взыграл. Допускаю, что забыл тогда о жене. Протянул руку: «Спорим».

Раздался смех, юнцы продолжали препираться:

— Послушайте, это же Анита Экберг!.. Наша «сладкая жизнь»...

— Увидите,— сказал Роман.— Следующий танец за мной. И беру вас в свидетели, что через десять минут она будет в моей машине. Объеду вокруг клумбы и через пятнадцать минут вернусь. А может, привести ее сюда?

— Не верю...— подзуживал кто-то из юнцов.

Пани Александра буркнула с холодным блеском в глазах:

— Стефан! Опомнись!..

Инженер, чмокнув мимоходом руку жены, протискивался уже в глубь зала. Юнец, который его подзадорил, бубнил приятелю: «Он схлопочет по физиономии, если не от той девицы, то от своей жены». Иоася смотрела на все это с возрастающей растерянностью. Тем временем оркестр грянул новый твист. На паркете появилась ясноокая девушка, а за ней инженер. Начался безумный пляс. Снова большинство пар остановилось, образовав круг и восхищаясь прима-балериной. Инженер героически не отставал от нее. Весь его столик не сводил глаз с танцующих. Хмельные юнцы выкрикивали что-то вроде: «Браво этой паре!..» или: «Браво партнеру!..»

Настроение у сидящих за столиком было уже не то. Пани Александра рассвирепела. Иоасю болезненно уязвило поведение родственника. Малецкий чувствовал себя глупо, а подвыпившие юнцы накаляли выкриками обстановку, словно на петушиных боях. Наконец твист прекратился и заиграли какой-то другой танец. Инженер Роман не возвращался. Малецкий (герой) пригласил пани Александру, один из юнцов закружил в вихре танца Малецкую, второй, слегка покачиваясь, развлекал тем временем Иоасю, показывая ей фокусы с подожженной бумажной салфеткой. Но девушка не очень-то его слушала. Она напряженно и с каким-то страдальческим выражением лица наблюдала за тем, как Стефан отплясывал со светловолосой танцовщицей. А когда заметила, что они покидают зал, извинилась и выскользнула на лестницу. Молодой человек произнес меланхолически: «Все

они шлюхи!.. Пардон, беру свои слова обратно... Ничего такого не было сказано...» — хотя столик уже опустел.

О том, что творилось за пределами зала и чего Малецкий уже не видел, ему рассказали. Глаза людские вездесущи. Сестричка пани Александры, Иоася, стояла на верхней ступеньке лестницы, ведущей из подземелья в холл. Там Стефан Роман говорил что-то своей светловолосой партнерше. Девушка покачала головой и подошла к группе молодых людей, смахивающих на ее коллег-художников, которые уже взяли свои пальто в гардеробе. Присоединилась к ним и села в чей-то «вартбург». Стефан Роман, оставшийся с носом, забрался в свою машину, двинул следом за «вартбургом», а потом резко, с пронзительным визгом покрышек, развернулся и объехал клумбу. Из мрака выступили два милиционера, вероятно всегда тут дежурившие, и дали знак «симке» инженера остановиться. Иоася вернулась в зал. Все уже сидели за столиком, лишь оба юнца предусмотрительно улетучились в бар. В пустом проходе хромота Иоаси особенно бросалась в глаза.

Минуло более пятнадцати минут. Было уже поздно, зал начал пустеть. Наконец вернулся инженер Роман с вымученной улыбкой на устах. Сперва задержался возле бара в поисках инициаторов пари.

— Ну как, видали? — спросил он.

Подошел к столику, где был встречен гробовым молчанием. Все помрачнели. Малецкие собрались уходить. Пани Александра с трудом сдерживалась.

— Ты совершенно обезумел! — прошептала она.— Хорошо еще, что вообще соблаговолил о нас вспомнить! Давай ключ от машины...

Инженер с миной нашкодившего мальчишки ответил: «Увы, придется ехать на электричке. У меня отобрали права. Слишком торопился».

— Ты совершенно безответственный человек,— яростно процедила сквозь зубы жена.— Пьяным садиться за руль ради нелепых, пошлых выходок... И теперь заставляешь Иоасю идти пешком...

Пани Александра подцепила вилкой кусочек хлеба и вытерла им тарелку из-под бифштекса. За этой манипуляцией последовало минутное молчание, потом она отложила прибор, и я увидел два своих маленьких отражения в стеклах ее очков.

— Подлинные черты характера более всего проявляются в мелочах...— произнесла она тихо. Я не перебивал.— Это был человек самоуверенный... Говорю — был, ибо, надеюсь, переменился. Успехи на всех поприщах совершенно вскружили ему голову. То, что случилось на танкере, было для него полнейшей неожиданностью. И все-таки...— она задумчиво покачала головой, и я увидел ее руки, большие, костлявые, изъеденные дезинфицирующими средствами,— трудно мне удержаться от мысли, что все это было неизбежно. Господи, нелегкий это урок, связанный с гибелью стольких людей... Я видела,— большие руки смяли салфетку,— тех, кого привезли в кожное отделение, обожженных, угоревших. Слышала, что они говорили.

Она продолжала несколько иным, приглушенным и дрожащим голосом. И я смог увидеть этот вьюжный, беловато-мглистый день, оглашаемый сверлящими мозг завываниями карет «скорой помощи», которые съезжались во двор клиники Внутри, в коридорах, на лестничных клетках, словно в монастыре, наводненном призраками, носились люди в белых халатах. санитары, фельдшера и сестры Уже издали, подходя к дверям, можно было расслышать глухой шум взбудораженных голосов. а распахнув обе створки застекленных дверей на маятниковых навесах, поразиться обрушивающейся на тебя лавине слитного гомона, столь необычного в этих стенах. Коридоры были за-

полнены первыми тележками и носилками, которые сопровождали громко плачущие женщины. А пани Александра с хирургом регулировали движение: того в операционную, этих — на перевязку. Вместе с сестрой, переписывающей фамилии, доктор Роман обходила носилки с обожженными, которые стонали и охали, когда их укладывали на полу вдоль стен, жены и матери пострадавших вносили суету и неразбериху. Они грозили, препирались, проклинали. Из уст в уста передавались искаженные в лихорадочной сутолоке распоряжения врачей, беспорядочные сведения: где, кто, когда или при каких обстоятельствах соприкоснулся с пожаром. Раздавались обычные в таких случаях нарекания на отдельных мастеров, руководителей работ, инженеров. Какая-то женщина с глазами истерички приговаривала: «Да, чтобы не спасать тех, что были в машинном, взять на себя такую ответственность... и смерть стольких людей... Ждать и раздумывать столько времени, до тех пор пока ничего уже нельзя было сделать... Кто за это ответит?» Другой голос резко оборвал: «И чего вы несете? Как можно бросаться такими обвинениями?..» Шепот из угла: «Обрекли их на погибель, сама видела...» Кто-то из обожженных повторял, приподымаясь на локте, лица его не было видно: «Никто не хотел брать на себя ответственность за жизнь этих людей. Там остались сварщики из бригады Собецкого и маляры, красившие машинное отделение. Руководство всюду названивало, чуть ли не к самому господу богу обращалось, как, мол, быть? Я слыхал, Мерник рассказывал, что им велели решать на месте... Это инженер Роман приказал перекрыть доступ воздуха... Бледный был, сам видел... но все же отдал такой приказ...» Мать или какая-то другая женщина, склонившаяся над пострадавшим, плакала, тряся головой и призывая присутствующих в свидетели: «Накажи его господь. Чтоб ему самому в огне сгореть...»

Пани доктор Роман стояла посреди этой толпы. Халат был расстегнут, очки поблескивали, как ртуть.

— Всем здоровым выйти отсюда! — крикнула она, показывая на лестницу.— Немедленно покинуть коридор!..

Но уже кто-то из взбудораженных женщин узнал ее:

— А-а-а-а... пани доктор! Это ваш муж... Это твой бросил людей в огне!..

Какой-то врач окинул взглядом обеих женщин. Понял или только почувствовал, что назревает. Крикнул:

— Уходите! Сейчас же уходите!

Этот мужской голос на минуту утихомирил толпу. Фельдшера и санитары «скорой помощи» двинулись вперед.

Я смог увидеть, как она стоит смертельно бледная, прислонясь к стене. Как молоденькая медсестра уводит ее в соседнюю комнату, усаживает, подает стакан воды. Как зубы пани Александры стучат о край склянки, а ее сильная костлявая рука дрожит. Как в глазах отражается возмущение, опустошенность и страх. Все это я смог увидеть без труда. Впрочем, лицо это маячило передо мной по другую сторону стола.

Я поднес к ее сигарете зажигалку.

— Вот что я переживала,— сказала она.— Такое выпало на мою долю...

— Вопреки всем страданьям, которые он мне причинил,— продолжала она,— я его жалела. Я могла представить себе, что испытывал он в те дни, став объектом сплетен, претензий, ненависти, оставленный на произвол тысяч тех взглядов, один из которых достался и мне... случайно. Не знаю, был он виноват или нет... наверняка в какой-то мере был. Шло следствие. Но я могла представить, что он чувствовал. Пыталась с ним созвониться и встретиться, ведь он, возможно,

нуждался в том, чтобы кто-то был возле него... Мы, видите ли, жили уже порознь...

И это также я мог увидеть без труда. Физиономии пациентов, томящихся в ожидании приема. Тех же типичных девиц из порта с притворно непринужденным выражением лица. Пожилых людей, конфузливо скрывающих свои забинтованные чирьи. Мог даже почуять запах дезинфекции и приторных духов. Как и два часа назад. И мог представить, как пани Александра моет руки в растворе сулемы. И как она утомлена. Как делает знак медсестре: «Никого не пускай сюда минут пятнадцать». Как неуверенно набирает номер телефона: «Можно попросить инженера Романа?»

И рукотворное божество, царственную Весю, которая поднимает трубку в его кабинете, отвечая своим знойным голосом: «Нельзя. Пана инженера нет в отделе. А кто говорит?»

И пани Александра, на другом конце провода, бросает в трубку: «Говорит жена».

Веся — даю голову на отсечение — делает многозначительные гримасы стоящей в дверях Ивонне с начесом: «К сожалению, пан инженер отсутствует. Нет его на территории... Насколько мне известно, он не будет у нас работать...»

А пани Роман на это, не сдерживая волнения: «Не знаете случайно, где его можно... найти?»

Веся в ответ: «Нет. Не знаю».

Пани Александра с минуту раздумывает. Там, за белой дверью дожидаются «пташки». Набирает номер, закусывает губы, как сейчас я, слушая ее рассказ...

И я представляю себе ателье Кристины Паславской, которого еще не видел воочию и которое пани Роман с телефонной трубкой, прижатой к уху, наверняка представляла розовым будуаром. Обворожительная, потрясенная Кристина сушит какие-то снимки в лаборатории (о том, что у нее есть фотолаборатория, она упоминала, беседуя со мной в кафе, впрочем, не в этом дело, у нее должна быть лаборатория, если она фотограф...). Итак, Кристина берет трубку. Услыхав голос жены Стефана, обмирает.

Пани доктор: «Это Александра Роман... Могу я поговорить с инженером Стефаном Романом?»

Кристина: «Вы ошиблись. Позвоните, пожалуйста (и тут проговаривается)... на судоверфь...»

Кладет трубку, с минуту кусает губы, эта сдержанная, ясноокая Кристина, потом со слезами, которых уже не в силах сдержать, в порыве злости опрокидывает кювету, обливая закрепителем какие-то фотокопии. Рыдает, уронив голову на телефонный аппарат.

А пани Роман, немного помолчав, кивает сестре, заглядывающей из приемной, чтобы та пригласила пациентку — затемнение, впрочем, я в этом не разбираюсь. Енджейчак, знаменитый Енджейчак, сам великолепно разберется, что тут делать. Какой кадр и какой монтажный стык. Если ему вообще это подойдет.

Увы, дорогие мои, это был не кинофильм, а действительность.

14

Я сидел в опустевшей и наконец притихшей гостинице. Фестивальное «эпчество» разъехалось на все четыре стороны, газеты еще заполняли отчеты, репортажи, заметки на тему «замечательного культурного события» изощрялись десятки невежд, сочетая стилистику

осведомленных пронырством со смакованьем сплетен, а также с претенциозными рассуждениями о «сущности и стилях эстрадной песни». Напускали словесного тумана, под прикрытием которого заурядная безвкусица подтягивалась до уровня серьезного критического разговора, и тем самым обретала, наконец, иллюзорное право на существование. Все это было смешно и жалко. Так внешним лоском прикрывали невзыскательные вкусы и умственную леность; массовость сама по себе провозглашалась свидетельством ценности рассматриваемого предмета, подделка выдавалась за чистое золото.

Итак, «эпчество» разъехалось, уступив место обыкновенным курортникам, а те — уже не претендуя на роль свидетелей эпохального события — производили куда меньше шума. И вот я сидел, на сей раз не отвлекаемый знакомыми, и пытался писать, что в тогдашнем моем положении было предприятием безнадежным и тягостным. Ничего у меня не вытанцовывалось, я презирал самого себя.

Поэтому, отказавшись от фестивальной тематики, вернулся к делу инженера Романа.

Наконец мне довелось посетить ателье Кристины Паславской, которое я уже изобразил выше, но увидел только сейчас. Кристина не изменилась; была такая же привлекательная и грустная, и в глубине лучистых глаз таилась какая-то вялость, но она проявляла ко мне столько внимания, что я поверил, будто она прониклась некоторым доверием. Кристина чувствовала себя одинокой, это я видел явственно, одинокой и потерянной. Однако, при всей ее эффектной внешности, ей не хватало темперамента. Она как бы таяла, растворялась в воздухе, даже ее отчаянье меня не трогало. Неужели это была недавняя, как рассказывали, королева дансингов? Сколь различны подчас превращения одного и того же лица. А может, я пришел слишком поздно, после всего, что стряслось... Всем нам, собственно, отпущены считанные яркие эпизоды-мгновенья, а потом тянется долгая, монотонная жизнь. Мы существуем десятки лет, но запоминаются лишь отдельные дни. На театре, где показывают самые идеальные модели бытия, в соответствующий момент опускается занавес... Ведь я уже достаточно пожил, чтобы знать на примерах многих человеческих судеб, что такое «тогда» и «потом»... Лучше об этом не раздумывать слишком много.

Кристина варила кофе по-турецки в медных ковшичках, блестевших точно старые медяки. Я разглядывал огромные художественные фотографии, выполненные хозяйкой ателье. Все без исключения изображали молодых и хорошеньких женщин. Очевидно, вопреки тому, что гласит молва о красивых девушках, она действительно любила и высоко ставила красоту представительниц своего пола. Кристина сняла халат, испещренный пятнами проявителя, и, сев за пределами досягаемости настольной лампы, погасила верхний свет, отчего недра ателье потонули в полумраке. Я обозревал ее стройные ноги в чулках (а была жара) и руки, сложенные на коленях.

— Видите ли, я сама не знаю, почему выкладываю вам всю подноготную,— заговорила она с меланхолией, которая в этой драматической ситуации начинала меня злить.— Все это мне крайне неприятно. И может даже бросить на меня тень. Но раз уж вам столько известно... и вы просите откровенности...

Я не смог не коснуться ее руки (а может, и попросту колена), напуская на себя покровительственный вид.

— Не мне судить вас,— сказал я довольно слащаво.— Меня интересует только правда. Ваш субъективный, личный взгляд. Мне обрисовали этого человека по-разному. Кто знает, может, они говорили о раз-

ных взаимоисключающих друг друга людях с одной фамилией. Хотелось бы знать по возможности все... и, надеюсь, нечто целое из этого сложится.

Я не различал ее лица в полумраке, но мне казалось, что она наконец опустила веки, что у нее все-таки эти веки были, а может, и слезы выступили на глазах.

— Ну что ж...— вздохнула Кристина.— Возможно, я получила слишком строгое католическое воспитание... Он мне внезапно опротивел...

Этого я не ожидал. Она заговорила о той минуте, вернее, сцене, которую я помнил по рассказу прокурора. Выбеленные стены оливского собора, поднебесные готические своды, сверкание электрических лампочек, облепленные снегом стекла. Странный свет, то ли дневной, то ли вечерний, серость зимнего предсумеречного часа. Она, сидящая на скамье рядом с инженером. Ангелы-оркестранты с кукольными движениями... Она видела на лице Стефана напряжение, горечь и «болезненную» отрешенность, замечала окаменевшие желваки на скулах. Чуточку в стороне сидел прокурор, не сводя глаз с инженера. Пожалуй, она не видела прокурора, наверняка не была с ним знакома, а может, все-таки заметила его, ибо, по ее словам, у нее возникла страшная мысль, будто все вокруг не слушают музыку, а только осуждающе глядят на Романа. «Какой-то мужчина, сидевший неподалеку, все время смотрел на Стефана». Грозные, проникновенные звуки «божьего суда» гремели в мозгу Кристины. Это было свыше ее сил, сказала она, не шевельнув рукой. Гладкие колени сверкнули, словно выточенные из слоновой кости. Кристину, весьма живописно «посаженную», окутывал царивший в ателье полумрак. Тогда, в соборе, она тихо поднялась и осторожно направилась к выходу. В середине зала она почти обратилась в бегство, точно подгоняемая звуками органа. Остановилась у портала, снаружи, прильнула к белой шершавой стене. Почувствовала пронизывающий холод. Неторопливо пошла в глубь аллеи по утоптанному снегу, мимо подстриженных стен живой изгороди. Услыхала позади скрип шагов. Знала, что это он, но не замедлила шага. Стефан догнал ее. С минуту шли молча.

Он спросил: «Что с тобой, дорогая?»

Она ответила: «Ничего, ничего...»

Он сказал: «Кристинка, ведь я вижу, что с тобой творится неладное. Тебя что-то гнетет, а ты отмалчиваешься. Неужели я не заслуживаю, чтобы мы поговорили откровенно... Все объяснили друг другу...»

Она вспыхнула: «Ах, не спрашивай меня ни о чем! Бога ради, ни о чем не спрашивай...»

Они молча шли по аллее парка. Потом сели в машину инженера. Люминесцентные фонари уже излучали холодное, дрожащее мерцанье, словно в кинозале при испорченном проекторе. В свете уличных фонарей, падавшем на стекла, можно было разглядеть — в этом я уже не сомневался — лица двух людей, терзавшихся друг из-за друга.

На шоссе, которое обступали заснеженные дома Оливы, казалось, не было ничего, кроме вспыхивающих звездами фар встречных автомобилей. И вдруг наперерез их «симке» выскочила на санках, откуда-то из боковой улочки, маленькая девчушка в остроконечной шапочке. Видимо, она крепко врезалась в память, коль скоро Кристина вспомнила даже, как та была одета. Вместо того чтобы свернуть к обочине, девочка выехала на середину шоссе с двусторонним движением. Их машина с визгом затормозила на раскисшем от соли снегу. Напуганная девчушка соскочила с санок и в ужасе шлепнулась на шоссе, как раз перед самым радиатором их машины. Я хорошо представляю взволнованные лица Стефана и Кристины... Вдобавок, разумеется, к

обочине тут же метнулась пожилая женщина и подхватила ребенка. Завопила яростно: «Ездят как сумасшедшие... Слепой, что ли? О чужой жизни и не подумает...»

Я тут же вспомнил возглас, который услыхал в день приезда на судоверфь, когда меня, изучавшего линялое траурное извещение у проходной, чуть не сбила машина. Неужели и тогда это был он? Подобные замечания ему, пожалуй, приходилось слышать часто.

Ясно, что этот эпизод на шоссе имел особое значение: столь обычное для этой ситуации восклицание поразило инженера Романа, по словам Кристины, точно внезапный выстрел. Он стоял у дверцы автомобиля смертельно бледный. Женщина уводила плачущую девочку, еще что-то сердито бормоча на ходу. Роман молча включил мотор. Кристина сдерживалась изо всех сил, чтобы не разрыдаться.

Он часто впоследствии возвращался к этому обвинению. Метался здесь, по студии, как узник в камере, пытаясь в который уже раз собрать воедино все свои аргументы. Кристина переводила взгляд за пределы светового пятна, словно все еще следя за тем, как мечется Роман по комнате. Но ни руки ее, ни стройные ноги даже не дрогнули. В открытые настежь высокие окна мансарды врывались теплые волны ночного воздуха, влажные и пахнущие водорослями Мотлавы, вместе с сигналами буксиров и приглушенными голосами старого порта.

А он твердил свое: «...обвинения, которые можно выдвинуть, пойми это, я делю с другими... И моя доля ответственности незначительна. Если чего недоглядел, то потому, что верил своим людям... Они заслуживали доверия, это прекрасные специалисты... С момента возникновения пожара оставались только две возможности... Затушить его, прежде чем произойдет взрыв, либо пробивать корпус... и тогда — неминуемый взрыв...» Снова и снова перечислял свои аргументы.

Я вижу, как он расхаживает здесь, по ателье, как волнуется, жестикулирует, внезапно умолкает. Его рассуждения, изобилующие техническими подробностями, звучат монотонно, утомительно — само собой разумеется, что Кристина ничего решительно не понимает. И, пожалуй, сам он чувствует, что важнейший моральный аспект дела тонет в нагромождении сухих и мертвых деталей. Роман останавливается вон там, у окна, возле фигурок святых из часовен, под тем облупленным гипсовым амурчиком, который украшает нишу. Голос его стихает, делается хриплым, с минуту он еще что-то шепчет беззвучно, но слова замирают на запекшихся губах. Он наверняка встречается взглядом с девушкой — ее горящие, неподвижные глаза полны тихой и словно бы вдруг сгустившейся печали, глаза, которые способны все перевернуть в тебе вверх дном, которые ощущаешь спиной и видишь по ночам, во сне, такие голубые, подобные глади тропических морей, что кажутся нереальными. Он встречает взгляд Кристины и понимает, что все тщетно. На мгновенье в нем просыпаются ярость и упорство.

Тогда он кричит: «Я чист! Не было никакой возможности... точнее, имелось лишь два выхода и каждый мог повлечь жертвы. Никто не вправе упрекнуть меня за то, что я принял единственно допустимое решение. Слышите, никто! Именно в этом моя беда, что мне пришлось... что я не спрятался... хотя бы здесь... Никакой суд...»

Он встретил взгляд Кристины и понял, что она восприняла его слова как объяснение или оправдание труса, пытающегося обелить себя перед ней. Пожалуй, сказанное им было справедливо, но говорить ничего не следовало, слова потеряли значение, ибо все свершилось. Она уже не была с ним заодно. Это открытие подавило его бурную вспышку. И он беспомощно умолк.

Тогда она сказала ему: «О, господи, Стефан, неужели ты не отдаешь себе отчета в том, что если люди тебя сторонятся, если ты блед-

неешь от каждого слова, даже не к тебе обращенного... то это что-нибудь да значит. Ведь ты сам это чувствуешь. Можем ли мы оставаться вместе, если ты не смеешь смотреть людям в глаза?..»

Только тут она пошевелила руками, которые до сих пор чинно лежали на коленях, обтянутых тонкими чулками. Она подняла руки и заслонила ими лицо.

— Все нас избегали...— жаловалась Кристина.— Наши отношения показались мне... бессмысленным вызовом. Он это понял. И ушел от меня.

С этого момента, то есть после посещения ателье-лаборатории, атмосфера все накалялась. Неужели действительно вокруг него образовалась такая пустота, неужели все относились к нему одинаково? Неужели у него не было ни одного настоящего друга? Признаюсь, что я начал всерьез тревожиться за моего инженера. Ведь судьба его, а также линия поведения становились все более загадочными, все менее понятными. Был ли он человеком нынешним, современным, реальным — из плоти и крови — или только таинственным призраком без лица? Мой герой с каждым днем делался все менее реален как инженер, прежде всего технократ, действующий до сей поры в определенном административно-производственном контексте,—и превращался в фигуру совершенно иного рода. Малоконкретную, воссозданную по сплетням и всевозможным исповедям частных лиц. Одним словом, становился чисто литературным героем, заслонившим от меня прежнюю документальную основу, которой я хотел строго придерживаться. Все меньше было магнитофонных записей и протоколов, все больше непроверенных домыслов. Я помню еще одну встречу с пани Роман: я случайно увидел ее возле старых портовых амбаров на берегу Мотлавы, когда она возвращалась домой летним вечером. Солнце уже пряталось за почерневшим Журавлем, по каналу сновали моторки и белые прогулочные катера. Я воспользовался этим незапланированным рандеву и предложил ей немного пройтись по набережной. Она выглядела очень усталой и постаревшей. Ее черствость и внутренняя собранность подверглись суровому испытанию. Однако она не уклонилась от разговора на грустную тему.

— Я неоднократно пыталась с ним встретиться,— призналась она, глядя на багровую воду, в которой отражалась башня Журавля и прочие памятники архитектуры. Их сапфировые тени то извивались зигзагами, то застывали продолговатыми пятнами.— Он был одинок,— произнесла она глухо.— Более одинок, чем кто-либо на свете. С верфи уволился, якобы подыскивал какую-то другую работу, но у меня сложилось впечатление, что Стефан, в сущности, ничего не ищет. Уверял, что совесть его чиста. Твердил об этом неустанно. Это было все, что он хотел сказать мне...

И это было также все, что могла мне сказать пани Александра.

Признаюсь, что одиночество инженера приблизило его ко мне, сиротливость Романа с новой силой пробудила к нему горячую симпатию. Вот почему я не бросил его на произвол всесокрушающего потока времени, а напротив, прилагал старания к тому, чтобы четче выкристаллизовался образ Романа, чтобы из отдельных штрихов воссоздалось реально существующее лицо. Из-за того что Роман был одинок, я не дал ему кануть в Лету. Ибо сам я изведал тяготы одиночества — такое ощущение, словно попал в будущее, и уже нет прежних уз, и ты как бы среди грядущих поколений, не связанных с тобой общностью опыта, непрерывностью времени или единством взглядов, как бы среди чужестранцев со знакомыми фамилиями и лицами. Точно во сне, когда хочешь проснуться, но твои слова и жесты никто не слышит и не замечает. Ибо одиночество — это шапка-невидимка, это блужда-

ние в каком-то четвертом измерении, одиночество — это окончательное поражение, когда подвергаешь сомнению свое собственное существование. Словом, я не мог допустить, чтобы подвергалось сомнению существование инженера Романа, которого отнюдь не придумал,— он существовал вне всякого сомнения, когда был рядом с пылающим нефтевозом и отдавал распоряжения, чреватые гибелью людей. А смерть отнюдь не иллюзорное явление. Она обладает жестокой силой реальности. Если Роман существовал тогда — чего же ради должен теперь раствориться?

Наконец, пани Александра удалилась, она шла по пустынной набережной к городу в косых лучах заходящего солнца, а я, исполненный горечи, вдруг понял, что напьюсь. Но в тот же вечер, словно по воле обстоятельств, мне еще раз довелось напасть на след инженера. Я зашел в частный ресторанчик «Кашуб», который мне рекомендовал когда-то коллега-литератор, живущий неподалеку. Это был единственный прозаик Троймяста, которого я считал настоящим писателем. Он жил тут, сросшийся с Поморьем, неуемный,— а лишь к таким я питаю доверие, распространяющееся и на рекомендуемые ими харчевни.

В ресторанчике было полно моряков-иностранцев, сутолока и гомон поражали после тишины безлюдных улочек этого музейного, восстановленного района. Я заметил множество смазливых девиц, а также фарцовщиков, курсировавших между столиками и баром. И вдруг инженер Малецкий при виде меня воспарил над льняной цветистой скатертью и бутылкой коньяка. Он был уже во хмелю и кивал мне, словно меня дожидался, хотя в первое мгновенье я едва узнал его.

— Приветствую вас, уважаемый пан Достоевский! — воскликнул инженер, пытаясь блеснуть начитанностью.— Вижу, что вы не сдаетесь и все глубже вгрызаетесь в психологию... («Неужели он видел меня на прогулке с инженершей?»)

— Совсем наоборот,— я устало плюхнулся на деревянный табурет.— Лишь теперь эта история начинает интересовать меня по-настоящему. Вы, конечно, имеете в виду своего коллегу...

— А кого же еще? — улыбнулся он и взял бутылку.— Ведь я и говорю, что вы тут подходите с микроскопом Достоевского, тогда как, в сущности, это проблемы управления и административно-правовые. Только руководствуясь этим, можно добиться какого-либо толка... Уважаемая, еще одну емкость для гражданина!.. А копаться в душе скальпелем бессмысленно.

Я заказал великолепного угря, которого не было даже в меню «Гранд-отеля», и припомнил свое первое посещение Александры Роман. Малецкий был тому свидетелем.

— Скажите-ка мне...— начал я.

— Ну, чего вы еще не знаете? — прервал он меня на полуслове.— Предупреждаю, что я друг инженера Романа.

— Благодарю. И, как мне кажется,— единственный. Но меня волнуют исключительно факты. Как и когда инженер познакомился с Кристиной Паславской? Случилось ли это тогда в «Бунгало»? Вы были там в одной компании. Так расскажите про это...

Малецкий покосился на меня, как на пройдоху. Возможно, в другое время он не пожелал бы затрагивать эту тему, но сейчас, пропустив несколько рюмок, был настроен благодушно. И поведал мне, стараясь соблюсти корректность, как прошел тот упоительный вечер, который я уже описал выше. Его рассказ в сочетании с тем, что говорила супруга инженера, позволил мне, наконец, воссоздать предполагае-

мую картину целиком. Разумеется, с того вечера инженер Роман пустился по следу Кристины, что, собственно, не представляло большой сложности и что я сразу уловил хотя бы по тону пани Александры и по тому, что́ именно она мне рассказала. Когда слышишь нечто подобное из уст супруги, легко догадаться, что пустячный эпизод вовсе не был незначительным. Пани Роман защищалась, истолковывая по-своему характер мужа отчасти для того, чтобы затемнить суть дела.

Я расправился с великолепным угрем.

— Благодарю,— сказал я, когда Малецкий умолк.— Я знаю обеих дам и с обеими беседовал. Вы человек доброжелательный и достаточно объективный. Да, но теперь меня интересует нечто иное. Каково было отношение, ну... после всего этого к пану инженеру Роману?

— Чье? — осведомился Малецкий, не понимая вопроса.

— Официальное. В суде. В дирекции...

— Минуточку.— Он пытался сидеть за столиком прямо.— С ним все уладилось быстрее, нежели с остальными. Цецвеж и другие еще дожидаются судебного разбирательства, специалисты и эксперты еще собирают материал... Помнится,— он с минуту раздумывал,— я его как раз встретил... Позвольте, позвольте... Вы считаете, что никогда не видели инженера Романа?

— Я? — вопрос удивил меня.— Нет. Никогда.

— Ошибаетесь,— пригляделся ко мне Малецкий.— Вы его знаете. Вы с ним встречались. В приемной генерального директора... Это знакомство стоило вам сущие пустяки... три спички.

Черт побери, вот это память!..

— Ах, действительно,— подтвердил я озадаченно.— Теперь припоминаю. Только я не знал, что это он. Если бы знал, присмотрелся бы к нему внимательнее...

— Вот видите. Могли бы с ним потолковать... Итак,— продолжал Малецкий.— я встретил его тогда в секретариате...

Я вспомнил до мельчайших подробностей тот момент. Малецкий (мы еще не были знакомы) сидел тогда в кресле, курил сигарету и поглядывал на дверь, обитую клеенкой. Это было вполне естественно, поскольку я тоже ждал. И тут из директорского кабинета вышел этот человек, такой озабоченный, с упрямым выражением лица. Помню, что на миг черты его смягчились при виде Малецкого и что они обменялись рукопожатием.

— ...Я воскликнул: «Что с тобой, Стефан? — продолжал Малецкий.— Я тебя совершенно не вижу, старина, не знаю, как обстоит твое дело...» Роман вынул из бумажника какой-то листок и показал мне. Я пробежал его. Это было письмо из прокуратуры. «Значит, ты оправдан!» — воскликнул я и спохватился, что мы не одни. Немного понизил голос. «Видишь ли, старина,— говорю и вытаскиваю его в коридор.— Ты разговаривал в министерстве... в дирекции?» — спрашиваю. «Да...— ответил он,— следствие официально прекращено. В министерстве говорили со мной не слишком приветливо. А в дирекции дали понять, что следовало бы перейти на другую должность...»

Гомон в кабаке нарастал. Наступала горячая пора для таких заведений. Малецкий молча потягивал коньяк из рюмки. Я размышлял — и не знаю, виной ли тому выпивка,— но начал испытывать раздражение.

— Как же так? — напустился я на Малецкого.— Мне же сказали, что он уволился по собственному желанию.

Инженер пожал плечами:

— Он ли... его ли, не все ли равно? Роман не был удобной фигурой. На нем осталось пятно. Предпочли от него избавиться. После такого дела всегда тянутся хвосты. А жаль,— вдруг вздохнул Малец-

кий, словно все это давно миновало,— ведь он выдающийся специалист, великолепный инженер...

Возбуждение мое нарастало. Я испытывал какой-то душевный разлад, меня охватывало отчаянье.

— И вы совершенно не представляете, где Роман? — спросил я, задетый за живое беспечностью и самодовольством Малецкого.

— Поезжайте в Познань,— сказал он равнодушно.— На «Цегельский». Он как будто перебрался туда, строит судовые двигатели.

— Превосходный угорь,— сказал я еще.— Вы знаете стоящие заведения. Меня водил сюда однажды коллега, единственный у вас настоящий писатель... понимаете, он кашуб...

Именно этот подъем, эта решимость способствовали тому, что в тот же самый вечер я сел в познанский поезд. Нельзя было допустить, чтобы дело моего инженера стало мне безразлично, отодвинулось в прошлое, кануло в вечность.

15

От таких внезапных вылазок мало что остается в памяти. Я уже говорил вам, что люблю ночные экспрессы, люблю смаковать поездки, помогающие мне психологически приспособиться, обостряющие восприятие впечатлений. Что мне нравится давать волю фантазии и заранее прокручивать то, что может ждать впереди. На сей раз ничего не запомнилось. Не помню даже, было ли это во время поездки в Познань или до нее, по пути из Варшавы на Побережье. Когда же я сидел задумавшись у окна, в обветшалом купе скорого поезда? Тогда ли меня так волновала ночная темень и мелькавшие за стеклом стремительные огни? Но уж наверняка я думал в то время о молодых людях. Изумляла меня и тревожила пара, сидевшая напротив. Худошавый интеллигентный юноша в очках, вероятно, молодой специалист или студент политехнического института, держащий в руках журнал «Морски пшеглонд техничны» и погруженный в чтение, волновал меня, тревожил — и я боялся за него. Он был как бы предшественником моего загадочного героя, и мне хотелось сказать, чтобы он отложил свой великолепный журнал, призадумался, проявил предусмотрительность, освободился от иллюзий. Тысячи таких юношей пускаются в жизнь, как в пляс. Не видят ничего, кроме науки и техники, вешей надежных, контролируемых, безотказных. Ведь жизненный путь усеян не только формулами и бесспорными истинами, но и терниями... Глядя на юнца, я думал об этом, мрачный, брюзгливый рамоли. Его спутница, очаровательная и модно одетая девушка, поглощала последний номер «Фильма» с фотографиями звезд на обложках. Транзисторный приемник «Колибер» мурлыкал какую-то мелодию, заглушаемую перестуком колес. Ах, молодо-зелено, взывал я к ним мысленно, поймите, я боюсь за вас, хочу предостеречь...

— *...Инженер Роман пробыл у нас недолго Всего, пожалуй, месяца два. Возглавлял отдел в конструкторском бюро по проектированию судовых двигателей. Мы обрадовались, когда его сюда направили, ведь это выдающийся специалист. Но скажу откровенно, были немного озадачены. Крылась за этим какая-то неясность. Прежде мы добивались таких людей и не имели возможности их заполучить. А тут вдруг присылают сами...*

Почти не запомнились мне также и подробности пребывания в Познани. Какие-то фрагменты: ратуша, цилиндрическая махина универмага. Серый панцирь брандмауэров и серый колорит неба. Туман.

Обычное, оживленное движение на улицах. Автомобили, виадук над железнодорожным полотном, трамваи. А потом сборочный цех судовых двигателей «Зульцер» завода «Хиполит Цегельский». Как бы продолжение моего ночного дорожного кошмара — фантастическая обстановка. Огромные, многоэтажные колоссы на полном ходу — попросту несколько судовых машинных отделений сразу: скачут клапаны, вращаются валы, шарниры. Могучие краны переносят под потолком огромные зигзаги трубопроводов. Техники на лестницах, техники, снующие вдоль площадок и вокруг гигантского корпуса двигателя.

Разумеется, царил шум, и начало записанного разговора невозможно было разобрать. Лишь через некоторое время гул двигателя, этот шумовой фон, стал немного потише — попросту вместе с молодым инженером в рабочем, но по-познански безукоризненно чистом халате мы вошли в конторку, где грохот, доносящийся из цеха, скрадывало стекло. Голос моего провожатого, хоть он и говорил непрерывно, лишь теперь, с этого места, зазвучал отчетливей (пленка):

— *...В Гданьске он занимал более ответственную должность, поэтому смахивало на понижение. Только позднее стала известна история с пожаром... Знаете, это всегда сложно. Разумеется... (тут он покашлял, пошмыгал носом), ничего плохого сказать о нем не могу. Он был сюрприз, подарок, словно свалившийся с неба. Но чувствовал он себя не в своей тарелке... все это было чуточку странно. Понимаете ли, я могу сказать одно: это человек способный и ценный специалист, но внутренне, так сказать, надломленный, потерянный...*

Мой голос: «*Что вы под этим подразумеваете?*»

Его голос: «*...Ну, мне он казался болезненно щепетильным в вопросах совести и морали, понимаете ли, в этих самых вещах. Было у него с товарищами по работе несколько неприятных стычек или споров. Не все были в курсе... сболтнули лишнее — раз-другой. Люди есть люди. При всем авторитете инженера Романа никто не намеревался щадить его... словно какого-нибудь больного...*»

Мой голос: «*Пожалуйста, продолжайте. Хотя на мой взгляд он был... как вы выразились: болен*».

Его голос: «*...Не знаю. Может, это в конечном счете повлияло, но он как-то не прижился. В мае взял расчет и уехал... снова на Побережье. Говорят, устроился судовым инженером-механиком. Видимо, сторонится людей... Это нелепо, знаете ли, чтобы такой специалист, каких у нас по пальцам перечесть, отправлялся в море, в плавание, по-моему, это какая-то чепуха...*».

Последние слова молодого инженера из Познани снова перекрыл рокот двигателя. Кажется, кто-то там вошел и отворил дверь.

Я барабанил босой ступней по спинке кресла в своем прежнем номере «Гранд-отеля». Полулежа, в пижаме, я не отрывал взгляда от вращающегося ролика, пока голос и все эти шумы не исчезли, пока хвостик пленки с загнутым концом не соскочил с бабины, крутясь вхолостую с ритмичным шелестом. Сообразив, что это уже конец, я снял катушку, сунул ее в конверт с датой и положил на столе рядом с другими. Даты на них были разные — март, апрель, август... Порядочно ушло времени.

Закурил сигарету, ибо никак не мог остановить босую ногу, выбивавшую эту нелепую дробь. Я чувствовал себя пресыщенным и бесконечно усталым, что наверняка можно было определить по моему лицу. Я кусал губы, потирал пальцами лоб. Пожимал плечами. Я мог признать, не обманывая себя, что, к сожалению, ничего у меня не получается. Я записал целую полку этих разговоров, наслушался рассказов и сообщений, знаю все, что, где, и как, и когда... Но самого главного не понимаю. Трагедии этого человека.

Могу вам сказать только одно: возможно, всегда этого было бы достаточно для суда. Но не суд грозил инженеру Роману. И не в трибунале он нуждался. Если чего-то и было ему нужно, то, по-моему, подтверждения справедливости того порядка, в который он верил. Вот так, в нагромождении всех этих деталей и драматических ситуаций, где-то запропастился у меня мой инженер. Я думал, что уже никогда его не увижу... Как я смел предполагать, что встречусь с ним снова при совершенно иных обстоятельствах и что смогу окончательно его понять и принять? Вы не верите? Между тем это еще не финал истории...

ЧАСТЬ II

Море

1

Был холодный, ненастный день на исходе осени. Мне объяснили, как туда добраться кратчайшим путем: выйти на станции Холм Новотко, потом по длинной улице, через парк, спуститься к морю. Пронизывающий дождь, усиливаясь с каждым порывом ветра, не давал открыть глаза, а такси не было и в помине. Ослепленный, я останавливал редких прохожих; все они, прикрываясь, как щитом, кто полой прорезиненного плаща, кто зонтиком, указывали рукой вниз, в сторону моря. Наконец я увидел серое здание Дома моряка, стоящее торцом к улице у подножья застроенного склона, перед площадкой, посреди которой красовался якорь со старинного парусника. Вид здание имело внушительный — прямо-таки министерство, не скажешь, что о моряках не проявляют заботы. Гостиницу оно во всяком случае не напоминало, скорее уж школу-интернат. С нижних ступенек длинной парадной лестницы виден был приморский бульвар, пустынный в эту пору года, с наглухо заколоченными киосками, по самый горизонт укутанный серой дымной пеленой, сливающейся с далью затуманенного Балтийского моря.

Борясь с яростными рывками ветра, я взобрался по высоким ступеням и в конце концов захлопнул за собой тяжелую остекленную дверь. Оставив плащ в гардеробе, свернул налево, в сторону бара при ресторане на первом этаже. Мимоходом успел увидеть ведущую наверх величественную лестницу, стены, увешанные пейзажами старых маринистов, холл с фикусами и олеандрами в кадках, схематические изображения судов польского флота в коридорах первого этажа. От всего этого веяло старомодной торжественностью, духом солидного морского ведомства. Зато бар был украшен пестрыми матросскими дарами — восточными трофеями, экзотическими фигурками, раковинами. Как в настоящем английском клубе, пахло сигарами и виски.

— ...Долгие, многомесячные рейсы... ни одного захода в порт по дороге, и в самом порту назначения стоянка сокращена до минимума. Только перекачаем груз — и в обратный путь. Люди не видят ни дома, ни мира, вот так-то. А служба — хуже не придумаешь, опаснее всех других. Вы же понимаете, что́ мы возим. Груз легковоспламеняемый, взрывоопасный — одним словом, плавучая пороховая бочка. Да какая!.. Дисциплина строжайшая: курить запрещено; маневрировать трудно, потому что лоханъ чертовски длинная; любое столкновение грозит пожаром или взрывом. В тропиках все это нагревается, парит, газы висят смертоносной тучей...

Так рассказывал капитан Вихняж, которого я отыскал здесь, следуя указаниям, полученным в отделе кадров. Но еще до того, как он разговорился, когда я только увидел его в углу возле окна и подумал:

типичный морской волк, прямо с кинорекламы — за непременным стаканом виски, плотный, седоватый, в кителе, с суровым, загорелым лицом и ясными светло-голубыми глазами литвина... так вот, когда я представился и напомнил о нашем телефонном разговоре, он попросил официанта принести для меня второй стакан и начал, жуя сигару:

— Видите ли, если говорить об инженере, то я сам здорово удивился. Не потому даже, что такой человек пришел в ПОЛ, в конце концов, в плавании есть свои соблазны. Как поется в песне, без которой не обходится ни одно польское застолье: «Тот не жил, кто на флоте не служил...» — В этом месте капитан лукаво подмигнул мне, и вся суровость мгновенно исчезла с его лица.— Но он-то хотел попасть именно на танкер. Во что бы то ни стало! Не на какой-нибудь там комфортабельный лайнер с завлекательным маршрутом... только на нефтевоз, ausgerechnet [1]. Танкер — и никаких гвоздей. А вам известно,— спросил Вихняж, наклонясь ко мне,— что такое служба на нефтеналивном судне? Для моряка это сущая каторга...

И принялся описывать в каких условиях приходится работать: «плавучая пороховая бочка», «газы висят смертоносной тучей». Потом, видимо посчитав, что соответствующее настроение создано, вернулся к основной теме разговора:

— ...Но это все неважно. Может, ему в петлю захотелось, жизнь осточертела, потянуло в далекий путь — дело, как говорится, хозяйское. Мне же его сама судьба послала...

Слушая капитана, я, неизвестно почему, с навязчивой отчетливостью вспомнил давнишние рассказы моего друга-поэта, много плававшего по морям в ту пору, когда я еще чувствовал себя сухопутной крысой. Случалось, мой друг разыгрывал целые спектакли на морские темы. Подымется, бывало, со стула, встанет в позу Создателя...

«...И сказал бог,— изрекал он,— да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал бог сушу землею, а собрание вод назвал морями...» — так было сказано уже в Священном писании, и с того времени наш старый мир поделен на сушу и на море, а в уме у человека, даже если он дитя двадцатого столетия (а в особенности если поляк), живет представление о двух этих стихиях как об элементарном устойчивом сочетании, и противопоставляет он их инстинктивно, так же, как свет и тьму, ночь и день, изобилие и недостаток, известное и неведомое. Глядя на бескрайнюю равнину вод, раскинувшуюся от наших ног до самого горизонта, мы неизменно испытываем извечное чувство, будто стоим в преддверии чего-то нового. Понятие «стихия» более не принадлежит к категории воображаемого — у нас возникает физическое ощущение ее своеобычности. Ребенку, учащемуся плавать, знаком этот врожденный страх перед массой воды, которая обрушивается на него и норовит захлестнуть,— страх, порождаемый органической чужеродностью незнакомой среды. С подобным чувством мы глядим в черную бездну межзвездного пространства, обнимающего поверхность земного шара,— пространства, которое сегодня еще нам чуждо и безлюдно, а завтра станет местом нашего обитания...

...Сравнение это,— обычно продолжал мой друг-поэт,— только на первый взгляд кажется тяжеловесным. Несмотря на публицистическую заостренность, оно подсказано историей накопления человеческого опыта. Вспомним: еще в пятнадцатом веке, когда каравеллы Колумба держали путь на запад, для рыбаков с побережья Португалии расстилающиеся перед ними безбрежные воды означали Неведомое, конец вселенной, вместилище грозной тайны, поражавшей

[1] Непременно *(нем.)*.

воображение. Многие из этих людей так и не смогли поверить, что земля кругла; их бросало в дрожь при мысли, что где-то океан обрывается и оттуда вслед за волнами прямой путь в небытие. Точно так же сегодня нам трудно представить, что бесконечное пространство искривляется и что оно... не имеет конца».

— ...Мне его судьба послала,— говорил тем временем капитан Вихняж — реальный, сидевший со мной рядом за столиком в Доме моряка.— На танкере, дорогой мой,— снова оседлал он любимого конька,— машина должна быть в образцовом состоянии, у нас это в десять раз важнее, чем на любой другой посудине. Аварий мы не можем себе позволить. Чересчур большой риск и слишком дорого бы нам всем обошлось... Я его встретил, как господа бога, сошедшего на грешную землю...

«...Человек в уме своем разделил мир на две части — землю и воду,— втолковывал мне мой друг-поэт.— На морском берегу кончается земля, место пребывания большей части человечества, кончаются страны и континенты. А поскольку мы родились на земле, для многих и мир кончается возле прибрежных дюн. На море то мелькнет лодочный парус, то появится силуэт корабля, но в наших глазах это лишь декорация, украшение горизонта. Мы знаем, что через моря и океаны пролегает путь к другим континентам. Тем не менее для нас море — только провал в земле перед новым обитаемым краем. Это убеждение укоренилось благодаря «сухопутным» картам, на которых вся совокупность явлений и объектов ограничена береговой линией,— за нею простирается голубая пустота. Таковы представления большинства людей, живущих «по эту сторону», на суше. Можно, однако же, вывернуть наизнанку привычную систему представлений, бросить взгляд с другой стороны условной черты раздела. Для этого лучше всего воспользоваться морской картой, своего рода негативом материковых карт. Стоит поближе с ней познакомиться — и у вас, приобретая черты конкретного образа, появится устойчивое ощущение перевернутости сторон и нарушения пропорций, которое обычно возникает при плавании по морям. Морская карта — изнанка страницы школьного атласа; водные пространства на ней оживают, заполняются движением: там теснота, сутолока, жизнь бьет ключом, в особенности вблизи от берега — именно у побережий проходит важнейшая граница. Жизнь на море начинается с береговой полосы. За чередой маяков, мысов, небольших гаваней и причудливой формы заливов лежит суша — на сотни километров уходящая вдаль белая плоская поверхность, которая нас не интересует. На худой конец на этих картах могут быть обозначены кое-какие, заметные с моря, вершины, но змейки рек обрываются всего в нескольких сантиметрах от устья в недрах безводной белой пустыни... Искаженная оптика морской карты соответствует характерному для моряков восприятию действительности, видению мира «с оборотной стороны», когда картина земного шара — это прежде всего картина береговой полосы. Она, словно фасад здания, вмещает в себе все: профиль побережья, контуры пейзажа, створные знаки, маяки, входы и выходы из гаваней — «лицо» края, к которому приближается судно. Все, что находится позади береговой линии, более нам не интересно — за дюнами, за пляжем тянутся не то поля, не то пустыни, область в нашем представлении необитаемая, безжизненная. Суша, если это не порт, воспринимается лишь как абстрактное пространство. И этот рефлекс переключенного внимания за время плавания закрепляется все основательнее. Доходит до того, что начинаешь бояться суши, что море, и в особенности корабль, кажется безопасным убежищем, уголком родного дома, а земная твердь — враждебной, грозной стихией... Однако для этого,— утверж-

дал мой друг,— нужно непременно выйти за пределы европейских вод, отдалиться от цивилизованного континента. Плывя по Красному морю, этой напряженной судоходной артерии, с неприязнью и страхом глядишь на мертвые горбы африканских песчаных холмов, содрогаясь при мысли, что, случись вдруг катастрофа, ты невольно окажешься в неприветливом, неуютном краю — иными словами, на «той стороне». Не только корабль — все открытое море становится твоим домом. Море как единое целое, как некая незамкнутая система, лишенная границ, линий раздела, непреодолимых преград. Корабль — нить Ариадны в лабиринте обособленных, несовместимых миров. Корабль, кормовой флаг, надежное пристанище...»

— ...Я обрадовался ему, как господу богу, сошедшему на грешную землю,— так сказал капитан Вихняж про встречу с человеком, о котором я его расспрашивал.

Прервав свой рассказ, он задумался, словно что-то пришло ему в голову.

— Впрочем, я быстро понял,— продолжал он,— отчего инженеру захотелось поплавать на танкере... и именно на этой лохани, на «Карпатах». Дело в том, что наш танкер — первый в серии... Роман сам его строил, а потом спас от пожара... Видно, что-то его с этим судном накрепко связало...

«...Я бы мог еще долго рассуждать,— говорил мой друг-поэт,— относительно эволюции понятий, которая совершается в уме выросшего на суше человека в результате долгих морских странствий, о диалектике переоценки ценностей... Если смотреть с берега — море кажется пустынным. Если смотреть с моря — пустынной кажется суша. С берега, особенно гористого, еще можно с грехом пополам разглядеть, что творится на воде. А море лежит ниже, и с его поверхности внутренняя часть суши недоступна взгляду. Зато от этой поверхности мы отсчитываем уровни, и оттого на море порой возникает единственный в своем роде эффект — ощущение дистанции. С некоторой дистанции отчетливее видна фактура земных массивов, их характерные очертания, которые теряются в нагромождении форм и деталей, если смотришь из глубины континента. С моря открывается изначальная архитектура земли в ее «первозданном виде», земли как планеты...

...Современность,— утверждал мой друг,— наделила нас еще одной точкой обзора — из третьего измерения, с борта самолета. Появление этой перспективы как бы примиряет извечные противоположности — сушу и море. Под крылом самолета мир обретает единство плоскостей: голубые зеркала морей и коричнево-зеленые ковры твердой поверхности, чередуясь, срастаются, как неотъемлемые части единого земного покрова. Острова становятся органической принадлежностью океана, проливы и заливы — элементами одного, окутанного солнечной дымкой, пейзажа. Участки суши, похожие на осенние листья, разбросаны по припорошенному облаками и пеной голубому фону; искрящаяся поверхность океана окаймлена холмистыми побережьями... Но я хочу сказать еще об одном открытии, связанном с морской спецификой,— говорил мой друг.— Когда позади остаются пляж и прибрежная полоса, доступная рыбачьим баркасам, байдаркам и парусным лодкам, мы попадаем в новую систему явлений, неведомую тем, кто никогда не покидал берега; глядя на пустынный горизонт, трудно догадаться о ее существовании. Там, где земля лишь маячит вдали темной полосой, начинается огромный организованный мир морских коммуникаций, населенный теплоходами и маяками, буями и вехами, лоцманами и радиопеленгами. Словно по гигантской, вырванной из привычного существования автостраде мы движемся от

стоянки к стоянке в потоке других судов, то смыкающихся в длинные караваны, то разбегающихся по просторным акваториям, чтобы снова встретиться при входе в проливы, эти международные променады. Побережья, фарватеры, густая сеть мерцающих маяков остаются позади, а мы продолжаем свой путь, сообразуясь с рисунками сигнальных огней встречных судов, с движением земли и пляской светлых пятнышек на экране радара; в особенности ночью на оживленных магистралях мы плывем в окружении тысячи сигналов, словно проходим головокружительную слаломную трассу по проспекту большого города. Ночью на современных морских путях бурлит жизнь, сверкают огни. Толчея порой почище, чем на запруженной народом центральной улице. При этом нужно помнить о размерах плавучих великанов, их огромной инерции и неповоротливости, особенно заметной, когда они сходятся почти впритирку, похожие даже не на автобусы, а на сорвавшиеся с места многоэтажные городские здания... Днем же это парад судов, выставка, громадный кораблестроительный «салон». Вот сенсация — последний крик моды: роскошный «пассажир», известный только по рекламам; вот старый, но все еще знаменитый, легендарный трансатлантический лайнер; там ваш путь, покачиваясь, пересекает красавец паром, курсирующий между островами, а рядом вдруг вырастает, как высокий пустотелый утес, танкер-гигант с трубой, отнесенной далеко в корму. А неподалеку — контейнеровоз новейшей конструкции... Парад государств, судоверфей и флагов, смотр всевозможных типов и моделей. Самые изящные суда — итальянские, и тут же — допотопные, обшарпанные греческие посудины...

Учти также,— говаривал мой друг,— что эта обращенная шкала топографических понятий легла в основу своеобразной морской географии, располагающей собственными иерархиями. Если б не трансатлантические перелеты, кто бы услышал о таком месте, как залив Шаннон в Ирландии? Та же история с опознавательными навигационными пунктами. В школьных учебниках географии обозначены Франция и Испания, Аравийский полуостров и Индийский океан — на морских картах и лоциях, на атласах течений и сетках времени указаны такие пункты, как мыс Юроп Пойнт, Йошерский маяк, мыс Сан-Висенти, мыс Гвардафуй... Не на всякой карте можно отыскать островок Миникой. Да и кто про него слыхал? А ведь Миникой — один из самых известных ориентиров в Индийском океане. Даже о соседях своих мы знаем немногое: вон там Копенгаген, а вот здесь, скажем, Дания или Норвегия. В плаванье же наш путь определяют маяки Гедсер или Скаген. Именно по этим точкам производится выбор курса, они делят рейсы на этапы, в соответствии с ними ведется исчисление времени. А с каким волнением выслушиваешь сводку: «Завтра на рассвете проходим Миникой». Ведь это означает: половина пути через океан пройдена. Какие еще ориентиры можно найти посреди бескрайних водных равнин?..»

2

— Был летний солнечный день,— рассказывал капитан Вихняж. Он стоял на ходовом мостике и смотрел через стекло на длинный спардек. Открытая грузовая палуба с трубопроводами, похожими на спящих змей, напоминала пустынный двор нефтеперегонного завода, если на него глядеть с высокой башни. Судно стояло у причала гдыньского порта. На палубе, как обычно на танкере, было малолюдно. Клинкеты трубопроводов закрыты — «Карпаты» готовы были выйти в море. Капитан в последний раз перед отходом осмотрел

швартовы и шпринги, кинул взгляд на боцмана, хлопочущего на полубаке, на электрика, сворачивающего телефонный провод, убедился, что на палубе нет посторонних предметов, посмотрел на часы — сколько осталось до прихода буксира, и уже собрался идти к себе, как заметил сверху подымающегося по трапу инженера Романа. Самое время было ему появиться! Вихняж раньше не знал инженера, однако сразу догадался, что это он. С высоты второго этажа капитан видел, как вахтенный офицер препоручил вновь прибывшего дневальному матросу. С крыла мостика все казались коротышками, так что нельзя было даже определить рост нового главного механика.

Дневальный, подхватив чемодан инженера, вел его по левому борту. Парень сам толком не знал, куда нести вещи, и, запутавшись среди дверей офицерских кают, растерянно озирался по сторонам; сразу видно было, что недавно попал на танкер.

— Разрешите, я спрошу у баталера...[1] — смущенно пробормотал он.

Вновь прибывший с легкой усмешкой ответил:

— По этому коридору, третья дверь налево...

Матрос, поудобнее ухватив тяжелый чемодан, с любопытством покосился на своего спутника.

— А... откуда вы знаете? — спросил он.

Новый инженер-механик пожал плечами. Обогнав матроса, он без колебаний открыл нужную дверь. Такую картину мне нетрудно было себе представить...

Часом позже, когда капитан Вихняж перед началом маневров беспокойно топтался на мостике в ожидании последних сигналов, он увидел, как вахтенный офицер ведет инженера по трапу наверх. Через минуту оба появились в рулевой рубке. Третий помощник — он тогда был вахтенным, поскольку чиф находился на полубаке,— представил нового главного механика капитану:

— Инженер Роман... будет у нас...

— Знаю, знаю,— расплылся в улыбке капитан.— Вы нам, дорогой мой, судьбою посланы. Мы потому и не отходили, ждали вас. Вихняж.

Представившись, инженер-механик ушел. С левого борта уже слышался шум двигателей. Капитан бросился на крыло:

— Буксир пришел?

И — к палубному телефону:

— Хорош! Принять буксир, подготовиться к отдаче концов. Можно буксировать. Таможенники и пограничники сошли?

— Так точно...— отчеканил голос Первого.

Палуба под ногами бегущих матросов загудела. В коридорах заливаются звонки. Хрипло ревет сирена. Дрожат внизу машины. Тяжелое, неуклюжее судно начинает осторожно маневрировать у причала — танкер выходит в рейс.

Роман тем временем устраивался в комфортабельных и довольно просторных апартаментах, предназначавшихся главному инженеру-механику. Помещение состояло из спальни, кабинета и ванной. Инженеру по долгу службы сопутствовал баталер: включал холодильник и вентиляцию, расхваливал танкер, перечисляя все его достоинства; держался он при этом подобострастно, ни дать ни взять — владелец пансионата: ему явно хотелось снискать расположение «второго после бога». Дневальный помогал раскладывать вещи, еще один матрос стоял в дверях, глазея на нового главного механика и всем своим видом выражая горячее участие. В конце концов, переме-

[1] Офицер административно-хозяйственной службы на польском судне.

ны на таком уровне случались здесь не часто, да и вообще жизнь не баловала новостями. Потому-то всем запомнилось появление инженера. Сквозь открытые иллюминаторы доносились команды, шум гребного винта и кряхтенье буксира. Берег отступал, поворачиваясь под углом к носу судна.

«...Что же такое в наши дни путешествие на борту корабля в самом прямом и буквальном смысле? — пускался в объяснения мой друг-поэт.— Это сменяющиеся виды за окном и беспрерывная пульсация машины. О штормах и бурях пока говорить не будем. Огромный современный теплоход, хотя бы только своей архитектурой, более всего напоминает многоэтажное городское строение. Куда до него самолету или вагону — это жилой дом, странствующий по свету неторопливо и неутомимо. Это плавучая гостиница: расставшись со своими соседями, потеряв из виду здания, выстроившиеся напротив, оставив позади суету и гомон, уличный шум, она вырывается из объятий города и вот уже отделена от него неуклонно расширяющейся полосой воды; в течение многих дней вокруг морская гладь — и вдруг в одно прекрасное утро оказываешься среди других домов, в другом городе, где пейзаж и архитектура тоже другие. Вместо снега, слякоти, неоновых фонарей — пальмы, красная черепица, раскаленные добела стены. Вот какая картина открывается пассажиру теплохода — разумеется, с его точки обзора, из окна каюты. Когда во время путешествия наблюдаешь за окружающим, не покидая своего «места проживания» (ибо каюта сегодня — обычный гостиничный номер), вид из иллюминатора — единственное, что связывает тебя с внешним миром, благодаря чему осознаешь, где и в какой эпохе ты, мореход, обретаешься. В остальном изоляция полная, в особенности на судах с кондиционированным воздухом. И именно эта мнимая стабильность гостиничной жизни в сочетании с непрестанной сменой явлений за окном усиливают ощущение, будто корабль — твой родной дом, пробуждают теплые чувства, подобные тем, какие, вероятно, испытывает улитка к своей раковине... Подумать только: та самая плавучая «хата», которая до вчерашнего дня была окружена прибалтийскими снегами, сегодня жарится на солнце посреди гладкой, как стекло, таиландской или бразильской реки. Та же самая гостиница со всем своим содержимым, с той же каютой и трапом, с той же столовой, баром и прогулочной палубой, поочередно становится частью каждый раз нового города, порта, пейзажа. Невольно начинаешь верить в универсальность мира, в возможность молниеносной интеграции. Ни в самолете, ни в поезде не создается подобного впечатления, поскольку нигде больше ты не погружаешься в совершенно особый мир, оставаясь в неизменном состоянии, «со всем хозяйством», со своим жильем, лампой, занавеской и письменным столом. И честное слово, мой дорогой, дело тут не во флаге родины, территориальной суверенности, польской кухне и родимых порядках (хотя подсознательно учитываешь и это); то же самое происходит, когда плаваешь на иностранном судне. Тут главное — постоянство окружения, «широким фронтом» переносимого в непрерывно меняющийся контекст...»

В офицерской кают-компании стюард с помощником накрывали на стол. Приближался обеденный час, корабль, покинув мир, где ощутимо сменяются времена года, климатические условия и условия быта, начинал жить в своем священном автономном ритме, задаваемом приемами пищи, сном и вахтами. Первый обед на море, как дыхание, как биение сердца, символизировал внутренний порядок. Поэтому он всегда превращался в маленькое торжество, хотя день был рабочий, будничный. Впервые собирались вместе люди, вырванные из привычного уклада жизни, объединенные, отныне и надолго, в новое сооб-

щество — команду корабля. Кают-компания светилась от белоснежных скатертей, земными красками играли живые цветы в вазах. Офицеры сходились к обеду, одни — в мундирах, другие — в парадных костюмах. Капитан Вихняж вошел почти одновременно с инженером Романом. По случаю появления нового члена команды было приказано подать на капитанский стол зубровку. Последовала церемония знакомства: Вихняж поочередно представлял Роману офицеров, не скупясь на громогласные грубоватые комплименты. Капитана на «Карпатах» любили, это подтверждала вся команда; в ту минуту он определенно чувствовал себя счастливым: на судно пришел новый главный механик, да и сам факт выхода в рейс привычно радовал душу.

— Удивляюсь я вам,— сказал капитан, отставляя рюмку,— как это вы рискнули к нам прийти? И прямо с ходу, с места в карьер... Что вас сюда потянуло?

Роман, освеженный, подтянутый, старался не нарушать установившейся атмосферы сердечности.

— Ну, уж если плавать,— сказал он,— то там, где можно чему-нибудь научиться. Мы мало имели дела с танкерами. А этот — первый в серии...

Капитан заговорил откровенно — как-никак инженер становился одним из хозяев судна.

— Машина новехонькая,— заметил он,— а один дефект уже обнаружился. Не хочу вас пугать, но месяц назад мы вышли из Абадана, а спустя пять часов нас приволокли обратно. Пришлось тогда попотеть инженеру Ящику, вашему предшественнику... Невезучее какое-то судно,— принялся размышлять вслух капитан.— Уже во время постройки...

И оборвал фразу, поймав взгляд первого помощника. Потом закончил торопливо:

— Но ничего, как-нибудь выберемся из этой полосы неудач...

Второй механик, старавшийся придерживаться технических вопросов, подхватил:

— Трое суток проверяли поршни при пятидесяти градусах по Цельсию... Я думал, весь груз испарится.

Инженер в промежутке между двумя блюдами успел обсудить со своим заместителем некоторые конструктивные особенности двигателя. Судя по вопросам, которые он задавал, и любопытству, с которым выслушивал ответы, Роман прикидывался, будто не знает машины или, по крайней мере, не знает ее в эксплуатации.

Обед приближался к концу. Капитан вторично поднял бокал за нового коллегу.

— Тяжелая у нас служба,— сказал он, качая головой.— Танкер — это ж сущие галеры. И что вас могло сюда загнать?..

Зубровка, видно, делала свое.

Офицеры переглядывались украдкой. История инженера, разумеется, была им известна, и потому при упоминании о ней всем становилось неловко. В конце концов, впереди совместный рейс, долгие месяцы жизни в одном коллективе... Лицо второго механика порозовело. В поведении капитана он уловил некоторую бестактность. А командир «Карпат» гнул свое:

— Да еще сразу подвернулся рейс на Кубу. С нефтью в огонь! Повезло, называется... Это Карибское море... вечно там что-то тлеет...

Инженер Роман сохранял невозмутимое спокойствие. Ничего нельзя было прочесть у него на лице. Казалось, только он да стюард, стоящий на пороге буфетной, не принимают участия в этой перестрелке словами и взглядами.

— ...Я восхищаюсь отчаянными людьми,— гремел бас капитана.— Сам когда-то хотел вступить в Иностранный легион...

Роман по-прежнему пропускал намеки мимо ушей, и только внимательный наблюдатель мог бы заметить, как крепко новый главный механик сжимает стакан, чтобы унять дрожь пальцев.

Офицеры шумно подымались из-за стола, стремясь побыстрее положить конец этой комедии. Второй механик встал вместе с инженером:

— Может быть, хотите познакомиться с машиной, шеф?..

Капитан Вихняж, уходя, бросил:

— График вахт составим вечером.

3

«...Странствуя по морям, подчас забываешь, где находишься,— утверждал мой друг-поэт.— Сколько раз за время плавания судно входит в порт ночью или на рассвете, когда облениившийся пассажир (и все прочие, кроме вахтенных) мирно спит на удобной койке, а утром, открыв глаза, видит в иллюминаторе, где уже много дней маячил пустынный горизонт, крыши незнакомого города. Кажется, среди ночи звенели в коридорах звонки, призывая команду занять свои места... Окончательно же разгоняет сон другое: тишина, непривычное молчание безостановочно работавшей машины. Потому что заход в порт — дело не быстрое, а кому охота, если это не самое начало путешествия, разбивать себе ночь, глядеть, как маневрирует судно... Плавание на корабле — это постоянное испытание терпения: приходится ждать лоцмана, буксир, шлюзования, а потом и разрешения на швартовку. Еще надо пройти всякие формальности, а напоследок ждешь моторку. Однако главное—это сознание того, что, сунув однажды вещи в шкаф, ты вытащишь их лишь где-то на другом полушарии, обретешь заново в совершенно ином мире... Ну, а на обратном пути возникает новое ощущение: поднявшись на палубу польского судна, как бы сразу попадаешь домой. Да что тут долго рассуждать — действительность сплошь да рядом поражает театральными эффектами. Мне не забыть вечера накануне прихода в Иокогаму, который я провел на мостике, в окружении незнакомых огней Токийского залива. Вот она, скрытая темнотой сказочная, неведомая Япония! А утром просыпаюсь — вокруг тишина и в круглой раме иллюминатора бело-розовый конус Фудзиямы, как чашка лотоса среди ясной, безоблачной голубизны неба, кстати, весьма редкой для того времени года. И сияет эта священная гора в самой серединке моего иллюминатора, словно ее написали красками, словно специально там водрузили,— символ Японии, банальнейшая декорация. В том же самом иллюминаторе, который заносило снегом с Мотлавы...»

Так это выглядело в монологах моего друга-поэта. Моряки, вероятно, говорят на другом языке, видят то же самое с другой точки зрения, и жизнь на судне для них не увлекательное путешествие, а работа, будни. Да и в красочном рассказе капитана Вихняжа, и в воспоминаниях остальных участников тех событий все это выглядело по-другому.

Их окружали поблескивающие, как поток расплавленного олова, тропические воды Карибского моря. Позади остались долгие и однообразные дни плавания по Атлантическому океану, размеченные ударами гонга, созывающего к столу, и сменой вахт в машинном

отделении, заходами солнца перед носом танкера и пустеющей палубой, хороводом ярких, как крыло жар-птицы, закатов над огненной бездной и розовато-лиловых рассветов, душными ночами под бархатным небом, изукрашенным молочно-белыми звездами. Позади был пустынный океан, блекло-голубой на солнце и пепельно-серый в тени, и были дни, когда шли то против ветра, в густом и влажном воздухе, то в стелющемся тумане бродячих туч, а потом снова на темно-васильковом небе повисало ртутное солнце, и жара не чувствовалась из-за ветра и движения судна, уплекающего за собой потоки воздуха, и море порой становилось войлочно-серым, как нижняя сторона листа мать-и-мачехи... За этими днями приходили другие, когда дул сильный встречный ветер, с утра долго не рассеивался туман, и океан, шелушась пеной, вздымался длинными волнами. Дни сменялись ночами: хорошо размышлять ночью, стоя у леера и глядя, как с клейким шипением струится вдоль борта вода, а из трубы летят и пропадают в плюшевой тьме призрачные искры; хорошо стоять и думать в темноте под жаркий аккомпанемент вибрирующих машин, на безлюдной шлюпочной палубе, когда низехонько, над самой водой, блестит в серебряной пыли Южный Крест, а в другой стороне неба медленно прячется за горизонт бледная, опрокинутая Большая Медведица и ярко сверкает, серебря море, подковка растущего месяца... А утром вдруг начинается адское громыхание железа под ударами пневматических молотков — с палубы счищают ржавчину перед покраской. А какое блаженство испытываешь в ванной или под душем, розгами секущим обожженную солнцем кожу. Или когда благословенный кондиционированный воздух холодной стеной обрушивается на тебя при входе в каюту... Дурацкие фильмы по субботам в раскаленной столовой команды, беседы за рюмочкой у капитана, вошедшие в обычай дискуссии на две темы: женщины и морская служба. Бесконечные разговоры о женах, о письмах из дому, о том, что червячок беспокойства точит и точит душу, и, наверно, это патология, симптом профессионального заболевания... И снова редкие тучки, ненадолго заслоняющие солнце, от палящих лучей которого спасают только движение судна и муссоны, снова синее, как сапфир, волнующееся море. Время от времени ласточкой промелькнет летучая рыба, всплеснет, играя, за кормой дельфин. Облака появляются все реже, и столбик ртути не опускается ниже тридцати градусов: океан не столько покрыт рябью, сколько солнечными блестками. Вокруг, куда ни кинешь глазом, сверкающая, точно накрахмаленная гладь. Хоть часами гляди в бинокль — ничего за тускнеющими стеклами не увидишь... После вахты — непременная прогулка, единственный способ размяться. Сто пятьдесят пять метров вдоль судна, от носа до кормы,— недурной моцион. Если смотреть от якорного клюза, кажется что танкер стоит на месте, только шипит за бортом волна. При движении все звуки относит назад: на носу вибрация двигателей, дрожь гребного винта неощутимы. Тихо, словно на паруснике. Чувствуешь как прогибаются стрингера от неуловимого сопротивления волны. Белые застекленные безлюдные надстройки, скрывающие даже недремлющих вахтенных, маячат где-то вдалеке у кормы, за пустынным лежбищем трубопроводов. С полубака хорошо видны обводы длинного корпуса, бортовые обшивки. Пока пройдешь от носа до кормы по переходному мостику, над меандрами плотно закрытых заглушками, недвижных трубопроводов, не мудрено и запыхаться. Порой на этой трассе, как на пустых задворках склада, повстречаются два одиноких путника. Повстречаются и молча друг другу улыбнутся, ибо все-таки немножко это смахивает на ежедневные прогулки по тюремному двору... А на корму попадешь, словно на галерею над Ниагарой: под ногами ощутимо с натугой по-

ворачивается вал, дрожь, кажется, пронизывает тебя насквозь, брызжут пенистые кильватерные струи. Мощный водоворот от гребного винта раскручивает свои перепутанные спирали; кудрявая от пены поверхность, разглаживаясь, серебрится, чистая и ровная, как желе. И бежит из глубин к самому солнцу светлая кипень... Иной раз, когда посильнее разыграется бриз, можно увидеть сине-зеленые буруны, от ветра подернутые радужной пленкой измороси, окаймленные семицветной бахромой солнечного спектра... А потом вылезаешь в очередной раз из машины, и опять перед тобой темно-голубой океан, чуть колеблемый бризом, липкий и тяжелый от зноя. Опять небо кажется выгоревшим добела, и облака на нем похожи на клубы пара. Пройдут полосою тучи, и вода на их пути станет серовато-лиловой, а впереди, в толще своей, останется темной и непроницаемой, как сапфир. Где-то в стороне хмурится, похоже, собирается гроза, впрочем, нет, это лишь повисли парным туманом кучевые облака. И каждый раз, когда, спасаясь от раскаленной жести и горячего линолеума, попадаешь к себе в каюту, по мокрой коже пробегает озноб, словно вползаешь в холодильник. А ведь температура в каюте такая же, как дома, в родном северном краю, в Европе... Это тропики — всегда прекрасное солнечное царство, до того восхитительное, что даже грустно становится и страшно, есть в их красоте надменная изысканность, любуясь ею, от пресыщения заболеваешь ностальгией. Изредка мелькнет на горизонте корабль, далекий и равнодушный, проплывет стайка дельфинов, мудрых веселых созданий, пускающих в воздух звонкие фонтанчики с беззаботностью первых обитателей рая. Наверху, однако, тоже долго не выдержать, потому что либо ветер хлещет по лицу струйками расплавленного свинца, либо — с подветренной стороны — шумят вентиляторы...

Теперь, в Карибском море, солнце палило еще нещадней. Одинокий силуэт «Карпат», оголенный, без мачт и кранов, со сдвинутыми на корму наростами надстроек, скользил по сверкающей водной поверхности под огромным пустым небом, в кругу, очерченном линией горизонта. Вытянутая в длину палуба и бегущий над змеиным гнездом трубопроводов переходной мостик дрожали в знойном мареве. Из ходовой рубки капитан Вихняж и вахтенный офицер, оба в белых мундирах, посматривали вниз, на матросов — почти все были по пояс голые, в касках. Большинство с бородами — успели обрасти за время рейса.

В машинном отделении, пятью этажами ниже, оглушительно стучали в цилиндрах поршни, дергались на пружинах пульсирующие клапаны. Инженер Роман спорил с мотористами: из трубы вылетали искры, это было опасно. Люди кричали друг другу в ухо, следили за показаниями приборов — обычная вахта в машинном. Только жара была необычная. Лица лоснились, пот лил ручьями, приходилось то и дело вытирать загривки перепачканными полотенцами. Сверху по телефону отдавали команды.

Жарко было и в камбузе, хотя вентиляция тут работала с бóльшим эффектом. Гудение воздуходувок под потолком заглушало лязг сечек. Повар с помощником, сами будто только что со сковородки, готовили обед. Жизнь шла заведенным порядком; по существу, с Балтийского моря ничего не изменилось. Баталер Маркевич в буфете составлял счета и продавал пиво взмыленным матросам. Несколько человек из палубной команды под руководством боцмана красили термостойкой краской переходной мостик. Для этого пять дней кряду с адским грохотом счищали ржавчину.

В штурманской рубке третий помощник вычерчивал на карте курс, производя расчеты для очередного определения координат. Что-то у

него не сходилось — пришлось все пересчитывать и наново откладывать расстояние циркулем. Правее испещренного циферками мыса Эньгано пересекались две линии, и Третий обвел это место кружочком. Когда он вписывал число и час, остро заточенный кончик карандаша сломался. Рядом, за распахнутой настежь и придерживаемой крючком дверью, рулевой, не выпуская штурвала, повторял вслед за вахтенным офицером поправки к курсу. На этот раз была вахта чифа. Он в бинокль оглядывал горизонт. Вокруг было пусто, только самая граница воды и неба, затянутая дымкой и не доступная невооруженному глазу, за стеклами бинокля как будто кипела, усеянная горошинами ртути, похожими на россыпь мячей или елочных шаров. Штурман регулярно брал пеленг. На фоне пустынного неба вращалась антенна радара.

Капитан Вихняж в своей каюте читал телеграммы и проверял счета. У него еще оставалась уйма работы с документацией, а до Гаваны было рукой подать. Пока все шло гладко, и, если не подведет погода и обойдется без других помех, можно считать — рейс позади. И все-таки капитан не чувствовал себя спокойным. Слишком большой у него был опыт, да и в здешних краях он плавал не впервые. Вихняж не преувеличивал, говоря, что однообразие «трамвайных рейсов» со временем начинает действовать губительно. Ну, а кроме того, в этих водах уже какую неделю было неспокойно. Капитан сидел за столом в мокрой майке-сетке, из крупных дырочек которой на груди торчали пучки седоватых волос,— плотный, кряжистый, в форменной фуражке; узловатые его бицепсы уже слегка затягивало жирком. Он с отвращением курил сигару и отчаянно потел. Бумаги прилипали к мокрым локтям. Ветерок от настольного вентилятора рвал в клочья струйки пахучего табачного дыма. На другой стороне коридора, в радиорубке, загроможденной металлическими шкафчиками трансформаторов, сидел радист в наушниках и крутил ручки настройки, переключаясь с одной станции на другую. Иногда он поглядывал на электрический хронометр, чтобы не пропустить время тишины в эфире, обозначенное на циферблате красным сектором. Перед ним стояла пишущая машинка, на которой он отстукивал сводки и радиобюллетень. Внизу, в радиоузле, кто-то включил трансляцию, и несколько минут во всех уголках судна гремел новоорлеанский джаз. Потом опять наступила тишина. Слышен был только мерный гул машин, смачно чавкала за бортом волна да плескались в солнечной пыли дельфины, преследуя летучих рыб, похожих на наших ласточек. Так проходили все дни плавания через Атлантику.

Инженер Роман как раз окончил обход машинного отделения. Вытерев полотенцем черные от загара, а сейчас еще и от мазута лицо и руки, он собрался уходить и уже со ступенек трапа отдал последнее распоряжение:

— Проверьте хорошенько эту передачу. Не нравится она мне. Как бы чего не выкинула.

Добравшись до жилого коридора, инженер вошел к себе в каюту. Отмывшись окончательно в собственной ванной, полураздетый, растянулся на койке, наслаждаясь животворным дуновением ветерка от вентиляторов. Следовало бы поговорить насчет машины с капитаном, но он отложил разговор, чтоб самому хоть немного прийти в себя.

Тем временем радист, оглохший от стонов и свиста в эфире, выругался себе под нос: «Чего это они? Никак, маневры устроили, черт подери!..» Сняв наушники, отложил их в сторону. Озабоченно покачал головой. Пододвинув с другого конца стола телефон, соединился с капитаном.

— Говорит Вжосек. Пан капитан, без конца запрашивают наши позывные... What ship? What ship?[1]

Капитан у себя поднял трубку. Выплюнул огрызок сигары.

— Подавай обычные сигналы,— негромко и спокойно пробасил он.— И ничего больше. Но сам не зевай. Лови сообщения из Майами и с Пуэрто-Рико, из Сан-Хуана...— Положив трубку, капитан шлепнулся во вращающееся кресло и откупорил бутылку пива.

На ходовом мостике дежурил чиф. На оживленных участках пути его всегда назначали на вахту вместе с Третьим, чтобы полегче было капитану. Все знали, что старик вскоре явится наверх и не сойдет с мостика до самой Гаваны. Впередсмотрящий закричал с носа:

— Судно сорок градусов слева!..

Чиф направил в ту сторону бинокль. За стеклами заплясала искрящаяся вода, и на горизонте возник странный силуэт. Он как будто висел в воздухе на темно-вересковом фоне над сверкающей волной. Подошел еще один матрос:

— Похоже, корабль-то военный.

— Смахивает на авианосец...— бормотал чиф, не отрываясь от бинокля.— Но без эскорта. Н-да, стало быть, входим в эту самую зону.

Отцепив микрофон, он доложил капитану:

— Военный корабль по левому борту.

— Хорошо,— загудел голос Вихняжа.— Продолжайте наблюдение.

Роман переодевался в своей каюте. После пекла машинного отделения, смыв с себя засохшую корку масла и пота, он инстинктивно, острее, чем обычно, почувствовал физическую потребность в чистой и легкой дакроновой рубашке. Такие рубашки инженер приобрел у поставщика в Кильском канале. Быть может, поэтому он считался первым модником на судне, где никто не отличался особой элегантностью. Надевая сложенные по складкам немнущиеся брюки цвета хаки, Роман вдруг застыл в неудобной позе, подняв кверху ногу,— сквозь жужжание вентиляторов до него донесся посторонний, постепенно усиливающийся шум. Прежде чем он успел натянуть штанину и подбежать к иллюминатору, нарастающий рев невидимого самолета, летящего низко над палубой, прокатился над головой и затих. Не меньше были поражены и все остальные. Матросы, заскочившие в буфет выпить пива, выбежали на палубу. На мостике вахтенный офицер следил в бинокль за пролетающей над самым судном амфибией типа «Каталина». Даже невооруженным глазом ясно были видны белые звезды на крыльях и надпись: «US Navy».[2] Прибежавшие из буфета матросы разглядели уже далеко за кормой крошечный самолетик, который разворачивался, накренясь на крыло.

Инженер Роман постучал в каюту капитана. Вихняж был уже в рубашке и в шортах — как раз собирался идти на мостик.

— Садитесь,— сказал он, откупоривая очередную бутылку пива.— Добрались, наконец, до этих проклятых вод. Придется принять кое-какие меры предосторожности...

Роман смочил губы в пене. Пиво тысячью иголочек приятно покалывало язык.

— Здесь всегда так летают? — спросил он.— Игра в кошки-мышки? Блокады ведь нет...

— Блокады, может, и нет, а полигон остался.— Капитана, видно, что-то волновало, вообще разговоров о политике он не любил.— Нужно все время держаться начеку, беспрерывно.— Он щелкнул несколь-

---

[1] Что за судно? *(англ.)*

[2] Военно-морские силы Соединенных Штатов.

ко раз зажигалкой, задумчиво глядя на язычок ровного бутанового пламени.— Теперь так пойдет до самой Гаваны. Я вам говорил, что будет горячо...— И щелкнул еще раз, с неожиданным раздражением.— Чертовски не люблю плавать в мутной воде.

Инженер, спокойный, бодрый, помалкивал. Можно было подумать, что услышанные новости пришлись ему по душе.

— А чего вы опасаетесь, капитан? Ведь это открытый район.

Капитан Вихняж опять насупился:

— Чего опасаюсь, чего опасаюсь... Вам хорошо рассуждать. А я уже слишком стар для приключений. И с провокациями знаком. Разъезжаешь тут с цистерной под обстрелом!.. Тьфу!

Снова, перекрывая шум вентиляторов и попискивание радиостанции, над головами с ревом пролетел самолет. Комментариев не требовалось. На минуту воцарилось молчание. Капитан не сводил с Романа своих голубых глаз.

— Ничего не поделаешь,— произнес он.— Без нервотрепки не обойдется. Объявим боевую готовность.

Инженер кивнул:

— Понимаю.

Он делал вид, будто и ему не впервой попадать в такой переплет.

Однако капитан продолжал хмуро разглядывать его из-под седоватых бровей. По глазам было видно, что он не намерен отступать.

— Так вот, пан инженер...— наконец заговорил он.— Если нам не помешают, завтра вечером мы должны быть в Гаване. Точнее — в территориальных водах. Хотя что здесь значат территориальные воды?.. И я хочу быть уверен, что ничего не стрясется...

Роман спокойно спросил:

— На судне?

— Я должен быть уверен, что могу свободно маневрировать,— отрезал Вихняж.— И чтоб никаких неожиданностей. Теперь скажите, как передача? Вы можете поручиться, что в ближайшие сутки двигатель не преподнесет нам какой-нибудь сюрприз?

Инженер прямо посмотрел в ясные голубые глаза.

— Я вас предупреждал, пан капитан. Сегодня мы полностью вскроем редуктор, чтобы разобраться, в чем дело.

Капитан Вихняж откинулся на спинку вращающегося кресла.

— Черт побери! Надо было именно теперь такому случиться. Этого я и боялся. А нельзя ли отложить ревизию... скажем, до порта? Хотя бы на сутки?

Инженер задумался.

— Возможно, там где-то трется... не поступает смазка. Кое-какие симптомы появились уже несколько дней назад. Знаете, после длительной нагрузки всегда так... обычно это обнаруживается к концу рейса. Вы меня сами предупреждали вначале... Плохо, что туда сложно добираться.

Капитан, как учитель первого ученика, терпеливо выслушал Романа.

— Надеюсь, вы понимаете, пан инженер, почему я добиваюсь от вас определенного ответа. Если судно здесь застрянет, как бы самим не спровоцировать инцидент. Главная наша задача — идти своим курсом, ни на минуту не замедляя хода. Пан инженер,— в голосе капитана прозвучала почти просительная интонация,— поймите меня, вся надежда на вас.

Инженер серьезно посмотрел на капитана «Карпат». Это был прежний Роман — после долгого перерыва он снова стал самим собой.

— Понимаю, капитан. Я буду сидеть там до утра. Надеюсь, мы найдем причину и машину останавливать не придется.

Но капитану этого было мало.

— А если без обиняков?.. Вы можете гарантировать, что не будет простоя?

— Нет,— ответил инженер, не отводя глаз.— На сто процентов не могу. Но я сделаю все, что в моих силах...

— Вот именно,— вздохнул капитан «Карпат».— У нас уже была такая история в прошлый раз. К вам я не могу иметь претензий, вы пришли перед самым выходом в рейс. Но ведь вы же специалист, черт возьми! Вы понимаете, в чем там может быть дело.

Своим безграничным доверием Вихняж буквально обезоруживал собеседника.

Инженер развел руками:

— Это я вам скажу после того, как мы вскроем редуктор.

...Капитан Вихняж повторил неуверенный жест Романа и покосился на меня с затаенным лукавством. Он был в ударе — я видел, что ему по душе роль автора и исполнителя «морских рассказов». Глаза-бирюзинки сверкали — рассказчик приближался к кульминационной точке. Это был уже не тот суровый и деловитый, далекий и не пытающийся сократить разделяющую нас дистанцию морской волк, которого я отыскал в укромном уголке бара на первом этаже пустующего Дома моряка. Если поначалу капитан старался держаться официально и подчеркнуто беспристрастно — полагаю, из добрых чувств к инженеру, ибо он, конечно, не поверил, что я пришел с лучшими намерениями и не принадлежу к числу неугомонных искателей сенсаций из жизни «виноватого и отверженного»,— то теперь от его беспристрастности не осталось и следа, и он сам разволновался от воспоминаний. Мы немного помолчали. Холодный осенний дождь снова метлой прошелся по стеклам. Капитан выпрямился и залпом допил все, что оставалось в стакане.

— Вот как оно получилось,— заговорил он, и низкий его голос снова обрел звучность.— Именно тогда полетела эта передача.— Тут капитан откашлялся, похоже без нужды, для того только, чтобы подчеркнуть значение своих слов.— Он прекрасный специалист, запишите это. Отличный парень. В работе титан... Я верил в него, как в бога. Но вы же понимаете, мы не боги, а всего лишь люди. В самый критический момент стали и ни тпру ни ну...

Капитан прервал свой рассказ, выдерживая эффектную паузу и глядя на меня блестящими от волнения глазами. Потом вдруг перевел взгляд в сторону окна, где за белой занавеской была залитая дождем улица и невидимое туманное море.

— Да-а,— продолжал он, помолчав.— Этот человек сам не понимает, что сделал. Вот говорят: он исполнил свой долг... В конце концов, ничего удивительного, что главный инженер-механик во время аварии двенадцать часов кряду провозился с машиной. На свет божий не глядел, пока не исправил эту проклятую передачу. А дело там было ясное. Требовалась чисто физическая работа. Формально это была не его обязанность...— задумчиво покачал капитан своей крепко посаженной седеющей головой.— Работал как вол,— подчеркнул он.— Как простой слесарь. Ничего особенного, верно?.. Но не забывайте,— он наклонился ко мне с такой стремительностью, что я невольно отшатнулся,— не забывайте, что все это происходило на танкере... Десять тысяч тонн нефти на борту, судно не может двинуться с места... Вряд ли бы кто вышел живым, а уж он и подавно...

4

Длинный обезлюдевший корпус «Карпат» внезапно вырос из-за поворота в двух шагах от меня. Я впервые видел танкер с близкого расстояния. Он стоял в гдыньском порту у причала, вероятно, того самого, от которого отходил в Гавану. Только теперь была уже поздняя осень и, пока я шел сюда, всю дорогу моросил гнусный дождь. Было тихо, не грохотали портальные краны, не сновали взад-вперед автокары и грузоподъемники, не маячили над бортами грузовые стрелы, вообще акватория порта в эту собачью погоду выглядела так, будто была объявлена забастовка. Вблизи танкер оказался довольно-таки потрепанным. Он несколько выделялся на общем фоне своей молочно-серой тропической окраской, но пятна ржавчины и нефтяные потеки выдавали, что корабль утомлен долгим плаванием. От него не веяло свежестью отдохнувшего судна, и, пожалуй даже, переброшенный из солнечного края в северную непогоду, он казался здесь чужим.

Я подошел поближе и, перескакивая через шланги и трубопроводы, направился к трапу. Темнело, опутанные сеткой измороси, сверкали фонари, перемигивались огнями буксиры. Укрепленные на верхних мостиках прожекторы выхватывали из темноты оснастку судов — казалось, на палубах разбросаны белеющие в полумраке конструкции из спичек. В конусах света плясали серые полчища мелких дождевых капель. Красные и зеленые сигнальные огни искрились и мигали в сырой тьме. Иногда хрипло ревели сирены.

Вахтенный матрос, стоявший у трапа, крикнул в глубь коридора:

— Пан механик, к вам пришли!

Минуту спустя появился третий механик «Карпат» Янек Петжицкий. Мы поздоровались в кругу света от фонаря. Я старательно вытер ноги. Петжицкий оказался симпатичным белобрысым толстячком, низеньким и круглым, как шар; бывает у моряков такая неестественная полнота от обильной пищи, воздуха и малоподвижного образа жизни.

— Пришли,— обрадовался механик.— Не заблудились. Извините, что вас сюда завлек, но такой уж я чудак... не люблю сходить на берег.— Вид у него был сконфуженный, словно он опасался, как бы я не принял его за ненормального.— Да еще погода такая,— вздохнул он.— А здесь, на борту, мы поговорим в свое удовольствие.

Петжицкий был сама любезность и, как радушный хозяин, старался оказывать мне всяческое внимание. Он повел меня в свою каюту. Там царил восхитительный моряцкий беспорядок. Молочно-белые бра создавали уют, приятно для слуха окоченевшего гостя шипели радиаторы, на койке лежала гитара. Механик усадил меня, стал угощать пльзеньским пивом и американскими сигаретами.

— А может, гаванскую сигарку?— искушал он, пододвигая красивый деревянный ящичек.

Я едва сумел отразить этот натиск гостеприимства. Наконец, хозяин угомонился и сел.

— Вот вам, пожалуйста, жизнь моряка. А разговору! Мол, в каждом порту по девушке... А уж дома, в этой самой долгожданной Гдыне...

Говор у Петжицкого был мягкий, и я подумал: не с востока ли он тоже?

— Я человек одинокий, холостой, родня вся под Белостоком («О, угадал!»), мне и не хочется никуда идти. Будешь сидеть в Доме моряка, как в казарме... уж лучше оставаться на судне.

Должен признаться, что все это время я нахально, с нескрываемым любопытством глазел по сторонам — на «Карпаты» я попал впер-

вые, а наслышан был так много, что в моем воображении танкер представал в ореоле легенды. Впрочем, на поверку все здесь оказалось самым обыкновенным.

Третий механик Петжицкий, к счастью, был человек словоохотливый:

— Вы спрашиваете о нашем инженере. Ну, это такой молодец... орден ему нужно дать. Я в литературе не разбираюсь («Еще один! Что за комплекс у всех этих технарей!»), хотя читать люблю, особенно про морскую жизнь. «Жестокое море» Монсарра читали?— И тут же, безо всякого перехода:— Наш инженер — герой каких мало. Когда это случилось,— выразительное движение рукой,— он работал, себя не жалея, без отдыха, как лошадь, лишь бы нам не стоять на месте... А от этого зависело все!

Петжицкий почти слово в слово повторял рассказ капитана. Сговорились они все, что ли, или воображения у них не хватает, своей точки зрения нету? Меня это слегка озадачило, и я решил прижать Петжицкого к стенке.

— Вот именно...— подхватил я.— Скажите мне откровенно... Значит, его любили?

Петжицкий задумался — поток восторженных восклицаний оборвался.

— Да, пожалуй...— внимательно поглядел он на меня.— Отчего нам было его не любить? Хотя одна вещь мне казалась немного странной.— Похоже было, мысль об этом только сейчас пришла ему в голову.— Ну да... Сами посудите... Спокойный, культурный человек, с нами со всеми прекрасно уживался, хотя держался на расстоянии, как и положено на судне. И только с одним типом у него началось со стычки... Да еще какой! Крепко сцепились, я думал, клочья полетят...

Это было нечто новое, и я, как говорится, обратился в слух.

— Есть у нас, видите ли,— продолжал хозяин,— один механик, дизель-моторист. Виктором его звать. Виктор Бальцежак. Тоже с верфи пришел, только пораньше... Кажется, он спасся, когда был пожар... Ну, вы, наверно, слышали... года два назад...

Я энергично закивал головой: мол, известно, о каком пожаре идет речь, и не стоит отвлекаться для ненужных объяснений. Начиналось самое интересное.

— Сдавалось мне,— рассказывал третий механик,— неспроста они так... Что-то между ними произошло, отчего оба терпеть друг друга не могли... Но мне что до этого?.. Я о людях сужу по делам...

Петжицкий казался слегка смущенным. Я вдруг почувствовал симпатию к этому прямодушному, деликатному человеку. Это все море, море учит людей быть честными в оценках. Но не внушил ли я это себе ненароком? Не идеализирую ли я их порой?

Механик отхлебнул пива и немного помолчал, пуская колечки сигарного дыма. Потом снова обратился ко мне:

— Вы, наверно, слыхали, какая история у него вышла на судоверфи. Мы тоже кое-что знали, но, сами понимаете, помалкивали. С прежней должности его сняли, он по своей воле пришел на флот и уперся, чтоб непременно на танкер. Я в чужие дела вмешиваться не люблю... шеф есть шеф... главное, чтобы дело знал и человек был порядочный. Но, думаю, что-то в нем было такое, ожесточенность, суровость какая-то... а ведь он умел нравиться, хотя ничего для этого не делал и держался официально. Так вот, я считаю, та история повлияла на его поведение там, тогда... на подходе к Кубе, когда случилась авария... Самолюбие в нем заговорило! — с торжеством воскликнул мой собеседник, обрадовавшись, что нашел верные слова.

Рассказ Петжицкого — образный, толковый — как бы дополнял услышанное от капитана. Разве что он смотрел на все это «снизу», «из машины».

Итак, я был в той же самой каюте третьего механика с фотографиями киноактрис на стене и гитарой на койке. Только происходило все это два месяца назад, в Карибском море. Жужжали вентиляторы, сквозь иллюминатор лился тропический свет. Дрожали под крытым линолеумом полом машины, да плескала волна. Зажглись молочно-белые бра, быстро, как всегда в субтропиках, сгущались сумерки. Механик сидел чумазый, в одних брюках и сетке, когда кто-то энергично постучал в приотворенную, державшуюся на крючке дверь. Появилось лицо моториста из вахтенной смены.

— Пан механик,— доложил матрос,— инженер велел срочно идти вниз.

— Иду,— сказал Петжицкий уже с порога.

Они вышли в коридор. Слева, в проходе через шлюпочную палубу, виден был кирпично-пурпуровый закат, яркий и блестящий, как недавно наклеенная переводная картинка над пустынным тропическим морем. На трапе Петжицкий столкнулся со вторым помощником, который возвращался с вахты.

— Ну, как там передача?— спросил Второй.

Петжицкий пожал плечами:

— Сейчас за нее возьмемся. Придется все вскрывать. Иначе не проверишь. А здесь что делается?

— Ничего хорошего,— пробормотал Второй.— Старик нервничает. На горизонте кто-то крутится. И самолеты с нас ни на минуту не слезают.

— Черт подери! А если придется встать...

— Они нам покажут...

Второй исчез, а Петжицкий спустился в машинное отделение. Сразу, еще на трапе, в лицо ударил запах нагретого смазочного масла и раскаленного железа. В удушливом дрожащем знойном мареве стучали поршни: их мощным ударам вторило странное эхо—звук шел как будто из-под воды, со дна пустого кессона. Инженер Роман, второй механик и еще несколько человек в одних только плавках, с ног до головы разрисованные соляркой, возились с передачей редуктора. К этому адскому шуму примешивался рев машин, долетавший через открытую дверь из соседнего помещения. Голоса не были слышны, только шевелились губы, да грязные руки чертили знаки в воздухе. Мотористы как раз снимали кожух. Инженер Роман с ключом в руке управлял напряженной работой.

В это время настроение на ходовом мостике было не из веселых. Капитан Вихняж в нахлобученной на глаза фуражке изучал в бинокль темнеющий горизонт. Рядом с ним стоял Первый, с виду, как всегда, спокойный, чтобы не раздражать старика. Впередсмотрящий кричал:

— Корабли по курсу!

В стынущем сумраке, придававшем всему вокруг странную голубоватую окраску, маячили за стеклами бинокля силуэты эсминцев, словно выкованных из темно-синего металла, мигающих сигнальными огнями. Темнота сгущалась на глазах — казалось, кто-то щедрой рукой засыпает мир толченым графитом.

Радист, как ни болели уши, сидел неподвижно, не снимая наушников. Схватив микрофон, он доложил на мостик:

— Капитан, все время спрашивают: «What ship? What ship?»

Капитан пробасил в ответ:

— Хорошо. Сообщай данные.

В небе вспыхнули яркие бусинки огней самолета. Прокатилось по горизонту эхо, сначала негромкое. Потом вдруг рев мотора стал оглушительным, как будто над самой палубой грохнул выстрел. Следом, с опозданием в несколько секунд, воздух просверлил характерный свист реактивного двигателя. От эсминцев на горизонте брызнули в разные стороны лучики прожекторов. Сверкающие иглы вспороли невидимую воду. В синей дали начали перемигиваться огоньки световой сигнализации. Капитан Вихняж читал сигналы.

— Передай позывные и порт назначения!— крикнул он вахтенному.

Матрос-сигнальщик с верхнего мостика «Карпат» стал подавать ответные сигналы.

А в машинном отделении было все так же шумно и жарко, вибрировали шатуны, похожие на могучие, лоснящиеся от жира мускулы великана, вздрагивали клапаны и поршни. Инженер Роман, грязный — то ли от пота, то ли от масла,— работал, втиснувшись в какой-то уголок внутри машины. Над ним в несколько ярусов громоздились механизмы и металлические конструкции. Инженеру не покладая рук помогали Петжицкий и мотористы — увлеченные примером шефа, и они старались не ударить в грязь лицом. В желтом свете ламп, отраженном блестящей сталью, мелькали перед усталыми глазами руки и инструменты. Шла напряженная, лихорадочная работа. Инженер, распрямившись, крикнул, перекрывая грохот, усиленный стенами этого огромного, плотно закрытого ящика:

— На ходу проверить не удастся!..

На мостике — по контрасту просто оглушительная—царила тишина. Была уже совсем темная, серо-синяя ночь. Где-то на юго-западе мрак еще не совсем сгустился, и одинокое облачко на небе хранило солнечный отблеск, румянивший его выпуклое брюшко. Танкер сверкал огнями — один посреди черного моря. Только мостик и передняя часть длинного корпуса погружены были в беспросветную темноту. Привыкнув, глаз мало-помалу начинал различать фигуры вахтенных и фосфоресцирующие шкалы приборов. Огни военных кораблей постепенно скрывались за горизонтом. Капитан вошел в штурманскую рубку с наглухо задраенными окнами. Когда он открыл дверь, оттуда на минуту вырвался сноп света и пробежал по мостику, вспыхивая коротким блеском на стекле и никеле затаившихся в темноте аппаратов. В рубке, под низко опущенной лампой, во весь стол была расстелена карта; капитан мельком взглянул на обозначенную на ней точку нахождения судна. Штурман брал радиопеленги.

— Что берешь?— хрипло спросил Вихняж.

— Ки-Уэст, Нассау, Матансас...

Капитан возвращается на мостик. Ночь странная — безлунная, а как будто светится, насыщенная молочной голубизной. Быть может, неуверенность и томительное ожидание создают эту иллюзию неуловимого свечения, которое разрежает и баламутит ночную тьму. Огни на горизонте давно исчезли.

— Угомонились,— вполголоса произносит чиф.— Кажется, мы прошли их зону.

Итак, на мостике тишина, слышен только ровный пульс машины и плеск волны, разрезаемой носом судна. Море со всех сторон чистое. Единственные признаки жизни сохранились на судне — звуки долетают из-за спины, со стороны жилых надстроек. Люди на мостике прислушиваются к шепоту моря. И вдруг окружающая их тишина становится еще более глубокой, начинает звенеть в ушах. Шелест волны затухает, делается все менее различимым. Что произошло, на мостике

поняли не сразу. Ровный, вот уже которую неделю не умолкающий гул двигателей... затих. Машина застопорилась.

Капитан и офицеры на мостике как будто очнулись. Залились телефонные звонки, заглушая звяканье машинного телеграфа.

— Что случилось?

— Я был вынужден остановить двигатель,— сухо проскрипел снизу голос инженера.— Сейчас врубим снова. Попробуем перейти на малые обороты.

— Дьявол!..— рявкнул капитан.

5

В этом месте Петжицкий умолк, словно заново вспоминая ту минуту. Я оглядывал его каюту, куда тем временем набился народ. Рядом со мной сидели новые гости — все они, как сговорившись, завернули поболтать. Думаю, это получилось не случайно. Хозяин, видно, кое-кому сказал, что я собираюсь зайти, поскольку не прошло и пяти минут, как в дверь робко постучали. Первый гость заглянул, будто бы о чем-то спросить или одолжить какую-то мелочь, и, разумеется, остался. Вскоре стук повторился: сосед поинтересовался, не собирается ли Петжицкий в город, и... тоже остался, извинившись и десять раз спросив, не помешает ли. Так что теперь передо мной в теплой каюте сидело большинство действующих лиц той истории: первый помощник и два моториста. Все в гражданском, в выходных костюмах. И слова механика сразу стали более убедительными: в присутствии свидетелей не имело смысла что-либо выдумывать или приукрашивать. Я сам не заметил, как товарищи Петжицкого начали добавлять разные подробности, дополняя его рассказ. Впрочем, их мнения по большей части совпадали, и факты вырисовывались ясно.

— Положеньице было аховое,— продолжал третий механик.— Сами посудите: застряли мы возле мыса Матансас, невдалеке от Гаваны. Местечко — хуже некуда, потому что воды, по существу, ничейные...— Он посмотрел на товарищей, словно искал подтверждения своим словам. Они с ним согласились.— В тот момент, когда пришлось остановить машину, мы были вне пределов досягаемости эсминцев, которые мозолили нам глаза. Но они там все движение держали под контролем. И рано или поздно должны были обратить внимание на то, что мы стоим на месте... Ну, а вдобавок вокруг шныряли эти пиратские катера... Они выходили на охоту с Флориды, и неподвижное судно, да к тому же с горючим... сами понимаете... Чего только мы об этих катерах не наслышались...

Я беспокойно зашевелился: не все его недомолвки были мне понятны.

— Прошу прощения... О каких катерах вы говорите?

В разговор вмешался один из мотористов:

— Ну, об этих... кубинских эмигрантов. Помните, что они устроили на Плайя-Хирон? Это ведь не так давно было. И еще всякое случалось... Одно судно обстреляли...

Я нарочно прикидывался простачком, хотя понимал, что ничего больше из них не вытяну. Они не любили говорить о политике, а возможно, не хотели вдаваться в подробности. И я решил ограничиться конкретными деталями.

— Ну, а на самом деле,— спросил я,— была реальная угроза?

— Этого мы не знаем...— отозвался второй моторист, которого, видно, неодолимо притягивала гитара Петжицкого — пододвинувшись поближе, он легонько пощипывал струны.— Но слухи такие среди

команды ходили все время. Ребята, которые не раз там плавали, разное рассказывали...

Петжицкий поспешил переменить тему.

— Теперь вы понимаете, каково нам было,— заключил он.— От одних мыслей в жар бросало. Старик бушевал, только... что от него зависело?

Первый помощник, Домбковяк — так его представил хозяин,— ерзал на стуле, слушая эти объяснения: ему явно не терпелось что-то добавить. И, едва механик замолчал, повернулся в мою сторону.

— Видите ли, пан редактор,— сказал он,— дело было не только в этом. Мы боялись провокации и этих катеров боялись, как-никак на борту горючее... однако хуже было другое: надвигался циклон. Они там у себя, в машине, не все до конца понимали. А это были уже не слухи. Это была реальная опасность. Последние несколько часов наш «Маркони» ловил сплошные сводки погоды. Приближалась не то «Айрис», не то «Дороти», или попросту «Франя», как мы ее окрестили... Вы знаете, циклоны называют женскими именами... Так вот, мы боялись, что «Франя» застигнет нас, беспомощных, возле побережья и швырнет на скалы, понимаете?.. Как раз был их сезон, циклонов этих проклятых,— еще одна из прелестей плавания в тамошних широтах...

Петжицкий кивнул.

— Да,— подтвердил он.— Я уж и сам не знал, что страшнее. В открытом море можно дрейфовать. Даже в обычных условиях во время шторма уходят подальше от берега... Так что представляете: старик без передышки названивает нам сверху, а у нас руки трясутся...

— Только у вас была одна забота: двигатели да эта чертова передача,— снова включился чиф, словно принимая у механика эстафету,— а у нас —все остальное. К вам никто не имел претензий, клянусь богом. Нам это давно грозило, инженер в свое время докладывал капитану... Вот только ситуация...

6

Теперь я его глазами видел ходовой мостик в ту ночь, у побережья Кубы. Вокруг вязкая, бархатная тьма. Лишь корпус танкера, как новогодняя елка, сверкает огнями в беспросветной мгле. На мостике тоже черным-черно; только компасы и другие навигационные приборы слабо поблескивают, и фосфорические отсветы, ложась на лица людей, делают их похожими на недоконченные гравюры на дереве. Везде мертвая тишина. Порой плеснет волна о борт дрейфующего судна. Рулевой терпеливо перекладывает руль, пытаясь удержать на курсе танкер, предоставленный течениям и волнам. Только по небу можно распознать, что судно разворачивается. Небосвод сплошь усыпан искорками южных звезд. Глядишь, созвездия, которые были по правому борту, уже мерцают слева. Время от времени между ними протягиваются сверкающие полоски. На ходовом мостике капитан Вихняж и вахтенные офицеры.

— Звезд сколько падает...— вздыхает Домбковяк.

— Я б не поручился,— бормочет кто-то из вахтенных,— что это все настоящие звезды... Здесь всяких чудес можно ожидать...

Инстинктивно все переговариваются вполголоса. Царящее на замершем судне молчание неприятной тяжестью ложится на душу. В воздухе висит ожидание, и это настроение невольно передается каждому.

В глубине мостика открывается дверь штурманской рубки, оттуда на мгновение вырывается сноп электрического света. Дверь захло-

пывается, и снова становится темно. Рядом с капитаном вырастает радист «Маркони».

— Пан капитан, судя по метеосводкам...

Капитан нетерпеливо перебивает его:

— Что? Приближается?..

— Все сообщают одно и то же,— докладывает радиооператор.— Из Ки-Уэста, из Гуантанамо, из Гаваны... И координаты совпадают. Идет с юга. Барометр показывает...

— Сам вижу, что показывает барометр,— ворчит капитан. И добавляет:— Достаточно высунуть нос за борт... А что на море? Пусто?

Первый помощник отзывается из темноты — не видно даже, что он стоит рядом:

— Темно, как у черта в пасти...

Подойдя к телефону, он звонит на полубак:

— Алло, что там у впередсмотрящих?..

Тревога капитана Вихняжа растет с каждым часом, он не может спокойно ждать и подгоняет помощника:

— Позвони в машинное. Что там у них, черт побери?.. Сколько это будет продолжаться?

Звякает телефон. Первый разговаривает с машинным отделением. Капитан не в силах сдержать нетерпение. Он вырывает у чифа трубку:

— Роман... ну что там? Надеюсь, вы понимаете, в каком мы положении. Я хочу иметь возможность свободно маневрировать. Любой ценой.

Машинное отделение. Лампы заливают светом измазанных с головы до ног механиков. Инженер Роман тяжело дышит. Он похож на человека, которому не хватает воздуха. Хрипло шепчет в трубку:

— Капитан... я делаю все возможное. Но... не стану вас обманывать. Это продлится по меньшей мере до утра... Будьте готовы ко всему... Авария серьезная...

Снова темный мостик; капитан кладет трубку. Офицеры, едва различимые в черноте, ждут затаив дыхание.

— Ничего,— медленно произносит капитан.— Застряли намертво.

Некоторое время Вихняж прохаживается взад-вперед, обдумывая положение.

— Сыграть тревогу,— наконец отчетливо произносит он.— Затемнить судно. Вырубить все огни, кроме отличительных... Команде стоять по аварийному расписанию!

Приказания капитана дублируют репродукторы в каютах. Матросы, до сих пор занимавшиеся своими делами, отдыхавшие, игравшие в карты,— вскакивают, задраивают иллюминаторы, задергивают занавески и светонепроницаемые шторки. Снимают с коек пробковые жилеты, надевают их. В коридор выходят уже в жилетах, как будто объявлена шлюпочная тревога. В иллюминаторах и на палубе один за другим гаснут огни, словно кто-то опустил огромную штору. Еще минута — и судно погружается в темноту.

7

Когда рассеялась зловещая темнота, в которую перенес нас рассказ чифа, каюта Петжицкого показалась особенно уютной и светлой — просто не верилось, что мы на тех же самых «Карпатах» дома, в Гдыне. Я сидел на диванчике и слушал, как участники рейса, все до одного в гражданском, принарядившиеся точно на большой праздник, удобно рассевшись, не без теплого чувства вспоминали ту достопа-

мятную критическую ночь. Пожалуй, не было в их жизни событий достаточно грозных, которые со временем не превратились бы в яркие, волнующие воспоминания. Так уж повелось с тех пор, как море вторглось в жизнь человека, такими испокон веков встают в памяти великие испытания. А если еще найдется подходящий слушатель...

Глядя на гладко выбритые, пахнущие одеколоном, разгоряченные лица, я убеждался, что все они — и первый помощник Домбковяк, и механик Петжицкий, и мотористы,— рассказывая поочередно о тогдашних переживаниях, каждый на свой лад уточняют одни и те же, по-видимому бесспорные, факты.

Домбковяк, заметив, что я не свожу с него глаз, продолжал:

— Капитан приказал выставить на корме и на носу усиленную вахту и докладывать обо всем, что мы услышим или увидим на море. Главное, нужно было прислушиваться, а это нетрудно, когда вокруг мертвая тишина и танкер как параличом разбит...

— Стойте,— прервал я тут его.— Это я должен записать!.. Вы не возражаете? Это очень интересно...

Я быстро открыл свой маленький «Националь» и, включив микрофон, повернул его в сторону чифа.

А он дальше описывал знакомую картину той памятной ночи. Молчаливые, напряженные фигуры на мостике. Кругом темнота, только слабо светят звезды, будто на них исподтишка накинули невидимую завесу. Будто она скрадывает яркость света или от нее падает тень, если можно говорить о тени среди кромешной тьмы.

Первый помощник шел вдоль танкера по переходному мостику. Он ступал осторожно, как кошка, стараясь не споткнуться обо что-нибудь в этом мраке. Пройдя всего несколько десятков метров, почувствовал себя как на шатком мостике посреди пустынного океана. Ни носа, ни кормы, куда ни глянь — темнота. Только что он проверял матросов на посту возле шлюпок. Проходя мимо людей в спасательных жилетах, сказал: «Без команды шлюпок не снимать!..» А себе под нос пробурчал: «Неизвестно, откуда ждать беды... «Франю» черт принесет или чего похуже?»

Добравшись до конца этого пустого мостика над бездной, Домбковяк отыскал трап, ведущий на носовую палубу. Здесь ему предстояло проверить впередсмотрящих. Он с трудом различил человеческие силуэты. Волны с плеском разбивались о нос, на гребнях дрожали слабые, словно со дна идущие отсветы. Чиф услышал шепот:

— Так можно проболтаться невесть сколько... Десять тысяч тонн горючего... А если «случайный» толчок... если снесет на скалы... или какая-нибудь провокация, а за ней авария, самая пустяковая... Все равно что пустить с горки цистерну с нитроглицерином... костей не соберешь. Даже рыбам не останется чем поживиться. Я видел такой фильм, «Плата за страх»...

Чиф из темноты прикрикнул на матроса:

— Перестань каркать! У вас все в порядке?

— Ничего не видать, пан первый помощник...— отозвался тот же голос.— Только вот погода какая-то чудная...

— Глядите в оба,— предупредил офицер.— «Маркони» докладывал, что приближается «Франя». Нельзя, чтоб она нас тут застала врасплох...

— Извините, чиф,— снова заговорил тот же самый матрос.— Скажите по-честному: нет надежды пустить машину?

— Так ведь они оттуда не вылезают,— буркнул Первый.— Инженер сам вкалывает... Рано или поздно запустят.

— Рано или поздно,— подхватил другой голос.— А покуда мы десять раз успеем взлететь на воздух...

Чиф с раздражением обернулся:

— А инженер?— спросил он.— Думаешь, он меньше рискует? Ты-то всегда сможешь сигануть за борт. А он? Сколько у него шансов там, внизу, в самом нутре, когда весь груз над головой?..

В голосе его собеседника что-то изменилось:

— Так точно, чиф... черт, там сидеть все равно что в пороховом погребе...

В самом же пороховом погребе, то есть в машинном отделении, пожалуй, полностью себе в этом отчета не отдавали. Инженер Роман с помощником, лоснящиеся от масла, как два гладиатора, лежали, втиснувшись под кожух вала. Время от времени они молча обменивались инструментами, иногда выползали на яркий свет ламп, прикрытых сверху колпаками с сеткой, и, отдав жестами какие-то указания, снова скрывались в своей норе. За ними во все глаза следили несколько человек из машинной команды. Больше им делать было нечего: шатуны покоились без движения, как застывшие в формах отливки, а для ремонта передачи хватало двоих. Стрелки электрических часов над пультом управления медленно ползли по кругу. Было два часа ночи.

Тем, кто стоял на мостике, казалось, что близится рассвет. Пронзительная чернота ночи смягчилась, звезды поблекли и растаяли в пространстве. Все как будто пряталось в незаметно подкравшемся предутреннем тумане. Стрелка часов в рулевой рубке сдвинулась с цифры «два». От бессонницы и нервного напряжения капитана Вихняжа и офицеров бил озноб, но они почти не замечали этого, неотрывно вглядываясь в туманную мглу. Слышны были только шаги из конца в конец мостика, негромкий плеск волны, да порой с глухим шумом поворачивался руль, которого, впрочем, судно не слушалось, и потрескивал тихонько эхолот. Сквозь редеющий мрак с высоты застекленного мостика люди видели продолговатый, сигарообразный корпус медленно разворачивающегося танкера.

Что-то скрипнуло позади, по приборам скользнула полоса света. Это стюард по собственной инициативе принес поднос с чашками горячего кофе. Капитан пробормотал что-то и отставил свою чашку в сторону. Белая куртка стюарда, единственный различимый предмет на мостике, исчезла за дверью.

— Пан капитан, может, рискнем отдать якорь? — раздался голос Первого.

— Нет,— басом отрезал Вихняж.— Тогда придется поднять якорные огни. Нечего демонстрировать, что мы стоим на месте. Как лот?

— Восемьдесят саженей,— ответил вахтенный.

— Радар чистый?

— Ничего не видно.

— Определи дрейф,— бросил капитан.— Я взгляну на барометр...

«Я хотел сказать,— вспоминал Домбковяк,— что, поскольку мы потеряли маневренность, тем более стоило бы поднять сигнал, но представил себе, как старик на меня набросится...»

В ту минуту абсолютной тишины порыв ветра принес с далекого темного горизонта едва слышный звук. Будто кто-то скреб с наружной стороны по темно-синему куполу неба. В необъятном пространстве, сплошь заполненном серой вязкой массой, звук многократно отражался, не позволяя определить истинное его направление. Офицеры на мостике молча переглянулись.

Капитан отдал команду, повторенную репродукторами: «Требую полной тишины на судне...»

Люди прислушивались к звуку, несущемуся из-за молочно-серой пелены тумана. Это был гул двигателя; он усиливался, стал более

отчетливым, но не приближался. Капитан с крыла мостика вошел в рулевую рубку. Шаг у него был пружинистый, можно сказать, тигриный. Несколько пар глаз следили за светлым лучиком на экране радара. Медленно вращаясь, луч застревал возле какого-то объекта, и точечка в этом месте гасла чуть медленнее обычного. Капитан, приблизившись к экрану, сунул голову в резиновый колпак видоискателя. Потом, отступив, сказал вахтенному, дежурившему у радара:

— Сообщай обо всех изменениях положения.

На палубе мертвого корабля уже слышен был приглушенный шум двигателей, мерно сверливших тишину. Привыкший к темноте глаз мог бы заметить, как дрожат пальцы первого помощника, поднимающего бинокль. В застылом глухом безмолвии, нарушаемом только зловещим урчанием, пощелкивала минутная стрелка часов; звук этот казался неестественно громким.

Чиф шепнул:

— Это может быть торпедный катер...

— Снизу от инженера донесений нет? — спросил капитан непонятно зачем, и без того все было ясно.

Первый пожал плечами. Старик повернулся на каблуках и пошел вниз.

По скользким железным ступенькам капитан осторожно спускался в машинное отделение. Там ошеломляла тишина — слышно было лишь тихое жужжание генераторов. Оно вполне могло сойти за негромкую приятную музыку. Но — не в эту минуту и не для его слуха.

Мотористы расступились, пропуская капитана. Через минуту его широкая тень накрыла инженера, который с трудом вылезал из-под кожуха приводного вала, морщась расправлял затекшую спину.

— Случилось что-нибудь? — встревоженно спросил Роман, взглянув на капитана.

Вихняж увидел грязное лицо инженера, его запекшиеся, плохо повинующиеся губы.

— Циклон приближается,— негромко сказал он своим низким голосом.— Барометр как с цепи сорвался, несколько часов уже падает... Судя по радиосводкам, вот-вот и нас зацепит... а я не могу маневрировать. Нас сносит к берегу...— добавил он, словно оправдываясь.— Как тут штормовать?

У Романа от пронзительно-желтого света лампы нервно подергивались веки.

— Может, еще не так скоро нагрянет?..

Капитан Вихняж почесал затылок. Поправил фуражку, которая при этом движении слегка съехала набок. Стал рассматривать ногти. Роман поймал его взгляд — напряженный и многозначительный. Он почувствовал, что капитан чего-то не договаривает. Люди его молча стояли сзади.

Инженер тряхнул головой.

— А не случилось ли еще чего-нибудь... похуже?.. На море? Скажите мне. Я предпочитаю знать...

— Нет, ничего...— буркнул капитан.— Только вертятся вокруг всякие... Нужно быть ко всему готовым.

В красных, как у кролика, глазах Романа мелькнула смутная догадка.

— Ну да... я слыхал...— вслух произнес он.— Кажется, недели две назад была похожая история... Мы, конечно, отличная мишень...

Остальные — механики, мотористы,— укрывшись в полутени на стальном помосте, чуть повыше старика с инженером, прислушивались к их серьезному и не совсем понятному разговору. Было доста-

точно тихо, и до них долетало почти каждое слово. Раскрыв рты, они застыли на месте, с ветошью и инструментами в руках. Вся вахтенная команда, в том числе Петжицкий и Виктор Бальцежак, это известно точно.

Третий механик Петжицкий стоял рядом с этим самым Бальцежаком. Его поразило странное выражение лица моториста. Вроде бы он, как и все остальные, слушал капитана, но куда больше его занимала реакция инженера Романа. Это не подлежало сомнению. А с той минуты, когда инженер произнес свою последнюю фразу, Бальцежак смотрел уже только на него — настороженно, вызывающе, чуть прищурив глаза. Петжицкий помнил, что они с инженером с самого начала невзлюбили друг друга, но какое значение это имело теперь? Может быть, моторист считал, что шеф переборщил?

Капитан словно спохватился, что они наговорили лишнего. Покосился на любопытных.

— Вздор! — рявкнул он.— Вечно что-нибудь выдумают...

Замечание относилось неизвестно к кому. Капитан твердо знал одно: нельзя расхолаживать людей. И хотя все в нем кипело, он постарался изобразить простое нетерпение.

— Что вы мне можете обещать? — накинулся он на инженера.— Есть надежда, что мы сдвинемся с места?..

И вдруг взорвался.

— Послушайте! — заорал он.— Я старый моряк! Я вывел этот проклятый танкер в море и приведу его обратно в порт, что бы ни случилось. Знать ничего не хочу про ваш двигатель!.. Вы специалист, инженер...— Капитан пыхтел от бешенства, толстые синие жилы вздулись у него на висках.— Я институтов не кончал, но за тридцать лет не потерял еще ни одного судна... и я хочу, чтоб машина у меня работала!..

Инженер обтер руки паклей и спокойно сказал:

— Пан капитан, поручиться я не могу. Вероятность — максимум пятьдесят процентов. Если справимся, то... через три часа. Не раньше. Где мы находимся?

Капитан Вихняж еще немного посопел, постепенно остывая. Потом заговорил уже обычным голосом:

— Несколько миль — и мы в территориальных водах. Гарантия невелика, но все-таки существо дела меняется. Нам бы завестись на полчасика... подойти поближе к берегу. Не можем штормовать, что поделаешь, пусть хоть возьмут под охрану... тьфу! что я говорю... на буксир. При первом порыве ветра...

Инженер молчал. Он тяжело дышал; свет от лампы золотил замасленное лицо.

— Я объявил тревогу...— начал было капитан.— Вы понимаете?..

— Я не уйду отсюда, пока авария не будет устранена,— твердо сказал Роман.

Командир «Карпат» посмотрел ему в глаза.

— Буду обо всем докладывать вам сверху. И вы нас держите в курсе дела...

Он хотел сказать что-то еще, но, поколебавшись секунду, повернулся и вышел.

Инженер будто и не заметил этого. Он стоял неподвижно и шевелил губами, словно молящийся ксендз. Лишь секунду спустя почувствовал пристальные взгляды механиков. В этих взглядах был страх. Роман мгновенно пришел в себя.

— Слыхали? Все наверх! Со мной остаются только дежурные.— Голос его снова звучал уверенно и громко.— Петжицкий! — Тут он

увидел лицо Виктора Бальцежака.— И ты... здесь больше никто не нужен.

Петжицкий следом за шефом скомандовал:

— Надеть жилеты и на шлюпочную палубу!

Мотористы переглянулись. На их лицах отражались противоречивые чувства. Они уходили с облегчением, хоть и заметно смущенные. Инженер посмотрел на часы (стрелки показывали половину четвертого) и, не говоря ни слова, вместе с третьим механиком и мотористом Виктором Бальцежаком принялся за работу.

Вернемся ненадолго на мостик. За окнами серело, рассвет незаметно рассеивал ночную темноту. Но то была не обычная для субтропиков заря, окрашивающая все вокруг в пастельные тона, полная неизъяснимой прелести. Бурый туман, мутный, как кисель, плотной пеленой окутывал судно. Отчетливее проступили силуэты замерших в напряженном ожидании офицеров. А из серой мглы по-прежнему доносился неумолчный рокот двигателей. Стихал на минуту и тотчас раздавался снова, как будто с другой стороны и с удвоенной силой. Загустевшее море, словно колодец, многократно усиливало эхо.

— Сорок саженей! — сообщил матрос, приставленный к лоту.

Капитан зарычал:

— Еще немного — и сядем на мель. Из огня да в полымя...

— Может, вырубим отличительные огни...— неуверенно предложил Первый.

Но капитан упрямо стоял на своем:

— Зачем давать им лишний козырь? Уж если лететь в небо, так не нарушая правил...

Шло время, менялись за бортом картины, только звук оставался прежний. Усталые, призрачные в тусклом свете лица, радар, шлюпки, седой туман и единственный этот звук, незримо блуждающий неподалеку...

Вахтенный помощник, наблюдающий за радаром, доложил:

— Подходит с левого борта, с носа... Расстояние полмили...

Капитан не сдержал проклятия:

— Хоть бы руля слушался... Ч-черт...— Потом коротко бросил вахтенному:— Сообщи в машинное!..— И первому помощнику:— Приготовить сигнальный фонарь...

Машинное отделение. Спутанные тени-гиганты. Резко звонит телефон. Голова мотористa Виктора Бальцежака высовывается из тунеля приводного вала. Он берет трубку. Тяжело дышит. Из трубки несутся отрывистые слова. Моторист идет обратно, наклоняется к инженеру Роману:

— С мостика сообщили: какой-то *дьявол* идет прямо на нас.

Роман окидывает взглядом обоих, Петжицкого и Бальцежака. Он бледен, пожалуй, так же, как бледен был тогда, на берегу достроечного бассейна, возле «Карпат», в ту решающую минуту. Ключи и ветошь, которые он держал, летят в сторону.

— Марш наверх! — кричит он.— Оба! Мне никто не нужен! Сам справлюсь...

— Пан инженер...— пытается протестовать Петжицкий,— если что случится, вам отсюда не выйти...

Голос инженера Романа срывается на визг:

— Чтоб духу вашего здесь не было! Вон!..

Третий механик, спотыкаясь и перепрыгивая через несколько ступенек, бежит к люку. Моторист Виктор Бальцежак бросается за ним, но не сразу: он медлит, оглядывается на инженера.

Над мостиком уже занялся серый, туманный рассвет. После машинного отделения воздух здесь, несмотря ни на что, казался упои-

тельно свежим. Неподвижные фигуры моряков в молочной мгле похожи были на сонных ворон посреди поля. Явственно слышался гул двигателей, сопровождаемый дрожащим эхом. За окном в полумраке что-то смутно маячило. Петжицкий, запыхавшись — так быстро взлетел на мостик,— вытянувшись перед капитаном, доложил:

— Он меня выгнал... Пан капитан, но ведь я на вахте!..— В его голосе звучала неподдельная обида.

Капитан выругался:

— Тысяча чертей! Что за человек!

— Жить ему надоело...— пробормотал Первый.— Легкой смерти ищет...

— Замолчите! — прикрикнул на него капитан.— Чушь какая! Он делает, что ему положено. А вам со страху невесть что мерещится! Нечего плавать на танкере, переходите на туристский лайнер!.. Там будете в безопасности.

Вахтенный у радара закричал:

— Повернул! Отходит вправо!..

Снова ясно послышалось раскатистое эхо. Но теперь шум двигателей, казалось, стихал на малых оборотах. Напряженную, как провода под током, тишину разрядил пронзительный звонок машинного телеграфа. Все сорвались с мест. Капитан еще успел бросить Первому:

— Небось какой-нибудь сторожевой катер... Беги быстрей! Что там еще?..

Первый помощник бежит с крыла на ходовой мостик. И вдруг все замирают. Что-то случилось — каждый почувствовал это прежде, чем осознал. Как будто ничего не изменилось, только задрожал под ногами пол... И в ту же минуту звенящую тишину заглушает ровное постукивание гребного двигателя «Карпат». Люди бросились к бортам, к релингу. Пробив туман, как в протаявшем от теплого дыхания заледенелом окошке, показался нос танкера, от которого разбежались по сторонам длинные крутые волны.

8

Я трижды менял ленту в магнитофоне, пока мы добрались до этого места. В каюте Петжицкого воздух стал синим от дыма, и пришлось открыть иллюминатор. Теперь все собравшиеся — хозяин, чиф, оба моториста — говорили наперебой, не слушая друг друга:

— Ну, наш инженер — герой! С таким хоть к черту в зубы... Молоток!

— Один, понимаете, один-одинешенек внизу остался... Даже помощника прогнал. Себя не пожалел для других... Да случись что, он был бы первый кандидат в покойники, это уж точно...

— Пан редактор, даже старик прослезился... Ведь он, инженер наш, сидел, как пришитый, возле этой чертовой передачи, откуда бы и крыса не выскользнула, а над головой море бензина... сидел и думал, что его жизнь зависит от нас... А на самом деле мы все от него зависели... сможет ли, успеет ли сдвинуть судно с места...

Услышанное превосходило мои ожидания. Признаться, я не рассчитывал встретить подобный энтузиазм по отношению к моему — пожалуй, я могу его так называть — инженеру с верфи. Я был ошеломлен, но по-прежнему не все понимал. Выжидая, пока мои собеседники немного успокоятся, я невольно переводил взгляд с одного на другого. Не в пиве ли, которого выпито было немало, тут случайно дело?

— Хорошо...— наконец вмешался я в разговор,— но скажите: вам действительно что-то угрожало? Может, от того, что все были в напряжении, нервничали, вам только померещилось... Я понимаю, ситуация складывалась небезопасная...— Говорить я старался как можно убедительнее.— Неподвижный танкер — такому малейшая искра страшна... Поистине пороховая бочка,— воспользовался я определением капитана Вихняжа.— Согласен, была угроза, был риск, вероятность несчастного случая... Но существовала ли реальная, непосредственная опасность, от которой вас избавил инженер? Поймите, мне нужны факты. Я ведь о нем уже много разного слыхал...— невольно вырвалось у меня — и напрасно.

Сразу стало тихо. Моряки явно остыли. Как будто я обратился к ним на чужом языке. Один хозяин каюты, Петжицкий, еще горячился, размахивая рукой:

— Еще факты? Через час налетел шторм. Та самая ужасная «Франя». Все равно нам досталось... Только мы успели отойти миль на двадцать пять от этого проклятого берега...

Остальные по-прежнему молчали. Повеяло ледяным холодом — казалось, не из открытого иллюминатора дует, а от их настороженных взглядов становится зябко. Несколько пар глаз смотрели на меня в упор: что же это я, ставлю под сомнение доброе имя моряка, профессиональную морскую честь! Наконец первый помощник Домбковяк, блондин с густыми сросшимися бровями, растягивая гласные, задал мне вопрос, и я почувствовал: этот человек не привык бросать слова на ветер:

— Ну, а если бы этих... фактов... не было, а только... вероятность несчастного случая, как вы изволили предположить... тогда что? Неужели бы от этого что-нибудь изменилось? Или личные качества нашего инженера потеряли бы в цене? Чего вы, собственно, хотите?

И, помолчав минуту, еще добавил:

— Вам случалось видеть такой циклон?..

Я раздумывал, что бы ему на это ответить. Была какая-то глубокая мудрость в его спокойных словах. Признаться, я не ожидал такого от этого мускулистого молодого человека спортивного вида.

Я выключил магнитофон и спрятал его в портфель.

— Ладно,— сказал я.— Благодарю вас. Я еще потолкую с капитаном.

9

— ...Ведь он, инженер наш, сидел, как пришитый, возле этой чертовой передачи, откуда бы и крыса не выскользнула, а над головой море бензина... сидел и думал, что его жизнь зависит от нас... А на самом деле мы все от него зависели... сможет ли, успеет ли сдвинуть судно с места...

На этот раз громкий хор, возносящий хвалу инженеру, звучал с магнитофонной ленты. Медленно вращалась катушка, воспроизводя восторженные отзывы ближайших помощников Романа. Запись подходила к концу. Я сидел на «Карпатах» в другой каюте, против одного из мотористов танкера по имени Виктор и по фамилии Бельцежак, и был это не кто иной, как «мой рыбак» с верфи, первый человек, которого я там встретил. Тот самый Виктор, чудом или по чистой случайности оставшийся тогда в живых. Узнав его фамилию и выяснив, что сейчас он на судне, я без труда отыскал его каюту.

Лента кончалась. Виктор, с прилипшей к губе сигаретой, иронически усмехаясь, слушал несущиеся из динамика похвалы. Послед-

ним прозвучал холодный голос первого помощника: *«Чего вы, собственно, хотите?..»* — и я нажал кнопку «стоп». Виктор поднял на меня глаза. Лицо у него было осунувшееся и небритое. Он сказал:

— Вы человек ученый, сразу смекнули, что к чему...— Усевшись поудобнее на койке, он посмотрел в иллюминатор.— Хотите знать, как было на самом деле? Я вам расскажу.

Он помолчал немного, задумчиво щуря глаза и кончиком языка перекатывая во рту сигарету. В коридоре и в каютах было тихо, видно, все ушли в город. Только генератор урчал внизу да шумели вентиляторы. Виктор начал рассказывать:

— После той истории я перешел в ПОЛ, тут заработки побольше... Я в своем деле специалист... Это мне было как бы вознаграждение... Не думал, что с ним встречусь... здесь, на этом судне...

Бальцежак вспомнил тот день, о котором я уже слышал от капитана Вихняжа. Солнечный полдень. Танкер, стоящий у гдыньского причала, в том же месте, где стоит сейчас. На открытой грузовой палубе трубопроводы, похожие на спящих змей. Клинкеты закрыты, «Карпаты» готовы выйти в море. Еще суетился на носу боцман, да электрик сматывал телефонный провод, последнюю связь с сушей. Старик покрикивал с мостика что-то насчет швартовов и шпрингов. Виктор вышел подышать воздухом и стоял на шлюпочной палубе. Все знали, что ждут нового главного механика. И тут Бальцежак увидел сверху подымающегося по трапу инженера. Он сразу узнал Романа, сразу понял, с кем его свела судьба. Стоял и смотрел, как вахтенный офицер подзывает дневального, как тот, подхватив чемодан инженера, ведет его по левому борту в каюту. До самого порога провожал их взглядом.

Потом, в суматохе первых дней плавания, Бальцежак всего несколько раз мельком видел инженера. График вахт у них не совпадал, а при официальном знакомстве с командой Роман как будто не обратил на него внимания.

Только когда вышли в Атлантический океан, Виктору впервые подвернулся случай постучать в каюту нового шефа. Инженер Роман сидел в белой тропической куртке, в шортах. Легкий ветерок от движения судна вздувал занавеску на открытом иллюминаторе, за которым искрилась лазурная вода, усеянная сверкающими солнечными бликами. Виктор доложил о своем прибытии.

— Вы меня вызывали?

— Сейчас ваша вахта? — спросил инженер, впервые посмотрев ему в глаза.

— Так точно,— подтвердил моторист.— Вы меня узнаете, шеф?

Роман нахмурился. Что-то мелькнуло у него в памяти.

— Сейчас... Где-то я вас видел. Не на верфи ли?

— На ней самой.

— Вы работали у Цецвежа? — Инженер шагнул к двери, чтобы получше разглядеть лицо моториста.

— Да,— ответил Бальцежак глухим, бесстрастным голосом.— На дизелях, в достроечном бассейне... Двадцать два человека погибло здесь, на «Карпатах», в машине. Я — двадцать второй, тот самый...— отчеканил он, и лицо его потемнело, только мрачным огнем горели глаза.

Инженер вздрогнул.

— Погиб двадцать один человек...

На пасмурном лице неподвижно стоящего у дверей моториста блеснули белые зубы.

— Вы сами не знали сколько. Да и я услыхал от людей, что числюсь в покойниках. Мне повезло, верно? Если б я тогда оказался там,

внизу, у вас бы еще один был на совести. А я в тот день сачканул. Приятель отбил за меня номер. Будь я образцовым передовиком труда, вы бы еще один грех взяли на душу. Впрочем, вам-то что... одним больше, одним меньше.

Кровь бросилась инженеру в лицо.

— Как ты смеешь!..

Моторист даже ухом не повел и продолжал с издевательским спокойствием:

—...И вот мы имеем редкостный случай: покойник получает возможность поболтать с тем, кто обрек его на смерть. Я готов говорить от лица всех тех, которые говорить уже не могут.

Инженер Роман, овладев собой, присел на диванчик. Он даже сделал знак мотористу, чтобы тот тоже сел, но Бальцежак не двинулся с места. Секунду спустя Роман заговорил спокойнее:

— Послушайте, вы же знаете: я не виноват в гибели тех двадцати... в вашей гибели, если угодно. Я не несу ответственности... Это было установлено... бесспорно.

— Ответственность...— Лицо Виктора было по-прежнему мрачно.— Кто говорит об ответственности? Однако с верфи вы убежали, верно? Не могли людям в глаза смотреть.

У Романа бессильно упали руки. Он почувствовал страшную усталость.

— Вам этого никогда не понять,— тихо произнес он.— Уйдите отсюда, хорошо?

Моторист провел пальцем по лбу, по слипшимся от пота волосам.

— Ухожу, шеф. Сейчас моя вахта в машине. Только... здесь ли, там ли — мы на одном судне. Раньше, чем в Гаване, на берег не сойти. А на танкере нашем, сами понимаете, нефть, бензин... карибские воды опять же... небезопасно... А с вами вдвойне. Но здесь, если что, вы будете с нами, внизу. И вы это знали заранее. Что вас потянуло именно на «Карпаты»? Могли б подыскать себе место получше, не такое опасное...

Инженер поднял голову.

— Вы меня считаете трусом?

Моторист пожал плечами.

— Я, шеф, знаю свое. Я — покойник. Что думают другие, вы догадываетесь. Они такие же люди, как все остальные, и хотят быть уверены, что никто не пошлет их на смерть, когда сам... Что в случае чего все будут держаться вместе, что на других можно положиться... Зачем вас понесло в такой рейс?

Инженер Роман сказал:

— Значит, вы думаете, что я...

— Я вот что думаю, шеф: к чему это вам? Здесь нужно всего себя отдавать. А знаете, не каждый это любит...

В этом месте Виктор, сидевший напротив меня и осторожно, старательно выбиравший слова, почесал небритый подбородок и глянул, какое у меня выражение лица. Затем перевел взгляд на медленно вращающиеся катушки магнитофона. И произнес задумчиво:

— Он должен был знать, как я о нем отзываюсь... и должен был меня ненавидеть. Потом вышла эта история с передачей. В самую худую минуту, когда позвонили сверху... просто спросить, скоро ли мы закончим, я взял трубку и с ходу соврал, будто нас атакует торпедный катер... Знаете, все говорили об этих пиратах, нетрудно было поверить. Я и подумал: пускай разок натерпится страху... Пусть отведает...

Я слушал произносимые резким голосом слова этого поразительного признания, и передо мной, во всей ее грозной напряженности,

вставала та же картина, которую столь подробно описали Петжицкий, Домбковяк, капитан Вихняж, мотористы.

Итак, начиненное стальными кишками, испещренное яркими пятнами света и причудливыми черными тенями нутро машинного отделения, жаркое, душное жерло вулкана. Все это в недрах судна, под темной поверхностью моря и десятком тысяч тонн взрывоопасной жидкости. Пронзительный телефонный звонок, как хлыстом ударяющий по нервам. Лицо моториста Виктора Бальцежака — то же самое, наверняка небритое и вдобавок измазанное лицо того же Виктора Бальцежака, который сейчас сидит передо мной и делает такие признания,— высовывается из туннеля, где ждет развороченный вал... Виктор берет трубку. Выслушивает падающие сверху отрывистые слова. Возвращается, наклоняется к инженеру — что теперь у него на лице? «С мостика передали, будто какой-то дьявол идет прямо на нас...» Так ли он сказал? И что на самом деле передали с мостика? Что в действительности случилось и где была правда, истинная, доподлинная, существующая отдельно от фактов, вытекающая из их совокупности?

Я снова вижу, как инженер Роман, узнав, что сказали по телефону, остается один, а моторист Бальцежак с Петжицким выскакивают наверх. Вижу Романа в ту, вторую важнейшую минуту его жизни — неужели сейчас окажется, что такой минуты не было?

Я гляжу на своего собеседника.

— Значит, вы это выдумали... вы его обманули? Но ведь тогда, перед надвигающимся ураганом, все действительно зависело от того, будет ли исправлена машина... Вы хотели над ним подшутить, а вместо этого дали карты в руки... Ну, а кроме всего прочего, это была глупая шутка.

Я не сводил глаз с непроницаемого лица этого человека. Вторая загадочная личность! Он пробурчал:

— Я только хотел его проучить...

А потом — о, диво! — улыбнулся.

— Да,— подтвердил он.— Вы правы. А знаете что? Я сразу разгадал его намерения. И подумал: а я что, святой? Меня ведь тоже не было там, в машинном, во время пожара. И я спустился обратно.

Снова знакомая мрачная картина раскаленного стального чрева «Карпат». Инженер Роман, оставшийся один, лихорадочно работает. И тут сзади к нему подходит моторист Виктор Бальцежак. Должно быть, его появление ошеломило инженера, у которого и без того нервы напряжены до предела. Моторист сверху, со стального настила, глядит на него серьезно, без тени издевки.

— Шеф...— произносит он, нереальный, как привидение.— Позвольте остаться с вами. Я... мне тоже нужно отдать кое-какой должок...

Роман, тяжело дыша, непонимающе смотрит на него. Наконец, ухватившись за руку Бальцежака, вылезает из своей норы.

— Готово,— сипло говорит он.— Запускай! Трогаемся!..

10

Оставалось еще одно место, куда я хотел заглянуть, хотя было уже поздно, около семи вечера. По красивой лестнице, отделанной темной панелью и покрытой ковровой дорожкой, поглощающей шум шагов, я поднялся этажом выше. Прошел мимо кают-компании, где уже потушили свет — на стоянках ужинали раньше обычного,— и тут выяснилось, что упомянутая дорожка заглушала не только мои шаги:

человека, идущего следом за мной, я не замечал, пока он не коснулся моего плеча. Стыдно сказать — я так испугался, что даже отскочил назад. Человек был невысок, темноволос, коренаст. В темноте я не мог толком разглядеть его лица, однако не сомневался, что мы никогда прежде не встречались.

— Пан редактор...— произнес незнакомец с некоторым смущением в голосе.

— Откуда вы меня знаете?

— Вы заходили к Петжицкому и к Бальцежаку. Расспрашивали про последний рейс. Мне не хотелось говорить при всех. Сразу подымут на смех...

— А кто вы такой?

— Разрешите представиться: Гробельный Вацлав, стажер... а теперь уже четвертый механик.

— Ах, вот как? Вы мне что-то хотите сказать? Давайте только сядем где посветлее.— Меня раздражали и темный коридор, и эта таинственность.

— Вы собираете материал. Свет не понадобится. Я вас не задержу. Я только хотел вам кое-что передать.— И он сунул мне в руку тонкую пластиковую папку.— Видите ли, я пробую писать... Такая безобидная мания... в свободное время...

Я молчал. Чувства у меня возникли неопределенные. Не сказал бы, что подобные «мании» всегда так уж безобидны. Это как посмотреть.

— Записываю свои впечатления. Без особой цели.

Я видел, что парень мучается. Потому и окликнул меня в темноте, украдкой. Да и мне было неловко. Только этого еще не хватало!

— Записки моряка,— бормотал четвертый механик.— Конечно, они еще нуждаются в доработке. Потому я и решил сначала показать вам. Может, пригодятся... обычная наша жизнь...

Прежде чем я успел что-либо ответить, Вацлав Гробельный, неслышно ступая по мягкой дорожке, исчез за поворотом коридора. А я вертел в руках папку, пытаясь найти нужные слова. Должно быть, выражение лица у меня при этом было глупейшее.

В конце концов, сунув «обычную жизнь» под мышку, я поднялся на следующий этаж и постучал в каюту капитана. Вихняж был уже в гражданском, в выходном костюме, и прятал в портфель какие-то мелочи. Я вошел в маленький салон.

— К вам можно, капитан? Вот попал на судно — неудобно, думаю, не зайти...

— А, милости прошу! — старомодным широким жестом приветствовал меня капитан.— Раз уж вы посетили наш скромный и,— он потянул носом,— неблаговонный уголок... С меня и следовало бы начать.

— Не хотел мешать,— нашелся я.— Тут я завел дружбу кое с кем из вашего экипажа...

— Ясно,— кивнул головой Вихняж.— Вам все инженер покоя не дает.— Он усадил меня на диванчик.— Виски? Пивка? Я со своими делами уже покончил. Спрашивайте, если еще чего не знаете. А с самим-то Романом вы познакомились?

Мне повезло, капитан был в прекрасном настроении.

— Пока нет,— сказал я, несколько обескураженный.— Оставил напоследок. Для сопоставления.

— Понятно,— пробасил капитан Вихняж. Уж не знаю, что ему было понятно.

Угостив меня сигаретами, капитан удобно расположился в кресле. Сам на этот раз закурил трубку. В глазах у него заблестели веселые искорки.

— ...Итак, представьте себе тогдашнюю ситуацию,— с ходу начал Вихняж, как будто разговор наш оборвался минуту назад, и тон у него был такой легкомысленный, словно он рассказывал избитый матросский анекдот.— Я вчера не успел закончить... Судно напрочь застряло в нескольких милях от берега, дрейфует на скалы, на мели... а тут еще какой-то неопознанный черт привязался, шныряет вокруг да около в предрассветном тумане. И вдобавок этот циклон, шторм, «Франя» эта проклятая где-то поблизости... Великолепная оказия для случайного столкновения или выстрела — нам бы и одной торпеды хватило. Просто лакомый кусочек, сам в рот просится... А я не могу маневрировать...

Жестикуляция его и оживленное выражение лица, словно у рыбака, который заливает, ка-а-кую он поймал рыбу, или у охотника, затесавшегося в волчью стаю, странным образом контрастировали с угрюмой тишиной на мостике беспомощного, неподвижного судна, тишиной, нарушаемой лишь тарахтением двигателей невидимого катера. Голубовато-серая студенистая масса заполняла собой все свободное пространство, вздыбившись, застилала невидимый горизонт, замыкая корабль в сумрачной ловушке. Людей от холода и недосыпа бил озноб. Трубопроводы — рельсы, ведущие в никуда, мостик, уходящий в туман, неожиданно обрывались, как будто носа не было и в помине. Где-то позади маячила мертвая труба и бесшумно вращалась антенна радара. Деревянный планшир и металлические поручни, точно старым серебром, были покрыты темным налетом холодной росы. Крыло мостика висело над бездной, как уступ скалы над ущельем; на конце его в облачке то ли кроваво-красного, то ли зеленого тумана горел отличительный огонь. Капельки росы искрились на усах капитана, скапливались в изломах жесткой клеенчатой куртки.

Капитан смотрит на часы. Четыре утра. Он спрашивает у первого помощника:

— Что там внизу?

— Не знаю. Никаких сигналов,— отвечает Первый.

— Дьявол! Чтоб им всем!..

— Хоть бы до рассвета сдвинуться с места,— вздыхает Первый.— Подойти поближе к берегу. Может, они туда не рискнут сунуться, как-никак береговые батареи... И циклон этот...

— Не верю,— бормочет капитан.

— Во что не верите?

— Чтобы инженер с этим справился.

Первый отворачивается.

— Он знает, что делает, черт побери, не зря уперся, чтоб его там оставили...

— Который час? — спрашивает капитан.

— Четыре ноль-пять.

— Господи Иисусе, а он говорил о трех часах...

Чиф буркнул:

— Кажется, опять идет...

Несущийся из темноты рокот усилился. Первый помощник схватил капитана за рукав.

— Пан капитан... похоже, атакуют...

Капитан выдергивает рукав своей клеенчатой куртки, скрежещущий, будто жесть. В тишине слышно, как с плеском, сначала медленно, а потом все быстрее поворачивается гребной винт. У капитана вырывается проклятие: «Рехнулся... тысяча чертей!» Резко обернувшись, он видит в беспросветно серой мгле россыпь коротких, следующих одна за другой вспышек. Это где-то поблизости мигает сигнальный фонарь.

Капитан стремительно поворачивается к помощнику:

— Это катер лоцмана! Понятно? Они забеспокоились, отчего мы стоим. А я запретил выходить в эфир... Передайте им, что уже ничего не нужно... Пусть подадут назад, не то мы на них наскочим...

Все слышнее плеск гребного вала, знакомая дрожь пробегает по корпусу. Двигатель начал работать. Громко звякнул на мостике машинный телеграф.

Капитан коротко бросил:

— Быстрее!.. Что там опять?..

Тяжело ступая, Первый побежал к переговорному устройству.

— Капитан! — послышался его голос.— Инженер докладывает, что все в порядке! Можно дать ход!

Капитан Вихняж снова был самим собой.

— Полный вперед! — скомандовал он.— Право руля! Ложиться на обратный курс!..

Рулевой, как будто пробудившись от долгого гипнотического сна, стал резко перекладывать руль. Дернулась ручка машинного телеграфа: «Полный вперед».

Любопытное, вероятно, зрелище открывалось сверху. Режиссер Енджейчак, уж конечно, снял бы несколько отличных кадров с вертолета. Изобретательный, несравненный Енджейчак! Длинная сигара корпуса на фоне затянутой предрассветной дымкой волны. Танкер поворачивается на сто восемьдесят градусов. Это видно по четкому кильватеру. Рядом дугу поменьше описывает лоцманский катер, тоже оставляя пенистый след. Следы пересекаются под прямым углом в некотором отдалении от кормы. Вахтенный офицер с мостика в рупор кричит что-то лоцману, катер прибавляет скорость, и суда расходятся в разные стороны, теряя друг друга из виду, растворяясь в утреннем тумане.

Этого, разумеется, капитан мне не рассказывал, но разве не так все должно было выглядеть?

Я знаю только, как это выглядело, если смотреть с кормы. Уже заметно было, что танкер продвигается вперед. Команда разбежалась по местам. Когда полубак почти совсем обезлюдел, капитан увидел, как из люка, сдав вахту в машинном, выходит на палубу инженер Роман. При утреннем освещении он казался бледным как смерть. Впервые за много часов выбравшись на свет божий, он растерянно оглядывался. Но увидел только едва заметные в тумане пересекающиеся следы на воде. Капитан сбежал к нему по трапу, крича:

— Ну, вы себя показали, инженер! Спасибо вам, от всех от нас спасибо!..

Он с жаром потряс черную от смазки руку главного механика. Потом обнял его.

Инженер принимал знаки благодарности как наивысшую похвалу. Его усталое лицо просияло. Однако он продолжал недоуменно озираться: слишком уж обыденно здесь, наверху, все было. Тихо, спокойно; ритмично вращается гребной винт, и плещет волна. Наконец он с трудом выдавил:

— И что?..

Очень близко, прямо перед собой, Роман увидел суровое лицо капитана. Оно было влажным от росы. Кустистые, черные с проседью брови разлохматились. Вихняж пожал плечами:

— Ничего. А что? — И, подхватив инженера под руку, потащил в каюту.— Идите мыться и спать. Теперь уж мы сами управимся... Вы едва стоите на ногах...

11

Капитан закончил, наконец, свой рассказ и поглядывал на меня смеющимися глазами. Мягкий свет от хрустальных бра доказывал: снова все хорошо. Однако я с трудом возвращался к действительности. Никак не удавалось собраться с мыслями.

— И что? — спросил я после долгой паузы, не осознавая даже, что повторяю вопрос инженера.— Случилось что-нибудь *на самом деле?* Или вы только рисковали?

Капитан Вихняж внимательно посмотрел на меня. Пожалуй, так же на меня смотрел чиф Домбковяк.

— *Случилось* ли что-нибудь, спрашиваете...

Резко зазвонил телефон, прерывая капитана на полуслове. Вихняж поднял трубку.

— Слушаю. А, это вы, пан инженер. Да, да, спасибо. Вы на колесах? Очень любезно с вашей стороны... А еще один человек поместится? У меня гость. Отлично.— И капитан положил трубку.— Сейчас познакомлю вас с инженером,— сказал он, хитро улыбаясь, как будто задумал меня разыграть.— Кстати, он подвезет нас до города.

Мы оделись и вышли на мостик. От прожекторов, пробивая стену мелкого дождя, расходились конусы света, похожие на белые пирамидки из нафталина; они освещали нижнюю палубу, по которой шел к трапу человек в кожаном пальто с типичной моряцкой бородой. Капитан потащил меня по железным ступенькам вниз.

— Вот и инженер.

Наконец я увидел его. Таинственную, едва ли не мифическую — в моем представлении — личность, переставшую быть фантомом, бесплотным призраком, героем пристрастных и беспристрастных рассказов, предметом нападок, претензий, восторгов. Вот он стоит, этот загадочный человек, о котором я столько знаю, существующий для меня так же, как для других, в острых ситуациях, а в остальное время скрывающийся в тени.

Я уставился на него с величайшим изумлением. Даже невольно схватил Вихняжа за локоть.

— Простите... капитан... Неужели это и есть инженер Роман?

Итак, я наконец увидел его и в ту же секунду сообразил, что никогда прежде — если не считать мимолетной встречи в секретариате директора судоверфи — не видел инженера Романа воочию. Я смотрел на него глазами разных людей. Восхищался им в минуты высочайшего напряжения, решавшие его судьбу и судьбы других, сочувствовал и тревожился, когда мне казалось, что к нему несправедливы, когда мир отворачивался от него, подавленного и достойного сожаления, когда он исчезал, одинокий и нереальный. Я с настойчивым любопытством разузнавал подробности о его взлетах и падениях, сопутствовал ему — впрочем, ему ли, реальному существу из плоти и крови? Может, это просто сплелось все разом: мои представления о судьбе, поиски пожив для Енджейчака, увлеченность драматизмом обстоятельств?

Только сейчас я понял, что каждый раз в моем воображении появлялся совершенно иной человек. То он был блондином, то брюнетом, то красивым, то уродливым, в одних случаях симпатичным и открытым, а в других — или в глазах другого человека — гордецом и фанфароном. Иногда он осознавал, что с ним стряслось, и страдание его возвышало, а порой хотелось думать, что он туп, как чурбан. Всякий раз передо мной был как бы новый актер в роли инженера, вернее, тот же актер, но по-другому загримированный. Из немногочисленных фото-

графий, которые я видел, единый образ тоже не вырисовывался. И вот в двух шагах от меня стоит незнакомый человек с бородой, которого до сих пор я представлял себе совсем иначе. Потому-то я рассматривал с удивлением слабо освещенное лицо Романа.

Капитан познакомил нас.

— Перед вами писатель,— сказал Вихняж инженеру, указывая на меня, и в глазах у него вспыхнул хитрый огонек, чего Роман, к счастью, не заметил.— Маринист... — подчеркнул капитан.— Хочет написать книгу, правдивую книгу о жизни на море. И тему выбрал — танкер...

Инженер учтиво, словно стопроцентный англичанин, сказал:

— В самом деле?..

Мы уселись в «симку» Романа, и машина покатила в сторону города. Я сидел сзади и не мог оторвать взгляда от зеркальца, в котором отражались борода и профиль инженера.

А капитан продолжал фантазировать:

— Я пану писателю дал совет — поплавать с нами. В литературе я, правда, не разбираюсь, но полагаю, что пока не поглядишь своими глазами, ничего хорошего не придумаешь. Хо, хо! Побывали бы на «Карпатах» в последнем рейсе, знали б, о чем писать...

Инженер спокойно заметил:

— Безусловно. Никакие рассказы не заменят собственных переживаний.

Я не знал, стоит ли принимать его слова всерьез. Разговор носил вежливо-бессодержательный характер. Машина, оставив позади порт, уже ехала по освещенным улицам Гдыни. Еще минута — и Вихняж показал рукой:

— Сюда, пан инженер. А сейчас направо. Спасибо, я живу здесь.

Капитан вышел на маленькой улочке за вокзалом. Пожав нам руки, он напоследок обратился к инженеру:

— Подвезете моего гостя поближе к дому? У вас будет благодарный слушатель. Подсобим литературе, а, коллега? А вам советую воспользоваться случаем. Инженер может кое-что порассказать... Только нужно на него нажать, он человек скрытный.

С этими словами капитан растворился в темноте, весело помахав нам на прощанье. Я же остался один на один с инженером.

— Где вы остановились? — спросил Роман.

— В доме творчества в Сопоте. Я поеду на электричке. Если уж вы так любезны, подбросьте меня до вокзала. Вы, наверно, спешите домой, к своим?..

Роман включил газ. Развернулся.

— Нет, не спешу. Я живу один, в Доме моряка. С удовольствием проедусь до Сопота...

12

«В то утро как раз устранили серьезную неисправность передачи коленчатого вала. Я непосредственного участия в работе не принимал. Не моя была вахта, да и в туннеле бы все не поместились. Наш новый шеф сам шуровал там вместе с помощником — оба знали судно еще по верфи,— и это был верный признак, что дело нешуточное. Мне инженер, прихлебывая горячий, как огонь, кофе, сказал лишь:

— Я понимаю, юноша, тут настоящая поломка, прекрасный случай кое-чему научиться. Только практика чего-либо стоит... Но сейчас нам дорога каждая минута, для учебных занятий найдется другое время и более подходящее место.

Мы дрейфовали вдоль побережья Кубы. «Маркони» пообещал gale[1], одну из самых поганых штуковин, какие встречаются в здешних водах — питомнике циклонов. Поэтому все на судне болели за механиков: чтоб им поскорее исправить двигатель. Чертовски долго тянулась та ночь в мутном, густом тумане, когда в двух шагах ничего нельзя было разглядеть и медленный ход времени нарушался только рапортами о показаниях лота да тревожными телефонными звонками с носа,— ночь напряженных нервов на покачивающемся, как маятник, судне, массу и размеры которого, скрытые темнотой, невозможно было охватить ни взглядом, ни воображением.

Я почти не выходил из машины — не хотелось на такое глядеть, да и шуточки в адрес мотористов, отпускаемые коллегами с верхней палубы, могли кого угодно довести до белого каления. Скованное судно мгновенно стало мертвой железной посудиной, громким эхом провожающей каждый всплеск волны и шаги бегущего человека. Никогда я не ощущал острее, как здоровый организм превращается в развалину, правда, еще наполненную нефтью, но уже отказавшуюся повиноваться, пассивную и равнодушную, как заброшенный кессон. И потому все мы вздохнули с облегчением, когда наконец почувствовали биение пульса под ногами; в этом первом проявлении жизни, в этом сцеплении разобщенных механизмов было что-то сходное с возобновлением работы сердца, восстановлением дыхания и кровообращения после долгих стараний реаниматоров. На секунду мне померещилось, что вялая громада вздохнула, потянулась, расправила суставы, что к ней вернулись теплота, зрение и речь. И мы немедленно включились в ее новый, слаженный, независимый ритм, преодолев действие чуждых, противоречивых сил и подчинившись естественному закону тяготения, обретя прежнее равновесие. То было возвращение из хаоса и небытия, из беспредельности моря, течений, непознанных глубин — стихий абстрактных и непостижимых — к привычному образу жизни: к самостоятельному движению, осмысленным поступкам, направленным действиям. Вдруг всколыхнулась занавеска на приотворенном иллюминаторе, черное зеркальце кофе в чашечке помутнело, зарябило, покрываясь мраморным узором. Недокуренная сигарета, увенчанная столбиком седого пепла, вздрогнула и, соскользнув с края пепельницы, покатилась по окованному столику. Вибрация, идущая отовсюду: из-под пола, от мебели пронизала нас радостной дрожью. Это было воскресение из мертвых, счастливейшая минута для моряка — как свисток паровоза и рывок вагонов после бесконечно долгой стоянки у семафора, как — в былые времена — первое дыхание ветра, с глухим шумом наполняющего поникшие паруса. Я подбежал к иллюминатору, чтобы убедиться в этом воочию. Седая крахмальная волна, вся в клочьях пены, сколько видел глаз, с густым, клейким шипением неслась навстречу...

Я бросился к двери, пошатываясь, будто пробудившись от летаргического сна. Все вокруг внезапно ожило, встрепенулось: пришпиленный к полке с книгами снимок Фиделя Кастро перед микрофоном; пиковый валет с рекламы сигарет «Стивезант»; Мэрилин Монро на плакате.

В коридоре я увидел главного механика. Он стоял в освещенном дверном проеме у выхода на шлюпочную палубу. Его черный силуэт, казалось, был окружен сверкающим ореолом.

— Успели,— задыхаясь, прохрипел он.— Вы видели, юноша, еще бы чуть-чуть и... Спасли посудину...

---

[1] Сильный шторм, буря *(англ.)*.

Я не понял его. Может быть, он имел в виду приближающийся циклон?

Спотыкаясь, шеф ощупью побрел к себе в каюту. Я гордился им, гордился всеми нашими ребятами. В коридорах протяжно заливались звонки. Оживший корабль был охвачен волнением.

— Того и гляди, начнется шторм,— возбужденно тараторил я.— Старик, небось, вздохнул. Теперь можно будет выйти в открытое море.

— Не радуйтесь раньше времени, юноша. Пока передача работает. Не знаю, успеем ли все проверить...

Взволнованный успехом инженера, я ходил за ним по пятам. Он открыл дверь в свою каюту, там царил беспорядок. Видно, за целую ночь шеф ни разу не заглянул к себе. Поддерживая его, как больного, я повернул выключатель — сам он не мог ни к чему прикоснуться грязными от смазки руками — и тогда, при свете лампы, увидел его покрасневшие глаза, опухшие веки, морщины, подчеркнутые соляркой, отчего все лицо казалось припудренным графитовой пылью. Губы склеивались, но он заговорил с нарочитым оживлением:

— Третий остался там. Вместе с Бальцежаком. Я только приведу себя в порядок, вздремну, если удастся, и загляну вниз. Вам когда заступать на вахту — сейчас?

— В семь,— ответил я.— Чем могу быть полезен, шеф? Я позову стюарда. Пусть хоть в каюте будет порядок...

— Поищите растворитель... Полотенца вот там.

Я помогал ему разуться, как, бывало, помогал отцу, когда тот возвращался после обхода лесного участка, стаскивал липкую, замызганную рабочую робу. Все еще потная, покрытая гусиной кожей грудь судорожно вздымалась под сеткой. Должно быть, его вдруг отпустило, и он говорил, говорил без умолку, срывающимся голосом, близким к плачу. В таком состоянии я и оставил его за дверями ванной.

Перед тем как погрузиться в смрадную духоту машинного отделения, я вышел на шлюпочную палубу — подышать воздухом, порадоваться, что мы плывем, и разобраться, наконец, в обстановке — мне не нравились последние тревожные сводки о состоянии моря и ветра. Грозная, зловещая «Франя», о которой по-прежнему шептались, казалась во сто крат страшнее, когда от нас ее отделяли многоярусные нагромождения мертвого металла, когда она была чем-то незримым, неподвластным контролю копошащихся в машине замарашек, и трудно было отделаться от мысли, что она воспользуется нашим невниманием, нашей прикованностью к туше двигателя, капризами которого, пожиравшими время, мы не могли пренебречь, и поэтому порой вспыхивала тревога: а вдруг проклятая бестия не упустит случая, подкрадется, встанет на дыбы и поглотит нас, и чем очевиднее будет наша неподготовленность, тем хуже нам придется. Будь у нас возможность следить за ее движениями, отмечать ее присутствие, убедиться в реальности ее существования, мы бы успели освоиться с ней, включили в свои расчеты и планы и встретили во всеоружии, стойко. Но мы торчали в отрезанном от мира грохочущем подвале, в лабиринте поршней и труб, в ослепительном сверкании ламп и тумане испарений от жирно смазанного металла, среди скользких площадок, гремящих настилов, сонно мурлыкающих генераторов, словно в стойле для закованных в броню коней, установить контакт с которыми немыслимо — можно только разделять их физическое беспокойство. Обреченные на эту обособленность, мы не в состоянии были дать отпор затаившемуся снаружи чудовищу, которое казалось особенно страшным из-за того, что нельзя было ни высмотреть его, ни подкараулить, что оно могло внезапно обрушиться на нас откуда-то сверху, сзади. Мне очень хотелось

избавиться от этой раздвоенности и перед вахтой разобраться в сложившейся наверху ситуации.

Было около семи утра, в эту пору день должен сиять во всей красе. Как-никак тропики, да еще в разгар сухого сезона. Меня поразило, что время словно застыло на месте, та же самая серая, липкая мгла обступала нас со всех сторон. Я невольно посмотрел на часы. Нет, я не ошибся, впрочем, и гонг из буфетной созывал к завтраку. Мелькали темные фигуры: вахтенные матросы под руководством боцмана закрепляли чехлы на насосах и шлюпках. Из трубы вперемешку с искрами вылетала узкая струя выхлопных газов, звонки с невидимого полубака с трудом пробивали беспросветную серость, словно звонили где-то на острове, оставшемся далеко за бортом. В этот час должно быть совсем светло, даже при сплошной облачности. У меня на секунду возникло дурацкое ощущение, будто время повернуло вспять. И облаков-то, собственно, не было видно. Мы шли, повинуясь ритму двигателей, гулом заполняющих пустоту, можно сказать, подвешенные внутри шара дымчатого стекла, и только у порыжелого борта вода материализовалась в виде пенного шлейфа, усыпанного фосфоресцирующими блестками, словно рубинами и сапфирами, разбрасываемыми пригоршнями и тонущими в океане. Пустота вокруг, по самый невидимый горизонт, казалась заполненной бахромчатыми крыльями из паутины. Пространство и время сжались, исчезли, хотя поглотившая все и вся бездна была насыщена движением безмолвных теней. Мы как будто плыли под низким сводом пещеры, обросшей сталактитами. Но все, что нас окружало, было как бы не материальным, а скорее сотканным из теней и страхов. Когда я на минуту перешел на подветренную сторону, мне показалось, будто кто-то переменил декорации этого странного сна. Танкер скользил по озеру темной лавы, от воды подымались испарения, свинцовой пеленой заволакивающие узкую брешь между морем и небом. Все здесь было сводчатым, округлым, но не выпуклым, а вогнутым. Биение пульса машины доходило откуда-то извне отдаленным эхом, как если бы рядом двигалось другое судно или наше проходило по пустому шлюзу. Позади скопища туманных призраков что-то темнело, сгущалось, плотно замуровывая выход в свободное пространство. Зловещий сумрак окутал палубные надстройки, выдав себя жарким дыханием, слизнувшим все дымы и туманы, вздувшим чехлы, загудевшим в трубах. Одновременно морская гладь вспучилась, заколыхалась. Нас достигли расходящиеся кругами волны, опередившие стон урагана...

Словно в люк подводной лодки, я спускался вниз по трапу, цепляясь за ускользающие поручни; мне казалось, что снаружи я оставил шум, рев, переплетающийся с плеском волн, визг, хохот разгулявшегося ливня и опрокидывающийся небосвод, а сюда, в тесные проходы между стальными шкафами принес чудовищную, размеренную качку. Лишь она своим ритмом объединяла нас с теми, кто был наверху.

То и дело коротко звякал машинный телеграф. Постичь логику исходящих с мостика команд было невозможно. Все равно как если бы ты сидел в фойе кинотеатра, слышал звук и обрывки диалогов, а фильма не видел. Двигатель работал ровно, приглушенно. Дрожали клапаны в золотистых облачках пара, громко, точно мельничные жернова, стучал под ногами вал. Мы занялись осмотром злосчастной передачи, проверили, регулярно ли подается смазка. Стрелки приборов нервно вздрагивали в такт частым и резким звонкам сверху. Только минутная стрелка больших часов под потолком невозмутимо проскакивала черточки делений. Пронзительно заверещал телефон. Звонили с мостика.

— Передача работает? — проскрипел голос капитана.— Надо будет прибавить обороты.

И тут мы поняли, что значит, получив толчок, скользить в пропасть, чувствуя, как рвутся мышцы стального тела корабля; однако самым острым было ощущение полного бессилия, секундной невесомости — состояние, противопоказанное сердцу и желудку. С первой большой волной, вынырнув из воды, загудел на холостом ходу гребной винт — казалось, неведомая сила хочет разнести корабль в клочья, превратить в груду дрожащих обломков.

— Следите за реакцией на ускорения,— прокричал мне в ухо Третий, обдавая запахом текили [1], омерзительным, кисло-сладким. Я не отходил от передачи. Записывал в машинном журнале расход смазки, температуру. Под череп исподволь заползала тупая боль. В какой-то момент нос «Карпат» снова погрузился в пучину, а гребной винт задрожал устрашающе, словно грозясь расколоть корму в щепы. Кого-то здорово вывернуло в углу возле крана.

Вмиг стало душно, засосало под ложечкой, как будто у нас выкачали весь воздух. Мы трепыхались, точно рыбы на песке: рты разинуты, глаза выпучены, как у больных базедовой болезнью. Следя за показаниями приборов, я поглядывал на наших мотористов, которые еще хорохорились, время от времени еще расправляли плечи, как подхлестнутые кнутом, но быстро сникали и, не держась на ватных ногах, повисали на поручнях. То и дело сверху, из вентиляционной трубы вылетала струя парного воздуха и, как обухом ударив, прижимала нас к настилам, трепала мокрые пряди волос, даже сюда, в глубину пещеры, занося острые брызги зернистой морской воды, колющей крупинками соли.

Снова позвонили с мостика, потребовали прибавить обороты. Длинная сигара танкера дрожала и прогибалась, словно мост на подвижных опорах. Никогда я не ощущал отчетливее, как огромно наше судно, как гибок его более чем стометровый позвоночник. Подобно мосту, по которому идут тяжелые танки, корабль пульсировал, обнаруживая свою телесность, обычно застылую в стальном оцепенении. Он жил, он, как мы, умел чувствовать и все-таки, будучи во сто крат сильнее нас, оставался творением рук человеческих. Одновременно мне передавалось ощущение, что груз, тысячи тонн колышущейся жидкой массы, давлением живой плоти распирает его изнутри. Возможно, мне так только казалось, хотя я осязаемо чувствовал это давление кончиками пальцев и подошвами ног, а остальное дописывало воображение. Смешно сказать, но здесь, среди литых корпусов и балок, среди неподвижных либо вращающихся, каждый в своем ритме, цилиндров, я испытывал такое же физическое единение с гигантом, как если бы находился на крохотном ялике, где ощутимо чувствуется напряжение шкотов и упругое сопротивление руля. Тяжелее всего мы переносили крены: здесь, вблизи метацентра, тела наливались свинцовой тяжестью, и начинало казаться, что все рушится и камнем идет на дно.

Все узлы в машине работали автоматически, и задача наша сводилась к неусыпному наблюдению.

Не прошло и двух часов, как на ступеньках трапа показались ноги шефа. Яркий свет ламп падал так, что сверху люди в машинном видны были только до пояса и человеческие фигуры казались одинаковыми, не связанными между собой пятнами, рассыпанными по смоляному фону. Когда инженер спустился, я увидел покрасневшие белки в бездонной оправе глазниц.

— Выдерживает? — хрипло спросил он.— Сколько оборотов?

---

[1] Алкогольный напиток из сока агавы.

Я подробно обо всем доложил, в душе удивляясь, что он уже выспался.

— Глаз невозможно сомкнуть. Там настоящее землетрясение...

Я представил себе, как выплясывают наверху стюарды. Мы в очередной раз обошли свое хозяйство. Инженер переговаривался с мостиком, выяснял, чего можно ждать в ближайшее время. Он был гладко выбрит, в тропической робе цвета хаки, хотя в машинном каждый сбрасывал с себя все, что мог. Мелькали лоснящиеся торсы молодых людей, раздобревших от малоподвижного образа жизни. Здесь было царство мужского тела, бесстыдно выставленного напоказ. Все материальное, мясистое, живое. Я подумал, что это подходящая начинка для брюха гигантского разбушевавшегося кита.

— Вы только поглядите, юноша, еще держится... — сказал шеф, вытряхивая сигарету из белой пачки «Мальборо».— В последнюю минуту успели! Я еще видел пересекающиеся следы на воде...

Он говорил без умолку, но среди грохота и рева волн я не очень-то понимал, о чем речь. Возможно, он еще не пришел в себя после сна. Однако записи в машинном журнале просмотрел внимательно. На фоне скачущих, перемежающихся полос света и тени, влажных извивов цвета темного золота и густых маслянистых пятен бронзы, словно на невысохшей картине, поблескивали пивные бутылки.

— Пан Третий, все-таки она греется... Придется снова проверить систему подачи смазки.

Узкие зрачки шефа плавали в кровавом вырезе век. Голос был усталый, безразличный. Отливающий ржавчиной туман, словно пыль, извергнутая трухлявым деревом, заволакивал пространство между стенами машинного отделения, которые били поклоны.

— Поверьте мне, шеф... При такой качке ничего не получится,— возразил третий механик, утирая серебристые струйки пота, придававшие ему сходство со светяшимися ликами витражей. Пол вдруг куда-то рванулся, и нас отбросило к поручням. Во всех углах закашляли, кого-то вырвало.

— Там видно будет. Может, капитан немного сбавит ход... Что с вами? Вы больны?

— Мне нехорошо,— простонал механик, бледный как полотно, и схватился за живот.

— А кому сегодня хорошо, пан Петжицкий... — попытался пошутить шеф и вдруг нахмурился.— Данеляк, я понимаю, вам жарко, но что у вас за вид? Почему штаны расстегнуты? Ну-ка, приведи себя в порядок. Ты на вахте!

Стены и настилы с каждой минутой кланялись все ниже.

— Разделимся на две полувахты! Чаще сможете дышать свежим воздухом. Только там такое творится — как бы еще больше не расклеились.

Около одиннадцати инженер отправил меня наверх. Мир, который я увидел, оказался удивительным и страшным. Помню, как огромные валы поминутно приподымали судно, и оно ходило среди них, тяжело переваливаясь с боку на бок. И как вода хлестала по стеклу ближайшего иллюминатора — почти на уровне мостика... Море курилось, точно огромный чан мутного кипящего асфальта. Со своего места — невдалеке от рулевой рубки — я видел длинный корпус танкера, казавшегося перегруженным, осевшим в воду глубже обычного. Так иной раз выглядит волнорез, утопающий в пене неистового прибоя. Он будто становится более низким, продавленным — оттого что вспухает и вздувается море... Вдруг громадная глыба воды, наподобие горной вершины пополам рассекшая видимое пространство, вздыбилась,

заплясала и обрушилась на судно, которое шло лагом к волне. Прежде чем я почувствовал, как от ее пинка убегает из-под ног пол, корпус «Карпат» по всей длине оброс пышной бахромой пены, а над бортом взвилась седая дымная туча. Рев повернутой вспять Ниагары достиг ушей секундой позже. На мгновение судно распалось, впереди торчал из водоворота нос, а сзади, отделенные озером пены, маячили кормовые надстройки. Потом оно вновь срослось, скрепленное воедино просеивающим воду скелетом трубопроводов, цепью бьющих высоко вверх фонтанов. И вот уже с диким грохотом перевалило через очередной исполинский горб — в движение пришло все, что было в каютах. Хлопали многочисленные двери и дверцы, дребезжала посуда, воздух звенел от гула всеобщего разрушения... Я стоял, зажатый стеклянной дверью, и пытался перевести дыхание. Это было не так-то просто посреди моря, развороченного циклоном. Время от времени волной накатывала духота и воздух, деревенея, исчезал вовсе, а качка усиливалась, и пот лил в три ручья. Казалось, кто-то втягивал кислород в гигантские мехи и каждые четверть часа выталкивал обратно с удвоенной силой. Молнии ударами невидимых хлыстов высекали из воздуха озон — остро чувствовался его специфический запах. И все это — под сумрачным покровом туч, гонимых дыханием обезумевшей воздуходувки, совсем близко, рукой подать. Само небо, взвихрясь языками серого пламени, неслось куда-то вскачь. Небо мчалось, а мы стояли на месте...

И вдруг все переменилось — можно было подумать, мы одним махом перескочили невидимый барьер. Ветер, непрерывно усиливаясь, достиг уже десяти баллов по шкале Бофорта, но небо кое-где расчистилось, засверкала густая синева, до блеска отполированная солнцем. Казалось, мы вместе со вздувшимся океаном поднялись выше облаков. Теперь перед нами открылось поистине редкостное зрелище: штормовая волна окрасилась в синий цвет, приобретя за кормой, где вода обычно кажется менее глубокой, оттенок дымчатого изумруда, а высоко над бортами, слепя глаза, заискрились на солнце дымящиеся гейзеры белоснежной пены. Со всех сторон, громоздясь друг на друга, надвинулись отливающие радужным блеском иссиня-черные холмы; за ними, куда ни бросишь взгляд, расстилалось море, словно инеем покрытое сверкающими барашками. Неистово светило солнце, а ветер свирепствовал, и оттого все выглядело угрюмым и холодным, как за Полярным кругом. Каждую минуту судно по самые верхушки надстроек скрывалось в ослепительно белом вихре метели. Как в самолете: вода то уходила далеко вниз, словно море пересыхало, то окружала корабль плотным кольцом чернильного цвета пирамид, и они наступали на нас, похожие на скалы из черного желе, а может, на глубокие ущелья в серебристо-синих Гималаях...

Еще час назад сияло солнце и море было синее, но как бы заиндевелое, а сейчас снова — тяжелые тучи и бурые волны за бортом. Воспользовавшись короткой передышкой, стюарды зовут обедать. В кают-компании среди пустых перевернутых стульев — всего несколько человек. Кто здоров, приходит сюда в одиночку, нетвердой походкой, спеша сбросить плащ, с рукавов которого, как из водосточной трубы, течет вода. Но тщетны судорожные усилия стюардов. От бешеной качки хлопают двери — из буфетной, из бара, из салона выкатываются разные предметы, течет молоко, летят по полу остатки огуречного салата, пепельницы с подставками. За обеденным столом чувствуешь себя как на арене цирка. Не помогают ни смоченные водой, чтоб не скользила посуда, скатерти, ни воздвигнутые на столах барьеры и заслоны. Звон стекла заглушает разговоры, мы барахтаемся в луже из супа и жаркого, потому что внезапно налетел шквал и всех нас от-

швырнуло к стене. Большинство молча, каждый в своем углу, наспех проглатывает обед, как на вокзале перед отходом поезда.

Но самое сильное впечатление производили яростные атаки волн, вздымавшихся выше палубы и хлеставших прямо в окна. Возможно, по контрасту с кают-компанией, где, несмотря на разгром, сохранились занавески, панели, ковровая дорожка — предметы домашнего уюта,— было в этом нечто от неожиданной катастрофы, предвещающей скорый конец. Поглощенный единоборством с тарелками (но при этом чувствуя себя в четырех стенах в безопасности), вдруг замечаешь на лицах и на полу быстро сгущающуюся тень: зловещая водяная глыба вырастает выше окон, готовая пожрать все на своем пути. С глухим звоном многотонная масса воды обрушивается на стеклянную стену кают-компании, вызывая гнетущий панический страх: кажется, еще минута — и ты утонешь в пучине. Нужны поистине железные нервы, чтобы не выпустить тарелки и молча справиться со своими чувствами.

Чтобы не видеть всего этого, я убежал вниз, в машинное. И здесь нетрудно было заметить следы всеобщего хаоса, особенно на лицах людей. Вентиляция барахлила, раскаленные машины обдавали жаром. Инженер то появлялся, то исчезал в пляшущих проходах, за сплетениями труб. Время от времени он что-то хрипло кричал, слова тонули в шуме, в стуке поршней, в неистовстве подскакивающих клапанов.

— Укачались, черт побери! — прокричал он мне на ухо.— А вы-то как?

Опять вынырнул гребной винт, сверху донизу сотрясая судно. Я сказал, что чувствую себя хорошо, и был приставлен наблюдать за передачей. Час за часом проходил в этом жутком эпилептическом танце под рев двигателей и громыхание вала, которое вдруг перерастало в пронзительный визг в пустоте и снова глохло, придавленное многотонным саваном вод. С моим слухом творилось нечто удивительное: в ушах звенело, шум, усиленный скачками давления, проникая в черепную коробку, сверлил мозг. Перед глазами стояло мутно-серое небо того дня, взбаламученного бешеной схваткой стихий, и зеленое, как ярь-медянка, полное песку море, которое я оставил наверху. Там, снаружи, циклон, разбив на первоэлементы, смешал в клокочущую магму все: ветер, соль, песок и пену, озон и йод, ультрафиолетовые лучи, холод, зной, пигмент кожи и липкость пота, вой, свист, тишину и электричество... Там, за мраком пространства, остались континенты — это море было окружено сушей в ее бесконечном экзотическом разнообразии, вмещающем красоту тропиков и тихую печаль пустынь. Трудно было представить себе такое за зеленовато-серой стеной водяной пыли. Где-то на севере — Новый Орлеан, за поймами и болотами, за земноводными мангровыми лесами и мутными разливами великой реки — горячий город чернокожих девушек в нарядах версальских маркиз в серебряных париках, домиков с чугунными витыми балкончиками, кружевными, как распяленные над улочками сети вьющихся растений, знаменитый «French quarter» [1], где неистовствует джаз, где в темноте открытых веранд сверкают белоснежные зубы и вылупленные белки глаз и пахнет жареными кукурузными початками. Там к озеру Понтчартрейн вели безлюдные улицы, как заброшенные огороды, заросшие сорняками, изогнувшиеся и разомлевшие от зноя. Нескончаемые ряды деревянных особняков с колоннами у крыльца и чванливыми фронтонами, с вечно закрытыми окнами и стыдливыми нищенскими задворками; пышностью

[1] Французский квартал *(англ.)*.

фасадов они маскировали бессмысленность своего существования, храня в памяти великолепие былых рабовладельческих времен и пряча в своих заплесневелых недрах шизофрению фолкнеровских старых дев. В этом музее под открытым небом забавлялись негры, гоняя по мостовой пустые жестянки от кока-колы. А дальше к западу, за бугристыми песчаными отмелями, где сейчас серым облаком водяной пыли клубится прибой, кокосовые пальмы клонили взлохмаченные макушки над садами Галвестона и Корпус-Кристи, погромыхивали жалюзи на окнах иссушенных солнцем бунгало, окруженных колючими кактусами и стройными, как свечка, будто живьем перенесенными из польских садов мальвами, треплющимися по ветру лентами бамии и серебряными трубопроводами нефтеперегонного завода «Тексако». Нам и к этим берегам случалось приставать, и поэтому я пытался увидеть их за миражами урагана. А на юге была Куба, «горячая, как вулкан», страна сахара и душистых сигар, чернобородых революционеров, девушек с винтовками и веселых карнавалов, и были где-то Антильские острова в венках кокосовых пальм, ажурные отели «Хилтон» и шоколадные рыбачки в пестрых, как павлиний хвост, нарядах. Все это было неподалеку, было и... пропало, кануло в бездну. И мне вдруг стало безразлично, здесь ли мы или на другом конце света, ибо, когда море безумствует, оно везде одинаково, как и страх, и дрожь, и пот, и напряжение сил, как беспощадное испытание воли.

Рядом со мной, выпутавшись из клубка теней, выросла длинная фигура инженера.

— Какая температура? — спросил он.— Нигде не забило? Надо бы опять увеличить подачу смазки.

Лицо у инженера было бледное и как будто светилось. Воспаленные, гноящиеся глаза судорожно моргали. Я снова почувствовал тупую головную боль. Хотелось узнать время, но с моего места часы не были видны.

Явился мой напарник, моторист Бальцежак. Он был совсем зеленый, изо рта, как белок из разбитого яйца, текла слюна, и золотистые ее ниточки сверкали в ярком свете ламп.

— Вам нехорошо? — спросил я.

— Есть ничего не могу. От этого все... Сразу выворачивает.

Обмякший, будто из него кости повытаскивали, Бальцежак едва держался на ногах.

— Пейте хотя бы воду. И не курите столько на пустой желудок.

— Какого черта меня принесло на эту посудину? Один раз, благодарение господу, спасся чудом...

— Все денежки, пан Бальцежак, денежки,— не удержался я, чтобы не подразнить бедолагу.— Уж больно вы на них падки.

«Надрываешься тут, блюешь,— думал я, глядя на несчастного моториста.— И зачем тебе это понадобилось? Ведь не корысти ради, неправда...» Мы-то знали, что он спускал все до цента с первой попавшейся шлюхой, едва сходил на берег. А потом с мельчайшими подробностями рассказывал о своих похождениях. При этом захлебывался от восторга и расцветал, когда мы затыкали уши и кляли его на чем свет стоит. Да, да: именно расцветал. По его словам выходило, что это и есть настоящая жизнь, а ему нужно постоянно напоминать себе, что он живет, поскольку однажды он уже горел в утробе этого самого танкера и знает, каково оно — не быть в живых. «Интересно,— думал я,— что испытывает человек, заживо горящий взаперти, в ловушке, и каким он становится потом, когда спасется... И зачем было возвращаться на «Карпаты», если никто ему не велел?» С другой стороны, я слыхал, что все это выдумки и ничего подобного с ним не

приключалось. Однако, наблюдая за его поведением, все же склонен был ему верить. И почему люди норовят выглядеть поэффектнее? Зачем играть придуманную театральную роль, когда главная заслуга человека — его обычная, повседневная работа? Но никто обычной работой не удовлетворяется, каждый ищет случай проявить себя. Человек никогда не согласится быть самим собой и не захочет ограничиться тем, что он действительно изо дня в день делает. Суметь бы мне, например, хорошо написать про здешние наши вахты во время урагана, я б, наверно, этим удовлетворился.

Прошло немало времени, пока инженер в очередной раз не подошел ко мне с тем же самым будничным вопросом:

— Ну как? Не перегревается? Работает?..

— Как наверху? — спросил я. Он сказал, что не знает, поскольку не выходил из машины, но не похоже, чтобы стало тише.

Я показал на Бальцежака, который стонал и плевался в углу.

— А вы так ничего не ели и не выходили? Как вы только выдерживаете? Всю ночь на ногах...

Инженер ничего не ответил, только поглядел на меня строго, словно удивился, что я в форме, а заботливость мою счел неуместной.

— Укачались люди, — повторил он.— Вахту полностью собрать не удастся. Пойдите-ка, юноша, займитесь вентиляцией. Один агрегат опять начал барахлить.

Инженер передвигался прыжками, от поручня к поручню. Я только диву давался: это был его первый рейс.

— Вы молодой, здоровый,— буркнул он.— Не каждый рожден для цирка...

Звонки призывали подвахтенных. Они скатывались сверху, бледные, словно пьяные. Распрямлялись на мгновение под взглядом инженера и расползались по ходившей ходуном пещере в духоте, жаре и грохоте. Навстречу им, оступаясь, взбирались по трапу другие, измотанные, перепачканные блевотиной. Вместе с двумя электриками, присланными на подмогу, я проверял систему кондиционирования. Повиснув на воздуховодах, точно стервятники над тушей издохшего гиппопотама, электрики снимали защитные сетки и обстукивали лопасти мощной вентиляционной установки.

Помню, как я приезжал помогать отцу во время жатвы... Весь июль хлеба прели в полях, воздух был сырой, одуряюще пахли травы. В начале августа я прикатил из техникума на мотоцикле. Отец без памяти обрадовался: как-никак единственный мужчина-помощник. Над скошенными нивами, обрамленными синим лесом, курился дымок. У отца было несколько гектаров пашни невдалеке от лесной сторожки на поляне, которую сплошной стеной обступал бор. Не успел я ополоснуться с дороги, как старик погнал меня свозить с поля пшеницу. Было воскресенье, дело шло к вечеру, над лесом собиралась гроза. Острые соломинки кололись сквозь брюки, за шиворот набились колосья и шуршали, как сухие майские жуки. Гнедой проваливался в кротовины, уныло скрипела телега, я кричал, нагоняя страху, понукал лошадь, а тем временем над лесом, как плотная, разросшаяся перина, лиловым занавесом повисла туча, зазмеились седые молнии, словно причудливый орнамент из мхов или серебряная вышивка на плюшевом покрывале. Мы спешили вперед — гнедой, я, разлохмаченный воз и ковыляющий сзади отец; радость переполняла меня, я выкрикивал что-то смешное, щелкал кнутом, а из-под земли неслись раскаты грома, и молнии, будто отблески из-за печной дверцы, плясали на спинах клубящихся туч. Кричали переполошенные птицы, и все было как в сказке. А потом я ел, кусок за куском, тушеную косулю и обнимал девчонку-одноклассницу, что забежала, будто случайно, в

мокром цветастом платье. То были родные, привычные грозы мальчишеских лет...

В шестнадцать часов я снова поднялся наверх, надеясь немного поспать. Выполз как паук, на карачках. У выхода из люка меня чуть не сбил с ног вихрь — дверь в конце коридора была сорвана, и пена хлестала по стенам. Цепляясь за поручни, я побрел туда, словно к вентиляционной трубе, чтобы глотнуть морского ветра. На меня обрушился град ударов — по губам, по глазам, лицо точно солеными водорослями облепило. «Они там, на мостике,— подумал я,— небось, мечтают спрятаться, а нас тянет наверх...»

Теперь, ближе к вечеру, направление ветра опять изменилось, и беспорядочные удары посыпались сбоку — должно быть, мы легли на другой курс. И опять я видел, как, дрожа от натуги, пробивается вперед судно, как сильно оно кренится и волны высотой с трехэтажный дом бьют аж в окна моей каюты... Когда я глянул в незадраенный иллюминатор, холодное и ясное небо висело над черным, точно мраморная скала, морем. Лишь где-то на западе море вспухло и покраснело, как физиономия, исхлестанная ветром. От этого кровоподтека разбегались сверкающие розовые жилки, вплетаясь в завитки пены, украшая порфировые волны каймой, лиловой, как сутана епископа. Я попытался заснуть на койке, ежеминутно наклоняющейся под углом девяносто градусов, но только намял бока, перекатываясь от стенки к деревянному бортику и обратно. Вдобавок плащ и портьера мотались перед глазами, окончательно разгоняя сон. Я лежал и считал, с какой частотой громыхают, выдвигаясь, яшики стола и сколько секунд длится затишье перед очередной встряской...

Не знаю, надолго ли утратилось ощущение времени, но проснулся я в состоянии невесомости. Судно, казалось, парило над морем, покачиваясь на невидимых крыльях. Все в его чреве гремело, все предметы обрели свободу. Я спрыгнул на пол в тот момент, когда корабль рухнул в бездну... Опять стал ощутим груз десятка тысяч тонн нефти, которая минуту назад едва не испарилась. Я с маху приложился лбом к линолеуму, а дверь, сорвавшись с крючка, трахнула меня по затылку. Это уж было совсем глупо. По-видимому, мы снова разворачивались. Теперь, перед наступлением сумерек, море, как бы желая, чтобы нам получше запомнился последний образ циклона, дико разъярилось: косматые валы, седые от взвихренной водяной пыли — ибо их грузную поступь опережала сдуваемая с гребней кипень,— опрокидывались на нас, словно цепи горных хребтов, исхлестанных ураганом, изукрашенных мраморными узорами пены. А поскольку мы по-прежнему шли лагом к волне, кренило так, что и в душе, и в каюте все переворачивалось. Вызвать рвоту я не мог, как ни старался, и это было пыткой. Косая стена изборожденного складками моря ежесекундно подступала к стеклянным окнам раскачивающейся кают-компании; море меняло окраску. Теперь оно снова стало оливково-зеленым и бурым, как пивная бутылка, как давнишние школьные чернильницы. И пенилось, как пиво. Кипень на гребнях сплющенных валов, опережая тяжкий ритм волн, накатывала издали, словно прибой в открытом море, матовую поверхность которого вихрь изрыл неглубокими канавками, будто одел чешуей желатиновых льдинок. И опять все это взлетало вверх, чтобы обрушиться на нас с исступленной яростью...

Едва я собрался идти вниз, случилось нечто удивительное. Трудно было поверить, но... неожиданно все стихло. Ветер улегся, точно на экране замерло изображение, волна, онемев, прекратила свой бешеный натиск. Передо мной вдруг выросла неподвижная стена горячего воздуха, от обжигающего дыхания которого бросало в пот. Стало темно и дымно, можно было подумать, что мы попали в пещеру. Сквозь

сильный звон в ушах до меня снова донеслись далекие отголоски жизни судна. И вдруг с табачного неба на палубу с глухим стуком начали падать мертвые птицы. Нас заваливало падалью! Птиц были сотни, некоторые еще шевелились. Я услышал звонки с мостика и голоса: «Мы в центре циклона!..»

Это уже было слишком. Я удрал вниз, подгоняемый страхом. В душном помещении силовой установки воняло блевотиной. Неистово звенел машинный телеграф.

— Хорошо, что вы пришли,— встретил меня инженер.— Что там наверху случилось? С ума все посходили?

— Вы не поверите, шеф, там тихо. Мы попали в центр смерча... С неба валятся задохнувшиеся птицы...

— Ладно, ладно,— устало пробормотал шеф.— Потом расскажешь. Мы здесь забыли, что такое тихо... Как себя чувствуете, Третий?.. Черт, он совсем дошел. Принесите что-нибудь из аптечки, авиамарин или нашатырный спирт...

Инженер принимал команды с мостика. Стрелка на шкале машинного телеграфа металась как угорелая. А мне мерещилось, что я убираю трупы. Люди отупело висели на поручнях. Шеф хриплым голосом отдавал распоряжения, но их почти некому было выполнять.

— Ну-ка, примите это и под кран! Умыться нужно. Видик у вас — нарочно не придумаешь,— тормошил я Третьего, который не желал вылезать из своего угла.

— Не говорите шефу, что меня так развезло... Ну, ладно, ладно, иду. О господи, бедное мое брюхо!

В углу была раковина, куда я окунал всех поочередно. Инженер приволок Бальцежака:

— А ну, обопрись на меня. Смелее! Сам наверх доберешься?

— Минутку... Ох, дьявол! Ну вот, уже лучше, я доберусь, шеф...

Шеф наш, перепачканный извержениями ближних, был вездесущ, как санитар в разгар эпидемии.

— Видите, что делается — работать некому. Еще неизвестно, в каком состоянии явятся те, сверху... На этот раз передача выдержала, а вот мы при последнем издыхании.

Стрелка часов равнодушно ползла по циферблату. Была уже ночь, вторая мучительная ночь в машинном. Самым страшным казалось даже не то, как нам всем тут достается, а то, что вахта тянется бесконечно долго, и следующая будет не легче, и что это у нас обычное дело, а не исключение. Между тем минута зловещего затишья истекла, и вихрь столь же неожиданно налетел с другой стороны. Мы пересекли центр циклона.

Когда в полночь я следом за шефом выбрался наверх, стук дверей и рев волн показались мне знакомой музыкой. У машины нас сменил второй механик, а нам предстояло ждать, пока «Маркони» не получит сигнала, что порт готов нас принять, и начнутся маневры. Я ходил за шефом по пятам. Теперь был мой черед болтать без умолку, а он снисходительно меня выслушивал.

— Давайте приберусь у вас в каюте,— предложил я.— Небось там все вверх дном.

— Завтра вскроем редуктор полностью.— с бесстрастием автомата твердил свое шеф.— Мы ведь до сих пор не знаем, в чем там дело...

Я хозяйничал в каюте: задвигал ящики, приводил в порядок бумаги. Это был единственный способ выразить шефу свое уважение. На стюардов теперь рассчитывать не приходилось. Инженер вылез из-под душа и энергично чистил зубы; белая паста капала у него изо рта.

— Тьфу! — плевался он. Буль-буль-буль... — Немногое мы увидим на этом острове. Хоть бы обратный рейс прошел спокойно...

В иллюминаторе за неплотно задернутой шторкой блеснула серебряная искра и замигала над вспененной черной водой. Звезда надежды или предвестие отдыха, а может, пристань для заправки бодростью на долгом будничном пути?..

— Вижу гаванский маяк, шеф,— радостно доложил я.

— Это хорошо, юноша,— равнодушно ответил инженер, водя по щеке жужжащей электробритвой.— Я сейчас просмотрю вахтенный журнал. Необходимо тщательно проанализировать все записи. Наверно, я еще понадоблюсь капитану... А вы мне позвоните попозже, кто из наших вконец укачался. Нужно составить график вахт для ремонта... Спокойной ночи. Ну, так как? — улыбнулся он с порога ванной.— Получатся из нас моряки?

— Спокойной ночи, шеф. Рядом с вами можно многому научиться.

Он улыбнулся — судорожно, вымученно, со слипающимися глазами. Я понимал, что едва закроется дверь, он, ничего не чувствуя, без сил свалится на койку. «Что ж,— подумал я,— моряку хочется быть только хорошим моряком так же, как настоящему писателю — только хорошим писателем. Все остальное — красивая поза, притворство. А люди... люди всему поверят».

13

Я рассматривал в зеркальце «симки» лицо инженера, теперь уже знакомое, разве что при дневном свете острее и отчетливее рисовались черты. Да, он был красив, и не зря Малецкий говорил о его незаурядности. Яркая личность, не только в глазах женщин. Автомобиль стоял где-то в районе Орлува, на боковой улочке, отростке главного шоссе Троймяста. Где именно, сказать не могу: мы так заговорились, что я совершенно не следил за дорогой. Во всяком случае за окном машины виднелось в отдалении море — синяя полоса на шее удавленника... Дурацкое сравнение! Откуда оно взялось? Время от времени за спиной у нас проносились автобусы, пролетала с грохотом электричка. Я сидел на переднем сиденье, рядом с инженером. По-видимому, я ему еще не надоел. Люди нередко, не признаваясь в этом, испытывают к писателям особое отношение, они видят в них — простите за банальность — своего рода исповедников. Пожалуй, так уж издавна сложилось... впрочем, это отдельная тема, достаточно интимная и щекотливая. Мы ехали куда глаза глядят и остановились, чтобы спокойно поговорить, отпустив баранку,— хотя разговор, завязавшийся накануне вечером, был обо всем и ни о чем, Роман заехал за мной сегодня, чтобы его продолжить. Просто так: нашел свободную минуту и заехал за гостем, дабы выполнить данное капитану обещание — побеседовать с писателем, который интересуется жизнью на танкерах. И это было самым абсурдным во всей ситуации.

Роман говорил не умолкая:

— ...Как видите, нельзя пожаловаться, что работа у нас, на нефтевозах, скучная...

Право, я колебался, стоит ли ему намекнуть, что хватит уже играть эту, новую для него, роль морского волка. Когда он на минуту прервал свой монолог, я все-таки вмешался:

— Но вы, наверно, что-то для себя в этой работе находите. В конце концов, такой специалист, как вы, мог бы подыскать другое место...

— Что вам сказать,— задумчиво произнес Роман,— море есть море... Впрочем, разумеется, все сложнее, чем кажется. Вам, живущим на земле,— обернулся он ко мне с чуть снисходительной усмешкой,—

сухопутным крысам, как говорится, трудно себе это представить. А наши проблемы просты и принципиальны. Ответственность... Затасканное слово. Лично я не боюсь ответственности... Но мне б хотелось, чтобы представление о ней было ясным, а не расплывчатым, чтобы человек знал, что́ ему дозволено... Чтобы мог сам распоряжаться своей жизнью. Говорят, мужская профессия... Нет, прежде всего — профессия настоящих людей. Потому что известно: в случае опасности один может положиться на всех, а все — на одного. А благодаря этому,— тут он открыто, по-мальчишески, посмотрел мне в глаза,— обретаешь человеческое достоинство и... получаешь удовлетворение.

Что-то в голосе инженера помимо его воли изменилось. Пропала шутливая интонация. Поэтому он тут же умолк, стал искать сигареты, закурил.

Потом завел мотор — только для того, чтобы проехать машинально несколько сот метров. Снова остановил машину. Видно, он не мог этого не сказать:

— Да, да, так оно и есть. Моряк в этом нуждается. Ему надо знать, что, попади он в самую скверную переделку, другие его выручат... если и он выложится до последнего. Моряк (Роман все время говорил: «моряк, моряки», ни разу не сказал: «я») хочет убедиться в том, что товарищ не подведет, что, в конце концов, можно просто доверять друг другу... и хочет убедиться на деле. Это необходимо,— решительно заявил он.— Человек, пусть бессознательно, иногда ищет подтверждения этому. Так в его глазах реабилитирует себя мир, который здесь, на суше, в городских муравейниках, порой становится непонятным и бесчеловечным.

Я подождал несколько секунд и спросил неожиданно:

— И вы того же искали? Того, о чем говорите...

Он ответил нехотя:

— Видите ли, моряки сами не знают, чего ищут. Может, это инстинктивно получается...

Я вспомнил рукопись стажера, которую прочел накануне вечером.

Позади нас кто-то громко сигналил. Мы стояли в неудачном месте, слишком близко от угла. Какой-то грузовик не мог из-за нас повернуть. Инженер, включив зажигание, въехал на край тротуара. Мы снова остановились.

— Знаете, мне б не хотелось, чтобы вы заподозрили меня в хвастовстве,— в прежнем шутливом тоне заговорил Роман.— Так уж повелось, что на море, если глядеть с берега, все кажется невесть каким романтичным и героическим. Я не ради этого рассказываю... впрочем, кто знает. Короче: вам нужны примеры — пожалуйста. Могу привести пример. Вы, вероятно, слыхали про наши приключения во время последнего рейса? Насколько я понял, капитан вам кое-что рассказывал насчет того, что случилось у берегов Кубы...

— Первый раз слышу,— поспешно заявил я.— Он словом не обмолвился...

— Словом не обмолвился... значит, можете мне не поверить... Ведь я... впрочем, неважно. Просто мы застряли в самом паршивом месте и в самый неподходящий момент. Вышла из строя машина. Приближался циклон. Нас могли стукнуть... В такой ситуации взрыв означал бы: снизу никто живым не выйдет. Понимаете?.. — Я по голосу почувствовал, что инженер волнуется, это уже были не прежние «моряки», «для моряков».— Спасти судно могло одно: свобода маневрирования... И именно тогда моторист, который был со мной, принял сообщение с мостика. Сверху предупреждали, что к нам полным ходом приближается неизвестный катер... вы понимаете, что я хочу сказать. Там уже случались провокации...

Он не находил нужных слов, невольно оглядывался вокруг, как будто искал очевидцев. Я заметил в его глазах растерянность, даже отчаяние. Уж не хотел ли он призвать в свидетели небеса?

— Это и была одна из таких минут,— сказал наконец Роман,— о которых я вам говорил в общих чертах. Я выгнал всех на палубу, сам остался внизу... — Похоже было, инженер вздохнул с облегчением.— Они в меня верили... А я верил в них... Знал: что бы ни случилось, все разрешится... по-человечески... К счастью, в последний момент я запустил двигатель...

Он смотрел прямо перед собой, в даль пустынного океана, как в книгу судеб, где записана и его судьба.

— Вот это оно и было. Те самые несколько часов. И несколько минут... Мне хватило.

Он замолчал. Опять закурил сигарету.

— Когда я вышел на палубу,— заговорил он чуть охрипшим голосом,— на воде еще видны были пересекающиеся следы... далеко позади, за кормой... А впрочем, может быть, мне только так показалось... Во всяком случае, вы видите, моряки... жизнь моряка... Куда вас...

Голос инженера затих, я больше его не слышал, хотя сидел рядом с ним; он шутил, говорил о пустяках, точно старался смазать впечатление от ненужного признания, однако все это уже не имело смысла. Наконец он умолк. Я тоже молчал. Машина медленно тронулась с места.

Я думал о рукописи стажера Вацлава Гробельного, которая осталась на письменном столе у меня в гостинице. «Обычная наша жизнь»,— сказал он. Текст действительно нуждался в доработке, отдельные места казались претенциозными, отдавали дурным литературным вкусом. «Шизофрения фолкнеровских старых дев» — откуда он взял такое? И это изобилие блевотины в машинном отделении...

Однако теперь, слушая инженера, я проникался симпатией к тому человеку, чей портрет был начертан скромной шариковой ручкой. «К чему все эти поиски эффектных положений, возможности отличиться, получить удовлетворение? — думал я.— Разве это не заслуга — долгие часы изнурительной работы, требующей самопожертвования и железной настойчивости? Обычной, малоприметельной с виду повседневной службы? Какая же реабилитация тебе требуется?» Все это начинало меня раздражать.

Снова заливает судно —
С койки не опустишь ног,
Снова,
как это ни трудно,
За насос берись, браток! —

навязчиво звучала в ушах строфа из Норвида.

Я одной рукою *время*,
А другой — *пространство* дал.

Пространство и время... Мне опять вспомнились слова молодого моряка, вероятно мечтавшего стать писателем. «Почему люди норовят выглядеть поэффектнее? Кажется, зачем играть придуманную театральную роль, когда главная заслуга человека — его обычная, повседневная работа?» Значит, не какие-то считанные минуты, секунды — многочасовое бдение: не перегревается ли передача... Так чего же еще тебе нужно, чтобы почувствовать себя оправданным? Сбрось тот груз, который судьба взвалила тебе на плечи, и тот, что ты взял сам... И тут в памяти всплыло еще несколько строчек из записок четвертого механика: «Но никто обычной работой не удовлетворяется, каждый ищет

случай проявить себя. Человек никогда не согласится быть самим собой и не захочет ограничиться тем, что он действительно изо дня в день делает».

Я задумчиво посмотрел на инженера. Снова полный энергии, улыбающийся, он лихо поддал газу. «Симка» включилась в поток мчащихся автомобилей.

14

Вечер. Знакомый маленький бар при Интерклубе в Доме моряка. Только на этот раз здесь оказалось более шумно и многолюдно, чем я предполагал. Из ресторана доносилась неплохая музыка. У нас с капитаном Вихняжем — по моей просьбе — тут было назначено последнее свидание. В гражданской одежде — великолепно скроенном английском костюме — капитан выглядел как элегантный пожилой финансист. Он сидел на том же самом, по-видимому своем обычном, месте за стаканчиком виски цвета жидкого меда и набивал трубку. Нас разделял только столик.

— Вас интересуют реальные факты, случилось ли что-нибудь особенное, если не считать аварии и опасной ситуации...— повторил он — образец воплощенного терпения.— Скажу откровенно: не знаю. Что-то случилось. Все зависит от того, что понимать под фактами.

Я тряхнул головой.

— А я знаю. И знаю даже то, о чем вам скорее всего неизвестно.

Капитан Вихняж вынул трубку изо рта и с интересом поглядел на меня.

— Я узнал об этом от одного человека,— объяснил я.— Неважно, от кого именно... В ту минуту, когда вы увидели катер... ну, тот самый, лоцманский, кто-то позвонил в машинное отделение. Вероятно, на мостике хотели узнать, как дела с двигателем. Внизу к телефону подошел один из мотористов и «шутки ради» сказал инженеру, что судно атакует какой-то «дьявол»... что остались считанные минуты. Представляете, каково было в тот момент инженеру Роману там, внизу? Должно быть, он попрощался с жизнью... всех выгнал наверх, а сам остался... Понятия не имею,— добавил я,— что́ этому мотористу ударило в голову. Воображение, что ли, взыграло... Идиотская шутка...

Капитан сидел, погрузившись в свои мысли. В какую-то секунду мне показалось, будто его глаза-бирюзинки на мгновенье сверкнули из-под бровей и он метнул в меня быстрый взгляд. Впрочем, и так было ясно: он думает о том, что услышал, и это имеет для него огромное значение. После моих слов с ним произошла неуловимая перемена. Он долго молчал и наконец буркнул:

— Лоцманский... Это я так сказал. А катер-то был вовсе не лоцманский... Люди ждали — что я должен был говорить?..

Я смутился. Все оборачивалось совсем по-другому. Где же в таком случае правда? Как было на самом деле? Я понял: до конца мне этого никогда не узнать.

Время шло, о чем свидетельствовали часы над стойкой. Мы с капитаном Вихняжем все еще сидели за столиком. Потягивали из стаканов виски, но не разговаривали. Откуда-то доносилась джазовая музыка в магнитофонной записи.

Вдруг я увидел возле стойки моториста Виктора Бальцежака. Заметил я его только в ту минуту, когда он, слегка пошатываясь, слез с высокого табурета и направился в нашу сторону. В руке он крепко сжимал рюмку.

— Пан капитан,— гнусаво забормотал он, подходя к столику.— I am sorry[1]... Позвольте вашему гостю...

Капитан смотрел на него с неприязнью. Конечно, он не знал, что мы знакомы.

— Чего это вы, Виктор, уже налакались? Рановато...

Ситуация складывалась не из приятных. Некоторое время мы с мотористом молча смотрели друг на друга. Наконец я протянул руку к стакану. И в этот самый момент, как в плохом водевиле, мы с капитаном увидели проходящего вдалеке, в глубине холла, инженера Романа. Он нас не видел. Виктор заметил его секундой позже и проводил глазами. Как всегда, с очень странным выражением лица.

Внезапно он поднял рюмку и провозгласил тоном Швейка:

— За здоровье нашего героя!

Оба — и он, и капитан — расхохотались. Как нарочно, певица на магнитофонной ленте разливалась в чувствительной песенке: «То была только шутка...» Смех заглушил ее рулады и звуки музыки. Я обозлился. Присматривался с минуту к капитану и мотористу. Виктор повернул обратно к стойке. Неожиданно для себя я поднялся и догнал его. Процедил сквозь зубы:

— Над чем смеетесь? Что здесь такого забавного?.. В конце концов, скажите ему...

Бальцежак остановился. Посмотрел на меня, прищурив глаза. Казалось, он вмиг протрезвел. И процедил таким же тоном, как я:

— Вы в самом деле думаете, я такая скотина, что теперь скажу ему об этом?

У меня голова пошла кругом. Что на это ответить? Сказать, что катер был вовсе не лоцманский?.. Но ведь капитан...

Мы еще с минуту смотрели друг на друга, но уже не как враги. А как кто?.. Я растерялся. Первое правило репортера, вспомнилось мне, «не привязываться к героям, держаться на расстоянии... поскольку правда, она как живопись...».

Я вернулся за столик. Поглядел в глаза капитану.

— Надеюсь, вы меня поняли, пан капитан. Я не рассказывал вам раньше... думал, так будет интереснее... Пожалуйста, при первой же встрече подтвердите инженеру, что этот шут, который подходил тогда к телефону, сказал ему правду...

Капитан был занят своей трубкой.

— Знаете,— пробормотал он,— это все тонкие вещи... По разным причинам. В портнадзор представляется соответствующая докладная...

15

Дверь номера в Доме моряка была добротная, фанерованная, закрывалась плотно. Я дважды постучал, прежде чем ее открыть. В комнате было темно, день выдался на редкость сумрачный. Стоявший у окна инженер Роман обернулся. Здороваясь, я встал так, чтобы получше видеть его лицо. В комнате лежали чемоданы, валялись вещи — обычный беспорядок временного жилья.

— Простите за вторжение, пан инженер,— сказал я,— но мне хотелось с вами попрощаться. Вечерним поездом я возвращаюсь в Варшаву.

— Да-а... Ну, что поделаешь. По крайней мере узнали кое-что про жизнь на танкерах... Желаю успеха в работе.

---

[1] Прошу прощения *(англ.)*.

Я сел в кресло спиной к окну.

— А теперь шутки в сторону, пан инженер. Я пришел, чтобы кое о чем рассказать.— Наклонившись к нему, я старался говорить ясно и выразительно.— Вы упомянули, что, когда после аварии поднялись на палубу, капитан, щадя вас, обратил все в шутку. Как это водится у моряков — мол, пустяки, и точка. Вы утверждали, будто он сказал вам, что ничего не случилось... Это было не так. Нетрудно догадаться, что я потом расспросил его об этом. И даже записал ответы на магнитофон. Люблю записывать чужие рассказы — вдруг когда-нибудь пригодятся. Кроме того, манера говорить, живое слово — это не заметки на бумаге... Вот новая катушка, тут как раз конец его рассказа...

Я вынул из портфеля магнитофон и после недолгих манипуляций пустил пленку с самого начала. В сумрачной комнате инженера раздался голос капитана Вихняжа (запись):

— *...Пронесло чудом...* (Щелчок зажигалки.) *Только благодаря тому, что двигатели заработали вовремя, судно было спасено. Катер сгинул в предрассветном тумане, и, если б не следы на воде, пересекающие кильватер «Карпат», можно было бы усомниться, появлялся ли он вообще...*

Гостиничный номер, на фоне окна—два темных силуэта, склонившиеся над магнитофоном, глухой бас отсутствующего капитана—картина, вероятно, была довольно странная. Я взглянул на инженера. Несмотря на полумрак, мне удалось увидеть, как лицо его на миг просветлело, он явно почувствовал облегчение.

Когда я отодвинул в сторону магнитофон, Роман сказал коротко и сухо:

— Да, мне это известно. Я вам говорил... я еще увидел эти следы с палубы. Но гребной винт уже работал вовсю, и мы порядком отошли от того места... А у вас, стало быть, более достоверные сведения... от самого капитана...

Мы обменялись рукопожатием. Я еще повертелся по комнате, отыскивая пальто.

— Желаю удачи... — бросил я, уходя с магнитофоном в портфеле.

Я надеялся, что инженер, лишь когда зажжет свет, увидит лежащую на кровати катушку с записью, которую мы минуту назад прослушали.

■

Вот и все, что я могу вам рассказать о человеке, прошедшем испытание огнем и водой. Можно ли считать это стоящим материалом? Не знаю. Не исключено, что кому-нибудь удастся кое-что извлечь из этого сумбура. Думаю, только режиссер Енджейчак, несравненный Енджейчак, сумеет это *увидеть*. Сейчас я жду его звонка — как прежде он ждал моего,— но что-то молчание затягивается.

Одно лишь я случайно узнал: он просил проверить, не поступал ли в ПОЛ морской протест от капитана «Карпат»,— однако там ничего не слыхали. Может, в этом не оказалось нужды?

■

МИШЕЛЬ СУЛЕЙМАН

Перевод с арабского и вступление
МИХАИЛА КУРГАНЦЕВА

Поэтическая символика ливанского поэта Мишеля Сулеймана на первый взгляд может показаться абстрактной: некий Памятник, «призрак каменнолицый», о котором он написал целую поэму, не имеет точного имени, не привязан к конкретному месту и времени. Поначалу Памятник воспринимается как символическое воплощение всякой реакционности и косности, равнодушия к человеческим страданиям, безвременья и жестокости.

Но когда вчитываешься внимательно, чувствуешь, что эта символика порождена реальностью, что она — обобщение, выхваченное поэтом из самой трагической действительности: недавних, еще не ушедших в прошлое, горестных событий на родине поэта, в Ливане. Безлик и мертвен Памятник, «двуногая каменная гробница», но это он «топочет по ребрам» живых, и вокруг него — тела погибших, развалины жилищ, «потоки слез, и горя, и пота». Нас обступает со всех сторон реальность братоубийственной войны, и против ее виновников поэт восстает всеми силами души и таланта.

Мишель Сулейман говорит о своей стране: «Это не рай, каким его рисуют некоторые философствующие проповедники, которые, точно фальшивомонетчики, увлеченные своим ремеслом, занимаются подделкой действительности. В этом мире бедняки убивают друг друга ради куска земли, ради оросительной канавы... В этом мире господа всегда защищаются с помощью иностранных штыков». Стихи Мишеля Сулеймана перечеркивают рекламно-идиллическую вывеску Ливана, изображавшего страну как пристанище богатых туристов, жирующих рантье и удачливых финансистов. Общественная позиция поэта четка и недвусмысленна. Он — твердый противник реакции, антинародных сил. И реакционеры об этом знают и помнят. Мишель Сулейман неоднократно подвергался преследованиям и арестам за свои убеждения. Правые экстремисты сожгли его дом, библиотеку и рукописи.

Эта месть — вполне конкретный ответ и на его стихи. Значит, они содержат правду, разоблачительную, опасную для «власти, которая жнет, а не сеет».

Поэт не теряет оптимистической перспективы — она им выстрадана. В его стихах «колокола наполнены гулом в час, когда буря сулит свободу». Его лирический герой находит силы для того, чтобы идти «навстречу бою». При всем трагизме и горечи «Огненных воспоминаний» поэт завершает эти стихи конечным выводом, полным надежды и уверенности:

Я поднимаюсь — стою прочно.
Во весь голос зову!
Сквозь руины глухой ночью
вижу зарю!

И, провидя рассветную зарю, Мишель Сулейман верит, что будущее, контуры которого еще не ясны, принесет добро и радость всему живому, что слабый цветок табака (из стихотворения «Тяга к земле») не будет растоптан и уничтожен ночной бурей, а поднимется под лучами утреннего солнца. Эту свою веру, сильную и строгую, поэт умеет передать читателю.

Каменный памятник

(Фрагмент)

Под порывами ветра,
в немоте застывая,
он стоит на площади опустелой —
на мертвом лице усмешка тупая,
следами пуль опоясано тело.
Он спускается с пьедестала,
он идет, тяжело ступая,
по трупам, развалинам, пожарам,
по израненным тротуарам,
мимо домов, где кровь — на кровлях
домов, чьи выжженные утробы
выворотила тоска слепая.
Двуногая каменная гробница,
спотыкаясь, идет сквозь город —
и новые смерти, и новое горе
высматривают пустые глазницы.

Прислушайся: по улицам узким
ползет невиданная мокрица —
в мире, где все бесплодно и пусто,
движется призрак каменнолицый.

Он — хозяин! О, как прожорлив
людей перемалывающий жернов!
Ноги его свинцом обуты.
Годы и дни, часы и минуты
скованы болью, и мир раздроблен,
и каменный идол топочет по ребрам.

Он — плод этой власти,
что жнет, а не сеет.
Ты слышал: зреющие колосья,
как петухи, кричат на рассвете!
И поле вспыхивает и тлеет,
а искры
разбрасывает ветер.

Камень!
Ты разрушаешь корни.
Сохнут они, исчезают, гибнут.
У ног твоих
рассыпаны горсти
слез и золота, хлама и гнили.
И мечутся люди в железных клетках,
и нечем дышать, и нет просвета.

Ответь, если можешь, камень молчанья,
камень кладбища, камень позора!
Но ты не слышишь крика и зова
и слова ненависти и печали.

Вывеску можно сменить, одежду
на тебя другую напялить.
Но каменный гроб останется прежним —
покуда смерть нами будет править.

Улица, по которой ступаешь,
пусть расскажет, как ночью потоки
били в лица предателей подлых.
Потоки слез, и горя, и пота —
всего, что золотом оседало
в недрах банка, во тьме подвала.

Знаешь ли ты, что время покоя
выжгло в нас мелкое и пустое
и сорвало все оболочки?
И нет теперь ничего дороже
нашей поступи, вольной и прочной.

Ты — зря израсходованная глыба!
И город, что неизменен и зыбок,
город, не ведающий покоя,
дал мне слова для спора с тобою.

Ответь, если можешь!
Глаза мои видят
скрытое и между строк читают.
Ты — пустыни бесплодный выступ,
тьма песчаная, пыль густая.
Неизлечимы твои недуги.
Наша беда — не твоя забота.
Колокола наполнены гулом
в час, когда буря сулит свободу.

И незачем спорить мне с тобою.
Я ухожу — навстречу бою!

Тяга к земле

Буря топтала посевы
на вспаханной плугом земле.
а цветок табака твердил:
«Я не сплю
в темноте, во мгле.
Солнце появится поутру —
я к земле припаду
и замру.
А солнце
ко мне наклонится нежно,
снимет обувь,
и сбросит
бархатную одежду,
и, обнаженное, венчик обнимет мой,
и лепестки задрожат,
охвачены страстью земной».

Огненные воспоминания

1

Я пишу, чтобы время не замерло
на каменистой дороге —
на черте, разделяющей наши дома.
Все привычное,
что ожидало меня на пороге,—
только знак,
только призрак, сводящий с ума.
Дерево.
Ветер.
Солнце.
Сердце.
Глаза.
Все, что было моим,—
только название,
сон и зола.
Все исчезает, не прикасаясь ко мне,
словно сгорает в огне.

Я пишу всю ночь напролет.
День приближается,
день приближается,
день настает.
День, закутанный в свет и тепло,
появился
еще до того, как солнце взошло.

2

Прошлой ночью мне снилось:
я в лодке плыву,
золотую рыбку ловлю.
Серебристые брызги как наяву
шепчут: «Люблю»...

Я ударил веслом
по сонливой воде,
по тишине —
рыба скрылась,
и вдруг —
лица людей
в глубине,
и цепляются руки
за тонкую нить —
тянут пальцы ко мне...

Я проснулся:
время разрушило все —
наяву и во сне.

3

Я говорил:
эта яма пустая —
моя могила.
Но не могу поверить,
что убили меня.
Может, в тело вонзился
осколок мины?
Руку,
плечо,
грудь
лижут волны огня.

Дождь холодный
ползет по моей спине,
по затылку гладит меня.
Слышу шаги в крови и огне,
ночью, в преддверии.

Времени бешеный вой
над моей головой...

Все оружье мое —
корни тимьяна и мирта
и песня над колыбелью,
когда все тихо и мирно...

Я поднимаюсь — стою прочно.
Во весь голос зову!
Сквозь руины глухой ночью
вижу зарю!

■

РОЖЕ ШАТОНЁ

Через самую высокую дверь

РОМАН

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Глава восьмая

— Да, я сделал все, что мог,— сказал Меа Кульпа, опуская глаза.

Корбан улыбнулся. Меа Кульпа держался со скромностью чемпиона мира, который твердит перед телевизионными камерами выученный наизусть урок смирения, объясняя миллионам зрителей, как он смущен оттого, что ему удалось побить рекорд, который никому не удавалось побить в течение десяти лет.

— Да это не бог весть что... Мы ведь тут все друзья... Хотя это вовсе не означает, что для друзей я буду делать свое дело кое-как. Совсем наоборот!

Небузен стал было уже усаживаться за стол, но Меа Кульпа остановил его повелительным жестом.

— Погодите еще минутку! Я не успел положить на стол живую дорожку!

Он принес из буфетной плетеную корзину, наполненную розовыми бутонами, лепестками красных и желтых роз, ягодами шиповника, бордовыми и фиолетовыми звездочками вереска, белым и сиреневым клевером, разноцветным портулаком, полевыми мальвами, красной крапивой, золотыми и пурпурными листьями, цветами с крошечными голубоватыми, розовыми и белыми венчиками, водяными растениями с пушистыми колосками, омелой, плющом, дикими злаками.

— Розы я у садоводов попросил, а все остальное собрал сам возле прудов... Ах, как мне это напомнило свадебную пору в деревне! — Его голос дрогнул от волнения.— Ты, Корбан, тоже ведь помнишь это время!

Он подошел к железнодорожнику, взял его за локоть. Сквозь рукав ощутил худобу руки, и у него сжалось сердце. «Теперь, на пенсии, старик не слишком-то часто ест мясо,— подумал Меа Кульпа.— Черт побери, стоило всю жизнь бороться за счастье других! Нет, я хочу, чтобы у меня были деньги, и они у меня будут...»

Сабас заканчивал накрывать на стол. У Меа Кульпы едва заметно дрогнули веки, выдавая его недовольство учеником, который, видимо, совершил несколько ошибок против правил хорошего тона. Меа Кульпа переставил один из бокалов, подвинул вилку и провозгласил:

Окончание. Начало см. в № 11, 1977 г.

— Теперь можно садиться! Отвертка, Корбан и Абилиу огибают вагон снаружи и входят через мою личную дверь! Ты, Отвертка, садишься за стол слева, напротив окна, Корбан рядом с тобой, ближе к проходу. Абилиу — за стол справа. Я уже все объяснил Сабасу. Хотя нет, лучше я сам этим займусь.

Он проводил гостей, которым предстояло обойти вагон и подняться в него с другой стороны. Торжественно усадил каждого и только после этого разрешил Небузену сесть напротив Отвертки.

— Ты тоже возле окна! Сабас сядет рядом с тобой, как только с делами управится. Я сажусь в проходе, а Термоли, если придет, сядет справа от меня!

Он слегка наклонился вперед, собираясь пролезть под досками братьев Дьёлефи на другую половину вагона, и заколебался. После короткой борьбы чувство собственного достоинства победило, и позвоночник отказался сгибаться. С гордо поднятой головой, Меа Кульпа вышел и, насвистывая военный марш, прошествовал под окнами вагона. Вот он появился в восточных дверях, и те шесть метров, что отделяли кухню от банкетного стола, преодолел с благородным достоинством монарха, который движется по тронному залу между двумя рядами придворных.

— Друзья мои!.. Однако я вижу, что Сабас даже не предложил вам аперитив! Тогда пусть каждый сам нальет себе то, что ему больше нравится. Не будем разводить церемоний!.. О, как я счастлив видеть вас у себя! Сегодня здесь не просто завтрак. Сегодня торжественное открытие моего заведения! И в то же время этот завтрак — прощальный... Тот Меа Кульпа, которого вы знали, умер... Теперь я должен либо разбогатеть, либо исчезнуть с лица земли!

— Разбогатеть — нелегкое дело,— пробормотал Абилиу.

Меа Кульпа даже вздрогнул от неожиданности. Абилиу всегда говорил очень мало; правда, он улыбался доброй улыбкой, и поэтому людям казалось, что он непрерывно с ними беседует.

— Португалец, что́ ты об этом знаешь! — сердито сказал Меа Кульпа.— У себя в Португалии вряд ли тебе доводилось видеть богатых людей.

— Порту — это город, где «ламборгини» больше, чем в любом другом городе мира.

— «Ламбор...» чего?

— «Ламборгини». Роскошные машины. Самые шикарные лимузины из всех существующих. Если ты человек элегантный, тебе необходим «ламборгини»! Такой, как у португальцев! Такой, как у богачей из Порту! Если тебе выпадет случай поглядеть на богачей в нашей стране, ты поймешь, что такое мировой суперкласс!

Редко бывало, чтобы Абилиу произносил так много слов за один раз, и Меа Кульпа долго не мог ничего выговорить от удивления. Потом взорвался:

— Я, видите ли, пойму! Скажите, пожалуйста! Просто возмутительно, честное слово! Да будет тебе известно, что мы, французы, самые элегантные люди в мире!

Абилиу явно не был убежден, что Меа Кульпа воплощает в своем лице самый рафинированный стиль жизни на нашей планете. Но он лишь сказал:

— Я ведь тоже француз! Я родился на улице Себастьена Фурражa, возле бассейна, и был в школе имени Жюля Геда первым учеником в классе по французскому языку и по истории Франции!

— Ладно,— сказал Меа Кульпа,— не хочу с тобой спорить; все эти проблемы меня совершенно не интересуют.— Он показал на принесенную Сабасом гусиную печенку, уложенную ломтиками на ли-

стьях салата.— Ты уж меня извини, Абилиу, что я не нашел гусиной печенки по-португальски! Но у французов — это лучшее блюдо...

— Гусиная печенка? — воскликнул Корбан.— Боюсь, ты слишком потратился на нас, Меа Кульпа.

— Не беспокойся! Печенку мне дали в кредит... Дело у меня сейчас идет в гору... По ночам мне приходит в голову куча всяких идей! Заказываю по почте каталоги... Я все время в размышлениях... Здесь ночью так хорошо размышлять... Тишина, только лягушки квакают... И все становится понятным, ясным!.. Закажи я двести граммов гусиной печенки, со мной бы никто не стал дела иметь. А я заказал двадцать кило, в банках! Клиент, который заказывает двадцать кило гусиной печенки, внушает доверие. В том-то и штука!

Он пошел в буфетную и вынул из ведра со льдом две бутылки вина.

— Это «Сансер». Только охладить его как следует я не смог, вы уж не обессудьте! Мне нужна холодильная камера и термостат (при этом слове левое ухо у Отвертки дрогнуло) — нужен погреб...

Он отпил глоток, взволнованным взором обвел приборы, рюмки, скатерть, приблизил лицо к Дюмон д'Юрвилю, спокойно глядевшему на него из-под бутылок белого вина и блюда с гусиной печенкой, и знаменитый мореплаватель снизошел к волнению Меа Кульпы и снарядил ему в помощь добрых гениев приключений, поисков и удач.

— Да! Ах, друзья мои! Мне кажется, что я уже разбогател! Сразу, в одно мгновение! Может быть, все дело в том, что я вижу вас всех перед собой? Или «Сансер» надо мной подшутил? Но ведь я пить умею! («Да, да!» — хором закричали гости.) А известно ли вам, что я подал вам совершенно новое столовое серебро? Бокалы и рюмки — настоящий хрусталь! Который еще ни разу не был в употреблении! Я ведь вам о себе еще всего не рассказал! Даже Сабасу! А то бы он перепугался!

Он не слушал, что ему отвечают друзья. Он видел «Ла-Перголу» в блеске и славе, видел дворец в роскошном убранстве, в атласе и слоновой кости, видел окутанный негой и музыкой зал... Полированная мебель, парча, благовония... И вокруг — богачи, одни богачи, нежно и мягко гудящая толпа богачей!

— До чего же ты всем надоел с этими своими богачами! — вдруг со злостью сказал Сабас.

Меа Кульпа опешил. Он положил вилку и нож, набрал полную грудь воздуха и наконец прошептал:

— Бедный!.. Да, да!.. Бедный ты парень! Мне тебя просто жаль...— Он поглядел на Корбана и вздохнул: — И этого человека я хочу чему-то научить в жизни!

— Не уверен, что у тебя это всегда хорошо получается, Меа Кульпа!

— Может быть! Но все, о чем я толкую,— все это чистейшая правда! Выпьем еще по бокалу «Сансера»! Мне необходимо в себя прийти!

Полуприкрыв глаза, он выпил вино, не спеша вытер рот салфеткой, аккуратно разложил ее опять у себя на коленях и наставительно произнес:

— Начнем с того, что с твоей стороны не слишком-то вежливо говорить со мной в таком тоне. Ну да бог с тобой! А вот что касается богачей, разве ты можешь что-нибудь в этом понять, жалкий ты человек! Я ведь не раз тебе говорил. Это не просто люди, у которых есть миллионы. Однажды я в Париже работал... Заменял одного официанта, пока тот болел... Всего один месяц, на Елисейских полях... Ресторан! Богачи... Они совсем из другого теста сделаны... Загорелые даже зи-

мой... Тебя они просто не видят... Проходишь возле них, и кажется, они идут в стеклянном туннеле, и их невозможно задеть... У многих лицо страшное, прямо стальное какое-то... У других волосы белые, нежные, как шелк, но на добрых дедушек они все равно не похожи! Тигры... хотя очень любезны... Чувствуют себя непринужденно, словно в креслах сидят в саду под деревьями с сигарой в зубах... Спокойные! Видел бы ты их, когда они подъезжают к модным ателье! Сезонов для них не существует! Клубника круглый год! В январе на столе — ветки цветущей вишни! На дворе десять градусов холода, а барышня заявляет: «...Мы весь день провели на пляже...» Это она из Экваториальной Африки прилетела, или из Кейптауна, или еще откуда-нибудь... «Мы отлично отдохнули!» От чего отдохнули, спрашиваю я вас... И все с такой легкостью! А сами-то — твердые орешки... Вот кто свободен! Люди без возраста! Парят над жизнью! Ах, я восхищаюсь ими! Нужно быть богатым, чтобы почувствовать себя человеком!

Он запыхался и замолчал. Увидел, что Отвертка не притронулся к своему бокалу.

— Тебе не нравится мое вино?

Отвертка от неожиданности вздрогнул и залпом осушил бокал.

— По-моему, Сабас прав,— сказал он.— Иметь столько денег безнравственно! И потом я не люблю паразитов!

— Паразитов? А сколько существует паразитов-бедняков! Миллионы, если не больше! Только не рассказывай нам, пожалуйста, про свои поездки в Африку,— поспешно добавил Меа Кульпа,— я знать ничего не хочу ни про Африку, ни про Азию! Кстати, именно поэтому я обхожусь в «Ла-Перголе» без телевизора...

— Ты не прав! — сказал Отвертка.— Надо быть человеком своего времени. Технический прогресс — это прекрасно!

— Про технический прогресс я могу тебе до вечера рассказывать!

— Может быть, ты сперва жаркое разрежешь? — сказал Небузен.

— Я как раз и собирался сейчас это сделать. Сабас, неси сюда блюдо! Технический прогресс... Как вы знаете, я служил в одном замке... Хозяин был еще совсем молодой! Когда я впервые вошел в замок... Прямо как сейчас все вижу. Вхожу... — Он растопырил руки; с ножа, которым он резал баранину, на скатерть упала капля розового сока — посреди лба у несчастного Лаперуза засверкала кровавая звезда.— Нет, я не в силах это изобразить. А расположение комнат... Не клетушки одна возле другой, как в бедных домах! Комнаты сообщаются друг с другом, образуют одно целое, ты видишь все картины и все лестницы сразу! Прохожу по кухням, запах — божественный! — Раздув ноздри, он шумно вдохнул в себя воздух, словно показывая, сколько запахов источают три десятка блюд, если они приготовлены для епископов.— Медные кастрюли! Огромные, как цистерны! Начищены до блеска! На всех стенах! А сами стены! Стрельчатые окна! Камин! Представьте себе, в тот день шел дождь. Сильный ветер... За окнами воет... А в камине огонь! Как в волшебной сказке. Как в старину! Богачи — они знают, как хорошо жилось в старину! А технический прогресс они оставляют тебе!

Отвертка тем временем опять погрузился в задумчивость, но все же он уловил, что последнее замечание Меа Кульпы было адресовано ему.

— Я не очень внимательно следил за твоим рассказом, Меа Кульпа. Кажется, я даже на какой-то момент отключился. У меня столько всяких идей в голове! — И, надеясь смягчить Меа Кульпу, добавил: — Наверно, я никогда бы не смог хорошим поваром стать.

— Значит, ты думаешь, что у повара не должно быть идей в голове? — высокомерно отпарировал Меа Кульпа.— Знаю я, какие у тебя идеи! Пульты управления, операторы, ракеты, полеты на Луну! Но что это даст? Может быть, ты стариков омолодишь? Покойников воскресишь? Нет! Ты привезешь с Луны камни, а люди по-прежнему будут такими же, какими были всегда!

— Позволь, позволь,— сказал Отвертка, и его кадык выскочил из воротника, как мышонок из норки,— позволь! Кем бы мы были сегодня без электричества? Дикарями!

— А у меня в вагоне электричества нет! — Это замечание звучало победоносно, но в нем слышалось и сожаление.— Пускай! Когда люди жили при свечах, они не боялись, что им на голову свалится межконтинентальная ракета! Расскажи-ка ему, Корбан! Ты-то ведь без электричества жил?

— Конечно... Когда был маленьким... Я на ферме родился... Начиная с осени, как за ужин садиться, лампы зажигали. У нас кругом каштаны росли. А уж как они шумели, когда ветер поднимался!..

И так явственно донесся до него из детства шум деревьев под порывами осеннего ветра, что все за столом тоже услышали этот шум и увидели, как сквозь лохмотья туч, под яростный собачий лай пробирается по небу маленькая озябшая луна.

— Электричество нам уже после первой мировой войны провели. До этого мы только керосин знали...

Корбан глубоко вдохнул, словно принюхиваясь. Среди запахов его жизни главным, пожалуй, всегда был запах керосина.

— В наши края дали ток году в двадцать пятом, а может, и в тридцатом, не помню уже. Приехали рабочие, поставили столбы. Рабочие были почти все иностранцы, только не те, что сейчас... Тогда все больше с Балкан приезжали... Ну, и поляки тоже были, и русские — из эмигрантов. Один, помню, даже из Сибири... Да, Сибирь...

Глядя в окна вагона на французскую равнину, Корбан, Меа Кульпа, Отвертка, Абилиу, Небузен и Сабас услыхали топот коней в морозных сибирских степях, в стране, которую им, должно быть, не придется увидеть. А Сабас подумал про человека, который в тот памятный день, когда случилась беда с рукой, рассказывал в аптеке о Городе Тысячи Шорохов, разрушенном ордами великого хана. Подумал и про портрет восточного принца в антикварной лавке на набережной. Подумал с болью про Лию, про завод, куда он скоро вернется, про несбывшиеся мечты.

— И вот, наконец, все было готово, и нам дали ток. А потом опять пришла осень, и старые керосиновые лампы, оказалось, уже не нужны, и от этого на душе стало вроде бы грустно... Не нужны, потому что кругом уже стоят столбы и на них висят провода... Стало холодно, каштаны пожелтели. Если б ты видел, какая осень в наших местах! Какие закаты... И как прекрасна земля! Однажды утром ласточки собрались в теплые края. Выхожу из дому, вижу: на всех проводах — ласточки. Тысячи и тысячи ласточек на километрах и километрах проводов! Никогда я раньше не думал, что ласточек так много. И ведь сидят преспокойно на проводах, а по проводам идет ток, и этим током запросто может человека убить... Ребятишки, конечно, сбежались, глядят на ласточек... Вот и я тоже гляжу доверчиво на мир! Да! Пусть нам на каждом шагу грозит смерть, но все равно главное в жизни — сама жизнь!..

Сабас больше не слушал. Ему казалось, что он скачет на диком, необъезженном коне, крепко вцепившись в его гриву, и хмелеет от

бескрайнего простора, и его тело сливается с ветром и с могуществом нашего индустриального века, с вольным посвистом поездов, летящих в черной ночи.

Глава девятая

В этот воскресный осенний день Лия мечтала, чтобы дом избавился от гостей. Она прислушивалась к тоненькой жалобе ветра — ветер вздыхал за окном, о чем-то шептал в глубине коридора. Ей были знакомы и понятны все звуки, населявшие огромное здание, которое стояло фасадом к просторному рейду. Небо над рейдом всегда было синим. Старое жилище судовладельцев порой вспоминало свое былое величие, вспоминало ту далекую пору, когда квартал населяли люди другого пошиба — каста алчных, одержимых злобным религиозным экстазом, но безумно любящих море дельцов. Жизнь с того времени стала иной, стала будничной и унылой, измельчал и характер жилища — стал добродушным, терпимым, ручным. И только ветры осеннего равноденствия будоражили его древнюю память, напоминали о приключениях... Лия мечтала о чуде — о том, чтобы внезапный мор очистил квартиру от собравшихся на званый завтрак гостей.

— Ах, боже мой, если б они хотя бы не были так чопорны и скучны!

Это вещал Лиин отчим. Ему часто — и почему-то главным образом по воскресеньям — приходилось доказывать, насколько выиграли бы коммунисты, «будь они менее скованными, черт побери! Только у них и сохранились еще эти старомодные учительские манеры!.. И при этом они так скучны! Боятся людей ярких, талантливых...» Отчим искренне верил, что его собственные разглагольствования не чопорны и не скучны...

«За все время, что я знаю его, я от него ни одного свежего слова не услышала»,— думала Лия.

Опять кто-то жалобно застонал под самой крышей, замяукал протяжно под окном. Осень приносила с собой свою музыку, пронзительную и печальную, которая заставляла думать о фиолетовых далях, о диком море, бьющем волною в подножье красных и черных скал. Море, ветер и дождь окружали Сабаса и Лию в ту ночь среди дюн.

Уехать, уехать с Сабасом в край песка и утесника. Бродить по тропинкам, выбирая их наугад, ночевать и обедать в деревнях. Она бы заставила Сабаса взять у нее деньги. Правда, денег у нее маловато. Разве что продать тот брильянт...

— Что с тобой, Лия?..

Мать заметила внезапный румянец на щеках дочери.

А ведь это не лучше проституции — дарить любимому то, что было подарено когда-то другим мужчиной... Ей стало стыдно. Но и стыд иногда может быть чистым.

— Идеи очень переменились! — заявила мать Лии.

— Материальное благополучие приводит к одряхлению доктрин,— сказал один из гостей.

Голос волынки на песчаной отмели, крики чаек, ничем не замутненное счастье двоих, радость заблудившихся и прильнувших друг к другу детей... Приключение, немыслимое и простое, сотканное из ликования и любви. Как сентиментальный романс.

Но Лия поборола в себе умиленность. Что говорить, это, конечно, сладостно и заманчиво — помечтать о прекрасной смерти вдвоем, когда мир враждебен — нет, хуже! — когда он равнодушен к тебе. Равнодушен и насмешлив. Но уступить этим мечтам — значит признать правоту тех, кто твердит: «Живите, как все, как учит мудрость веков!

Идите нашей дорогой!» И кто говорит: «Чего вы ищете, чего добиваетесь? Все ведь так ясно и просто!»

— А жаль! — сказал отчим.— Все проходит, все уходит, уходят левые, уходят правые. Да, религии умирают.

Лия вдруг представила себе, как раздулся бы от тщеславия отчим, если бы к нему в гости пожаловал кардинал-архиепископ. Но ведь с таким же точно тщеславием принял бы он у себя генерального секретаря коммунистической партии или посла социалистического государства.

— В наши дни на ключевые позиции выдвигаются администраторы,— сказал другой гость.

И ведь эти нелепые призраки мешают любви Лии и Сабаса! Что же делать? Уехать вдвоем в Париж? Здесь оставаться нельзя, здесь их любовь обречена. Здесь Лия не сможет помочь Сабасу.

Сразу после завтрака Лия попрощалась с гостями. Она собралась пойти на концерт духовной музыки. Это было не только предлогом. Она любила негритянские спиричуэлс; с тех пор как она приехала из Парижа, утренние посещения этих концертов стали для нее единственным источником высоких чувств, самоотрешенности, очищения. Но, сделав несколько шагов по тротуару, она передумала. Мелодии, в которых ей слышалось раньше согласие между плотским и духовным началами, сегодня уже не смогли бы ответить ни на один из терзавших ее вопросов.

И вдруг она ощутила странное искушение. Сильно забилось сердце. Единственный возможный выход... Но все воспримут этот шаг как чистейшее безумие. Дело в том, что ей захотелось пойти к Корбану и обо всем ему рассказать. Она всегда считала исповедь бесполезным, даже оскорбительным ритуалом, и вот она хочет исповедаться. И перед кем? Перед атеистом! Она пыталась мысленно выстроить в ряд фразы своего признания: «Корбан! Вы меня почти не знаете... Но мне кажется, что вы относитесь ко мне хорошо... Не понимаю, почему меня так влечет к Сабасу, вернее, понимаю, но не умею выразить... Я его люблю... Когда я встретила его, я обрела чувство человеческого достоинства... Есть люди, которые лучше других, сильнее и яростнее других ощущают жизнь, весь окружающий мир, и они могут стать полезными всем, надо только помочь им... Вы бы никогда не смогли полюбить моих родителей, весь их круг, потому что они — люди слабые, они копошатся во мраке и не способны найти путь к высоким и чистым целям...»

Она запуталась.

Солнце светило безжалостно ярко, Лия отчетливо видела тень — даже не тень, а легкий намек на тень, которую отбрасывал на дорогу крохотный камешек. Улица была глубокой траншеей, одна ее стенка, освещенная солнцем, била в глаза, ослепляла своим серебром, другая была чернее сажи. «Я потеряла голову, совсем потеряла голову... Да, постой-ка, ведь Корбана и дома-то нет, он вместе с Сабасом сидит сейчас за завтраком в вагоне-ресторане».

Она толкнула калитку, вошла в сквер, присела на скамью возле бетонного прямоугольника; в песке играли дети.

«Корбан — мужчина. Сабас станет мужчиной. А кто я? Женщина? Стану ли я женщиной?»

С волнением вслушивалась она в это слово: «Женщина». «Женщины»,— часто говорят ее приятели. Но каких женщин имеют они в виду? Люди и книги говорят о женщинах как о существах особой породы, но этот образ всегда расплывчат и смутен.

Как-то раз в факультетской библиотеке Лия случайно наткнулась на затрепанную брошюру в картонной обложке. Грубая, пожелтевшая от времени бумага, плохая печать, весьма приблизительный перевод. Книжка вышла вскоре после войны. «Зоя Космодемьянская». История девушки, молодой партизанки, схваченной немцами и после страшных пыток повешенной ими на улице подмосковной деревни. Не сказала фашистам ни слова, не выдала партизан. «Зоя, Зоя...» — прошептала Лия. А ведь подвиги совершаются и в сегодняшнем мире. Вспомнилась газетная фотография: вьетнамская мать прижимает к себе ребенка с ампутированной ногой. Женщина выстояла. Как и Зоя. «Смогла ли бы выстоять я?» И горделивый ответ пронизал ее всю точно током: «С божьей помощью я бы, наверное, смогла...» Но ведь эти женщины не полагались на божью помощь. Что же тогда поддерживало их? Патриотизм? Могучие душевные силы, от природы заложенные в каждом человеческом существе? Значит, для того чтобы эти силы могли проявиться, нужна война? А сейчас, когда воцарился долгожданный, желанный мир?.. Вот Сабас — человек настоящий, он проявит свое мужество и в теперешней, мирной, обыденной жизни...

Судьба многолика. Лия может выйти замуж за сына какого-нибудь коммерсанта средней руки, за юношу, который поднабрался знаний и даже хороших манер, имеет диплом и готовится со временем стать коммерческим директором фирмы. Самый простой для девушки путь. Летние отпуска за границей, зимний спорт, уик-энды на океане, незыблемый в своей замкнутости жизненный цикл, беседы, которые припахивают нафталином, души, законсервированные от рождения, умы, тем более тусклые и увядшие, чем яростнее тщатся они быть модными и современными. «Их ничто никогда не разбудит, ничто, никогда!»

Воскресенье в этих кварталах — точно вековой беспробудный сон... Ну, а женщины? Они даже представить себе не могут, что для мужчины, который достоин этого имени, женщина — не только надушенная болонка. Право быть женщиной стоит дорого, за него надо платить — впрочем, наверно, так же, как за право называться мужчиной. Платить, не требуя платы с других. И верить, что счастье — это твое человеческое право, твоя суверенная власть.

Несметная армия женщин, создавшая мир... Женщин, вынесших на своих плечах тяжелое бремя, родившихся на свет некрасивыми, безобразными, выплакавших в свои девичьи подушки соль всех морей, потому что они были отвергнуты еще до того, как успели протянуть руку за своей долей счастья... И тех женщин, которые, несмотря ни на что, гордо поднимали голову в безысходной своей обездоленности, и тех, что всю себя посвящали каждодневному неприметному подвигу — безнадежно больному ребенку, увечному мужу... Вот что такое быть женщиной, величием и славой земли. И стать такою могут помочь молодые избранники. «Иди и дерзай.— Но что я могу? — Иди, страдай, шагай.— Но кто я? — Иди». Нужны такие, как Сабас.

Нет, с Корбаном непременно надо поговорить. Только принесет ли разговор какую-то пользу? Наверно, Корбан раньше ее угадал, что Сабас уже слышал эти слова: «Иди и дерзай!»

Лия поднялась. Над ее головой в листве гонялись друг за другом дрозды. Ветер шевелил ветки. Густые, широкие, золотистые, они раскачивались, как паруса... Ветер шел из устья реки, и могучее, немного печальное дыхание пространства говорило Лии, что богиня удачи может сблизить и отправить в совместное плавание самых разных и самых далеких людей. Они еще так далеки друг от друга — парень из рабочего пригорода и девушка, что бьется в этой липкой, засахаренной среде. Они еще так далеки...

Меа Кульпа собирался разложить гостям жаркое, но вдруг замер и бросил осуждающий взгляд на Небузена, который барабанил пальцами по тарелке.

— Не люблю нетерпеливых клиентов! Особенно, если клиенты к тому же твои друзья!

— Я не от нетерпеливости,— сказал Небузен.— Я слушаю, как звенит твой фарфор.

Он взял тарелку двумя пальцами левой руки и оглядел ее с ребра. Потом изучил дно и по слогам прочитал заводское клеймо: «Лимож. Фран-ци-я». Провел указательным пальцем правой руки по ободку на дне тарелки и всем видом своим показал, что ободок слишком шероховат. Поставил тарелку на место, подышал на нее, протер салфеткой, проверил, как она блестит.

— Тебе, я вижу, мои тарелки не нравятся,— с иронией сказал Меа Кульпа.— Хочу тебе пожелать, чтобы все остальные тарелки в твоей жизни были не грязнее этой. Если б я тебе рассказал, как моют посуду в ресторанах, даже в самых фешенебельных ресторанах, ты никогда бы больше не рискнул там обедать. Даже в «Золотой каравелле», даже в «Князе Боргезе»!

— Да нет,— сказал Небузен,— я на другое глядел. Ты ведь человек расторопный, а все еще не обзавелся фарфором с маркой «Ла-Перголы».

— В жизни у меня было кое-что и получше! Был прекрасный сервиз — тебе такого уже не видать... Музейные вещи, еще более ценные, чем эта скатерть. Вся жизнь Виктора Гюго!.. Я целыми днями мог их рассматривать.— Он на миг прикрыл ладонью глаза.— Этот сервиз нам подарили на свадьбу... Родители моей жены были богатые крестьяне... И очень спесивые... Да! Виктор Гюго — лауреат Тулузской академии! Виктор Гюго в гостях у Шатобриана! Виктор Гюго на премьере «Рюи Блаза»! Виктор Гюго в клубе фельянов! Виктор Гюго читает Библию своей внучке Жанне! Виктор Гюго в Брюсселе! Виктор Гюго на поле Ватерлоо! Виктор Гюго в день второго декабря! Виктор Гюго в Академии! Похороны Виктора Гюго — массовая сцена, более сотни персонажей на блюде для жаркого! И самое прекрасное — серия тарелок «Виктор Гюго на острове Гернсей»!

— Я, конечно, понимаю, как жалко тебе этих тарелок,— сказал Небузен, и в голосе его прозвучали коварные нотки.— Лично я вообще ни за что не стал бы их продавать...

— Продавать? Ну, знаешь, так низко я еще не пал! Их забрала моя жена...

Видя, с каким удивлением смотрит на него Корбан, Меа Кульпа сказал:

— Не люблю об этом рассказывать.. Мы с женой жили дружно, она была счастлива, что у нее такой муж! Но родители уговорили ее со мной развестись, потому что я все никак не мог сколотить состояние. У них не хватило терпения подождать еще хоть немного... Когда она уходила, я отдал ей сервиз с Виктором Гюго. Мы расстались друзьями... И я сказал ей: «Придет день, когда ты обо мне пожалеешь... Береги эти тарелки... А я стану богатым и закажу для себя точно такой сервиз! Только с золотой каймой!»

Все как по команде перестали жевать и посмотрели на Меа Кульпу. Он вдруг увеличился в объеме чуть ли не вдвое. Пока он говорил, он продолжал расти и раздаваться вширь. Даже Небузен не посмел бы сейчас над ним подтрунивать. Совершая время от времени вместе с Абилиу, Термоли и Сабасом обход баров на набережной,

Небузен видел за стойками, в глубине прокуренных залов гигантские фигуры кабатчиков; у них были волосатые толстые руки, у них над выпученными по-жабьи глазами нависали набрякшие складчатые веки, у них были подобные горным хребтам плечи, у них затылок и череп были укрыты сплошным капюшоном мышц, этаким чудовищным пластом мяса, который обволакивал их от лба и висков до диафрагмы. Такая комплекция вызревала годами, и все эти годы человек дышал ароматами пива и табачного дыма, и разливал посетителям цистерны супа, и разносил тонны сандвичей, и мусолил целые возы банковских билетов, и через его руки проходило больше меди и никеля, чем через монетные дворы иных государств.

Но с Меа Кульпой этот процесс совершился с немыслимой быстротой. Небузен ни разу не видел Меа Кульпу в ту пору, когда тот еще работал на стройке, но легенда донесла до него образ подсобного рабочего-цементщика, хилого и тщедушного, с острыми локтями, впалой грудью и тощими ногами, вокруг которых парусом болтались брюки. С того дня, как Меа Кульпа сделался хозяином «Ла-Перголы», под его одеждой сразу стали намечаться некоторые выпуклости, начали округляться колени и бедра, руки и щеки. Что касается живота, здесь уже трудно было говорить об одной какой-то округлости — здесь была целая система, целый архитектурный комплекс переходивших друг в друга полусфер, окружностей, утолщений и протуберанцев. А сегодня с начала торжественного застолья телесная геометрия Меа Кульпы претерпела новые поразительные изменения: на глазах гостей хозяин «Ла-Перголы» обретал кубическую форму. Он стремился заполнить собою вагон — так птенец заполняет своим телом скорлупу родного яйца. Впрочем, сам вагон тоже изменился. Его перегородки настойчиво напоминали, что из пошедшего на них металла делают также сейфы и несгораемые шкафы. По-новому засверкали развешенные над окнами рекламные таблички (шампанское, виски, шартрёз, бенедиктин, наручные часы, драгоценности). Прежде они казались древними надписями на заброшенных гробницах. Но Меа Кульпа начистил их до блеска, и они воспряли к жизни — и к вящей славе вагона. Изумруд и золото ликеров опьяняли одним своим видом. Реклама кричала людям, что они должны иметь много денег, чтобы покупать кожу, хронометры, колье, спиртные напитки, снег и солнце; при этом утверждалось, что такие деньги каждый может добыть. На Меа Кульпу от этих рекламных призывов ложился смутный и тягостный отсвет соблазна. И кровеносные сосуды Меа Кульпы с готовностью расширялись, чтобы скорее принять новую кровь — кровь богатства.

— Хозяин! — вскричал Сабас.— А норвежские омары!

Меа Кульпа с упреком взглянул на ученика.

— И ты только теперь вспомнил!

— Сам не понимаю, как мы с тобой забыли про них! Да и где тут было вспомнить! Сперва гусиная печенка, потом «Сансер», потом я красное вино разливал... Ну, а после — все эти разговоры пошли...

— Ну и бог с ними, с омарами! — величественно сказал Меа Кульпа.— Садись и пей! И пусть все сами себе наливают!

Отвертка взял стоявшую справа от него бутылку и стал изучать этикетку с тем недоверчивым и изумленным выражением лица, с каким осужденный выслушивает зачитываемый в суде приговор. Блюда на столе отплясывали сарабанду, но Отвертку поддерживала и вдохновляла та уверенность, с какою держался Меа Кульпа. Отвертка растроганно подумал, что с таким капитаном экипаж может

ничего не бояться — ни подводных рифов, ни бурь! И тогда его признательность приняла форму объяснения в любви.

— Да, да! — радостно сказал он, сдерживая икоту.— Меа Кульпа, я тобою восхищаюсь! А ты, мой мальчик,— обратился он к Сабасу,— ты счастливый человек! Пожалуйста, расскажи нам немного о своей работе...

— Не время сейчас об этом говорить,— мрачно сказал Меа Кульпа.— Ему придется рассказывать тебе про завод и про стройку, и у него испортится настроение...

— Настроение у меня не испортится,— медленно сказал Сабас и посмотрел на Небузена, потом на Абилиу и на Корбана.— ...Монтируешь в цехе детали лесов и отправляешь их на строительную площадку... Что хорошо на стройке — это воздух, простор. Я скоро вернусь в цех... Но на стройке чувствуешь себя как-то вольнее. Солнце, дождь... И к людям ближе...

Он повторил «ближе»... закрыл глаза и увидел завод, раскинувшийся на другом берегу реки.

— Ты на этот завод не вернешься! — крикнул Меа Кульпа и стукнул кулаком по столу.

Удар пришелся по подзорной трубе Лаперуза; звякнуло стекло. Оптический прибор великого мореплавателя не пострадал, но со стола упала бутылка, к счастью, пустая.

— Не кипятись, Меа Кульпа. Тут ничего не поделаешь, такая уж у меня судьба.

— Судьба! Почему ты уверен, что твоя судьба — работать на заводе?

— Не то чтоб уверен. Но ничего другого я просто не знаю!

— Вот именно! Тебе нужно увидеть мир!

— Это трудно, Меа Кульпа!

— Вовсе не трудно! Нужно только иметь немножко денег!

— Я не это имел в виду, не путешествия... Все гораздо сложнее... От этих проблем у меня иногда кружится голова...

Он подпер ладонью лоб. Побывать в Германии, в Китае, в Америке, в Советском Союзе... Интересно, какие там растут цветы, как шумит улица, особенно на окраине, куда не заглядывают туристы, где простой настоящей жизнью живут простые настоящие люди. В какие игры играют там дети, какие слова говорят друг другу товарищи, прощаясь у проходной после работы. Есть ли и там свой Корбан, свой Термоли, Небузен, Абилиу, Отвертка, Меа Кульпа? («И Лия»,— тут же подумал он...) Тепло или холодно под вечер в этих всех городах, что значатся на афишах бюро путешествий... И самое главное — как протекает там жизнь в самых укромных уголках, скрытых от стороннего глаза. Не имена городов притягивали и зачаровывали его, не Джайпур, не Аллахабад, не Ханькоу или Тяньцзинь, а кусты жасмина под густой синевой вечернего неба, и полуденная лазурь, и встречный прохожий, который может тебе сказать: «Это ты, Сабас?» Обыкновенная улица в обыкновенном квартале. Дома, лавчонка на углу, желтый пес у порога. «Это ты, Сабас?» Жужжание пчел, запах сосны, запах тихой и чистой комнаты за закрытыми ставнями. «Это ты, Сабас?» Вот она — настоящая тайна земли. Счастье, дружба, ласковая рука ветра на какой-нибудь улице, в самой гуще обыденной жизни.

— Ладно,— сказал Меа Кульпа.— Я вижу, мы все чуточку разомлели. Чудесное солнце! Хорошее вино! За семейным столом так всегда получается: только что смеялись, а глядишь — уже закручинились... Но ты остаешься у меня!

— Разреши, я налью себе еще рюмку...

— Подождал бы хоть, пока я подам петуха в вине! — сказал Меа Кульпа с упреком.

— Не бойся! Голова у меня ясная!

Лицо у Сабаса побледнело, стало отрешенным, как у покойника. И голос тоже был отрешенным.

— Это было прошлой зимой, я ехал поездом домой с работы. Впереди — железнодорожный путь на многие, многие километры... Вечер был дождливый и теплый... Сел я в передний вагон. Вошел машинист, занял свое место, посмотрел на меня и стал глядеть на дорогу. Он был бородатый, в очках... Вдруг я услышал, как он что-то насвистывает. Что-то очень знакомое, только я никак не мог вспомнить, что именно. Рождественский гимн? Или что-то из Баха? Я бы мог даже подсвистеть ему в лад... Слушал я этот свист и вдруг представил себе рождественскую ночь, ветер, снег и шествие тысяч людей с факелами по горной дороге. И я подумал: нужна доброта, и мечты, и нечто совсем необычное, удивительное, чтобы миллиарды людей и миллиарды киловатт — это я тебе говорю, Отвертка,— чтобы они объединились и двинулись вместе вперед. И еще нужно сердце...— Сабас чуть заметно повысил голос.— Надо смеяться! И пить вино! Помнишь, Корбан, что ты мне как-то сказал? Надо мечтать!.. Вот так-то, друзья мои! И разве вы не чувствуете того же, что я? Жизнь порою так хороша, что хочется умереть от счастья...

— Лично я не могу умереть, пока вы не отведаете моего петуха в вине,— сказал Меа Кульпа.

Глава одиннадцатая

Сабас сменил тарелки, и Меа Кульпа озабоченно посмотрел на пустое место Термоли.

— Я оставил ему порцию гусиной печенки, но в этой жаре она долго не продержится. Ну что ж, придется открыть для него новую банку. Отвертка, как ты думаешь, чем он сейчас занят?

— Мы с ним расстались около вокзала... Точнее говоря, в товарном дворе. Он проводил меня до товарного двора, когда мы вышли с ним из кафе.

— До товарного двора? А зачем тебя туда понесло, на товарный двор?

— Мне хотелось взглянуть на один вагон. — В глазах Отвертки мелькнул задиристый огонек.

— На вагон? Какой вагон?

— Товарный вагон, груженный электрокабелем. Большие деревянные катушки. Для стройки.

— Тебе и по воскресеньям надо глядеть на кабель! — взорвался возмущенный Меа Кульпа.— А я месяцами, изо дня в день смотрел на этот кабель — и в выходной день вполне могу без него обойтись! Мне этого кабеля на всю жизнь хватит! Про кабель я могу тебе такого нарассказать, что и ты до конца своих дней будешь его ненавидеть! У меня есть один постоянный клиент, араб, он каждый день приходит в полдень в «Ла-Перголу» выпить чашку кофе. Он и тридцати слов по-французски не знает, но цвета́... тут уж извини! Знает все краски, все цвета! Лучше, чем я! А ведь мастер и меня заставлял кабель укладывать, чего тебе, я уверен, не приходилось.

Меа Кульпа сокрушенно вздохнул. Он вспомнил огромные мотки кабеля, сваленные прямо в глину, вспомнил всю эту кошмарную путаницу синих, зеленых, сиреневых спиралей, все эти шнуры толщиною то в палец, то с тропического удава, злобные разноцветные лианы, похожие на потроха гигантской птицы.

— Меня все время мастер ругал! «Погляди на Тахара!»— говорил он. Тахар держал кабель на плече и тянул его двумя руками — левой рукой за спиною, а правой — перед грудью. А то мастер говорил: «Погляди на Рашида!» Рашид шагал не горбясь, ровным спокойным шагом, как на прогулке, и держал кабель в одной руке, у плеча, точно букетик цветов. А я тащил его перед собой на весу, будто куль... Я выбивался из сил... И не спускал глаз с куртки Рашида... Куртка была желтая, из пластика, на ней большими черными буквами стояло фабричное клеймо: «Жарден—Бийяр»[1]. Мне до сих пор снятся эти буквы... Скажи мне откровенно, Отвертка, ты считаешь, что это честно — писать такое на спинах людей?

— Это верно, фамилии чудные,— согласился Отвертка.— Но главное, чтобы куртка была непромокаемая, а фамилия фабриканта — дело десятое. Тем более что Рашид по-французски не понимает... Вот напиши мне на спине самую смешную фамилию, я тебе ни слова не скажу, если это будет по-японски написано.

— А человеческое достоинство? — спросил Сабас.— Про человеческое достоинство ты забыл. Человек всегда должен быть красивым, даже когда он работает! И даже особенно — когда он работает!

Сабас подумал, что Лии наверняка не понравилось бы, если б он работал в куртке «Жарден—Бийяр». Когда Рашид тянет на стройке кабель, он ни на миг не забывает, что в его жилах течет кровь вольного всадника пустынь, защитника пророка, а стройке до этого нет никакого дела, стройке невдомек, что беднякам гордость и благородство нужнее, чем богачам. Среди всех этих рельсов, в грудах цемента, в гигантских отвалах Рашид был для строек, заводов и железных дорог всего только цифрой, всего только единицей в списках подсобных рабочих. Единицей этой, наверно, можно и пренебречь.

— Вот видишь, к чему приводит твоя техника,— продолжал Меа Кульпа.— К рабству — и больше ни к чему... Сабасу повезло: он встретил меня, а Рашид так все и тянет свой кабель. Иногда он говорил мне: «Зеленый закончили, патрон!» Или: «Начинаем малиновый!» Он знать не знает, зачем нужен кабель, он никогда этого не узнает. Он знает только, как называются цвета... Фисташковый! Бирюзовый! Вот и все, чему он сумел научиться. Он даже не замечает, какая сегодня погода, дождь ли, солнце,— его заботит одно: «Знаешь, мы уже две недели тянем лиловый, мне надоело, пора менять цвет!» А на всякие твои телекоммуникации, позволь тебе сказать, Отвертка, ему наплевать...

— Эта твоя история не выдерживает критики,— презрительно заметил Отвертка.— Говоря про кабель, рабочие иногда в шутку называют его по цвету. Но у кабелей есть своя классификация. Я бы мог тебе ее объяснить, да боюсь, тебе будет скучно.— В его глазах еще раз мелькнуло вызывающее выражение.

— Ты бы лучше объяснил, почему Термоли не пришел...— Меа Кульпа снова поглядел на пустое место, и по его лицу прошла тень.— Надо же! Нанести мне такую обиду в праздничный день! Баранье жаркое совсем остыло!

— Баранье жаркое лучше в холодном виде,— сказал Отвертка.

Меа Кульпа так и подскочил на стуле.

— В холодном виде — пожалуй! Но в совершенно холодном, а не в тепленьком! Баранье жаркое должно быть либо совсем горячим, либо совсем холодным. Не учи меня моему ремеслу. И еще одно меня огорчает: Термоли не принял моего приглашения всерьез... Знаю,

---

[1] Эти фамилии переводятся как «сад» и «бильярд». *(Прим. перев.)*

знаю.— Он широким жестом отверг возможные возражения; впрочем, их не последовало.— Он, наверно, еще заглянет, чтобы нас повидать, но на завтрак он не пришел! Он придет просить прощения, вот что я вам скажу! Или забежит просто так, от нечего делать! А я его ждал... Вам этого не понять!

В голосе Меа Кульпы слышалась мука, на глаза набежали слезы. Он вдруг понял — понял именно сейчас, когда розовый сок баранины застывал в тягучую рубиновую смолу, сверкавшую в солнечном луче; именно сейчас, когда тарелки, и рюмки, и бутылки с красным и белым вином громоздились на столе, точно ступеньки, ведущие людей к утолению голода и жажды, и когда каждый гость уже сам наливал себе из того сосуда, какой оказывался у него под рукой; именно сейчас он понял, что банкет этот был кульминацией всей его жизни. Он ждал этого часа долгие годы, ждал в клубах пара, перемывая горы посуды, ждал в пыльных кафе, вытирая липкой тряпкой грязные столы, ждал, затерянный в толпе своих сотоварищей, и клиентов, и случайных прохожих, увязая вместе с ними в сером тоскливом желе будней и чувствуя, как его человеческая личность растворяется в бесформенной, унылой и безымянной субстанции, в огромной реторте бедности, в жидком бульоне неумело сваренной и плохо заправленной судьбы. Сегодняшний банкет предстал перед ним фундаментом храма, который он твердо решил возвести. Меа Кульпа, как архитектор, воздвигал колонны и арки и ощущал на плечах тяжесть плит и камней, которые предстояло поднять на высоту грядущего купола; «Ла-Пергола» вставала перед ним в новом блеске, разрастаясь и множась, точно отраженная в бесчисленных зеркалах. Так было в мечтах. И сегодняшний пир наяву открывал новый этап восхождения к славе. Но отсутствие одного, всего одного приверженца ослабляло магическую силу всей церемонии, ибо оно означало сомнение, а быть может, и нечто еще пострашней: равнодушие.

— В такой день! И кто — Термоли! Он мне нравится, этот юноша. Потому-то я и посоветовал ему заняться страхованием жизни! Он должен сделать золото, и он его сделает. Здесь тот же случай, что и со мной... Главное в поварском и гостиничном деле — не обучение ремеслу, а инстинкт! Стоило мне даже издали поглядеть на владельцев шикарных гостиниц, на больших мастеров гастрономии, и я чувствовал, как в меня вливаются их знания. Но никто не догадывался, что в моих руках — золото!

За столом царило молчание, озаренное золотым блеском. Меа Кульпа вспоминал то далекое время, когда он служил в графском замке, и в его ушах возникал удивительный звук, звук чистой пробы, весомый и четкий; в этом металлическом звоне была бархатистость тайны, был шепот соблазна, была молчаливая мощь. Однажды Меа Кульпа застал графа за странным занятием: тот перебирал некие предметы, которых Меа Кульпа никогда прежде не видел, но которые мгновенно узнал. То были золотые слитки. Меа Кульпа на всю жизнь запомнил выражение графских глаз, зеленых глаз тигра, горевших такой спокойной и грозной силой, что Меа Кульпа поспешно ретировался...

— Иногда я сажусь у себя в кабинете,— он ткнул пальцем в сторону своего личного входа в вагон-ресторан,— закуриваю сигару и предаюсь мечтам. Я вижу себя рядом с большой церковью, нет, это даже не церковь, а кафедральный собор. Арки, своды, контрфорсы... Идет дождь. И от этого дождя на душе становится так хорошо, так спокойно! Потому что меня обвевает ветер, не холодный, а свежий, благоуханный! Настоящий морской ветер, напоенный запахом вереска и сосны. И так легко дышится...

— Но все, о чем ты рассказываешь, не имеет абсолютно никакого отношения к золоту,— оборвал его Отвертка, яростно протирая очки.

Меа Кульпа презрительно посмотрел на электрика.

— Бедный, бедный ты человек! Ничего, кроме техники, ты не видишь! Твое воображение высохло от электрического тока! Вот тебе-то уж незачем богатеть. Что ты вообще знаешь о жизни? Чему вас там в ваших электротехнических школах учат?

Глава двенадцатая

Лицо Отвертки, цветом и фактурой кожи напоминавшее бумагу старинных актов, хранящихся в архивах деревенских нотариусов, внезапно запылало румянцем. Запылало не под действием винных паров, а от обиды, нанесенной Меа Кульпой.

— Твои придирки меня совершенно не трогают,— сказал он пронзительным голосом — так скрипит порою на крыше железный флюгер под ударами ветра.— Ты знаешь, с чего начинал я учиться своему ремеслу? Сперва, как и ты, ходил в школу. Потом три года в техническом училище; тогда его называли «практическим». Заметь себе, что тогда учились лучше, чем сейчас, гораздо, гораздо лучше! Особенно я,— говорю тебе это без ложной скромности! — И он гордым ораторским движением выдвинул вперед подбородок.— Но учиться я мог только три года, потому что нас у родителей было шестеро! И пришлось искать работу... А был самый разгар кризиса! Меня взяли наконец чернорабочим. Я был счастлив — чернорабочим! Прокладывал кабель на пороховых заводах в Сен-Бартелеми!

— Ну и что! — вскричал Меа Кульпа.— Я тоже еще недавно был чернорабочим, а я ведь старше тебя!

— Ты не сравнивай! Ты ничего не понимаешь ни в цементе, ни в электричестве, ты вообще ничего не смыслишь в технике, кем же тебе работать, как не чернорабочим! А я, извини, учился, и электричество у меня, можно сказать, в крови!

— Тебе повезло, что электричество! Представляешь, каково было бы мне, если б у меня в крови был цемент! Но погоди минутку, я принесу петуха в вине.

Он вернулся с дымящейся кастрюлей. Сабас принес еще вина. Меа Кульпа придирчиво оглядел бутылки.

— Не то! «Сен-Эмильон-Шато-Пейрута» сейчас не подходит! Принеси марго — оно в самом низу стоит... На этикетке написано: «Шато-Лабегорс-Зеде».— И, повернувшись к Отвертке, попросил: — Продолжай, пожалуйста.

— Я уж не помню, на чем остановился. Перескочу через несколько лет... В пятидесятые годы я работал в одной фирме счетно-вычислительных машин; это была пора машин первого поколения...— Видя, как перекосилось лицо Меа Кульпы, он примирительно добавил: — Но ты сам посуди, как я могу их по-другому называть?.. Так вот, значит... Вычислительная техника... Я бы с удовольствием в этой области работал... Думаю, у меня бы неплохо получилось... Объявления всякие там и афиши призывали изучать такую-то и такую-то отрасль техники, и я понимал, что молодежи, которая делает только первые шаги в электронике, будет еще труднее, чем мне... Практика — вещь надежная, она не так быстро устаревает, как теория! Ты вот зовешь меня Отверткой, а отвертка — инструмент вечный! Всегда будут нужны люди, которые умеют с ней обращаться. А все эти «алголы», «фортраны» и «коболы» долго не проживут... Их скоро на что-нибудь новенькое заменят...

— Кто долго не проживет? — спросил Меа Кульпа и приложил ладонь к правому уху.

— Это названия систем кодирования ЭВМ... Если человек их не знает, его в лучшем случае возьмут полы подметать. Раньше достаточно было уметь писать — красивые печатные буквы перышком «сержант-майор» выводить, да еще знать сложение и вычитание и немножко умножение и деление. А теперь будь любезен систему «кобол» изучить. Будь любезен снова сесть за парту, а не хочешь — пожалуйста, пополняй армию безработных. Ты когда-нибудь видел хотя бы одну электронно-вычислительную машину?

— Не видел и не увижу,— гордо сказал Меа Кульпа.— Для меня их просто не существует!

— Ты не прав!

— Тем лучше!

— Тем хуже, потому что ты существуешь для электронно-вычислительных машин!

— Ну, слава богу, до «Ла-Перголы» они не доберутся,— сказал Меа Кульпа и радостно захохотал.

— Как знать! Ты родился там-то и тогда-то, верно? Ты избиратель? Ты солдатом был? Ты социальным страхованием охвачен? Водительские права у тебя есть? И еще куча всяких документов, так? Значит, хочешь ты этого или нет, а на перфокарте ты зарегистрирован! Или на магнитофонной пленке! Как все люди. И ты берешь электронно-вычислительную машину, включаешь ее, несколько секунд — и вся твоя жизнь расписана вот на таких бумажных листах, они веерами называются!

— Ага,— отозвался Меа Кульпа и приступил к своей порции петуха в вине.

Он ел и возмущался наглыми претензиями электронно-вычислительной техники.

— Взять, к примеру, петуха в вине и добрый стаканчик «Лабегорса-Зеде»! Никакая машина ни на каких «веерах» не запишет то наслаждение, какое получаю я от этого блюда! Ты говоришь, машина может рассказать всю мою жизнь? Хотел бы я, чтобы она рассказала, какие чудесные мысли приходят мне в голову, когда я сижу здесь с вами, друзья! Например, будь я богат, я приказал бы после десерта прицепить «Ла-Перголу» к паровозу и — в путь! Вечером были бы мы в Монте-Карло!.. Как-то, еще до войны, работал я в вокзальном буфете в Монако. Тогда еще не было закона об оплаченных отпусках, никто никуда особенно не ездил и про Монако знали только из любовных фильмов. Точно это Япония или Таити. Да и то сказать, теперь в кино, если какую-нибудь страну показывают, непременно покажут тебе и какие там есть заводы, и ракеты всякие, а тогда... О, Монако, страна моей мечты! Эх, отвезти бы вас туда зимой прямо в «Ла-Перголе»! Я бы украсил вагон мимозой...

Он показал, как прикрепит букеты к багажным сеткам, и, следя за волнообразными движениями его руки, а также повинуясь магической силе «Лабегорса-Зеде», гости увидели у себя над головами благоуханную аллею цветущей мимозы.

В этот миг всеобщего блаженства послышались шаги, захрустел гравий, скрипнула подножка, с грохотом распахнулась дверь. Шесть голосов воскликнули хором:

— Термоли!

Да, это был Термоли, потный, еще более красный, чем обычно, измученный, но торжествующий и счастливый.

— Я подписал свой первый контракт! Страхование жизни на миллион франков!

— Я тебе это предрекал! — возгласил Меа Кульпа.— Главное — быть настойчивым и уметь ждать! Вспомни, как мы с тобой проговорили почти всю ночь до утра! Ты твердил, что тебе осточертело все время ждать богатого клиента. А ведомо ли тебе, сколько лет я их ждал, ждал людей, которые не приходили! Я, можно сказать, всю жизнь свою прожил, накрывая на стол! Расстилал красивые скатерти, ставил хрустальные бокалы, украшал стол букетами роз и думал: «А выгодное дело ведь где-то тут, совсем рядом...» — и опять накрывал на стол!

— Миллионный контракт — дело, конечно, серьезное,— ехидно сказал Отвертка.— Только хотелось бы знать, это миллион старых франков или новых? Потому что если это миллион новых, ты бы должен проверить, в самом ли деле...

— Я хочу есть,— оборвал Термоли Отвертку и смерил его сердитым взглядом,— есть и пить... Это миллион новых франков, и мой клиент крупный коммерсант, цитрусовыми торгует. Он с трудом может подписать свое имя, но деньги у него есть, денег у него — вот столько! — И Термоли широко расставил руки, показывая толщину денежных пачек, которыми владеет его клиент.

— Сабас тебе сейчас все подаст,— сказал Меа Кульпа.

Сабас принес рюмки для ликера, и Меа Кульпа неторопливо разлил зеленоватый шартрез, давая Термоли время освоиться. Затем он выложил множество сигарет в богатом ассортименте, открыл три коробки сигар разных марок и разной длины. К потолку всплывало благоуханное облако, струйки табачного дыма сплетались с винными испарениями (Сабас впервые в жизни отметил, что дым от сигар льется, как спирт, а над шартрезом курится зеленый туман), и многоцветные вспышки беседы сверкали и гасли, вбирая в себя пряный дух омаров, горьковатую тонкость лимона, плодовый привкус «Сансера» и густую задумчивую черноту крепкого кофе.

— Да,— проговорил спустя минуту Сабас,— сейчас перед моим домом прошел точильщик или, вернее, точильщица... Она, должно быть, цыганка. Крутит круг и точит ножи. Свой станок она возит на трехколесной тележке, к которой привязана собака, коричневая, с длинной лохматой шерстью...

У Отвертки было лицо человека, которому явилось откровение.

— Я не очень хорошо понял начало твоего рассказа,— сказал он,— но ты, пожалуйста, продолжай...— Было совершенно ясно, что от истории про точильщицу зависит мир и покой его души.

— ...Она сзывает клиентов звоном колокольчика. И когда она уходит, колокольчик слышно еще очень долго. Он звенит все тише и тише — динь, динь... У нас в Пердигоне вечером, после причастия, когда кюре уходил, за ним следом шел мальчик из хора и звонил в колокольчик. В темноте. Это уходил бог.

— Погоди, погоди,— сказал Отвертка и насупил брови в мучительном размышлении,— мне это кажется не совсем разумным. Начнем хотя бы с того, что бога нет, и потом, почему ты говоришь, что он уходит? В церкви я еще понимаю. Но с точильщицей!

— Я и не говорю, что бог есть, я говорю, что вечерами бывают такие минуты, когда весь мир уходит далеко-далеко, как море...

Он потупился, по лицу его видно было, что он слышит сейчас и колокольчик точильщицы, и все вечерние голоса в городах всего мира,— динь... динь... динь...— и щебет птиц, и ропот толпы, и смех в тишине, и негромкие голоса школьников, длинной вереницей уходящих из городов, все дальше и дальше, к вершинам прозрения...

Теперь заговорил Абилиу:

— ...В нашем квартале есть еще несколько маленьких площадей, таких же, как эта, но я все время думаю только о ней... Между ветками дерева — синее небо; зима, дело к вечеру; на фасадах — немного солнца...

— Ты говоришь про свой квартал здесь или в Португалии? — спросил Отвертка.

— Не знаю. Ведь это одно и то же.

Сабас сел на место Меа Кульпы, закрыл глаза, вытянулся в плетеном кресле. Кресло оказалось удобным и дружелюбным. Все вещи в вагоне были сейчас ласковы и приветливы, даже цементный пол приобрел приятную мягкость. До Сабаса донеслись обрывки спора, завязавшегося между Термоли и Корбаном.

— Вы нас спрашиваете, что мы сделали? — вопрошал Корбан.— Почему мы не перестроили мир? Почему мы так долго терпели несправедливость?

— Да не спрашиваю я тебя об этом,— возражал Термоли.— Ты мне еще про средние века расскажи!

— Я тебе не про средние века говорю. Моя молодость принадлежит не прошлому, а настоящему, даже если ты тогда еще не родился.

— Это для тебя оно — настоящее. Но не для меня! Война четырнадцатого — восемнадцатого, война тридцать девятого — сорок пятого, Коммуна, Народный фронт, и Жанна д'Арк, и галлы — все это древняя история! Это — не будущее!

— Будущее? Будущее — великое слово, ты понимаешь?

— Меня не интересуют слова! Нужно действовать — вот и все!

— Ну а ты, Термоли, что именно делаешь ты в этом плане?

— Я жду случая! И я его дождусь!

— Если ждать случая, тебе всегда придется говорить: «Завтра». И «Послезавтра». И «Через год». Ты ведь не первый в истории человек, который ждет чудес.

Корбан помолчал, прислушиваясь к кваканью лягушки под окном.

— Чудеса иногда происходят,— снова заговорил он,— только нужно уметь видеть дальше своего носа. Мир — он огромный, и живет он дольше, чем длится твоя собственная жизнь

— Значит, ничего не надо делать?

— Почему же? Надо продолжать.

— Что продолжать?

— Жить. И молчать, когда чувствуешь, что можешь сказать глупость. И — верить.

— Верить! Это слишком туманно!

— И для меня не все бывало в жизни понятным и ясным, но я надеюсь, что со временем для тебя все станет яснее. Ведь то, что я знал, замыкалось мирком моей деревни... Та же земля, те же люди. Мне ничего не оставалось другого, как верить.

Он засмеялся так громко и весело, что лягушка под окном испуганно замолчала и звучно зашлепала прочь от вагона.

— Ты прав, Корбан,— неожиданно сказал Сабас,— но и Термоли тоже прав! Пойми! В мире все сложно! Становится страшно, как подумаешь, что у каждого — одна коротенькая жизнь, и ничего больше. И мальчишка, которого убили во Вьетнаме, потерял все, все! Мир мог бы быть в тысячу раз прекраснее! А мы?.. Мы — на стройках, на заводах... Жизнь проходит мимо нас, ты сам это знаешь не хуже меня. И все-таки мы любим ее больше, чем все остальные! — Он схватил Корбана за руку, с силой потянул к себе.— Ох, если б я умел это выразить!

Он отпустил руку Корбана, стиснул кулаки, прижал ко лбу.

— Не принимай меня за безумца! Нет, я не безумен... Мы — слепцы... Мы гораздо более слепы, чем люди, лишенные глаз, и это наша беда, потому что нам кажется, что мы — зрячи...

Он весь дрожал, он походил на больного, мечущегося в бреду, и у Корбана от жалости перехватило горло, когда он увидел капельки пота, выступившие вокруг его рта.

Меа Кульпа застучал серебряной ложкой по хрусталю, требуя тишины. Разговоры постепенно утихли. Он обратился к Сабасу:

— Если тебе мой шартрез не впрок, ложись спать. Но не устраивай здесь скандалов. Пойдите-ка лучше прогуляйтесь с Небузеном.

Небузен и Сабас двинулись по тропе от вагона, дошли до ручья у кожевенного завода. Над головой в темноту уходили балки моста. Между балками, как сквозь бойницу, проглядывал кусочек звездного неба; внизу, у ног, смутно мерцала вода.

— Мне кажется, ты немного перебрал,— сказал Небузен.

— Нет, я просто пытался высказать то, чего в трезвом виде не скажешь... не решаешься...

Он не сумел бы объяснить Небузену, что мечты, точно огромный сад, заполняют его сердце, что он, Сабас, и Небузен, Абилиу, Термоли, Отвертка, Корбан, Меа Кульпа,— что каждый из них — король в рубище бедняка, король, венчанный на царство самой жизнью и ее неумолимыми законами, и что, может быть, он, Сабас, должен стать их рупором, их устами... Да, но какою ценой?..

Вдруг он вспомнил, что у Небузена, должно быть, и сегодня ночная работа — уборка вагонов.

— Ты идешь на работу?

— В эту ночь — нет... Мне хочется отдохнуть немного в «Ла-Перголе»...

...Первый луч восходящего солнца тронул окна вагона.

— Надо будет днем соснуть часок-другой,— пересохшим от жажды голосом сказал Термоли. Он налил себе чашку кофе, опустил стекло в окне.— Какой воздух, черт побери! И взгляните на это солнце!

Над горизонтом вставало огромное красное солнце. Деревья были пунцового цвета. Термоли положил руку на плечо Сабасу.

— Просыпайся! Погляди на солнце! Праздник кончился!

Он увидел на лице Сабаса тревогу.

— Плохой сон приснился? Это от петуха в вине. Или от шартреза. Ты пить не привык.

— Не привык, это верно,— сказал Сабас.— Но дело не в выпивке. Нет, нет. Да я и не люблю пить. Все гораздо сложнее.

Он подошел к зеркалу, чтобы причесаться. Взглянул на свое отражение, словно надеясь увидеть за ним что-то иное, скрытое серостью будней,— прекрасный лик товарищества и дружбы... Глядя в зеркало, он пытался увидеть в нем стоящего за его спиной человека, невидимого спутника, который помог бы ему пронести сквозь заботы и грусть могучее и смутное величие жизни.

КНИГА III

Глава первая

Сабас стоял перед тяжелым, вращавшимся на оси колесом. Шлифовальный круг выбивал снопы желтых и белых искр из небольшого железного угольника, который Сабас держал в руках. Металлическая пыль клубилась в коническом луче рабочей лампы. Сквозь за-

щитные перчатки Сабас чувствовал, как быстро нагревается деталь, стоит ему только посильнее прижать ее к кругу.

Справа стояла вагонетка с деталями, ожидающими обработки, слева — еще одна вагонетка, в нее Сабас бросал угольники, готовые к отправке на стройку, для монтажа лесов. Он брал деталь из вагонетки справа, стачивал острый шип, снимал с металла заусеницы, бросал угольник в вагонетку слева. В этом состояла его работа — и еще в том, чтобы весь день глядеть, как бесконечно вращается огромный, с вагонное колесо, круг, пожирая часы, часы, часы и его, Сабаса, жизнь, глядеть на зернистую поверхность круга, которая от вращения сливается в сплошную ленту, становясь такой же гладкой и серой, как вся — нынешняя и будущая — жизнь Сабаса.

На завод он вернулся после того, как получил справку о выздоровлении. Меа Кульпа умолял его остаться. «Уйдешь на завод — я тебя видеть совсем не буду... Ну, хоть бы на стройке остался!» Тут Меа Кульпа отвернулся и ушел в буфетную. Сабас слышал, как он ворчит, гремя тарелками и стаканами. «Да нет, я уж вернусь на завод,— сказал Сабас,— здесь я тебе совершенно не нужен, ты и сам это знаешь». Меа Кульпа больше не настаивал. Он вытащил бумажник. «У тебя небось нет ни гроша, вот твой заработок за две недели». Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Меа Кульпа... Я по-прежнему буду жить у Анны, ты всегда сможешь меня найти. От работы до дому мне добираться меньше часа. Вечерами я буду к тебе заходить.— И, помолчав, добавил: — Мне еще нужно подумать.

Но на заводе думать некогда. Глухая вибрация пронизывала его руки до самых костей; порой злобный укус, от которого вздрагивала в руках стальная болванка, напоминал ему, что станок — это затаившийся в засаде хищник, всегда готовый к прыжку, всегда готовый отхватить у рабочего палец.

Нет, Сабасу было не до размышлений. Думать надо было об одном: круг, круг, круг... Небузен сказал Сабасу: «Наконец-то! Меня взяли на испытательный срок в «Уорлд холидей»!»

Бюро путешествий «Уорлд холидей» должно было бы называться, судя по имени своего основателя и владельца, «Агентством Камлейра», но Камлейр был поклонником англосаксонского стиля. Его покорили познания Небузена в немецком и английском языках, так как Небузен, прежде чем явиться в бюро, две недели зубрил аудио-визуальный урок «Беседы и встречи»:

ДИАЛОГ

Mister Dupont introduced himself to an American gentleman.
— May I ask your name, Sir?
— My name is Armstrong. I take you're Mister Dupont?
— What will you have, Sir?[1]

«Сейчас я продаю Азию, это у нас такой жаргон,— объяснял Небузен,— я продаю Бангкок, предлагаю за тысячу пятьсот восемьдесят два франка Индию». Индия, сказочные принцы... «Авиакомпании ведут между собой настоящую войну, скоро цены понизятся еще больше! Мне, наверно, дадут в качестве премии бесплатный билет, и мы с тобой полетим в Индию».

Над станком висят на стене правила техники безопасности. Они прикрыты пластмассовой пластиной, которая испещрена дырками и

[1] Мистер Дюпон знакомится с американским джентльменом.
— Могу ли я узнать ваше имя, сэр?
— Меня зовут Армстронг. А вы, я полагаю, мистер Дюпон?
— Что вам предложить, сэр? *(англ.)*

царапинами, залеплена металлическими кляксами. Но Сабас все же в состоянии разобрать текст, даже несмотря на свои защитные очки, которые тоже исцарапаны крохотными метеоритами, летящими от круга. «...Всякий шлифовальный станок, допускающий вибрацию при нормальной рабочей скорости вращения, подлежит немедленной остановке. Причины вибрации должны быть обнаружены на предмет их устранения... Ось, на которой вращается круг, должна быть изготовлена из стали, с сопротивлением на разлом, равным 65 кг на кубический миллиметр, и при допустимом 10-процентном растяжении...»

Завод ревел на тысячу голосов. Глухие таранные удары гидравлических молотов, звонкое клацанье дыропробивного пресса, дрожащий визг циркулярной пилы, что впивается зубами в огромную балку, всю в брызгах эмульсии, густой и просвечивающей, как свернувшееся молоко. Не прекращая работать, Сабас точно во сне беседовал с Лией: «Лия, сюда, сюда тебе надо прийти, чтобы увидеть, как тяжела, тяжела, тяжела настоящая жизнь... И это не только тяжесть железа... Тот мир, который над нами навис, тяжелее всего железа, что есть на земле. Меня и моих товарищей мучает голод, и я не могу объяснить тебе, Лия, что это за голод, так он безмерен... Мне хочется идти по росистой траве и знать, что скука и ненависть кончились в мире и что для каждого человека, для всех мужчин и для всех женщин любить — так же естественно, как спать или умереть».

Но люди заводов — они были здесь, они были рядом, они стояли перед огромными и важными словами, которые надо сделать явью. Да, конечно, сначала — техника безопасности, сначала защита живой своей плоти, своей жизни, сначала законная плата за труд. Но потом — выше, выше и выше, до самого неба,— другие слова, еще более важные, головокружительные и большие, и эти слова призывали Сабаса и яростно хлестали его — слова о высоком счастье, о чести и о достоинстве, и даже о славе, о торжестве и гордости, о радости и блеске. Ибо в нас живет вера, что человек выше и чище всего, чем его одаряет или в чем ему отказывает судьба. Человек жаждет быть героем.

Люди разделены. «Рабочий». Это слово еще вчера произносили с презрением, а сегодня — с доброжелательностью. «Рабочие — такие же люди, как мы». Но подобная фраза предполагает, что в этом можно и сомневаться. Или что говорящего могут заподозрить в том, что он сомневается... Следуя этой логике, надо лишь удивляться, что коммунист Корбан — хороший добрый старик, который любит свою жену, и розы в саду, и кота, и что он может целые дни напролет ни разу не заговорить о политике, и что он любит пошутить, посмеяться и выпить с друзьями стаканчик-другой... Корбан... а ведь знает Корбан, как опасен для его сердца лишний стаканчик, но осторожность осторожностью, а радость общения с друзьями — тоже не последнее дело... Вокруг Сабаса бушевал грохот, скрежетала фальцевальная машина, ухал по жести пневматический пресс, кричали и пели на все голоса шатуны, шестерни, приводные ремни, маховики, шпинделя и шкивы, рассыпали град перестрелки клепальные автоматы, шум метался под лесами сборочных пролетов, закручивался в спирали, тянулся длинными шлейфами, стлался под ногами и взлетал вверх, яростно сотрясая землю и кровлю.

В шесть часов вечера Сабас встретился с Лией; она ждала его в машине на углу большой улицы, ведущей к холмам на правобережье.

— Мне хочется еще разок побывать там, наверху. Помнишь тот вечер? Когда у тебя была ранена рука... Ведь ты мне тогда ничего не сказал про свою руку. Тебе не было больно?

— Нет. Я даже не думал об этом.

— Правда?

Он улыбнулся.

— Временами немного покалывало, но в общем-то больно не было, и к тому же...

— Зачем ты мне врешь?

У Лии было умиротворенное лицо, и голос звучал по-дружески ровно, а в глазах светилась спокойная нежность.

— Мне было очень больно в ту ночь. Больно и страшно, очень страшно. Но ведь мужчины созданы для того, чтобы страдать.

— Женщины тоже.

— Не знаю. Думаю, что нет; во всяком случае у них все по-другому. У них — своя доля. Если б я был на войне, я бы не смог выстрелить в женщину.

— Что же ты сделал бы, если б тебе приказали?

— Наверно бы покончил с собой. Вложил бы ружье дулом в рот, как делали крестьяне в наших краях. Мне рассказывали десятки таких историй.

Она на мгновенье закрыла глаза.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Конечно. Лучше, чем ты. Я видел одного самоубийцу, мне было тогда одиннадцать лет. Я выносливый, ты это знаешь?

— Знаю.

— Ну так вот. Никогда не надо отступать. На свете много жестокого, но самое жестокое — не сделать того, что ты должен сделать.

— Жорж! На свете было бы давно покончено с войнами, если бы люди отказывались совершать преступления...

— Конечно! Об этом я и говорю... Нужно только решиться... Но решиться на что? И когда?

— Жорж, нужно жить. Начинай с чего угодно. Я пойду за тобой.— Она замедлила ход машины и повторила: — Я пойду за тобой.

— А ты бы за мной пошла, если бы мне отрезало руку?

— А ты? Ты бы со мной остался, ты бы меня не бросил, если б я лишилась руки? Спроси себя — и ответь. Нет, Жорж, нет! Я не хочу, чтобы ты был без руки! Я бы, наверно, страдала от этого больше, чем ты... Но ведь другие шли на это, и вовсе не из жалости! Почему же нам надо быть...— она искала слово,— быть низкими! Да, это было бы низостью!..

Они остановились возле обочины на самой вершине холма, вышли из машины, сели на траву. Стрекотали кузнечики, пахло сеном. Лия склонилась к Сабасу.

— Знаю, что тебе трудно... Чем мне тебе помочь?.. Слушай, уедем куда-нибудь вместе! Уедем? Ты сам говоришь, что нужно решиться. Так что не надо твердить мне про благоразумие. Совершим безумный поступок! Поедем в Англию, или на Северное море, или в Ирландию — неважно куда, я все эти страны знаю. Будем с тобой вдвоем — только вдвоем, и больше никого! Там мы сможем все спокойно обдумать...

Жарко и настойчиво она шептала ему о лабиринте английских дорог, лежащих под серым спокойным небом, о зеленых стенах живых изгородей и стройных, как соборы, деревьях, о древнем монастыре в гуще магнолий, о синих, сизых, покрытых белыми кувшинками прудах, о серо-голубых, серебряных, охровых замках, о неправдоподобно зеленых лугах... Там и сям тянется к небу дымок, где-то вдали лает собака, в бодрящем холодном воздухе разливается мягкая грусть. И вдруг — море, что грохочет среди красных камней под стремительным прочерком чаек...

— Жорж, перед нами вся жизнь! Скажи, что́ тебя держит? Что нам мешает быть счастливыми? Препятствия пустяковые, смехотворные. Поедем! Вернешься, захочешь — опять пойдешь на завод, а может, займешься чем-то другим,— и я всегда буду с тобой. Но сейчас необходимо бежать. Знаешь, сколько на это нужно? Несколько тысяч франков.

— У меня их нет.

— Они есть у меня. Или скоро будут.

Она подумала о брильянте, о своей прошлогодней любви, и человек, в котором ей так нравилась гордая стать, и привезенный с горных курортов загар, и рубашки, купленные на Елисейских полях, и рассказы о путешествиях, и обольстительная непринужденность, объяснявшаяся в конечном счете лишь туго набитым бумажником да самой атмосферой Парижа, вдруг предстал перед ней в своем истинном свете: это был породистый пес, победы ему доставались без всяких усилий, и умри он сейчас, известие об этом тронуло бы ее не больше, чем известие о смерти пса...

— Ну, допустим, Лия, что я уеду с тобой... Знаешь, что предлагает мне Небузен? Поехать с ним в Индию. Он надеется получить один бесплатный билет, а другой — для меня — с половинной скидкой и к тому же, наверно, в рассрочку, с выплатой в течение года, даже полутора лет. Но вот я вернусь из Индии и найду здесь все те же проблемы. Ответы на них лежат где-то здесь. Искать их на другом конце света — самообман.

Он поглядел на сбегающие в долину луга, на изгороди, на чету сорок, перелетавшую с куста на куст.

— Термоли поступил на работу в агентство по страхованию жизни. Вряд ли он подписал контракт на миллион франков, он любит приврать, но договор на небольшую сумму он все-таки, думаю, подписал. С завода он ушел и больше на завод не вернется. Небузен делает первые шаги в бюро путешествий. Парень он башковитый, я его знаю. Он будет пять лет подряд каждый вечер просиживать за учебниками, изучать иностранные языки, законодательство разных стран, государственное устройство. Годам к тридцати он станет компаньоном хозяина фирмы. Нас было четверо. Рабочих осталось двое: Абилиу — он по-прежнему на стройке, да я — на заводе. Допустим, уйду с завода и я. Но у станков останутся миллионы и миллионы парней. Хорошо это? Или, может быть, плохо? И что надо нам делать?

Его рука потянулась к яркому цветку клевера, единственному цветку, который остался живым среди засохшей травы. Сабас хотел было его сорвать, но передумал, и Лия поняла, что его тронула судьба этого чудака, так некстати расцветшего на краю осеннего склона.

— Я не жалуюсь. Я молодой, я чувствую в себе силу. Мой отец уже не может изменить свою жизнь. А я, надеюсь, могу. Страдаю я, в общем, от того, что всякое производство — будь это стройка, корабельные доки, или авиационный завод, или пороховой, или вагоностроительный, или, как у нас, цех металлоконструкций,— всякое производство это целый мир. Это народ, большой сильный народ. И он порабощен. Что ему нужно? Стать чуточку менее несчастным? Нет, ему этого мало. Он хочет добыть для себя настоящую человеческую судьбу. У рабочих такой судьбы нет. Тут дело не только в материальном благосостоянии. Нет, рабочим нужна человеческая красота и человеческое достоинство. Я только об этом и думаю; иногда даже кажется, что я схожу с ума... Может, так оно и есть? В прошлое воскресенье в «Ла-Перголе» со мной случился какой-то странный приступ, все даже испугались. Я и сам испугался. Они подумали, что я пьян. Я и был пьян и в то же время словно обезумел.— Он

охватил руками голову; в этом по-детски беспомощном жесте отразилось все его отчаяние, вся тоска.— Прости, Лия. Я сам не знаю, что говорю,— пробормотал он, встал и в лучах заходящего солнца пошел к маленькому садику возле входа в церковь.

Церковная дверь была утоплена в толстой каменной стене. Этот укромный грот был залит сейчас пурпурным светом заката. Дверь, широкая и низкая, доходила Сабасу до лба.

Лия тоже подошла к церковным дверям. Она вдруг с ясностью поняла, каким долгим, каким мучительно тяжким будет путь их любви. Что бы ни сказала она сейчас Сабасу, любые ее слова прозвучали бы как увертка. Ее заполняла любовь, любовь не к исключительному существу, не к провидцу и не к пророку, а просто к нему, близкому и родному; она бы любила его, даже будь он болен, избит, изувечен; она просто любила, любила и хотела любить только его.

Она взяла руки Сабаса и порывисто прижала их к губам; он ощутил на ладонях дыхание Лии, почувствовал, как ее рот ищет у него на запястье место, где бьется пульс, как она хочет глотнуть немножко его жизни и взамен влить ему в кровь свою жизнь. Воздух словно застыл. Кипарисы недвижно несли свою вахту, будто воины в длинных черных плащах; только тополь вдруг встрепенулся, дрогнул всеми ветвями и листьями, и такая же дрожь пронзила все тело Лии.

А он смотрел на усеянный огнями город. Он не видел в тумане реки, но ему показалось, будто он слышит, как бегут — зачем и куда? — ее воды.

— Герой... Я хотел стать героем, а теперь понимаю, что это невозможно... Я жил в каком-то восторге... Мир казался мне песней... Я бродил вечерами по улицам нашего квартала, вслушивался в каждый шум, в каждый голос, и мне было так хорошо... Две женщины смеялись, переговариваясь друг с другом через раскрытые окна... А вдали поезд — и школа... В прошлом году, в сентябре, меня посылали с бригадой ставить леса для ремонта мэрии. Было утро, четверг. Мэрия расположена в парке... По аллее шли дети — длинная вереница, впереди учитель... Они возвращались со стадиона... Шли и шептались, так весело...— И с глухой яростью вдруг воскликнул:— Это мой народ, Лия! А я — кто я? — И ответил растерянно: — Никто. Я ничего не умею ни сделать, ни выразить.

Он по-прежнему слышал в ладонях дыхание Лии; на запястье ему упала теплая капля.

— Ну-ка вставай,— ласково сказал он.— Вставай. Я не достоин твоей любви.

Они стояли лицом друг к другу.

— Я провожу тебя, Жорж. Ты познакомишь меня с Меа Кульпой?

Меа Кульпу они нашли в палисаднике возле вагона; он ужинал за раскладным столом. Рядом горел костер.

— Ах, мадемуазель — вскричал Меа Кульпа.— Если б вы только знали, как я тоскую здесь без него! Приходите ко мне завтра вечером, поужинаем все втроем...

Глава вторая

Город медленно вступал в зиму; казалось, он отдал швартовы, державшие его у берега, и поплыл по реке на север, навстречу холодному небу. Сабас любил эту предрождественскую пору. Иногда выдавались погожие дни; они словно останавливались в нерешительности на полпути между предвестьем близкого снега и последними

лучами летнего солнца, от которого вспыхивали в садах яркие краски заморских цветов. На улице возле Большого парка, где Сабас встретился с Лией, их приветствовала из-за ограды хурма; увешанная красно-оранжевыми плодами, она была поистине райским деревом. Все звуки вокруг казались подбитыми ватой тумана.

В одну из суббот Сабас и Лия гуляли возле еврейского кладбища, между старым рынком и центральным вокзалом. С давних пор в этом квартале жили алжирцы и греки; в лавках громоздились апельсины, финики и инжир. Селились здесь по традиции и испанцы; они все давно натурализовались, но между собой по-прежнему разговаривали на родном языке. Порой в окно, из динамика или со строительных лесов, где работали штукатуры, доносился мотив фламенко. Музыкальная фраза мгновение парила в воздухе и вдруг обрывалась — так птица в полете внезапно натыкается на стену.

— Знаешь, меня повысили в звании,— сказал Сабас.— Заводу понадобился младший чертежник, и место дали мне. Для меня самого это было неожиданностью. Йовару, негр — он у нас работает на монтаже,— как-то спросил меня, с чего нужно начать, чтобы научиться рассчитывать конструкции. «Может, говорит, есть какие-нибудь книжки? Вот, например, школьники,— им с чего начинают объяснять?» Ну, я и принес ему в обед в столовую учебники по геометрии, я по ним в техническом училище занимался, и еще курс индустриального черчения прихватил. Поели мы, до конца перерыва еще оставалось время, мы пошли в монтажный цех, и я стал ему показывать всякие геометрические фигуры. А тут мимо проходит заведующий чертежным бюро. «Вы изучали геометрию?» — «Да, отвечаю, и алгебру тоже. Я до шестнадцати лет учился».— «И работаете подсобным?» — «Вы что же, не знаете, говорю, что у нас в окру́ге тысяч пятьдесят молодых людей работу ищет?» — «Но все-таки»,—говорит... Ну и назначили меня младшим чертежником... Потом, наверно, в чертежники переведут.

Вошли на кладбище. Вокруг — треснувшие, расколотые, сдвинутые временем со своих мест — лежали надгробные плиты.

— Скоро пойдет снег,— сказала Лия.— Сегодня к вечеру или завтра. Утром к родителям знакомые заезжали — у них снегопад уже начался. Они живут в ста километрах отсюда.

Он положил руки ей на плечи.

— Почему ты решила сюда прийти?

— Другие кладбища я в снегу видела, а это — нет. Оно, должно быть, какое-то совсем особенное, когда кругом все бело... Даже не верится, что мы в самой середине города!

— Ты так любишь кладбища? Да, кстати,— добавил он с улыбкой,— ведь я познакомился с тобой в церкви, хотя ты и не католичка. Лия, ты от меня что-то скрываешь!

— Разве ты не знаешь, что многие женщины любят ходить на кладбище? Во всяком случае, больше, чем мужчины.

— Пожалуй...

Он не был уверен, что Лия права. Впрочем, в его памяти, на фоне могил и надгробий, кажется, и в самом деле запечатлелись женские силуэты...

— Может быть, оно и так... Но почему? — спросил он.

— Не знаю. Наверно, инстинкт.

— Инстинкт смерти?

— Да... Хотя нет...— Она колебалась.— Нет, конечно нет!

— Что же тогда?.. Инстинкт вечности?

— О, какие громкие слова! Нет, нет...— Она помолчала.— Не могу тебе объяснить. Это скорее всего ощущение какой-то умиротворен-

ности, согласия с судьбой. Да, именно так. И потом — опять громкие слова... набожность, что ли...

— А тебе не кажется, что это просто любопытство? Хочешь увидеть что-то новое, стараешься поставить себя на место другого человека, понять его наклонности и привычки...

— Да, наверно, и это тоже... В какой-то мере... Ты думаешь, что это плохо?

— Нет... Люди должны знать друг друга... У нас на заводе есть мусульмане. Стоят на тяжелых работах и соблюдают пост... Держат это, разумеется, в тайне... Но поститься при такой физической нагрузке!.. Есть среди них такие, что за всю жизнь не выкурили ни одной сигареты, не выпили ни рюмки вина... Но проникать в души людей не так-то просто! Понимаешь, в кинодокументах о войне, которые нам показывают, в фильмах о человеческой нужде, нищете — во всем этом есть что-то такое... Желание вызвать скандал... Еще бы — показать кошмар бидонвиля! И это, наверно, необходимо... Но лично я набросился бы на киношников с кулаками, если б они захотели меня снимать! Почему? Потому что жизнь — штука хрупкая. И таинственная... Показывать гнусность и грязь — это еще не все... К жизни надо подходить бережно, осторожно... Взять, например, Меа Кульпу. Знаешь, сколько в нем таинственного?

— Знаю,— сказала Лия.

— Но ты видела его каких-нибудь полчаса!

— Он не богатства добивается... Это я поняла еще тогда, когда ты мне о нем рассказывал. Если б он лишь золото искал, он бы нашел его уже тридцать лет назад. Меа Кульпа — человек гостеприимный, искусный, прекрасно готовит, всех заражает хорошим настроением. Если б он только деньги любил, он был бы совсем другой. Нет, в жизни все гораздо сложнее! Подвернись ему случай,— и вся его жизнь сложится по-иному. Он тебя любит. И вот что еще я тебе скажу. Он все время говорит, что хочет чему-то тебя научить. Но на самом деле все как раз наоборот: он мечтает быть похожим на тебя. Не оставляй его, Жорж!.. Зайдем к нему завтра вечером...

Они пришли к Меа Кульпе вечером в воскресенье. Темнота заливала безмолвной водой кучи железного лома, камыши на болотах, ручьи. Ветер утих. В своем палисаднике, где под ногами хрустели увядшие хризантемы, Меа Кульпа пытался разжечь костер. Он размахивал куском картона над обломками шпал, еле тлевшими в сумраке; порой на секунду-другую вспыхивало несколько огоньков, но костер упрямо не желал разгораться.

— Ничего не поделаешь,— сказал Меа Кульпа.— Это погода меняется. Ну, раз я сегодня не один, можно поужинать и в «Ла-Перголе».

Вошли в вагон. Лия с Сабасом переглянулись: на белой скатерти лежало три прибора, в серебряном подсвечнике горели три красные свечи. Сели за стол. Под своей салфеткой Лия обнаружила маленькую прозрачную коробочку, в ней была белая роза. Повернувшись к Сабасу, Меа Кульпа о чем-то громко говорил. Она не решилась поблагодарить. Впрочем, она понимала, что благодарность и не нужна.

К концу ужина все трое вдруг скорее почувствовали, чем увидели, что за окнами происходит колдовство. Пошел первый снег. Лия опустила стекло. В серой мгле плясали снежинки, несколько хлопьев легли на лица, заплясали у вытянутых рук, поплыли над столом, растаяли в пламени свечей.

— Пойдемте посмотрим на снег,— сказал Меа Кульпа.

Он сразу будто помолодел. Спускаясь по ступенькам вагона, он напевал: «На снег, на снег...» В палисаднике под порывами ветра стали разгораться шпалы в костре. Все трое смотрели на пляску огня, на

красные язычки пламени в белом кружении снега. Молча стояли с бокалами в руках, потом Меа Кульпа начал насвистывать грустный мотив, обрывок забытой мелодии, которая вдруг рождается в сердце перед лицом холодов, простора, войны, рождается в сердце и сама подступает к губам, и солдаты, услышав ее через многие годы, говорят: «Это было во время войны», а думают: «Мне было тогда двадцать лет». Меа Кульпа насвистывал грустную песню, песню их молчаливой дружбы.

Вернулись в вагон, снова сели за стол. Меа Кульпа порывался угостить их грогом, Сабас возразил:

— Лии нужно идти. Дорога становится опасной.

— Пять минут! Не больше! Не завалит же улицы за пять минут!

Вдруг Лия приложила палец к губам.

Кто-то стучался в стеклянную дверь вагона, послышался голос:

— Откройте, пожалуйста! Есть тут кто-нибудь?

Меа Кульпа отворил дверь, скрипнули ржавые петли, хрустнули льдинки. Сабас и Лия тоже вышли в тамбур. На нижней ступеньке стоял человек лет пятидесяти пяти, с виду крестьянин — в суконных брюках, заправленных в сапоги, в кожаной куртке с меховым воротником, в шапке с козырьком и наушниками.

— Я шел и вдруг вижу: в окнах свет... Вы не могли бы мне велосипед одолжить? Моя фамилия Сарамон! У меня в Дюмонтейле ферма.

— У меня нет велосипеда,— сказал Меа Кульпа.

Видя, что человек чем-то встревожен, он добавил:

— Вы идете за врачом?

— Нет, нет, но все равно это очень срочное дело! — Сарамон поглядел на равнину.— Ферма отсюда в трех километрах. Я пошел по путям, чтоб быстрее добраться... Это возле болота, между железной дорогой и рекой. Я строю сеновал по ту сторону путей. Повез туда балку, чтобы завтра с утра времени не терять... Привязал ее к трактору. Только начал въезжать на мост за сортировочной станцией, как трактор заглох.

Вглядевшись во тьму, Сабас увидел среди зеленых сигнальных огней крохотную красную точку, повисшую над путями,— фонарь, который Сарамон привязал к концу балки.

— Ну, тогда никакой срочности нет. Вы вывесили сигнал, предупредили, что к трактору прицеплена балка,— значит беспокоиться не о чем.

— Дело в том, что... Я боюсь, как бы Алексис чего не натворил! Я его оставил трактор сторожить. Это парень, которого я нанял в помощники. Надо было мне самому остаться, а его послать за механиком! Но он не умеет ничего толком объяснить...

— Тогда вернитесь к трактору, а я поищу механика где-нибудь возле вокзала,— предложил Сабас.

— Лучше наоборот! Пойдите, пожалуйста, к Алексису... Потому что... — Он постучал себе пальцем по лбу.— Парень немного того... Его так и подмывает дернуть за какую-нибудь рукоятку! Просто мания у него. Мотор заглох, но место очень уж неудачное... Сильный уклон... Я трактор на тормоза поставил, даже клинья под колеса подбил, но все равно страшно... Как бы он на пути не сполз... Который теперь час?

— Не больше девяти,— сказал Меа Кульпа.— Поезд девять ноль две еще не проходил.

Сабас взглянул на свои часы — в белом полумраке ярко светился циферблат.

— Без десяти девять.

— В этой стороне все гаражи закрыты. Но я знаю один — там мне откроют. А вы лучше к трактору пойдите,— сказал Сарамон и зашагал в снежную мглу.

Сабас взял Лию за руку.

— Ты замерзла. Подожди меня в вагоне, я через полчаса вернусь. Составь ей компанию, Меа Кульпа.

Сабас шел вдоль путей. На фоне неба все отчетливее проступали очертания переезда. Балку он разглядеть не мог, он лишь угадывал место, которое она занимала в пространстве. Дважды ему показалось, что фонарь дрогнул. Он подумал, что это обман зрения — из-за холода, из-за расстояния, из-за снегопада. Но вдруг движение фонаря стало явственным. Покачиваясь на невидимом склоне, красная точка поползла вниз, остановилась на рельсах и погасла.

Глава третья

Прежде чем Сабас успел подумать, что же произошло, неведомая сила подтолкнула его и устремила вперед. Там, впереди, в двух или трех километрах, возле маленького моста, назревала трагедия. Еще не зная, что он сможет сделать, Сабас кинулся бежать. Он бежал по тропинке вдоль путей, повторяя вполголоса: «Поезд! Поезд!» Фонарь, до того как погаснуть, оказался на самых путях, балка, наверно, лежит поперек рельсов. На бегу Сабас бросил взгляд на часы. Поезд пройдет через десять минут.

Пространство впереди было пустым и безмолвным. Но немые рельсы напряженно ждали, когда подойдет поезд, а он уже летел через ночь к городу. Поезд несет в своем чреве пятьсот-шестьсот пассажиров, и все эти люди, вместе с поездной бригадой, точно большое живое тело. Никто из них не знает Сабаса, не знает, что судьба их, их счастье, их жизнь зависят от этого парня, который бежит в снежной мгле и тоже еще не знает, что с каждой секундой, с каждым вздохом, с каждым шагом приближается великий миг его жизни.

Прошла минута. Мост по-прежнему невидим. Невозможно определить расстояние, которое еще предстоит пробежать. Наверно, было бы лучше бежать в другую сторону, к вокзалу, разыскать железнодорожников — они дали бы красный свет, подложили на путь петарды. Но до вокзала почти так же далеко, как до моста. Как вообще останавливают поезда? Кто наблюдает за их движением? Ох, как было бы хорошо, если бы поезд прошел сегодня не здесь. Но нет, он мчится сюда, и только сюда, он приближается, этот летучий голландец, и Сабас стремится ему навстречу.

Три минуты. После своей службы в армии Сабас ни разу не бегал. Подошвы легких туфель скользят по снегу и наледям. Он то и дело перескакивает на гравий между двумя колеями — здесь как будто менее скользко. Он спотыкается, ноги начинают болеть, но по телу разливается хмельная радость. Он ощущает силу своих мускулов, воздух приятно обжигает легкие, сердце бьется сильно и быстро, и это тоже прекрасно, потому что он чувствует в сердце запас неистраченных сил.

Четыре минуты. Осталась позади сортировочная станция — Сабас пролетает мимо нее как ветер. Она была совсем рядом, просто рукой подать, но пока доберешься до людей, пока найдешь человека, отвечающего за безопасность движения, пока объяснишь ему, что да как,— уйдет драгоценное время. Поезд идет с востока. Если остановиться, прислушаться, наверно, уже можно услышать перестук колес. Пассажиры готовятся к остановке, надевают пальто, складывают ба-

гаж. В коридоре несколько человек приникают лбом к стеклу — и видят только поля и поля, потом мимо пролетает деревня, площадь, скамейка и двое влюбленных, которым не страшен ни холод, ни снег. Пассажиры приближаются к городу, в котором идет своя жизнь, со своей скукой, заботами, трудностями, своей любовью, страхами и удачами. Но город для них сейчас — на другой стороне земли. Совсем рядом, рукой подать, но дальше, чем солнце. Во всей вселенной, под звездами, среди рельсов, стрелок и огней семафоров,— только один человек, только Сабас.

Пять минут. Ночь, когда Сабас станет героем. Он ждал этого часа всю жизнь. Теперь он все знает. Если ему не удастся столкнуть балку с пути, он покончит с собой... Нет, он не умрет! В нем разгорается радость триумфа. Препятствия, отделяющие его от Лии, будут сегодня сметены. Он спас поезд, и все полны восхищенья.

Люди ждут Сабаса, чтобы восславить его подвиг. Открываются двери учреждений, чиновники снуют из кабинета в кабинет, идут по коридорам, по каменным плитам, по которым ступали князья и монархи. В кабинете под зеленым абажуром горит настольная лампа. Вокруг на столах документы, папки, пишущие машинки и телефоны. Легкий шум голосов. Порою в окно кабинета с освещенного солнцем двора врывается ветер. В коридорах и залах колышется та озаренная светом полутьма, какая бывает в разгар жаркого лета, когда ясность живою водой разлита по дому. В комнате прохладно, как в гроте. Сабас идет мимо длинного стола, за которым человек десять мужчин и женщин склоняются над бумагами, проходит в соседнюю комнату, поднимается по трем мраморным ступенькам, которые отшлифованы ногами миллионов людей. В глубине широкая лестница ведет на второй этаж. Сабас видит три колонны, они маленькие и изящные, на капителях вокруг медальона обвивается лепной плющ, на венке горделивая надпись: «Буду хранить верность, покуда жив». Высокий сводчатый зал, гранитные стены...

Шесть минут. Может, не шесть минут, а уже шесть часов бежит он вдоль путей? Он больше не смотрит на часы, он вглядывается в темноту — скорей бы увидеть мост, кажется, он уже угадывает впереди его очертания. Вокруг все тот же пейзаж; белый прямолинейный бег через ночь — точно сон, в котором никак не удается убежать от опасности. Сабас скажет Корбану: «Самое трудное было — бежать по белой дороге и не видеть впереди цели...» Ох, как это плохо — не видеть цели!.. Но цель близка. Поезд спасен, поезд спасен. Спасен Сабасом. Героя торжественно чествуют в гранитном сводчатом зале с колоннами. С потолка на цепях свисают пышные люстры, этакие металлические колеса, увитые кованой железной листвой, и по ободу колеса сверкают по две дюжины лампочек. Какое это будет время суток? Конечно же, утро, веселое, ясное. В проеме дверей виднеется небо. На свете нет забытых, ненужных людей.

Ради этого утра шли тяжкие войны, ради него человек выносил презрение и насмешки, ради него принимал как жестокую необходимость побои, и кровь, и смерть. Сабасу всегда мечталось быть среди тех, кто умирает мужественно и прекрасно. Умереть не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы подать людям пример, чтобы зажечь других своей героической смертью. По всем его жилам разливается радостное тепло. Как они были, наверное, счастливы, молодые герои! Вот о чем говорит этот утренний свет—о счастье самопожертвования, о великой отваге. Сабас скажет Корбану: «Мне в жизни так повезло!» — «Ты рад, что спас поезд?» — «Да! И, конечно, рад еще из-за Лии... Понимаешь? Ей, конечно, плевать на то, что думает обо мне ее семья... Лия любит меня, и это самое главное... Но все же я спас

поезд!» — «Да, да,— ответит Корбан,— я понимаю». Что скажет Лия? Сегодня днем он был с ней в кино. Сегодня? С тех пор прошли годы.

Семь минут. Он слышит, как грохочут в висках барабаны, зовущие к бою. Он не чувствует больше гравия под ногами. Теперь в нем остались только дыхание и боль — добежать, добежать до цели, и если на пути проляжет черта, отделяющая жизнь от смерти, эту черту он пересечет. У него никогда больше не будет мужества любить Лию, если недостанет сегодня мужества победить.

Восемь минут. Зеленые огни. Зеленый свет на черных путях смерти. Зеленый, зеленый, это и значит — умереть, россыпь драгоценных камней, бегущих друг за другом вдогонку, изумруды, висящие над ковром темноты и снега. Гравий под ногами стал мягче сосновых иголок. Запах соснового леса врывается в грудь. В эту ночь молодые ребята танцуют на вечеринках. Смотрится в зеркало женщина. Бежать, бежать! В груди и в голове грохочут барабаны крови. С гулом летнего ливня надвигается поезд, с шумом града и войн, о, радость и счастье незабываемых лет.

Девять минут. Балка лежит поперек рельсов. Алексис удрал, а может, прячется в темноте. Сабасу знакома тяжесть балок. Их поднимают подъемными кранами. Рабочие подводят под них стропы. Обычный трос — шесть стальных проволочных жгутов, скрученных вокруг стальной или текстильной жилы. Пригодилась бы и лебедка. Но у Сабаса только руки, только плечи, спина.

Он пытается столкнуть балку с путей. Но она не двигается. На мгновенье ему становится страшно, хочется все бросить, побежать, крича от ужаса, прочь, но тогда он до конца своих дней будет хуже чем мертвец. Очень хочется жить, чтобы были рассветы, чтобы был жасмин. Мелькает мысль: «Самое время покончить с собой». В нем начинает загораться свет, которого он так долго искал. Поворот, из-за которого выскочил поезд, в трех километрах. Меньше двух минут.

— Сабас!

Он обернулся. Не узнал ни голоса, ни фигуры. Услыхал только топот устремившегося к нему человека. Это был Меа Кульпа. Его лицо пылало яростью битвы. За всю свою долгую жизнь этот старый человек не догадывался, что за душа живет в его теле.

Глава четвертая

Меа Кульпа все еще топтался в тамбуре, не решаясь затворить дверь, а Сабас уже исчез в темноте. Эта ночная вылазка встревожила старика. Лия слышала, как он ворчит:

— Сарамон должен был вернуться к своему кретину Алексису! А я бы пошел за механиком! Но даже если трактор простоит там до утра, ничего страшного не произойдет!

Он напряженно всматривался в ночь. Зрение у него давно уже было слабым, и фонаря на расстоянии трех километров увидеть он, конечно, не мог. Не заметил он и того, что Сабас перешел с шага на бег. Но слух у него был острый, и несмотря на снег, приглушавший звуки, он услышал убыстрившийся топот. Лия тоже услышала. Она схватила Меа Кульпу за руку.

— Он бежит!

— Бог ты мой! — вскричал Меа Кульпа.— Он в легких туфлях! По такому снегу!

Он глянул на собственные башмаки «индеец-спортсмен»; в минувший четверг он получил три дюжины пар этой обуви, заказанной в кредит «для своей клиентуры — охотников, а также любителей дальних прогулок».

— Мне кажется, он с кем-то дерется! У нас тут жулья хватает! Приходят с линий электропередачи медь воровать...

Он схватил хлыст из бычьих жил и ринулся в темноту. Но все было тихо; значит, никто на Сабаса не нападал. Меа Кульпа пробежал несколько шагов по тропинке и взобрался на насыпь. Башмаки («индеец-спортсмен») пока что оправдывали ту высокую репутацию, которой они, судя по рекламному ярлыку, вложенному в роскошную картонную коробку, пользовались во всем мире: «...амортизируют всякую неровность почвы, полностью исключена опасность вывиха. Вы словно идете в замшевых сапожках по бархатному ковру...» Метрах в тридцати—сорока смутно виднелась человеческая фигура. «Да куда же он? И прямо по путям — ведь скоро поезд!..» Вдруг он понял, что и Сабас думает о поезде. Потому что возле моста произошло что-то непредвиденное.

Меа Кульпу прошиб холодный пот. Сабас лезет в ловушку, ему грозит гибель!.. С ужасом ощущая собственное бессилие, Меа Кульпа побежал. Он весь дрожал от слабости и от гнева на самого себя. «Дурень несчастный,— говорил он себе,— у тебя был друг, и ты его теряешь! Ни на что ты больше не годен». «Ни на что, ни на что!» — стучало в висках.

«Нет в тебе ни мудрости Корбана, ни рабочей ловкости Отвертки, ни остроумия Термоли, ни здравомыслия Небузена... Ты ничего не умеешь, и у тебя ничего нет за душой... болтаешься, как пробка в проруби... С кем ты, на чьей стороне? Среди сильных мира сего для тебя не нашлось места, и для угнетенных ты не в силах что-либо сделать,— нет, ничего не дано тебе совершить — ни для себя, ни для тех, кого ты любишь».

Тень Сабаса по-прежнему маячила впереди. Меа Кульпа хотел закричать, но у него перехватило горло, точно в кошмарном сне. Он сделал отчаянную попытку бежать хоть немного быстрее,— хотел рвануться вперед, догнать, настичь Сабаса, но ноги не слушались, все внутри дрожало. Он подумал было, что надо схватить камешек из-под ног, кинуть в Сабаса, заставить его обернуться, но отказался от этой затеи. Он знал, что его движения сейчас неуверенны, он не смог бы как следует прицелиться в темноте; пока он будет на ощупь искать подходящий камень, расстояние между ним и Сабасом увеличится еще больше. И голос сказал: «Не то ты должен делать. Покажи этой ночью, на что ты способен».

Так говорил голос. Меа Кульпа знал этот голос всегда. В голосе не было ничего сверхъестественного, и произносил этот голос не слова, а что-то совсем другое. К Меа Кульпе обращалась сама очевидность.

Теперь башмаки «индеец-спортсмен» уже не оправдывали своей репутации, Меа Кульпа ступал не по бархатному ковру, а по раскаленным углям, по острым железным шипам.

Его ноздри учуяли вдруг странный запах. Пахло чем-то сладким и одновременно пикантным, чем-то душистым, фруктовым; аромат был хмельным и приятным, он говорил о безопасном убежище, об уюте. Так не может пахнуть на железнодорожных путях, ночью, в снежной мгле. Ах, он вспомнил: это запах винных подвалов. Значит, пролетая над какой-нибудь фермой, ветер подобрал по дороге дыхание виноградной лозы, ароматы брожения. У папаши Сарамона в погребах должны стоять винные бочки. Хотя нет, невозможно: ферма Дюмонтейль слишком далеко. И он понял: запах шел не с фермы, а из детства. Меа Кульпа снова стал ребенком, нежным слабым ребенком, и к нему доверчиво потянулись чудеса и горести детства. Ему вспомнилось лицо матери, и вкус винограда во рту сделался вкусом

крови, и ему представилась вся его долгая, полная унижений жизнь. Жалкий мойщик посуды бежал с ним рядом вдоль полотна железной дороги, хватал его за полы куртки, и Меа Кульпа беседовал с этим прилипчивым спутником. «За кого ты себя принимаешь,— выговаривала ему неотвязная тень,— куда ты, старая рухлядь, бежишь? Лучше ляг и лежи!» Ночь над рельсами стала военной ночью. Меа Кульпа лежал за огромным валуном на горном склоне, усеянном обломками скал. Над головой просвистела пуля, он съежился в своем укрытии. «Я трус»,— подумал он со стыдом. Внизу, в долине, раздался выстрел. Надо было подняться, побежать, стреляя, навстречу врагу. Но Меа Кульпа боялся. Просвистела вторая пуля, на сей раз пониже,— брызнул каменный дождь за спиной. Слева выскочил из укрытия другой солдат, с ружьем в руке, побежал, потом встал на одно колено, начал целиться, но вдруг подскочил и медленно стал оседать, раскинул в стороны руки, перевернулся и повалился ничком, скребя ногтями каменистую почву. У него было лицо Сабаса.

«Ты оставишь меня умирать, Меа Кульпа?»

Вот он — долг Меа Кульпы. Принять на ладонь хрупкую человеческую жизнь, ощутить ее, парящую над безднами, легкость. Он чувствовал рядом незримое присутствие тысяч людей, он шагал вместе с ними, он был частицей великой армии, его шаги сливались с их шагами, и общими были слезы, и смех, и надежды, и движение к общей победе.

Рвались от боли легкие, подгибались колени. Он бормотал бессвязно: «Солдат? Нет, нет, погодите!» Он растерянно спрашивал: «Ты здесь? Это ты?» В груди хрипело. И снова вмешался голос: «Благодаря тебе, Меа Кульпа, мир шагает вперед. Ибо ты — хранилище жизненных соков, из которого я черпаю силы и для кровавых битв, и для мирных свершений. Настанет день, я сделаю из тебя человека сильнее всех самых сильных на свете людей, я вложу тебе в голову знания, каким позавидуют мудрецы...» Нужно было держаться. И он закричал — пронзительно и истерично: «Держаться, держаться, держаться!» Чтобы умерить боль, он старался дышать носом, закрывал рот, потом широко его раскрывал, выдыхая воздух в бесконечных спазмах, жадно цепляясь за жизнь: «Ах-ах-ха-ха!»

А голос внутри продолжал: «Ты был ничтожеством, Меа Кульпа. Но мне нужны миллионы таких, как ты. Таких, над которыми все смеются и которые никогда не отвечают прямо на вопрос, и находят одни лишь нелепые аргументы, и сердятся невпопад, и не умеют быть благодарными. Они думают о боях, когда нужно думать о цветах, и мечтают о цветах в самый разгар боя, и при этом они, по правде сказать, не солдаты и не садовники. Но именно ты, Меа Кульпа, поможешь мне переделать землю, потому что ты — бедный мой Меа Кульпа, старый, уродливый, бедный. Ты мне поможешь воздвигнуть колонну надежды до самого неба. Ты изменишь облик вещей».

Он споткнулся о шпалу, упал и тут же вскочил. И засмеялся: «Вперед! вперед!» — и нашел еще силы крикнуть во мрак: «Сабас!» Перед ним кружились в призрачном смерче рельсы, сигнальные огни бежали по небу, он цеплялся за воздух, барабанил руками по твердой воде темноты, рвались на куски легкие, сжимался от боли желудок — и он увидел над балкой Сабаса.

— Сабас! Уходи!

Он схватил Сабаса с такой яростной силой, что оторвал у него рукав.

— Сабас! Отпусти, дай-ка я!

— Ты не сможешь!

Сабас ухватился обеими руками за балку, широко расставил ноги, покачал туловищем, проверяя, хорошо ли он взялся за груз, твердо ли упираются в землю ноги. Балка весила триста-четыреста килограммов. Чтобы столкнуть ее с рельсов, нужно было чудовищное усилие. Он привык на стройке и на заводе не только прикидывать вес поднимаемых грузов, но и рассчитывать наиболее выгодное плечо рычага, и учитывать силу инерции. Меа Кульпа не имеет об этом понятия. Он надорвется.

— Сабас! Убирайся! — вопил Меа Кульпа.— Слышишь, что я говорю? Убирайся отсюда! — Он ударил Сабаса кулаком по руке, и Сабас отпустил балку. В темноте им не видны были глаза друг друга, но оба знали, что сейчас их зрачки горят злобой.

Сабас выпрямился. Он был на сорок лет моложе Меа Кульпы, его кости и мышцы прошли отличную школу в постоянной, смертельно опасной игре с металлом, с его змеиным коварством. Он мог одним ударом отбросить Меа Кульпу на откос, чтобы спасти старику жизнь и без помех заняться балкой.

— Сабас...— Теперь это была мольба.— Сабас... Я это сделаю, пусть даже при этом подохну. А ты уходи! Я сильнее, чем ты думаешь. Пусти, дай мне...— Он в свой черед наклонился над балкой.— Сабас! Отойди!

Поезд был уже в трехстах-четырехстах метрах. В надвигавшемся гуле колес Сабас слышал дыхание Меа Кульпы. Ему даже казалось, что он слышит, как бьется и мечется старое сердце.

— Пусть я хоть раз в жизни сделаю что-нибудь путное...

— Нет, не могу я такого позволить, не могу, не могу,— бормотал Сабас.

Он опять было рванулся к балке, но что-то удержало его.

Судьба предоставляла ему возможность стать героем. Этого часа он ждал всю жизнь. Слава была под рукой — только шагни и сорви ее плод. Или Корбан сочтет его трусом. А что скажет Лия? Но ради того, чтобы завоевать славу, требовалось унизить Меа Кульпу. Это было как озарение. Нельзя унижать Меа Кульпу, нельзя отнимать у него первый и единственный в жизни брильянт. Таков был расклад судьбы. И высшая справедливость. Каждому — своя доля в общей победе, каждый платит свою цену за право выбить искры великого чуда из серой каждодневности, из будней заводов и строек, где люди, которым еще не под силу в слове излить свою душу, создают прекрасную, таинственную и солнечную песню. И сердца высокой закалки должны уметь, если надо, ради всеобщего блага остаться в безвестности и в тени.

Меа Кульпа приподнял балку. В немыслимо ярком луче, разрезавшем ночь, Сабас будто со стороны увидел и Меа Кульпу, и самого себя, уверенных, всемогущих. Крик поезда вспорол землю, молния сверкнула над головами и умчалась за горизонт. Рельс прогнулся под тяжестью сотен, тысяч, миллионов колес; эта музыка боя будет отныне звучать у обоих в ушах до скончания дней. Окна вагонов были окнами города, уносимого в черноту, но это был город живой, населенный живыми людьми. У одного из окон — или Сабасу почудилось? — стоял маленький мальчик в красной вязаной шапке с помпоном. Сабасу очень хотелось, ему было необходимо, чтобы мальчик в шапке с помпоном обязательно плыл на этом ликующем корабле. Меа Кульпа лежал на гравии. Сабас опустился рядом с ним на колени, осторожно протянул к нему руку, почувствовал на своих пальцах кровь.

— Ты ранен? Что у тебя болит?

— Нога.

— Не двигайся.

Сабас скинул с себя пальто, куртку, пуловер, накрыл Меа Кульпу.

— Мне нужно десять минут, чтобы вернуться в «Ла-Перголу». Я пришлю к тебе Лию, а сам побегу на вокзал.

— Эй!

На мосту стояли двое мужчин — Сарамон и механик. Они приехали на машине со стороны болот.

— Идите сюда! — крикнул Сабас.— Он ранен! Алексис бросил трактор, балка упала на рельсы.

Сапоги Сарамона заскрипели по заснеженному откосу.

— Черт побери! — бормотал он на ходу.— Как же это случилось, черт побери? Где Алексис? Как вы здесь оказались?

— Я в темноте ничего не видел,— сказал Сабас.— К счастью, мой друг догадался, в чем дело. Он столкнул балку с путей. А я только сейчас прибежал.

Механик оказался человеком бывалым.

— Осторожно! — сказал он Сарамону.— Может, у него перелом! Свяжем ему ноги вместе и тихонько подтащим на брезенте к машине.

— Нет у меня никаких переломов,— сказал Меа Кульпа.— Просто порез. Вот и все.

Его положили в кузов автофургона. Сабас примостился рядом, заботливо подоткнул под раненого, как одеяло, свою одежду. Сарамон с механиком сели впереди.

— Сабас...— прошептал Меа Кульпа.— Придвинься поближе.

— Лежи спокойно. Мы отвезем тебя в больницу.

— Послушай, Сабас! Ты видел? Я сумел...

Сабас дружески шлепнул его по щеке.

— Ты молодец! Я всегда это знал.

— Мой мальчик,— прошептал Меа Кульпа.— Сынок...

Глава пятая

Меа Кульпа уже три дня лежал в больнице. У него была глубокая рана на правой ноге. Но ни один крупный сосуд не был порван. В общем, ранение оказалось довольно легким. Сам он считал себя совершенно здоровым. Пережитый шок не оставил следов. Меа Кульпа словно бы даже помолодел. Печать щедро откликнулась на его смелый поступок. Местные газеты отвели его подвигу целые полосы, две парижских газеты поместили его фотографии с таким текстом: «Максим Агульпа, железнодорожник-герой». «Теперь ты почетный железнодорожник! — говорит с улыбкой Корбан.— Ты заслужил это звание!» Поговаривали о награде. Репортеры радио и телевидения приходили к Меа Кульпе в палату. От всех этих визитов и интервью он немного терялся, путал репортеров с железнодорожными чиновниками, а тех — со следователями из полиции. Он несколько раз пытался перевести разговор на поразительную историю «Ла-Перголы», но собеседников это не интересовало. Из шестисот пассажиров, ехавших в поезде, нашелся только один, кто написал ему письмецо. Зато его навестил машинист. Это был человек лет под сорок, рыжий, краснощекий, маленький и плотный; ни ростом, ни лицом, ни возрастом он не был похож на Корбана — но все-таки походил на него, как родной сын. В хирургическую палату он вошел в сопровождении двух своих коллег, положил на тумбочку возле кровати большую коробку шоколадных конфет, три романа и огромный букет красных роз. Протянул Меа Кульпе школьную тетрадку, в которой расписалось более двухсот железнодорожников, и встал у изголовья, не зная, куда девать руки.

— Значит, это ты?

— Я.
— Здорово тебя задело?
— Не очень.
— Когда тебя выпишут?
— Дней через десять-двенадцать, а может, через неделю, точно не знаю. Хотелось бы поскорее.
— Ты женат?
— Нет.
— Кем ты работаешь?
— Ресторан содержу.
— Можно прийти к тебе в ресторан?
— Я вас приглашаю.

Наконец-то у него нашлись слушатели! Он рассказал им про «Ла-Перголу». Железнодорожники весело смеялись.

— Мы непременно придем! Такой банкет закатим! — обещали они на прощание.

На другое утро к Корбану ворвался рабочий-кабил.

— Беда! — кричал он, размахивая руками.— Сейчас же приходить! Твой друг, хозяин, мой друг, сейчас же объяснить, не давать!

Корбан побледнел и поспешил за кабилом, а тот все твердил на бегу:

— Ах, беда! Если бы лучше говорить по-французски! Не очень есть хорошо, быстрей, объяснить!

«Ла-Перголу» прицепили к дизельной дрезине. Работал мотор, двое мужчин — машинист в синей спецовке и еще один человек в хорошем костюме — что-то обсуждали возле вагона-ресторана, сверяя его регистрационный номер с каким-то списком. Подойдя поближе, Корбан услышал:

— Он и есть. Номер совпадает.

— А все эти вещи внутри? Они ведь кому-то принадлежат! — возражал машинист.

— Рабочим со стройки, кому же еще? Выгрузим — и все.

— Что вы здесь делаете? — спросил Корбан. У него дрожал голос.

— А! — обрадовался человек в костюме.— Вы нам, наверно, все и объясните!

— Что вы здесь делаете? — повторил Корбан таким тоном, что человек вздрогнул.

— Увозим вагон.

— Почему?

— Потому что надо освободить участок.

— А вагон куда?

— Его разберут.

— А вагон куда?

Незнакомец смерил Корбана взглядом.

— Вагон свезут на свалку. Он продан на лом.

— Я его покупаю.

Человек рассмеялся.

— Я металлоломом не торгую. У меня есть приказ — вагон увезти. Да я и понятия не имею, сколько он стоит.

— Вы совершаете преступление,— медленно сказал Корбан.

— Ну, ну, ну... Преступление! Поглядите на эту рухлядь! Хорошо еще, если он не развалится по дороге...

— Куда вы его везете?

— На вагонное кладбище, в ста километрах отсюда.

— А там его можно будет купить?

— Этого я не знаю, но вам, во всяком случае, надо поторопиться. По прибытии вагон сразу пойдет под автоген... Вот только эти вещи внутри... Ума не приложу, что с ними делать. Вы не знаете, кому они принадлежат?

— Знаю,— сказал Корбан.— Человек, живший в этом вагоне, сейчас в больнице. Он ранен. Это тот самый человек, который, рискуя жизнью, предотвратил крушение поезда.

— Послушайте...— Незнакомец явно торопился все поскорее закончить.— Я вас, конечно, понимаю, но ничем не могу помочь. Представьте себя на моем месте!

Через полчаса «Ла-Пергола» стояла пустая. Кабил привел со стройки товарищей, и они в обеденный перерыв перетаскали все имущество Меа Кульпы к Корбану. Вагон-ресторан увезли.

Корбан остался один на заржавленных рельсах.

— Это его убьет.

Под вечер он пошел к Меа Кульпе в больницу. Рассказал, как поживают Сабас, Лия, Абилиу, Небузен, Термоли и Отвертка, помолчал, потом посмотрел другу в глаза.

— Меа Кульпа...

— Да?

— У меня печальная новость...

Меа Кульпа, казалось, не слушал. Он глядел на букет красных роз.

— Они увезли «Ла-Перголу».

Меа Кульпа молчал.

— Ты меня слушаешь? Я предложил им продать ее мне. Но они не знают, как это делается. В общем, ничего не вышло. Все твои вещи лежат у меня. Можешь у меня поселиться. Мы поможем тебе.

— Спасибо, Корбан. У меня еще будет время подумать, чем заняться. Ведь я в моем возрасте имею право немного и отдохнуть. Ты мне поможешь оформить пенсионные бумаги? Я в этом мало что понимаю. Но если хочешь сделать мне удовольствие, подумай лучше о Сабасе.

— О Сабасе? Почему о Сабасе?

— Из-за Лии.

— Скажи, Меа Кульпа,— воскликнул Корбан,— кто из вас столкнул балку с рельсов?

— Спроси у Сабаса.

— Ты или он?

— Спроси у Сабаса.

Он приподнялся, оперся локтем о подушку, улыбнулся.

— В эту ночь я поднялся с постели, вышел в коридор, встал у окна. Небо было густого синего цвета. И на нем — одинокое облако, почему-то светлое, наверно, от городских огней. Казалось, близится утро. Я вспоминал свою молодость. И был счастлив.

— Кажется, ты хотел поговорить со мной о Сабасе.

— О Сабасе? Ну что ж... Вот скажи-ка, ты влюблялся когда-нибудь в такую девушку, как Лия?

Корбан захохотал.

— Влюблялся, наверно! Только последнее время со мной почему-то такого не случалось!

— Она навестила меня... Пришла сюда одна, без Сабаса... Да, одна... Мы проговорили с ней часа два, если не больше! Как старые друзья!

— Часа два? Что же ты ей рассказывал?

— Всякую ерунду. Про свою жизнь. Как я был официантом в

кафе. Потом стал расспрашивать ее про учебу, про родителей... С самым невинным видом, конечно...

— С самым невинным видом! Ну-ну! Она-то сразу небось поняла, куда ты клонишь...

— Допустим... Ее родители — вовсе не богачи, нет, нет! Люди как все, во всяком случае, на мой взгляд. Меня богатством удивить трудно! Да, да, не смейся, Корбан! Настоящую буржуазию и липовую, буржуазию крупную, среднюю и мелкую, и ту, что буржуазия с давних времен, и ту, что буржуазией стать очень хочет,— я все это знаю получше тебя. Ты никогда не получал чаевых. Ты не слушал разговоров. У всех этих людей — а уж я их за свою жизнь навидался! — есть одна общая черта: они делают только то, чего от них можно ждать. И ничего больше. А если вдруг и делают что-то другое — значит, за этим — расчет. Может быть, и любопытный, и смелый, но все равно — расчет.

— А ты сам, Меа Кульпа, разве такими расчетами не занимался?

— Занимался, конечно. Как все. Только у меня это плохо получалось... А вот у Лии — никакого расчета... Сам посуди! Связать свою судьбу с Сабасом — это для нее потрудней, чем для меня разбогатеть на «Ла-Перголе»... Да, так вот стою я у окна, смотрю в ночное небо, и мне вдруг вспомнилось, какими ароматами дышал я в летние ночи, когда молодым был, и я подумал: кругом все грязно, мерзко, продажно, но если найдется хотя бы один человек, который скажет себе: «Я сделаю то-то и то-то лишь потому, что это прекрасно, прекрасно, как небо, как аромат летней ночи!» — значит, в мире не только продажность и грязь. Сабас — такой человек. Ты думаешь, их много таких?

— Много,— сказал Корбан.

— Но уж, во всяком случае, не миллионы!

— Около трех с половиной миллиардов.

— Шутник! Это число людей на земле!

— Именно так.

— Значит, ты всех стрижешь под одну гребенку? А подлецы? А фашисты, которых ты так ненавидишь?

— Ну, уж этих-то я под одну гребенку никогда не стригу!

— Видишь, я прав: с одной стороны, негодяи, а с другой — добрые, щедрые души, но их единицы...

— Нет, Меа Кульпа, все гораздо сложнее. У тебя получается так: вдруг возникают случайно один-два героя, и надо их славить, им поклоняться... Нет, есть просто люди... Быть героем раз в жизни — это ничто, понимаешь? Самое прекрасное — продолжать свое дело изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день... И когда ты глядишь в ночное небо, ты лучше не детство свое вспоминай, а думай о том, что небо будет таким же и завтра, и через год, и всегда... И что другие цветы будут пахнуть летними ночами... И что мир станет чистым и честным, потому что ты ни на час не выпустишь его из рук... Мы этот мир создадим или нет? — спросил он сурово.

И спокойно ответил:

— Создадим.

— А если не все захотят за вами идти?

— Всегда кончается тем, что более слабые идут вслед за более сильными!

После ухода Корбана санитарка сказала, что пришел еще один посетитель.

— Но я не уверена, нужно ли его к вам пускать,— добавила она в некотором смущении.

— Почему же?

— Да он странный какой-то...

Она ввела в палату Алексиса. Работника с фермы Сарамона. Того самого Алексиса, который снял трактор с тормозов и выбил клинья из-под колес.

— Меня Алексисом зовут,— пробормотал он.— Вы знаете, кто я?

— Ты сюда один пришел?

— Да, это я могу! Я тут всю округу хорошо знаю.

— Садись.

Казалось, Алексис ищет темный уголок, куда можно забиться подальше от людей и от дневного света. Наверно, он видел в темноте не хуже, чем кошки. Да он и похож был на большого, бездомного, одичавшего кота, который давно уже не надеется на людскую ласку. Ему было лет тридцать, но могло быть и двадцать пять, и сорок. Светло-рыжие, давно не стриженные волосы, серо-зеленые, мечтательно полуприкрытые, но при малейшем шорохе широко и испуганно глядящие на мир глаза. У него было отрешенное бесстрастное лицо, неловкие жесты, но за всем этим угадывалась чуткая нервная натура. В школе он никогда не тянул первым руку, если учитель задавал трудный вопрос. Он, как правило, не обижался на шутки товарищей. Но иногда, если шутка заходила слишком далеко, он бледнел и, не помня себя от гнева, лез драться. Его тетради были самыми аккуратными в классе. Большой и сложный мир пугал его и сбивал с толку; но чистый лист бумаги, но ненавязчивая ласка вещей успокаивали его. Он хорошо рисовал, его рисунки приводили учителей и одноклассников в восхищение, особенно пейзажи — на них всегда было солнце, и длинные тени, и деревья на фоне светло-зеленого неба, и сирень, и такие нежные краски, которые можно увидеть только на заре среди болотистых лугов, когда от земли идет живой влажный дух, и чирикают воробьи, и по всей пустынной равнине разносятся гудки поездов и заводов.

В армию Алексиса не взяли. Ни один хозяин долго его у себя не держал. Он нанимался на кожевенную фабрику, на «Углекислоту», на серное производство. У матери, давно овдовевшей, он был единственным ребенком. Она работала на переезде, раз двадцать в сутки поднимала шлагбаум, пропуская грузовики, груженные гравием или железом. Одиночество было уделом Алексиса. Ничего другого ему не было суждено. В начале осени он пришел на ферму Дюмонтейль и предложил Сарамону свои услуги. Фермер знал его мать. «Ладно, возьму тебя: на ферме всегда найдется какое-нибудь дело».

— Вы меня не видели раньше? — спросил Алексис у Меа Кульпы.

— Нет. Никогда.

— А...— Он был явно расстроен таким ответом.— Я ведь бродил вокруг вагона... Вечерами... Несколько раз даже днем... Я хорошо его знал!

— На стройке столько людей...

— Но я хорошо знал вагон! — упрямо повторил Алексис.

У Меа Кульпы защемило сердце.

— Больше ты его не увидишь!

— О, я все равно его будто вижу!

Он хрипло рассмеялся, сунул Меа Кульпе лист картона, завернутый в обрывок газеты, и ушел.

«Этому парню никакие теории Корбана не помогут,— подумал Меа Кульпа.— По его вине чуть не погибли сотни людей, в том числе и мы с Сабасом, а он об этом и не догадывается...»

Меа Кульпе не хотелось разворачивать сейчас подарок Алексиса, он боялся увидеть нечто несусветное. Он съел несколько конфет из коробки железнодорожников, полистал книги, поглядел на розы. Из уважения к его героическому поступку ему предоставили от-

дельную палату, никто сейчас не войдет... Но все-таки лучше подождать темноты... Санитарка улыбнулась ему и ушла. Он дождался, когда стихнут ее шаги в коридоре, и развернул подарок Алексиса. Перед ним была написанная красками «Ла-Пергола». Он заплакал.

Глава шестая

Настало время для Лии учиться пониманию жизни. Ей нужно было увидеть наконец свою любовь к Жоржу Сабасу в истинном свете — в ясной солнечной радости тела и души — и знать, что у Сабаса есть хорошие друзья: Люсьен Небузен, Пьер Термоли, Абилиу Аталайа. Корбан. Пусть они всегда будут видеться ей такими, какими бывают люди ранним погожим утром, когда на лицах мужчин и женщин лежит печать красоты и великого человеческого предназначения, равно понятного верующим и атеистам. И пусть не забудет она Максима Агульпу. Мечты его, даже несбыточная мечта о богатстве — это мечты человека, которого вдруг сморила усталость на закате долгой трудовой жизни. Его воображаемая страна была одной из тех стран, что неожиданно являются нам на рассвете, когда безумно хочется спать, а надо вставать и идти на работу, и гудят не успевшие отдохнуть ноги, и нужно выпрямить ноющую поясницу, и начать новый день, а впереди еще много, очень много таких же серых и нудных дней.

После двухчасовой беседы с Меа Кульпой она ушла потрясенная. Он говорил все больше намеками, но она угадала, что́ произошло между ним и Сабасом в ту ночь.

Значит, вот что такое мужество и вот что такое свобода... Стать достойным мира сегодняшнего, мира такого, каков он есть, а потом — но только потом! — представить его себе таким, каким он будет, обязательно будет — прекрасным и чистым,— будет для грядущих поколений когда мы все превратимся в прах.

В этот субботний вечер Лия должна была встретиться с Сабасом у Корбана. Корбан позвал Сабаса на ужин и сказал, что хочет побеседовать с ним наедине. А потом они вместе с Лией навестят Меа Кульпу.

— Я тебе уже говорил, что Меа Кульпа какое-то время поживет у меня,— сказал Корбан, прежде чем сесть за стол.— Но без фокусов он не может. Знаешь, что он теперь выкинул? Поставил палатку на том месте, где была «Ла-Пергола». И ночует там.

— В эти холода?

— Сейчас потеплело... Снег растаял. Наверно, хорошая погода продержится еще несколько дней.

Вечер и вправду был теплый. Корбан оставил открытыми окна; с улицы доносились веселые голоса и смех.

— Сарамон не может понять, как Меа Кульпе удалось столкнуть такую тяжелую балку,— продолжал Корбан.— Он мне ее показал... Честно сказать, я тоже не понимаю.

— Ты ведь знаешь, что Меа Кульпа силен как бык!

— И все-таки он слабее тебя. Ты ему случайно не помог?

— Он добрался до места раньше, чем я,— холодно ответил Сабас.— Опередил меня метров на двадцать. Пока я эти метры пробежал, он успел приподнять балку.

Корбан долго смотрел Сабасу в глаза.

— Он бегает быстрее тебя?

— Я был в плохой обуви.

— А если бы он не смог поднять балку?

— Тогда у меня еще было достаточно времени, чтобы сделать это самому.

— Нет, у тебя уже не было времени.

— Было. Для этого мне достаточно пяти секунд. И ни секундой больше. Хочешь, пойдем к Сарамону. Я тебе покажу, что могу передвинуть балку за пять секунд; будешь медленно считать до пяти. Я ведь привык к таким вещам.

— Ты это и в полиции рассказывал?

— Конечно.

— И они тебе поверили?

— Поверили.

— Браво! Ты хорошо врешь. Рад за тебя, Сабас! — воскликнул Корбан и ткнул его кулаком в грудь.

— А вот меня все это ничуть не радует,— мрачно сказал Сабас.

— Ах вот что! Тебе хотелось получить медаль? В двадцать лет?

— Нет! Все дело в Лии! Что она будет думать теперь обо мне?

— Она думает, что ты добежал до моста первым...

— Час от часу не легче! Значит, она считает... Она думает, что я испугался! Это ужасно, Корбан! Ты слышишь? Это ужасно...

— Конечно, ужасно! К счастью, она знает, как все было на самом деле: ты решил уступить пальму первенства Меа Кульпе...

— Корбан! — завопил Сабас, не помня себя от волнения.— Ты уверен, что она так считает?

— Уверен. Твоя история не выдерживает критики... Ты сам себе противоречишь... Для полиции это сгодилось! Они уже успели составить отчет, работы у них и без тебя хватает: на троих инспекторов по сотне дел в неделю! А тут никто ни на кого не жаловался, ранение у Меа Кульпы пустячное, все показания сходятся,— дело тут же было закрыто. Но для Лии... И для меня! Ведь я тоже хорошо тебя знаю. Правда, теперь знаю еще лучше.— Корбан снова поглядел на Сабаса.— Теперь я знаю, что ты умеешь оставаться в тени и молчать.

Дверь распахнулась, и в комнату влетел Термоли; его лицо пылало багровым румянцем.

— Идемте чествовать Меа Кульпу!— крикнул он и убежал.

На улице Небузен что-то горячо втолковывал Абилиу, тот отвечал ему, как всегда, односложно, но тоже выглядел возбужденным. Термоли ворвался в вокзальное кафе.

— Все за нами! Идем чествовать Меа Кульпу!

Загрохотали стулья. Обычный для кафе гул вдруг изменил тональность, превращаясь в шум праздника. Кабатчик захлопнул кассу, отворил стенной шкаф:

— Я беру свой фотоаппарат. Со вспышкой! Фотографии будут готовы моментально!

Из задней комнаты выбежал его сын с большим барабаном; он был барабанщиком во время праздничных шествий. Большинство оркестрантов жило поблизости; они тут же сбежались на шум. Явился горнист, пришел другой барабанщик, потом знаменосец. У торговца скобяными товарами нашлись светильники для иллюминации — и не какие-то древние, завалявшиеся на полках лампы, а новенькие новогодние фонари, завернутые в мягкую бумагу и с роскошными ярлыками: «Сделано в Гонконге».

Выйдя из кафе, процессия свернула на улицу Жана Жореса. Термоли шагал впереди, рядом с ним Сабас и Корбан, следом Небузен и Абилиу. Медь труб сверкала в свете уличных фонарей, но инструменты пока молчали, дожидаясь, как и светильники, своего часа.

У переезда возле вокзала пришлось подождать. Здесь их нагнала Лия и встала рядом с Сабасом и Корбаном. Дожидаясь, пока поднимут шлагбаумы, колонна приняла в свои ряды значительное пополнение за счет жителей соседних домов. По рельсам пробежал трепет, как по листве перед началом грозы. Вдалеке вспыхнули два огня и стали стремительно приближаться, словно их несла на своем гребне невидимая волна. Порою они на мгновение гасли, скрываясь за опорами электропередачи, но тут же, мягко покачиваясь, опять выныривали на поверхность. Курьерский поезд метеором промчался мимо станции, направляясь к центральному городскому вокзалу, его колеса уже начинали скрипеть и повизгивать под давлением тормозов. Мелькнули в окнах смазанные скоростью силуэты. Но Сабас мог поклясться, что у одного из окон стоял мальчуган в красной шапке с помпоном. И в ушах у Сабаса отчетливо прозвучало: «Сабас! Мой мальчик! Сынок!..»

Шлагбаумы поднялись более торжественно, чем обычно; процессия перешла через пути. И сразу, без всякой команды со стороны Термоли, запели трубы, загремел барабан, загорелись светильники.

В квартале Юрия Гагарина в ряды влились новые манифестанты. Воздух посвежел, пахнуло сыростью, мокрой травой, сенокосом. Со стороны вокзала послышался треск мотоциклетных моторов: прибыли еще музыканты духового оркестра.

Шли между изгородей, переходили ручьи, в ручьях отражались огни иллюминации; вдали на фоне неба высилась сортировочная станция, доносился стук товарных вагонов, которые перекатывались точно волны по галечному пляжу; на равнине, как часовые, стояли заводы.

Меа Кульпа увидел и услышал приближение шествия. Он сидел перед палаткой и беседовал с Алексисом. Горн пропел: «Слушайте все!» Темноту прорезали яркие вспышки: кабатчик фотографировал торжественную встречу.

— Карточки будут сейчас же, все делается автоматически.

Меа Кульпа смотрел в темноту, туда, где прежде стояла «Ла-Пергола». Кабатчик вынул снимки из аппарата, поглядел на них под огнем светильника и сунул в карман.

— Дай мне фотографии,— попросил Меа Кульпа.

— Я тебе сделаю другие! Эти не получились,— шепнул ему кабатчик.— Неловко такие показывать: все получилось как-то смешно.

Подошел Алексис.

— Я никогда в жизни не фотографировался,— сказал он.— Хочу получить карточку на память.

— Дай ему фотографии,— сказал Меа Кульпа.— Дай! Понимаешь, смешно получилось или нет — это неважно...

Меа Кульпа повернулся лицом к толпе и медленно обвел глазами обращенные к нему лица. Потом положил руку на плечо Алексиса и сказал спокойно и твердо:

— Разве люди бывают смешными? Смешных людей нет. И здесь я не вижу ни одного смешного лица.

Над равниной повисла глубокая тишина; издалека донеслись влажные звуки флейты — это в болотах квакали лягушки. И Алексис внимательно слушал их песню.

— Ты прав,— сказал он,— да-да, ты совершенно прав!..

Оркестр выстроился в первом ряду. Дирижер — каменщик лет сорока, огромный и толстый, перепоясанный белым ремнем,— подал знак. Зарокотали барабаны, и медные трубы пропели двадцать нот — ровно двадцать, не больше: две музыкальные фразы по десять нот в каждой. Этот двойной призыв — вопрос и ответ — прозвучал как

отрывок из древней крестьянской или солдатской баллады, в нем слышалась мощь народных напевов, которыми с незапамятных пор люди приветствуют родную землю и славят подвиг героев.

— Ура! Ура! Ура! — троекратно разнеслось вокруг.

Потом праздник разлился по улицам предместья. Лия и Сабас, рука в руке, шли в общем хмельном потоке. Людская волна вынесла их к бульварам. Они поднялись на виадук, с которого Сабас так любил смотреть на центральный вокзал, плывущий в море огней.

— Здесь я впервые увидела тебя по-настоящему,— сказала она.

— Мы с тобой никогда сюда не приходили.

— Приходили. Потому что я очень четко вижу тебя на этом мосту вместе с товарищами. Это было в то время, когда я тебя не знала. Что ты тогда искал? Отчего был так несчастлив и грустен?

— Что я искал? Слова, которые выразили бы меня целиком!..

Умолкли последние крики, разошлись по домам музыканты со своими барабанами и трубами. Меа Кульпа остался один на песчаном пустыре, один с единственным своим богатством — портретом «Ла-Перголы».

— Вот сегодня вечером никто бы на обман не поддался... Меа Кульпа сам знает, что его не считают героем... Ему обещали медаль, а пока что отняли вагон... И когда он сказал: «Смешных людей нет», всем стало стыдно. Мы не нуждаемся ни в похвалах, ни в жалости. Пусть сперва полюбят наш мир! Да, весь наш мир, и лица людей, и слова их, и заводы, машины, и пусть увидят, что это — прекрасно! Если человек не видит, как прекрасен наш мир,— значит, он наш враг; и что бы он ни думал, что бы ни говорил, он нас предаст. Лия, вслушайся в этот мир! Что ты слышишь?

Они неподвижно стояли друг подле друга. В этом квартале приземистых домишек ночь была исполнена благородства; в сердце у обоих пела величественная музыка. Лии вспомнилось анданте бетховенского квартета... Сколько раз, его слушая, она проникалась уверенностью, что через мгновенье ухватит, поймает недоступное, неуловимое..

Она прошептала:

— А если я скажу тебе, что всегда слышала твой мир?

— Как ты могла его слышать?

— У каждого — свое одиночество; иногда в одиночестве лучше слышишь. Те, кто не слышит,— несчастные люди.

— Они даже более жалкие, чем Алексис... Знаешь, почему я тогда побежал навстречу поезду? И почему побежал Меа Кульпа?

И они снова услышали безумный бег по путям, дыхание, топот...

— Потому что это принесло мне радость. Ради такого можно пойти и на смерть. И то же самое почувствовал Меа Кульпа. Что нам все их похвалы, поздравления, комплименты! Нам важно одно: одобрение тех, кого ты видела сегодня на празднике. Им ведь не нужно, чтобы кто-то явился из города и стал их хвалить. Или учить жизни... — И, подумав, добавил:—А города прекрасны. И мы тоже их любим— с садами, дворцами...

Их двадцатилетние лица сияли в нимбе городских огней.

— Мы любим города, потому что сами их строим. Посмотреть на памятник — это, конечно, прекрасно. Но когда ты сам, своими руками таскал для него балки и камни, ты видишь его совсем по-другому. То же и с городами. Думаешь, с нас будет довольно — войти в город с черного хода?

Но Лия знала, что Сабас, и миллионы других, и весь народ требуют для себя всей красоты, всей славы мира. Знала, что настанет день, и они войдут во все города земли через самую высокую дверь.

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Полная чаша

■

Перевод со словацкого Н. АРОСЕВОЙ

В конце года, точнее, первого декабря я опять поехал в Советский Союз, но уже по другим маршрутам, которые дали мне возможность увидеть вблизи советское сельское хозяйство, заводы и электростанции. Я был рад, что Союз чехословацко-советской дружбы включил меня в официальную делегацию, в которой были представители разных профессий. К ним присоединили поэта, чтобы он придал делегации «полет» и сам ознакомился с советской действительностью. «Вот и хорошо!» — подумал я, садясь в «ТУ», чтобы снова лететь в Страну Советов.

Не могу забыть московскую обувную фабрику «Парижская коммуна», и начальника одного из цехов Нину Александровну Воронову, и Петра Андреевича Медведева — главного инженера Волгоградской электростанции, и высокого улыбчивого Александра Васильевича Динкина — председателя городского Совета Волгограда, который устроил в нашу честь большой прием, его внимания к нам, его гордости за свой город и его необыкновенные тосты. А как не вспомнить грузинского поэта Нонешвили, который, узнав, что мы из-за тумана не можем лететь в тот день, приехал за нами в аэропорт, увез нашу делегацию назад, в гостиницу и устроил со своими друзьями такой банкет, что мы забыли наши переживания по поводу задержки полета!

В Волгограде мы посетили металлургический завод «Красный Октябрь», в Тбилиси — электровозостроительный и знаменитый коньячный заводы. Признаюсь, только здесь я узнал технологию изготовления коньяка.

И, конечно же, море. Нас, людей сухопутных, оно всегда так притягивает! На этот раз мы восхищались им в Батуми. Солнышко пригревало, и, несмотря на декабрь, термометр показывал в тени двадцать пять градусов тепла. Понятно — ведь мы на юге!

...В конце концов, из-за нелетной погоды, мы отправились в Киев поездом и, конечно, сильно опоздали, так что заботливо приготовленные встречи не состоялись. Зато мы познакомились с легендарным партизаном Ковпаком, посетили знаменитый колхоз «Дружба» в Нижней Ксаверовке, и я успел забежать в Союз украинских писателей и встретиться там со знакомыми уже писателями — Гончаром, Хижняком, Полторацким, Нагнибедой и другими, которые преподнесли мне книгу моих рассказов на украинском языке, вышедшую в издательстве Союза украинских писателей.

Самое сильное впечатление в этой поездке — я его специально оставил напоследок — я получил на ВДНХ, точнее, в павильонах Академии наук СССР. Я не только видел, но и дотрагивался собственными руками до межпланетного корабля, недавно вернувшегося из космоса на Землю,— красноречивого свидетеля самых дерзновенных взлетов человеческого разума. Да, я коснулся рукотворной звезды, которая засияла в бесконечном мраке вселенной, вознеся человеческий

Окончание. Начало см. в № 10, 11.

Переводы стихотворений А. Плавки (кроме переводов Н. Бялосинской, сделанных по заказу редакции) взяты из книги: Андрей Плавка. Стихи и поэмы. М., «Прогресс», 1974.

разум, вечно ищущий и познающий, преодолевающий земное притяжение в поисках неведомых горизонтов вселенной...

И снова — в который раз! — возвращаюсь к моим липтовским голям и полонинам; вот ведь и старше становлюсь, и много брожу по свету — а они все не теряют для меня притягательности, даже напротив — годы словно усиливают ее, напоминая о приближающейся старости. Вновь и вновь тоскую я по ним, и по мере того, как бежит время, и чем больше вижу я чужих краев — все сильнее тянет меня к ним. Они напоминают мне волшебные времена детства и юности, говорят со мной журчанием горных потоков и водопадов, посвистом ветра, шумом качающихся елей на склонах гор, собачьим брехом — таким домашним в мягкие сумерки, что ложатся на крыши родной деревни, притулившейся под сосновой рощей в ожидании горькой своей судьбы.

Итак, в последующие годы я постоянно возвращался в родную Сельницу, обреченную на гибель,— будущая плотина Липтовская Мара приобретала все более определенные черты; готовы были чертежи, включавшие в «район затопления» и это мое единственное «centrum securitatis» [1]. Что поделаешь! Об этой стройке много говорилось, ее критиковали, были даже серьезные возражения против нее — однако важные аргументы общереспубликанского, общенародного значения под конец убедили даже меня, человека, быть может, наиболее ранимого в этом вопросе; хотя, признаюсь, горько мне было на душе, а еще горше теперь, когда родное мое село исчезло с поверхности земли.

И вот, подобно ребенку, который только еще предчувствует, что недолго ему быть с матерью, я все чаще и чаще стал наведываться к родному гнезду, чтоб ощутить его ласку, впитать в себя побольше его атмосферы, погрузиться в его сумерки — ах, такие благоуханные! Таких нет нигде на свете... Я и машину купил весной 1961 года, чтоб стать мобильнее, чтоб почаще и поскорей ездить в долины Липтова. Собственных машин было тогда не так много, как теперь; встретишь, бывало, какую-нибудь на дороге— и тотчас знакомишься с владельцем; и не раз оказывалось, что мы, в сущности, давно знакомы, если не просто родня,— а это вовсе не удивительно в Липтове. Удочка моя и рыбацкие бахилы снова спустились с чердака; крючки, наживка, грузила, старая засаленная рыбацкая сумка — весь этот инвентарь снова сделался объектом семейных забот.

В родительском доме помещался медицинский пункт, обслуживающий Сельницу и несколько ближайших деревень. Доктор уже не жил там, он переехал в Липтовский Микулаш, поэтому районный отдел здравоохранения разрешил мне занять пустующую комнату в доме, что никоим образом не мешало работе медпункта. Зато старый наш сад был в полном моем распоряжении, и это радовало меня больше всего. Сад сильно одичал — еще бы, столько лет без хозяина! Деревья не ухожены, не окопаны, не удобрены, стало быть, и урожай невелик, а если что и уродилось, так только какие-то сморчки. Особенно жалко мне было яблонь, они будто просили помощи, протягивали высохшие ветки, открывая пятна лишайника. И я сразу взялся лечить их. Словно услышал укор отца — я-то помню, как он о них заботился, как гордился хорошими яблоками. Уже на следующий год после моей обработки яблони с избытком отблагодарили меня. Я купил косу, чтобы выкосить траву в саду и приобрести волдыри на руках, напомнившие мне юность, косьбу и все чудесное, что было связано с ней.

Осмотрел я и хозяйственные строения, амбар, навес, хлев, дровяной сарай. Все еще держалось, подпертое там и сям, небрежно починенное,— в общем, довольно грустное зрелище. Крыша амбара провалилась, и в хлеву уже не стояла легковушка доктора Хижняка, и пустота навевала печаль. Только в дровяном сарае было все как полагается: дрова, нарубленный хворост, немного угля, еще бы — топить-то ведь надо.

А липа посреди двора стояла в полной красе, готовая расцвести, кое-где уже раскрылись желтенькие цветочки, высунули свои пестики, приманивая пчел, жужжание которых отзывалось густым хором в роскошной кроне дерева. И слива «ренклод» возле колодца упрямо держалась, пышная — видно, что ей хватало влаги.

Вдоль речки стояли тогда тополя, а та ель, что мы посадили мальчишками, вытянулась высоко. Забор частью подправили, частью оплели его кусты, так что он с грехом пополам еще держался. Сохранился и малинник, одичал, правда, немного, ягоды он нес с мышиные глазки, ну ничего — доберемся и до малинника. В углу сада долгие годы росли два куста черной смородины. Доктор Хижняк, пока жил здесь, ухаживал за ними, и за красной смородиной, и за крыжовником. Эти кусты были более или менее в порядке. А пышные сирени — одна белая, другая сиреневая и та, на которой вывели темно-красные цветы,— разрослись еще гуще, и в пору цветения весь наш двор и сад полнились их сладким одуряющим запахом, вызывая в памяти давнее любовное томление, первые стыдливые поцелуи...

[1] Средоточие уверенности, надежности (*лат.*).

и центифолия, обыкновенная деревенская столепестковая розовая роза, благоухавшая в мамином садике, словно чудом осталась на память мне — немножко, правда, потеснила, посрамила ее могучая сирень, но роза все же цвела, не сдавалась — неотъемлемая часть моих воспоминаний...

С другой стороны дома был огород, обнесенный заборчиком,— от кур. Огородом ведала Мила Еатисова, работящая, проворная женщина, многие годы ведущая хозяйство медпункта. У нее было двое детей, и она одна, хоть и не отличалась крепким здоровьем, успевала не только обслуживать свою семью и обихаживать огород, держать поросенка и кур, но еще и отлично управлялась с нашим огородом.

Когда кончались часы приема и врачи уезжали на машине в Микулаш, воцарялась тишина, нарушаемая только журчанием речки. С первого же дня, как мы здесь поселились, к нам ходило много гостей. Сначала, естественно, явились соседи; пришел столяр Ян Плахий — мол, не нужна ли его помощь; потом учитель Гуска с женой — мы знали их еще с тех пор, как были живы мои родители; пришла и Мара Ройчекова, бывшая наша служанка, которой мои родители устроили свадьбу. Мы обнялись с Марой, прослезились. Она до сих пор называет меня «молодой пан», хотя мне уже скоро семьдесят и хотя я постоянно твердил ей, что никакой я не «пан». Теперь-то она со всем семейством живет в новой Сельнице, в современном доме, к удобствам которого муж ее Винцент все никак не привыкнет. А в то время, о котором я пишу, они жили по соседству, и мы с бывшим моим школьным товарищем Петером Файчиком любили ходить к ним, посидеть в их садике. Это было как в сказке; мы с радостью вспоминали далекое прошлое — и спорили тоже, особенно когда к нам присоединялись оба сына Мары, уже взрослые, отслужившие в армии ребята, жадные к жизни — к теперешней, современной, открывающей перед ними столько возможностей. Посиживая так в саду за примитивным дощатым столиком под сливовым деревом, закусывая домашним сальцем и колбаской, мы и не осознавали, что это — счастливейшие часы в нашей жизни. Ланка особенно сблизилась с семьей Мары Ройчековой, ценя их за прямоту и добросердечие. Когда я писал в комнате или бродил по горам, она обычно отправлялась к ним. Я приносил ей с прогулок букетики луговых или горных цветов, которые Ланка очень любит. Комната наша, большая и светлая, окнами на юг, всегда была уставлена цветами, и было в ней так хорошо — особенно когда пригревало летнее солнышко.

Нашел я применение и старому амбару, превратив его в хороший, просторный гараж. В речке, у самого берега, я углубил дно — Ланка любила стирать белье в речной воде. В знойные дни мы и сами часто окунались в этом месте в чистую, прогретую солнцем воду. Ланка, когда стирала, пускалась в разговоры с другими прачками, и те к ней очень привязались «Не заносится, как иные городские дамочки,— говорили они мне,— да и работы не боится, видать, что порядочная женщина».

После долгого перерыва я возобновил знакомство с Гизелой Мразовой, вышедшей за Янко Борошку; они представили мне своих сыновей, славных ребят: один был агрономом, другой изучал право в Братиславе; разлетелись по свету и другие их дети. Встретился я и с Матеем Любельцем, давним нашим возчиком. Теперь он приглашает меня уже в свой новый прекрасный дом в новой Сельнице, и я не устаю дивиться: право, даже в Братиславе редко встретишь столь благоустроенную квартиру. И таковы все дома новой Сельницы. Смотрю и восхищаюсь: да, их строил отличный архитектор. Дома и улицы новой Сельницы органически вписываются в широкий склон горы Глодь. Строительство продолжается — по мере того как в старой Сельнице дома убывают, они прибывают в новой.

Позднее, кажется в 1963 году, мы даже подумывали о том, чтобы поселиться здесь навсегда. Строительство плотины приостановилось, все говорило о том, что завершение его откладывается на много лет, и я смогу прожить свою старость здесь, в родном краю, к которому всегда так тянулся сердцем. Я даже предпринял для этого кое-какие шаги, но потом мне удалось более точно выяснить, что строительство вскоре возобновится. И, что хуже, в районе затопления не разрешалось не только строить новые, но и производить капитальный ремонт старых домов А именно в таком ремонте нуждалась усадьба моих родителей, так что пришлось мне отказаться от своего замысла. Строиться же в новой Сельнице не было смысла, ведь только наш старый дом имел для меня притягательную силу. Вплоть до семидесятых годов мы с Ланкой нередко проводили здесь лето, чудесное липтовское лето, с его горным солнцем, озоном, прохладными тихими вечерами; а говор речки за нашим садом действовал на меня как лучший бальзам, особенно когда проснешься, бывало, ночью, и задумаешься о человеческих судьбах. Под яблоней я сколотил стол, здесь мы любили сидеть, здесь обедали, и ужинали, и принимали гостей, не скрывавших своего восхищения этим волшебным уголком, где все чувствовали себя прекрасно. Сюда приезжали ко мне наш литературовед Иван Кусый с семьей, и писатель Милош Крно, и многие, многие другие.

Когда я ложился вздремнуть после обеда, Ланка отправлялась в лес по грибы и за какой-нибудь часок набирала полную кошелку рыжиков, подберезовиков, маслят, даже белых, чему сама радовалась больше всего: когда мы ходили с ней вместе, ей почему-то меньше везло.

Иногда мы на целый день уходили в долины, пекли на костре картошку и сало и, с ног до головы перемазавшись в золе, бывали счастливы сверх меры. Развалившись на траве, смотрели в небо, в эту бездонную лазурь, в которой величаво парил ястреб, зорко высматривая добычу на земле. Белые прозрачные облака плыли по небу, резко контрастируя с темными верхушками елей на гористом горизонте, а ниже, по склонам, шелестели под ветерком пышные буки. Молодые клены словно навевали на нас ароматную прохладу широкими ладонями листьев, тянулись вверх целые стайки молодых елочек, и светлая зелень их юных побегов бесконечно сладостно ласкала взор. А растрепанные ракиты, росшие среди камней на берегу шумного ручья, не хотели шевелиться...

Иногда я натягивал бахилы и отправлялся удить форель. Ланка уходила по ягоды и часами бродила в одиночестве, пока я не возвращался. А меня манил к себе горный поток хрустальной чистоты, и я тихонько подкрадывался к омутам, чтобы не спугнуть форель, прятавшуюся где-нибудь в донных ямах или стремительно выскакивавшую из воды, охотясь на мушек, что кружились над самой водой. Я забирался далеко вверх по течению, где горные ручейки сбегаются в поток, и даже там, в этих мелких водах, не раз удавалось мне поймать хорошую рыбу. Но если и не было улова, я все равно бывал счастлив одной этой прекрасной горной природой, весь пропитывался этой красотой, наливался здоровьем и добрым настроением — про запас, для дней невзгод и неприятностей.

Часто в этих местах посещали меня воспоминания; здесь бродил я мальчиком, собирал малину или приносил соли для оленят. Сюда водил нас когда-то лесник Юрига-Клч, здесь рассказывал он нам о своей схватке с медведем, учил нас распознавать цветы и деревья, любить природу — рассказывал простыми словами, но мы-то слушали их с затаенным дыханием. Ах, давно это было, давно, целых полвека протекло с тех пор, и моя голова побелела, а лесника Юриги уже нет в живых. И его старый деревянный дом снесли, построили на том месте новый, каменный, только этот уже не так близок моему сердцу. И давно нет двух его собак... Где же вы, Акоти и Заграй, что с такой преданностью сопровождали нас по лесам, по долам, то и дело отбегая в сторону, учуяв следы каких-то зверей... Эх, ушло все это, ушло, и нам, кто жив еще, остается только вспоминать... Но воспоминания обостряют способность воспринимать эту красоту!

Да, не забыть мне эти летние месяцы между шестидесятым и семидесятым годами. В липтовском оазисе мы переживали счастливое время, словно исполнились все наши мечты, осуществились все желания. Сейчас, когда я думаю об этих годах, стараясь понять, откуда взялась у меня сила одолеть многие невзгоды, причина открывается как в сказке: напился я живой воды Липтова, надышался воздухом его, они-то и уберегли меня в часы борьбы, они дали мне силу, о какой и не подозревают люди. Я даже сам о ней не подозревал, я понял это лишь сейчас, когда, пожалуй, миновали для меня все бури, когда пришла пора уже не просто вспоминать былое, но и отчитываться за прожитую жизнь.

Там, в начале одного из этих лет, Ланка отмечала свой юбилей, тот, когда женщина достигает зенита зрелости и начинает легонько склоняться к старению; в тот день я принес ей букет полевых цветов, поздравил — и засел под яблоней, чтобы положить на бумагу мысли, которые теснились в моей голове, пока я собирал букет.

СОРОКАЛЕТНЯЯ

Тихо, тихонько,
стыдливо,
как в юности давней,
впервые фату приподняв,
начинаешь ты вить
воспоминаний гнездо —
из пуха девичьих грез,
из травы, в которую робко ложилась,
охваченная томленьем,
из любовных потемок,
укрывавших твою пробужденную страсть,
еще мирную,
погруженную в тайну.
О, не стыдись своей памяти!
Это гнездо приютит
сбывшиеся и несбывшиеся мечтанья.
Мирно они уживутся,
пригретые общей печалью.
Твой горизонт неоглядный очертят они.
И он станет к тебе приближаться,
с годами—все ближе и ближе,
покуда, коснувшись
линий его, осязаемых остро,
ты не нащупаешь первых морщинок своих.
Да, они-то и есть—твоего горизонта границы,
ощущаемые так упорно и точно.

В них ты сложишь
былые надежды свои,
что созрели в осеннем покос,
как яблоко жизни твоей.
Я прогрызся к его сердцевине,
тугой, горьковатой,
в которой свернулись
все горячие искры твои.
Потому-то в гнездо свое
ты и меня поместила,
прирученного ястреба,
у которого с крыл утомленных
опадают цветы незабудок.
Из них я гнездо тебе вью,
чтоб оно охранило тебя
от осенних дождей,
покуда его не прикроет навеки
зимний покой.

(Перевод И. Бялосинской)

■

Недавно было торжество открытия новой Сельницы. Я, к сожалению, не мог принять участия, зато написал обращение к моим землякам для брошюрки, которую они издали по этому случаю. И хорошо сделали — в брошюрке изложена вся история старой Сельницы, которую не знали даже многие сельничане. А село и впрямь было старинное, одно из самых старых не только в Липтове, но и на всей нашей родине. Только теперь, накануне его гибели — впрочем, как и гибели других затопленных сел,— историки наши и археологи занялись изучением района затопления, чтобы сохранить все, что достойно памяти,— не только на земле, но и под землей, а там, как оказалось, таких предметов нашлось сверх всяких ожиданий.

Много, много веков прошумело над нашими горами, над Сивым и Острым, Просечной и Хочем; долгими, долгими веками откладывались отпечатки времен на древних жилищах наших предков, на их нравах и обычаях, они отразились в их сказаниях и легендах, в их песнях, в их пословицах и поговорках; во всем этом сохранена не только история, но ум и сердце наших предшественников, их радости и печали, их слезы и пот, но прежде всего их труд — самый характерный признак нашего народа во все времена. Труд и плоды его — вот что навсегда останется высочайшей ценностью человеческих дел; вот почему величайшее, истинное счастье питается из этого источника.

Трудолюбие липтовцев давно вошло в поговорку. Оно было известно не только на родине, но и в далеком мире, всюду, куда только попадали мои земляки. Трудолюбие это не было чем-то вне самого человека, не было этакой самоцелью — земляки мои вкладывали в труд чувства свои, свою душу. Труд был для них как бы песней, как бы прославлением человека, он нес все признаки народного гения и помогал лепить общенациональный облик словака. Есть это в песнях, с которыми косят сено, или стругают драть, или треплют лен, или прядут, или подрезают виноградную лозу... Этот свой характер принес с собою липтовец и в новые времена. Однако и они ведь не с луны свалились, эти новые времена, требовались человеческие усилия, требовались борьба и жертвы, чтобы они настали. В этой борьбе не стояли в стороне и липтовцы — напротив, они шли в первых рядах, пробивающих путь к свободе и социализму. Шли в первых рядах и люди из моего родного села, Липтовской Сельницы.

И само это родное мое село становилось теперь как бы символом самопожертвования во имя новых времен. Оно жертвует собой, чтоб светло было, чтоб сила была, энергия и красота,— за все это отдает Сельница свои старые тихие огороды, припечки и садики, отдает ради общего блага, ради будущего. На пороге этого будущего вырастает новая Сельница, несущая на себе уже все признаки его, его размах и вольность, его яркий свет и смелые перспективы. Хочется, чтобы новые поколения наполнили эту новую Сельницу плодотворным, полезным трудом на ниве экономики и культуры, чтобы новые странички скромной нашей исторической летописи были достойны предков, чтоб жизнь молодых стала осуществлением надежд и чаяний ушедших. Думаю поэтому, уместно здесь хоть коротко рассказать историю села, пожертвовавшего собой для новых времен.

Название Сельница происходит от корня «село» (в значении обработанная земля, двор на ней): этот корень яснее слышится в словах — сидеть, сел, осел. Так слово «сельница» означает населенный пункт с постоянным, не кочевым, населением. Наши предки-земледельцы жили здесь скромно, имея только то, что они сами вырастили на полях, в своих дворах и на лугах, что наловили в реках и в лесах, что сами напряли и наткали. Но во второй половине XII века в Липтов проникли воинские отряды угорских королей и установили свою власть над совершенно свободным до тех пор народом Липтова, который мирно жил в своих сельских общинах. Не только леса, луга и пастбища, но и пахотные земли находились в общей собственности, земли время от времени перераспределялись среди семей, в зависимости от количества членов,— земли хватало.

Через Сельницу вела важная дорога к Липтовскому Граду на реке Сестрче (эта крепость была выстроена около 1262 года новыми властителями, на развалинах более древней) и далее, через Ораву, в Польшу. В крепости Липтовский Град размещался военный гарнизон во главе с придворным вице-ишпаном [1] — заместителем зволенского великого жупана. Тогда крепость перестала защищать население, а сделалась оплотом жестокой власти, эксплуатации и угнетения народа со стороны развивающегося класса феодалов. Начинался период первых известных в истории Липтова классовых боев. Феодальные отношения неотвратимо укреплялись, и свободные члены земледельческих общин постепенно закабалялись, становились крепостными.

Уже в XIII веке, по мере укрепления феодализма и усиления привилегированного класса магнатов и дворян, общины начали распадаться. Короли и их наместники — жупаны — изымали из общинного владения крупные земельные наделы с лугами и лесами и одаривали этими угодьями своих заслуженных военачальников, придворных и сановников церкви. Так стала уменьшаться и слабеть сельницкая община. Первое письменное свидетельство о ней восходит к 1256 году, когда король Бела IV отнял у сельничан земли у подножья гор (позднее там возникла деревня Квачаны), чтоб подарить их банско-быстрицкому старосте Ондрею. Через три десятка лет от Сельницы отторгли землю в Просецкой долине, где сейчас деревня Ижиповцы, а годом позже — земли для деревни Просек и Матиашовцы.

А под конец и сама Сельница превратилась во владение Липтовского Града (который называли еще Большим Градом Липтова) и оставалась в крепостной зависимости даже после того, как король Матьяш в 1474 году завоевал этот Град и разрушил его, положив конец мятежу жупана Коморовского, соратника Искры и противника Понграца из Микулаша. О принадлежности Сельницы к Граду свидетельствует то, что Сельница получила в наследство леса вокруг Града, за рекой Сестрчей, хотя между нею и этим Сельницким старградом лежат земли трех деревень — Липтовской Анны, Буковины и Ижиповцев. Это «наследство» было лишь слабым вознаграждением за старые бедствия, угнетения и ущерб, причиненный жителям села за долгие годы беспорядков и раззора, особенно во времена гуситских походов, когда гуситы долго удерживали крепость Ликаву. После падения Липтовского Града его вассальные села были отданы во владение именно этой самой Ликавы под Ружомбероком, и в число их входила Сельница, так продолжалось вплоть до конца эпохи феодализма.

Выгодное положение Сельницы и трудолюбие ее жителей привели к тому, что 2 марта 1463 года король Матьяш присвоил ей права города, правда вассального, с низшими судебными правомочиями и освобождением от пошлины в окружности двенадцати миль. Сельничанам разрешалось свободно охотиться и ловить рыбу, но только не в Сестрче и Теплой. В их обязанности входило платить ежегодно по 18 золотых флоринов, сдавать по 18 ведер ячменя и обрабатывать поместье Блата под Градом, а также варить для Града пиво из господского ячменя и своего хмеля. Часть сельницких угодий тоже принадлежала Граду, и эта часть до сих пор зовется «Шпание» (от искаженного «жупан»). На месте старой пивоварни до недавних пор сохранялся погреб, а место так и называлось — «Под пивоварней»..

После восстаний сословий и религиозных войн XVII века, когда Липтов и Сельница подверглись тяжким испытаниям — особенно во время куруцких войн Имре Тёкёля, союзника турков, и в начале XVIII века при Ференце II Ракоци, после заключения мирного договора в 1711 году,— наступили времена поспокойнее, однако гнет не смягчился. Многие семьи бежали от этого гнета на так называемую Нижнюю землю (территория нынешней Венгрии), освобожденную от турецкой власти, но тем тяжелее ложилось бремя на оставшееся население.

Явное улучшение положения настало при императоре Иосифе II, тогда хоть на время снизились налоги и было отменено крепостное право (в 1785 году); жители получили право свободно переезжать с места на место, обучаться ремеслам, жениться — причем лица евангелического вероисповедания были уравнены в правах с католиками. Тогда евангелики и построили в Сельнице свою церковь (в 1783 г.), поначалу без колокольни и колоколов.

В начале XIX века, после наполеоновских войн, новая беда обрушилась на Липтов — разорение и чума, от которой в Сельнице погибло более 80 человек. Потом постепенно местечко стало поправляться, особенно после того, как в нем развилось производство полотна, начали работать пивоварни, лесопилка, мельница и винокуренный завод. Распространяется и образование. Школа существовала в Сельнице со времен реформации. С прогрессом в области экономики, права и образования растет и сознание человеческого и национального достоинства. Сельница представляла собой питательную почву для штуровского национального движения в сороковых годах XIX века. Здесь родился, работал и умер поэт и переводчик штуровец Само Богдан Гробонь, из Сельницы вышел просветитель

[1] Ишпан — искаженное «жупан», то есть глава жупы, административного округа.

Самуэль Амбрози, собиратель словацких пословиц и поговорок Адольф Петер Затурецкий, тут родился и работал деятель культуры Карол Сальва.

Сельское хозяйство (Сельница славилась главным образом выращиванием лука, гороха и мака), ремесла (набивные полотна, кожевенное дело), лесопилка, скромная торговля, рынок — все это улучшало экономическое и социальное положение жителей. Первая мировая война снова ввергла Сельницу, как и все прочие города и села, в страдания и беды. Сорок два сельничанина не вернулись с русского и итальянского фронтов, а многие из вернувшихся были отмечены войной неизгладимо. Особенно страдала беднота — от недостатка продуктов питания, одежды и обуви.

Великая Октябрьская социалистическая революция отозвалась в Липтове в первую очередь огромным митингом, происходившим в Липтовском Микулаше в 1918 году; в нем приняли участие и несколько сельничан. Мечта о национальном и социальном освобождении приобретала все более конкретные формы, отливалась в четкие политические требования, сформулированные в резолюциях собраний, в речах рабочих во время демонстраций. Житель Сельницы Ян Маршалко был избран в Революционное национальное собрание Чехословакии от социал-демократической партии, семья сельничанина Мраза становится проводником коммунистических идей. С течением времени трудящиеся убедились, что буржуазная республика не дала им подлинной свободы. Национальное угнетение, правда, почти прекратилось, открылись словацкие школы, учреждения, суды, словацкий язык наряду с чешским стал официальным языком — зато увеличился социальный гнет, связанный с экономическим упадком Словакии, закрытием фабрик, уменьшением возможности найти работу, безработицей,— все это особенно обострилось в период экономического кризиса 1929 — 1934 годов, заставившего многих трудящихся эмигрировать в чужие страны в поисках заработка. Лицензии на право просить милостыню, талоны на бесплатный хлеб для безработных были недостаточной и унизительной мерой, которая не в состоянии была смягчить бедствия голодных семей. Человеческое достоинство подвергалось неслыханным унижениям — вопреки хваленой буржуазной демократии с ее «гуманизмом».

У Сельницы — богатая культурная традиция. Помимо школы здесь действовало Общество трезвости, основанное в 1845 году Якубом Гробонем, в семидесятые годы прошлого века здесь работал читательский кружок; люди охотно собирались для чтения и обмена книгами. При этом кружке действовал и драматический коллектив. Нашлись документы, свидетельствующие, что еще в семидесятых годах прошлого века сельницкие любители ставили словацкие пьесы. В 1919 году возникла так называемая «Сельницкая гражданская беседа», ставившая своей целью всесторонне просвещать своих членов. Помимо этой общепросветительской деятельности при «Беседе» существовали хор и театральный ансамбль. Высшим достижением этого ансамбля был спектакль «Яношик в сосновом лесу», показанный 9 июля 1930 года. В спектакле было занято восемьдесят артистов, а зрителей собралось две тысячи человек. Режиссером был учитель Иозеф Преходский. Позднее всю просветительскую работу взял на себя филиал Матицы Словацкой.

Так называемое «Словацкое государство» Тисо нашло у сельничан мало понимания, они с самого начала прекрасно знали, что оно — всего-навсего инструмент гитлеровского фашистского режима. Зато прекрасное понимание и большую помощь нашло у сельничан подпольное движение прогрессивных сил, и еще в начале 1944 года в Хочских горах и в Сухой долине создается первый партизанский отряд. Сельничане с энтузиазмом вступили в вооруженную борьбу, да и помимо этого сделали многое. Уже 23 августа 1944 года они создали в своем селе Революционный национальный комитет, а 29 августа с ликованием встретили объявление Восстания. Шестьдесят девять сельничан приняли в нем активное участие, доказав тем свою великую любовь к народу и самоотверженность в борьбе за его свободу, прогресс и социальные права. К именам павших в первой мировой войне присоединились новые имена героев, отдавших жизнь в сражениях против фашизма. По случаю 20-летия Восстания за активное участие в нем Сельница была награждена президентом республики орденом Красной Звезды.

После освобождения начался новый период и в жизни старой Сельницы, которая с 1945 года официально называется Липтовская Сельница. Народ стал не только творцом всех материальных и духовных ценностей, но и подлинным хозяином. Национальная и демократическая революция неудержимо развивалась в революцию социалистическую; в феврале 1948 года победоносный пролетариат окончательно отстранил от власти буржуазию и под руководством коммунистической партии и Национального фронта привел к победе новый, социалистический строй. Сельница зажила полнокровной жизнью. Открылись новая средняя школа, детский сад, Дом культуры, да и Единый сельскохозяйственный кооператив Сельницы — один из первых в республике. С 1 января 1972 года

этот кооператив включен в государственное хозяйство Липтовской Теплой. О добросовестном труде моих земляков свидетельствует та сумма, в какую при этом переходе было оценено хозяйство кооператива: двенадцать с половиной миллионов крон.

На основе постановления правительства № 288 от 27 мая 1964 года в районе Липтовской Мары началось строительство гидроэлектростанции на Ваге. Сейчас это строительство подходит к завершающему этапу. Район затопления захватит большую часть сельницких земель и само село со всеми его постройками, старинными памятниками жизни многих и многих поколений трудолюбивых сельничан. Вскоре от села мало что останется, и тысячелетнее существование его в самом деле отойдет в безвозвратное прошлое.

И все же Сельница не погибнет. Вместо старой, деревянной деревни времен феодализма, вместо кирпичных домишек капиталистического периода над затопленным районом воздвигнется в северной части бывших своих земель новая, социалистическая Сельница, прообраз будущих сельскохозяйственных центров с современными домами, оборудованными по последнему слову техники, какие только может дать и дает трудящемуся народу растущая экономика нашего государства.

Фридрих Энгельс писал, что нет подлинной культуры без уважения к прошлому. Склоним же голову перед трудом и борьбой наших работящих предков, отдадим им дань уважения — но одновременно какая радость, какая гордость охватывают нас, когда мы видим новую, современную, социалистическую Липтовскую Сельницу — прочную основу дальнейшего развития и многообещающего будущего!

По-моему, чаще надо предоставлять слово историкам, демографам, этнографам, социологам и археологам, чтоб лучше и основательнее знать прошлое. В первой книге своих воспоминаний («Жаждущий влюбленный» [1]) я вступил в резкую полемику (и кажется, моя правота подтверждается последними открытиями) с некоторыми буржуазными историками, которые утверждают, будто бóльшая часть Словакии, особенно ее северная часть, заселена исторически недавно, будто тут в античные времена были только непролазные леса, чащобы, над которыми как бы еще «носился дух божий». Современная археология и история доказали, что здесь были уже первобытные поселения, не говоря об античных временах и раннем средневековье.

БОБРОВЕЦКАЯ

Захотелось мне
в этот июльский день
поглядеть и на Сивый Верх, и на Острую,
глянуть как бы с другой стороны
поседевшего детства...

Нет, не горы мои состарились — годы...
Ноги отказываются
нести меня к облакам,
и земля их притягивает
все сильнее...
Шажок за шажком,
годок за годком...

Ну-ка, попробуй еще разок,
потягайся с землею!
С кручами,
скалами...
Запах гвоздики
отваги тебе придаст,
колокольчики
к синеве приподымут...
Склонится небо и вышлет навстречу
облачный экипаж,
чтобы ты поскорей очутился рядом...
Ан нет...
Даже горный хребет
не желает склониться из состраданья
к сединам...

Только спины коней
прогибаются чуть не до Бабок,
Наружьей,
чтобы искрами из-под копыт
запалить на поляне костер —
стародавний огонь вековечных
преданий
и песен,
где сплетаются сосны и мгла.

Друг мой, погонщик,
Антон Былха!

[1] Первая книга воспоминаний А. Плавки была опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 11 за 1972 г. в журнальном варианте под названием «Влюбленный в жизнь».

Добрый погонщик наших далеких лет,
замирающих всплесками эха
под боком у Салатина!
Стой, не спеши!

Дай мне собственный голос
услышать —
ответ моих гор,
отзвук жизни,
которая нынче подводит
итоги.

(Перевод И. Иванова)

■

Разговорившись о Липтове и доведя рассказ о нем до последних лет, чувствую необходимость вернуться немного назад по времени, в Братиславу, которая, правда, в последние годы меньше оказывала на меня влияние (хотя там и было место моей постоянной работы), чем Липтов и весь просторный мир. В Братиславе, а еще точнее — в Будмерицах я уже только как бы подводил итоги моим воспоминаниям и придавал им форму стихов. Эти годы были у меня, пожалуй, самыми «урожайными». В 1961 году вышел сборник «Пальмы и кедры», через два года — «Зрелость» и еще два года спустя — «Корни». Что говорила критика тех лет о моих стихах?

Милан Пишут писал о сборнике «Пальмы и кедры»: «Свои впечатления, переживания и рефлексии от посещения далеких стран Плавка композиционно соединил в единое целое с мотивами родины, и это сочетание придает сборнику особое внутреннее напряжение. Так, его Липтов приблизился к океанам, Татры — к Гималаям. Сегодня это уже не курьез. Чувства изолированности и малости исчезают из нашего сознания Плавке удалось выразить важную мысль: дружба между народами мира — основа общей борьбы за мир».

В сборник «Пальмы и кедры» действительно вошли стихи, навеянные впечатлениями от разных стран, которые я в последнее время посетил; вместе с тем мотивы родины, составляющие второй раздел сборника, и создавали то самое внутреннее напряжение, которое так верно подметил Милан Пишут. Мне хотелось бы тут привести эпиграф к сборнику, который, пожалуй, яснее всего выражает его идею:

Семнадцать стран я видел. Не однажды
мне облизали пятки семь морей.
И только утоливши эту жажду,
сумел понять я, что строкою каждой
обязан людям родины моей.

(Перевод Н. Бялосинской)

В сборниках «Зрелость», «Корни» и в книжке «Прощай, любовь моя!» содержится много стихов, связанных с родными краями («Сивый Верх», «Приди же снова», «Над могилой цимбалиста», «Липтовский Микулаш» и др.); однако есть в них, особенно в последнем из перечисленных, и братиславские мотивы — эти мотивы я очень люблю и с удовольствием к ним возвращаюсь. Я еще в шестидесятые годы начал относиться к Братиславе как к «своему» городу, когда рассеялась моя мечта вернуться в Липтов, когда решено было, что вода зальет мое родное село. В Братиславе я купил даже половину дома с садиком, посадил в нем фруктовые деревья — своего рода компенсация за сельницкие. Садик, правда, не так велик, как в Сельнице, и не протекает поблизости горная речка, как там, дома, но все же и это — маленький клочок зеленой природы, слабенькое, но дыхание ее; а я с детства связан с природой пуповиной, которая не перерезана до сих пор. Более того, я попросил построить в саду деревянную избушку или беседку из еловых бревен, чтоб в ней поместились только письменный стол, скамья да кушетка — все из ясеня, чтоб запах дерева не покидал меня и в Братиславе.

Из Просецкой долины я привез корни горных гвоздик — очень беспокоился, примутся ли здесь, выживут ли в этом более южном климате. А они не только принялись, но вот уже несколько лет расцветают в мае, напоминая мне Липтов. Еще я привез из сельницкого сада куст крыжовника на память, и на третий год он принес ягоды величиной со сливу — так он меня отблагодарил.

В этом новом садовом микромире мне лучше всего дышится, славно работается в бревенчатой беседке, не отрывают телефонные звонки, и жена пускает ко мне только самых дорогих гостей. Иногда она даже решается на хитрость — звонит телефон, спросят меня, а она отвечает: нет, мол, его, он на даче. А что дача всего в нескольких метрах от дома — это уж другое дело.

Так мне удалось в Братиславе создать атмосферу, хоть немного похожую на липтовскую, такую благоприятную для творчества. С чувством благодарности вспоминаю о молодом талантливом архитекторе Оливере Шабике, который сделал проект моей беседки и ее интерьера. Когда я впервые засел в ней, вдохнул милый запах дерева — я радовался как ребенок. Большинство стихотворений для сборника «Завещание» я написал именно здесь — и критики (даже самые строгие)

единодушно решили, что это лучшие мои стихи. Словно эти деревца в моем саду, кусты смородины и крыжовника, эти горные гвоздики дополнили и уточнили мой опыт не только в творчестве, но и в жизни. Пусть бы так и было.

Не могу обойти один печальный весенний день — 18 марта 1962 года, когда скончался прекрасный писатель Людо Мистрик-Ондрейов, один из самых близких моих друзей. Не так давно мы поздравляли его с шестидесятилетием, и хотя он уже тогда был болен, мы все же надеялись, что он, такой жилистый и жизнелюбивый, прогонит навязчивый недуг, как не раз старался он отогнать всякого рода болезни от своих друзей. Но он не смог этого сделать, не смогли и врачи, и вот — не слыхать нам больше его увлекательных рассказов о самых невероятных приключениях, полных загадок и подвигов, неукротимой силы и отваги. Навсегда остановилось перо создателя «Юности разбойника» и «Поля виселиц».

Умер один из величайших рассказчиков, талантливый человек, и как жаль, что рассказы его не записаны.

Один из друзей Людо Ондрейова вспоминает:

«Он любил прикидываться силачом, известным драчуном, внушающим страх, этаким потомком прославленных верхнегронских разбойников. Но то была лишь видимость. Людо был по-детски нежен. Если кто пугался его высокого роста, ужасных гримас, страшных слов — Людо тотчас превращался в овечку, тотчас начинал успокаивать, защищать, окружать лаской, желая сгладить, прогнать испуг, вызванный его мнимой суровостью. Жило в нем неослабевающее стремление к жизни бурной, полной сильных ощущений. Это стремление и порождало все его преувеличения — и в том, что он писал, и в том, что рассказывал. Но то была у него только мечта, защита перед слабостью. Он хотел быть богатырем — его печаль, когда он играл на фуяре [1], была мужественной, он глубоко переживал, прочувствовал разбойничьи баллады и пастушеские песни: они говорили о человеке, способном вынести все, о человеке твердом и закаленном, как все безвестные бродячие создатели этих песен, как гора Кичера, о которой любил петь Людо. Но под этой внешней оболочкой таилась чуткая поэтическая душа. Один раз я тихонько вошел в комнату, где он лежал больной. Он не успел вытереть слезы и поспешно спрятал книгу стихов венгерского поэта Ади».

Когда мы хоронили его на кладбище в Соловьиной долине, от склонов гор отдавались звуки фуяры, любимого его инструмента. И больно становилось мне при мысли об утрате близкого друга, с которым мы провели много дней и ночей за песнями и рассказами... Передо мной висит портрет Людо Ондрейова кисти Леи Мразовой, и я часто взглядываю на его благородное лицо с небесно-голубыми глазами. Да, право, вовсе это не разбойник с Верхнего Грона — это задумчивый поэт, сплетающий тончайшие волокна поэзии, чтоб затронуть душу человека.

Весной следующего года мне стало намного легче жить. После шести лет работы первым секретарем Союза словацких писателей я ушел в творческий отпуск, а мое место занял Карол Розенбаум. Это случилось тотчас после конференции словацких писателей, состоявшейся, в порядке подготовки к III съезду чехословацких писателей, 22 апреля 1963 года. Вокруг писательского труда, вокруг задач литературы в нашем обществе и, наконец, вокруг деятельности нашего Союза снова затевалась возня. Опять начались разговоры о том, что у писателей-де «мало свободы», по крайней мере так казалось определенным людям, которые, как выяснилось несколько лет спустя, проявили себя отнюдь не божьими овечками.

В своем докладе на упомянутой конференции, которую открыл Владимир Минач и на которой присутствовал представитель ЦК Компартии Словакии Василь Биляк, я говорил:

«Наверное, никогда прежде так настойчиво писатель не желал познать жизненные проблемы своих современников, как именно теперь, когда мы хотим уяснить себе подлинный смысл и миссию литературы и искусства, в центре которых стоит человек нашей эпохи с его чувствами и мыслями, человек, который в ходе долгой борьбы освободился от неестественной воли, действующей вне его, но решающей его судьбу; человек, трудящийся человек, и здесь, в старой Европе, и в старых Азии и Африке сбрасывающий с себя ярмо угнетения. Нынешний писатель полностью отдает себе отчет, что он уже не может жить изолированно от мира, от проблем, которые движут этим миром и в конце концов формируют характер людей нашего времени, отмеченного революционным развитием науки и техники, борьбой за прочный мир во всем мире, развалом колониальной системы и в особенности — строительством социализма и коммунизма на большей части нашей планеты.

Давно ушли времена мечтаний и раздумий в элегическом уединении, вдали от «злого» мира, времена эгоцентрического, субъективистского погружения в воображаемые глубины духа, времена идиллий — и даже времена индивидуальных бунтов; искусство и литература сегодня уже немыслимы без того ветра, что веет по всему миру, проникая в самые уединенные уголки, навевая людям новые мыс-

[1] Фуяра — длинная труба, народный инструмент, имеет низкий печальный звук.

ли. Современная техника сократила протяженность мира, дала возможность лучше познавать его, современная наука проникает в микрокосм и в макрокосм, приподнимает завесу над загадками, не познанными в течение веков. Кое у кого от этих открытий науки и техники закружилась голова, и они, провозглашая наш новый век веком техники, предрекают всему искусству печальную участь, участь угасания. Я же, напротив, уверен, что если есть такое время, когда искусство приобретает исключительно важную общественную функцию, так это именно наше время; ибо искусство призвано высказать еще невысказанное, неоткрытое, сделать сокровенное ощутимым, сформировать мысль и чувство и дать засиять им в художественной форме на благо и счастье человека, во имя любви одного человека к другому, во имя идеалов коммунистической жизни.

Словацкий писатель, точно так же как композитор или живописец, не может оставаться глухим, не может не замечать великого созидательного усилия, которое он видит всюду вокруг себя на родине, гигантского экономического и культурного подъема, перерождения и роста новых людей, всех тех огромных перемен, которые заполняют нашу жизнь со времен освобождения, а тем более после победного Февраля 1948 года — наперекор всем трудностям и промахам, наперекор некоторым движениям вспять, наперекор болезням и шатаниям, присущим быстрому росту.

В прошлом, особенно в последнее время, много было разговоров вокруг атмосферы, помогающей художникам создавать творения высокой социальной активности; это было следствием прежде всего того благотворного импульса, который дали нам XX и XXII съезды КПСС, оказав влияние не только на политическую жизнь стран социалистического лагеря, но и на духовную жизнь народов всего мира...

Много норм и непреложных истин недавнего прошлого утратили всякое значение. Изменилось отношение к творческому труду, особенно повысилась требовательность к его уровню. Художественное восприятие действительности зреет долго, творческий процесс — это живой организм, на нем отрицательно сказывается всякое грубое вмешательство, поэтому мы должны разрешать спорные вопросы, а не загонять их вглубь; при этом следует исходить из всестороннего знания проблематики и специфики творчества.

Но никогда нельзя упускать из виду партийность нашего искусства; и важно, чтобы наша художественная критика ни явно, ни завуалированно не расшаркивалась перед формалистическим или абстракционистским искусством, которое, как кажется, чем далее, тем становится агрессивнее. Пусть же в наступлении будет социалистическое, реалистическое искусство во всем своем многообразии, пусть в наступлении будет социалистический реализм против всех попыток буржуазной идеологии сбить нас с пути к правдивому и сильному социалистическому искусству — органической части нашей жизни, идущей к идеалам коммунизма».

В качестве простого постскриптума к этому отрывку из моего доклада я хотел бы добавить, что в те времена говорить прямо и открыто о социалистическом реализме означало дразнить многих гусей. Нашелся даже критик, который в глаза мне заявил, что стихотворение, которое он не понимает,— более высокого художественного уровня, чем то, которое понятно. Ну, бог с ним, как писал когда-то Мольер: «Ученый дурак — бóльший дурак, чем не ученый». Конечно, не всегда можно удовлетвориться просто подобной констатацией, потому что такая и ей подобные глупости в состоянии натворить много зла. Да и натворили, как впоследствии оказалось. С глупостью тоже надо бороться, особенно если ею ловко злоупотребляют вредители, сознательно стремящиеся пошатнуть идейную позицию художника — подлинно социалистического художника.

За шесть лет моей деятельности в Союзе словацких писателей было проделано немало полезной работы. В упомянутый период Союз ориентировался прежде всего на то, чтобы помогать писателям в их творчестве; поэтому мы устраивали активы и семинары на разные актуальные темы, обсуждения новых книг, координировали поездки писателей, вместе с Литературным фондом распределяли стипендии писателям и путевки в Дома творчества, объявляли литературные конкурсы, консультировали писателей, стремились создать наилучшие условия для их работы и организовали отделения Союза в Банской Быстрице и в Кошицах.

Уже тогда Союз уделял повышенное внимание молодым писателям, вместе с редакцией «Млада творба» организовал активы и встречи молодых писателей в Братиславе, Банской Быстрице, Кошицах, Прешове, Нитре, Лученце и в других городах Словакии, устраивал семинары молодых, помогал литературным кружкам в провинции, выхлопатывал для молодых талантливых писателей стипендии и бесплатные путевки, заботился об их трудоустройстве и условиях для творческой работы, обсуждал их рукописи, систематически следил за их творческим ростом и наиболее способных принимал кандидатами в члены Союза писателей.

Нам важно было также утверждать единство социалистической литературы Чехословакии. Союз словацких писателей устраивал и поддерживал мероприятия, направленные к расширению контактов между нашими национальными литературами; тут были поездки писателей в порядке обмена — чешские товарищи приез-

жали к нам, словацкие, венгерские и украинские писатели — в Чехию и Моравию. Мы проявляли активность в области издательской политики, когда речь шла о взаимных переводах наших литератур; правда, нередко приходилось требовать более высокого уровня этих переводов. Стоит еще подчеркнуть нашу заботу о секции венгерских и украинских писателей и об их более тесной связи с жизнью всего Союза писателей.

Конечно, много было и других хлопот и забот. Одно наше издательство «Словенски списователь» требовало огромного внимания как в экономическом, так и идейном отношении. Правление Союза писателей не раз занималось проблемами этого издательства и принимало решения, которые надо было осуществлять в сотрудничестве с руководителями издательства. Много хлопот доставил нам и журнал «Культурни живот» — чем дальше, тем больше этот наш орган ускользал из-под влияния Союза, пытался проводить свою собственную культурную политику и в конце концов зашел в совершенный тупик.

С 22 по 24 мая того года в Праге состоялся III съезд Союза писателей Чехословакии. Съезд открыл Вилем Завада; зал бурными овациями встретил слова приветствия, которые он обратил к присутствующему среди делегатов Ладиславу Новомескому.

На передней стене зала была написана цитата из постановления XII съезда КПЧ: «Партия и народ ожидают, что деятели искусства не колеблясь пойдут в их рядах, будут смело вскрывать и отражать новые явления жизни, пролагая пути новым тенденциям развития». В духе этого постановления был составлен и доклад первого секретаря Союза писателей Чехословакии Ивана Скалы, а также и многие выступления; однако в некоторых выступлениях уже тогда можно было подметить признаки оппортунизма, противоречащего основным принципам социалистической культуры и художественного творчества. Стремлением освободиться от наследия культа личности, которое, как сказал руководитель делегации ЦК КПЧ Иржи Гендрих, «проникло в самые нелегкие для проникновения сферы — в сознание, мышление и образ действий каждого из нас без различия, пускай в разной форме и степени»,— этим стремлением уже начали злоупотреблять, желая ослабить социалистическую идейность в творчестве. Кто задастся целью проследить, где источник того мутного потока, который позднее столь откровенно прорвался на IV съезде чехословацких писателей, найдет его именно здесь.

Я не ставлю задачей своих воспоминаний анализировать сложные процессы, проходившие между отдельными писательскими съездами, поэтому лишь отрывочно касаюсь некоторых более важных фактов, влиявших в то время на образ мыслей и поступки людей, а следовательно, и на меня.

Иван Скала в своем докладе о задачах литературы сказал ясно: «Наша литература видит свою главную цель в том, чтобы воздействовать на эмоциональные и интеллектуальные стороны человеческого сознания, в интеграции всех жизненных сил, в развитии и обогащении жизни, стремящейся к наибольшей полноте; задача литературы в том, чтобы возбуждать и укреплять положительную активность людей, участвовать в выработке моральных норм, во всестороннем воздействии на читателя, направляя его к общественным, этическим и эстетическим идеалам коммунизма: в том, чтобы участвовать в формировании развитой социалистической личности».

Были на этом съезде выступления, никоим образом не согласующиеся с основным докладом, одобренным выборным органом Союза и прочитанным Иваном Скалой; эти выступающие, напротив, старались ослабить впечатление от доклада и определить всю культурную политику Союза как слишком «догматическую». Впоследствии — особенно на IV съезде писателей — давление этих групп привело к известным результатам, означавшим полный тупик как для самого съезда, так и для всего Союза чехословацких писателей. Но об этом позднее.

■

Наиболее замечательным мероприятием писательского Союза была, пожалуй, международная встреча писателей в Талах под Банской Быстрицей, созванная в 1964 г. по случаю 20-летия Словацкого национального восстания. Помимо словацких и чешских писателей в ней приняли участие Илья Эренбург, Борис Полевой и Григорий Бакланов из СССР, Ян Гисгес и Владислав Махейек из Польши, немецкий писатель Стефан Гейм, венгерский писатель Имре Добози, Камен Калчев из Болгарии, Чедо Вукович, Младен Оляча, Милош Богдич из Югославии и Лауренциу Фульга из Румынии.

Горная гостиница на Талах, в том месте, где двадцать лет назад сосредоточивались части словацкой армии и партизанские отряды, чтобы защищать «остров свободы» — повстанческую территорию — от превосходящих сил разъяренных немецких войск, стала как бы уютным очагом, вокруг которого сошлись писатели социалистических стран, чтобы вспомнить трудные годы второй мировой войны,— подчеркнуть миссию и смысл антифашизма в искусстве и особенно в литературе.

Ладислав Новомеский сказал тогда в своей вступительной речи, которую он озаглавил «Антифашизм, имя твое — человечность»:

«Законным отцом антифашизма в духовной области было искусство, протестующее против того, чтобы топтали или хотя бы ограничивали человечность, и воспевающее человечность,— одним словом, искусство, служащее благородному гуманизму, достигшему своего триумфального апогея в социалистическом гуманизме нашего века. Нацистские костры отринули с Марксом — Томаса Манна, с Лениным — Пушкина и Лермонтова, отринули всю историческую линию гуманистической, очеловечивающей культуры в ее величайших достижениях — от христианского идеализма до материалистического социализма,— и, будьте уверены, сделано это не случайно, не из прихоти. Разве из этих фактов не вытекает с предельной ясностью, что неустанный протест искусства против варварства и варваризации жизни, против равнодушия к любому проявлению ее, неустанные усилия очеловечить искусство и населить его людьми — и есть антифашистское искусство, помогающее поддерживать единственный в своем роде критический дух европейского и мирового сопротивления фашизму, дух восстаний против него в середине нашего века, точно так же как и формировать антифашистское сознание поколений, не познавших — слава богу! — на собственном опыте бесчеловечной ярости фашизма? По-моему, гуманистическое, очеловечивающее искусство, какой бы стороны человеческой жизни оно ни касалось, и есть сознательное антифашистское искусство, точно так же как именно отвергнутый фашизмом дух гуманизма в существенной мере способствовал вырабатыванию антифашистского сознания у десятков народов нашего континента, да и во всем мире, в годы тяжелого противоборства с антигуманизмом фашизма. Дух гуманизма — вот сила, питающая антифашизм».

В тот прекрасный августовский день вышли мы из гостиницы на вольный воздух, вниз, к горной речке Быстрянке; ветерок с Приеслопа и Лома обдувал наши немножко вспотевшие лица, и не один из нас возвращался мыслью на двадцать лет назад, когда именно здесь, в этих местах горели от волнения лица партизан и солдат регулярной армии, готовых к бою, готовых к величайшим жертвам.

Затем мы поднялись на Срдечко, и фуникулер вознес нас к самым гребням Низких Татр, на Хопок, откуда открывается неповторимый вид на Высокие Татры, на мой родной Липтов и Кралеву-Голю, на ломаную линию горных хребтов, вершин, долин между ними, выбегающих на широкие поля, где, словно игрушечные, белеют деревушки, в которых живут свободные люди, исполненные надежд и веры в будущее. Мы с Яном Пиларжем, давним моим приятелем, поднялись на самое темя Хопока, чтоб насладиться несказанным великолепием, и радость искрилась в наших глазах, как драгоценнейший бриллиант.

— Не удивляюсь тебе, Андрей, что ты так любишь родной край,— тихо сказал Ян, и ветерок донес до меня его слова.— Он так прекрасен, что хочется плакать — плакать, Андрейко...

Участники встречи посетили затем многие памятные места, связанные с Восстанием, поговорили с людьми, с представителями народной власти, которую уже никто не вырвет из наших рук.

Рассказав об этой незабываемой встрече, не могу не вспомнить и другую, задуманную как продолжение первой, с тем чтобы утвердить традицию — отмечать каждую круглую дату Восстания. Эта новая встреча состоялась уже в тридцатилетие Восстания, в Банской Быстрице, 10 и 11 сентября 1974 года. Память о ней совсем свежа у меня, ведь и года еще не прошло с тех пор до дня, когда я пишу эти строки.

К сожалению, некоторых участников первой встречи уже не было в живых, как, например, Ильи Эренбурга; его другу Лацо Новомескому, главному докладчику на первой встрече, исполнялось 70 лет, и тяжелая затяжная болезнь приковала его к постели. Из дорогих наших друзей-ветеранов снова приехали к нам Борис Полевой и Имре Добози. Но в славной столице Восстания, Банской Быстрице, мы приветствовали новых наших друзей и товарищей, даже из далеких заморских стран.

Уже на второй встрече число иностранных участников-писателей сильно возросло. Мы были очень рады тому, что приехали к нам прогрессивные писатели и из других стран, кроме социалистических. Их выступления весьма многозначительно поддержали девиз этой второй нашей встречи: «Антифашистская литература в борьбе за мир и социализм».

В тот сентябрьский день на нашем заседании в банско-быстрицкой гостинице «Люкс» я, открывая встречу, сказал:

«Мне выпала большая честь приветствовать вас от имени Чехословацкого правления писательских союзов в старинном историческом городе, Банской Быстрице — городе, уже в далеком прошлом отмеченном стремлением к свободе, но который прежде всего в нашей новой истории стал символом единой воли, согласного биения сердец народов, с незапамятных времен населяющих нашу родину от Шумавы до Татр, родину, столько раз подвергавшуюся порабощению и угнетению,

но всегда рождавшую героических сынов, чтобы они вновь вознесли ее на вершину славы и свободы.

В эти дни наши народы отмечают тридцатилетие Словацкого национального восстания, одного из тех революционных деяний, которые способствовали поражению фашизма, самого беспощадного поработителя нового века. Но славный этот юбилей отмечают не только наши народы — их борьба коснулась еще двадцати семи народов, чьи сыны сражались у нас, далеко от своей родины, придавая нашему Восстанию глубоко интернациональный характер, видя в нем воплощение чаяний всех свободолюбивых народов. В словацких горах сражались тогда столько же за свободу словаков и чехов, сколько и за свободу русских, французов, болгар или румын, поляков или других наций.

Словацкое национальное восстание, этот героический подвиг маленького словацкого народа, отважившегося подняться против превосходящих сил фашизма, навсегда останется одной из самых светлых страниц не только его собственной истории, но и всей новой истории европейской и всемирной борьбы за прогресс и гуманизм, за свободу человека. В этом Восстании закладывались основы более справедливого социального устройства нашей жизни, основы, впоследствии укрепившиеся в освобожденной стране в интересах самых широких слоев населения. Но в ходе Восстания закладывались основы и нового видения, нового отражения мира, нового смысла художественного творчества и всего понимания культуры вообще. И если мы на нашей встрече приняли девиз «Антифашистская литература в борьбе за мир и социализм», то мы только подхватываем инициативу тридцатилетней давности, проявленную тогда нашими писателями именно в этом городе во времена, когда слово было поистине оружием. Такой важный вклад писателей в борьбу за новое лицо нашего общества — и не только в нашей стране — следует умножать и расширять; такие встречи, как наша, становятся прекрасным поводом для того, чтобы подвести итоги этим усилиям и их результатам. Это — в интересах всех наших литератур, их развития, их направленности, в интересах благородных целей человечества. А для нас самих такие встречи — это как бы вехи на пути, возле которых нам должно еще и еще раз задумываться о миссии искусства и литературы, о том, согласуется ли их развитие с теми идеями и идеалами, с которыми лучшие сыны народов шли в бой за будущее.

Мы не раз убеждались, что мир и счастье неотделимы друг от друга и что писатель, как художник, не может оставаться безразличным, когда кто-то ставит мир и счастье людей под угрозу,—писатель обязан быть на стороне людей, на стороне мира и того человеческого счастья, которое создается только в условиях мира. Если писатель заметит, что миру грозит опасность, его долг — выступить на его защиту всем своим нравственным авторитетом, всеми своими произведениями. Вот в чем заключается миссия художника в нашу эпоху.

Кто, как не мы, писатели, должны желать, чтобы, как в долинах Татр или Кавказа, точно так же и в предгорьях Анд и Пиренеев склоны гор отражали многократное эхо песен, а не грохот взрывов; чтобы в соленые воды морей и океанов не впадали реки, напоенные солеными слезами, чтобы наконец-то люди умирали естественной смертью, такой же естественной, как и рождение. Да будет же такое желание этическим обязательством каждого художника!»

Главный доклад прочитал Владимир Минач. Стоит здесь привести некоторые его глубокие мысли, выраженные в оригинальной форме:

«Феномен фашизма имеет много аналогий в цивилизациях, в том числе и цивилизации европейской. И все же это — феномен особый и своеобразный: он вышел из своего собственного лона, из лона буржуазии; в корчах, весьма похожих на предсмертные конвульсии, родит буржуазия фашизм. Недуг, чья причина в неразрешимых противоречиях социально-экономических отношений, недуг, скрываемый искусно, почти виртуозно, вдруг становится явным, и за насильственной улыбкой престарелой дамы уже видится голый череп.

В этот час падает последняя маска. Это час смерти. Рождение фашизма, его ускоренное движение, его гибель — все происходит словно в растворе смерти. И первое, чему эта ипостась буржуазной цивилизации грозит гибелью,— человеческая культура. Не другую какую-то культуру приносит с собой фашизм — тотальное отсутствие культуры, опасную пустоту, темное, всепоглощающее Ничто. Прежде чем зажглись печи крематориев в Освенциме, Майданеке — на площадях чистых и культурных городов пылали костры из книг. Первой жертвой должна была стать культура; прежде чем замучить человека, надо было замучить его культуру...

Положение западных писателей перед лицом надвигающейся гибели европейского мира и европейской культуры казалось безнадежным: подлинный «Götterdämmerung», сумерки богов. Не было надежды, не было общей идеи, не было общей цели. Историческая заслуга, историческая честь левых интеллигентов и коммунистов в том, что они подняли — не знаю, как выразиться иначе,— знамя единства, знамя единого сопротивления, совместной борьбы против фашизма. «Знамя всего прекраснее, когда оно развевается на встречном ветру»,— писал в этой связи датский писатель Сёренсен. Разумеется, единство не разразилось

мгновенно, оно не родилось — но рождалось. То был процесс объединения, осуществлявшийся не по команде, но вырастивший из необходимости — и из идеи. Из необходимости — потому что дело шло о жизни, в том числе о жизни культуры и литературы. Из идеи — можно сказать, пророческой идеи,— которую посеяли такие лучшие ее продолжатели европейских гуманистических традиций, как Максим Горький или Ромен Роллан. Биохимики доказали, что зерно прорастает даже через несколько тысячелетий; идея является и становится делом всякий раз, когда этого требует историческая необходимость...

Напрасно было бы вспоминать — то есть только вспоминать. Дела тридцатилетней давности мы вспоминаем не из пиетета, а из чувства долга перед жизнью и перед будущим. То был героический период литературы и писателей; от него, от этого периода, пошли некоторые определяющие черты европейской социалистической литературы. Так что вспоминаем мы источники свои, некоторые из источников; если очистим источник — сослужим службу живой воде.

Мы знаем, что позднейшее развитие литератур, встретившихся в антифашистском единстве — особенно литератур капиталистических стран, но и социалистических тоже,— породило проблемы. Многие, готовые в суровые времена пожертвовать жизнью, в изменившихся условиях не собирались жертвовать даже собственными удобствами, они не выдержали сосредоточенного идеологического натиска буржуазии и удалились в свои эзотерические и иные прибежища. Тем чаще, тем настоятельнее надо возвращаться памятью к героическому, к подлинному значению героического. Мы знаем также, что фашизм не погиб в развалинах рейхстага, что на нашей планете, чья безопасность неделима, живет фашизм в латентных и в совершенно открытых формах. И что необходимость единства культуры и литературы в борьбе против фашизма, против той самой буржуазии, которая плодит его каждый день, точно так же настоятельна, как и в годы «классического» фашизма, что снова не будет невинных, если мы позволим себе забывать и забыть.

Когда кончается игра, идет пора игры другой:
готов к отпору партизан, готова мина под рукой.

Таков завет убитого словацкого поэта, завет живой литературе. Ибо та литература, которая хочет сотрудничать во имя спасения культуры, жизни и будущего, тоже должна сохранять боевую готовность».

Доклад Владимира Минача произвел глубокое впечатление на всех участников встречи. После него выступали многие наши писатели попеременно с иностранными делегатами.

В зале царила атмосфера подлинного единства мыслей и решимости оставаться верными заветам грандиозной борьбы против фашизма, поддерживать все прогрессивные силы, работающие для сохранения мира на земле и для построения общества без эксплуатации — социализма.

Как десять лет назад, так и теперь участники конференции посетили некоторые памятные места Восстания, как, например, Гронский Бенядик, Звоницу у Стречно, Немецкую, памятники в Зволене и других местах. Но самым незабываемым был вечер высоко в горах, у пастухов Единого сельскохозяйственного кооператива в Пониках, который устроил для нас этот кооператив во главе с его председателем Героем Социалистического Труда Ондреем Голецем. В сентябрьской ночи пылал костер дружбы, вокруг огня плясала поницкая молодежь в национальных костюмах, и песни этой молодежи утверждали радость жизни, полной надежд и уверенности в светлом будущем. Музыка играла, и многие из нас подхватывали песни, словно развеселившиеся молодые парни. Писатель Людо Зеленка, широко известный у нас как народный «сказитель», как «дядюшка из Детвы» [1], развлекал нас веселыми побасенками, и до поздней ночи звенел в чистом горном воздухе веселый смех.

■

Не раз приходилось мне встречаться с людьми, которые вдруг признавались: «Ой, пан мой, начни я только рассказывать о себе — можно целый роман написать!» Случалось, приносили мне кучу исписанной бумаги, «сырья», в котором содержались заметки о человеческой судьбе, чаще всего горькой и безрадостной, какими были в сущности судьбы почти всех в начале нашего века. Несомненно, судьба каждого человека достойна воплощения в литературе, жизнь каждого по-своему роман, пускай не написанный, а только пережитый — однако вовсе не все становится предметом писательского интереса.

Немало человеческих судеб вызывало во мне такие размышления, частенько я уже готов был пуститься писать — и всякий раз пугался огромности этой труднейшей задачи: я понимал, что должен буду отдать свое дыхание другому

[1] Одна из областей Словакии.

человеку, а его едва хватало и для собственной моей жизни. Годы бежали, дыхание становилось все короче, пока осталось уже только для одного меня; но все-таки оно еще служило совести моей, которая постоянно напоминала, заставляла браться за перо, обмакнуть его в собственные печали и радости, в собственное горе и счастье, в собственную кровь. Пан мой, ведь и моя жизнь — целый роман, и, надеюсь, дыхания моего еще хватит на нее. Так что не мешкай, братец, время-то бежит, не опоздать бы... Не любит человек думать об этом, обычно кто-нибудь другой напоминает ему о беге времени, о том, что можно опоздать... Мне, к счастью, напомнил об этом не кто иной, как знаменитый хорватский композитор и дирижер Крешимир Баранович.

Однажды прекрасным июньским днем 1965 года гуляли мы с друзьями по старинной белградской крепости Калемегдан, восхищаясь изумительной панорамой слияния Савы и Дуная, любовались монументальным памятником Мештровича — и вдруг, среди крепостных стен, увидели высокую фигуру Крешимира Барановича. Я не встречал его с тех пор, как он гастролировал в Братиславе. Он тогда очень близко сошелся с братиславским миром искусства, стал совсем нашим, полюбил Братиславу и ее богему, много сделал для культурной нашей жизни, особенно в области музыки. Уехал он от нас, кажется, в 1947 году. Теперь в этом старом историческом месте, мы встретились очень сердечно, и он, обрадованный встречей, пригласил нас провести вечерок в уютном белградском винном погребке «У двух рыбаков», что неподалеку от ярко освещенного центра города, в круто спускающемся переулочке; а погребок со своими деревянными стенами и впрямь оказался уютным — в таких местах раскрываются сердца и души, особенно если подбодрить себя превосходным вином.

Когда мы пришли, Баранович уже сидел за «своим» столом — он сам признался, что ходит сюда регулярно. Поздоровавшись, мы расселись, и наш друг Габо Рапош спросил для начала:

— Маэстро, почему погребок называется всего лишь «У двух рыбаков»? У нас в Словакии всюду цифра три: Три Дуба, Три Короны, «Тройка гнедых» [1] — и даже вон у Плавки стихи называются «Три прута Липтова», «Три воды».

— Видите ли,— отвечал Баранович,— двое всегда ищут третьего, приглашают его — как гостя. И если даже потом гостей набирается больше, все равно каждый чувствует себя именно третьим, самым нужным, ибо только «tres fuciunt collegium» [2].

Отлично поужинав, мы пили знаменитое далматинское вино, а Баранович с радостью вспоминал свою братиславскую жизнь, перечислял людей, события и, между прочим, наши прославленные погребки — а мы поражались его памяти, его живости и тонкому остроумию. Вдруг он махнул рукой и сказал:

— Да что! Все это уже догорает. Я теперь согласен с Рихардом Штраусом.

Мы замолчали, не поняв намека, а он, заметив это, начал рассказывать:

— Молодым дирижером я имел честь встретиться однажды с композитором Рихардом Штраусом — отмечался двадцатилетний юбилей его «Кавалера роз». Мне тогда было лет тридцать, ему около шестидесяти. Сидели мы за чаркой вина, шутили, восторгались его памятью и юмором — он особенно умел рассмешить присутствующих дам,— а он вдруг как-то осекся, хитро подмигнул, да и говорит: «Знаете, господа, я-то ведь уже не Rosenkavalier, а Sklerosenkavalier [3]!» Кто другой мог бы еще так сказать, а он сказал, да с каким блеском! Так что не забывайте — мне теперь уже на десять лет больше, чем было тогда Штраусу, и «Кавалера роз» я не написал...

Сидели мы так до поздней ночи. То была одна из тех встреч, которые остаются в памяти на всю жизнь. Потом мы проводили Барановича до его дома — это было недалеко. Уже утих ярко освещенный бульвар, июньская ночь была тепла и светла. Огни неона затмевали мерцание звезд, наш довольно громкий говор нарушал тишину ночи. Прощались мы долго — кто знает, увидимся ли еще.

Пожимая мне руку, Крешимир Баранович сказал:

— Всего вам доброго, передайте привет моим братиславским друзьям — а сами, коли хотите что-нибудь написать, торопитесь, пока вы еще, можно сказать, кавалер роз!

Когда я несколько лет спустя начал писать своего «Жаждущего влюбленного», невольно вспомнились мне эти прощальные слова Барановича.

■

В следующем, 1967, году я должен отметить два события. В ноябре мне исполнилось шестьдесят лет, а когда собираешься на пенсию, суммируешь результаты своей жизни и вместе с тем готовишься доживать свою старость. Трудно

[1] Соответственно: название партизанского аэродрома, горы и повести писательницы Маргиты Фигули.
[2] Трое составляют коллегию *(лат.)*.
[3] Не кавалер роз, а кавалер склероза *(нем.)*.

примириться с этим фактом, всегда застающим нас врасплох, но чем скорее примиришься с ним, тем лучше для тебя — избавишь себя от лишних терзаний...

Я сказал «пенсия» и через несколько месяцев действительно вышел на пенсию. Уполномоченный по делам культуры вручил мне орден Труда, благодарственное письмо в награду за мою долголетнюю деятельность на ниве культуры и драгоценный подарок — оригинал Базовского, которого я особенно люблю и лично хорошо знал. Я не подозревал тогда, что пройдет один только год, и меня снова призовут на еще более ответственную культурно-политическую работу. Но об этом позже.

Другим важным событием, которое я хотел бы коротко отметить, был IV съезд чешских и словацких писателей, состоявшийся в Праге в июне 1967 года при участии четырехсот делегатов. Сотрудники обоих журналов Союза писателей, «Литерарни новины» и «Культурни живот», начали подготовку к съезду еще в начале года. Редакционные статьи да и другие выступления на страницах этих наших органов печати весьма характерны. Я уже упоминал, что деструктивные тенденции шестидесятых годов восходят к III съезду писателей и даже к еще более раннему времени.

И уже тогда проклевывались антисоветские тенденции — где робко, где посмелее, там в ухмылках, тут в анекдотцах, а все это имело одну цель: помешать развитию социализма, нарушить братские отношения с советским народом. Будто уже совсем забыли о беспощадной борьбе против фашизма, об идеях революционной борьбы и во время Словацкого национального восстания, и во время восстания чешского народа, и потом, позднее, в феврале 1948 года. Словно все это не имело никакого касательства к «реформаторам» и «возродителям», словно им и дела не было до сотен тысяч жизней, отданных за новое общество, за новый строй, за лучший, более справедливый мир без эксплуататоров и тунеядцев. Тут уж подняли лай всякие самозванцы, авантюристы и проходимцы, чересчур готовые «реформировать» социализм, который якобы зашел в тупик. К сожалению, оба литературных журнала, «Литерарни новины» и «Культурни живот», все больше и больше предоставляли свои страницы людям, большинство которых не имело ничего общего с профессией писателя.

Для характеристики атмосферы, создавшейся в то время, приведу два примера из собственного опыта. По случаю моего шестидесятилетия меня пригласили в одну из гимназий Микулаша на беседу, которая и прошла довольно успешно. В этой школе я не бывал с тех пор, как сам окончил ее сорок лет назад,— тем интереснее было мне, как, впрочем, и ученикам и учителям. Энтузиастка — преподавательница словацкого языка написала коротенькую информацию в «Культурни живот» о нашей беседе и дала мне ее прочитать.

— Хорошо вы написали,— сказал я ей,— только не знаю, поместит ли это «Культурни живот».

— Почему?— удивленно спросила она.

— Да потому, что я сейчас для этого журнала отнюдь не «персона грата».

Я оказался прав. Информация помещена не была.

А месяца через два молодой редактор журнала «Культурни живот», ответственный за раздел литературы и поэзии, попросил у меня два-три стихотворения для публикации. Я дал ему два небольших стихотворения, но заметил, что сомневаюсь, напечатают ли их. Юноша, еще не посвященный в тогдашнюю практику редакции, наивно спросил:

— Но, дядя Андрей, почему же их не напечатать?

— Вот увидишь!— ответил я.

И, конечно, стихи не были опубликованы. Их даже набрали, но рассыпали набор по распоряжению редакционного начальства.

Итак, на IV съезде писателей в Праге были всякие выступления, так и сыпались требования «писательской свободы» и свободы вообще. В конце концов это взорвало Александра Матушку, и он в своей речи так сказал о свободе творчества:

«Зримо и незримо над нашим съездом витает девиз: свобода творчества, свобода пространства для литературы как основное условие для ее нормального кровообращения. Если думать не только о том, сколько славы это нам принесло и еще принесет, но и о том, сколько и какую творческую энергию это уже высвободило и еще высвободит,— то это хороший, прямо-таки замечательный лозунг. Однако в пылу экзальтации не следует его абсолютизировать, следовало бы остановиться хотя бы на том трюизме, что свобода не означает права делать все, что нам понравится,— свобода означает также, что мы, по собственному решению, будем делать то, что нужно; свобода творчества — не только цель, но и средство; ее вес равен весу ее плодов.

Свободен тот поэт и тот писатель, который не облегчает себе труд, не отступает перед препятствиями на пути его искусства; тот, кто по-новому или по-старому, а то и по-новому и по-старому — одним словом, по-своему, эти препятствия преодолевает и без боязни, но и без цинизма участвует в том, что он обрел. Менее, мне кажется, свободен поэт или писатель, движимый одним лишь стара-

нием быть кем-то из ряда вон выходящим, быть оригинальным любой ценой, движимый старанием отличаться от других, пестовать свою особенность, да еще усугублять ее, упрямо и упорно, ибо «все дозволено», так что в конце концов он не творит уже прозу и поэзию, а всего лишь демонстрирует нам свой метод, но это в лучшем случае. Ибо в худшем случае такой поэт или писатель хвастает чужими, заимствованными перьями, вольно или невольно перенимает такие, например, приемы, как внутренний монолог, нарушение последовательности повествования во времени, отказ от персонажей,— словом, все эти алтарные святыни или условности, которые не он выдумал, но которые делают его литератором, человеком, превращающим некогда прекрасные открытия и изобретения в серийное производство и шаблон...»

А у меня и сейчас, как тогда, напрашивается замечание: что же это за свобода творчества — и для кого она, если из печатного органа Союза писателей выбрасывают лирические стихи шестидесятилетнего поэта и не хотят публиковать короткую заметку о его беседе в той самой гимназии, которую он окончил сорок лет назад? Зато там опубликовали политические статьи епископа Нечеи! Неудивительно, что несколько месяцев спустя ведущие словацкие поэты Ладислав Новомеский, Мирослав Валек и Войтех Мигалик демонстративно вышли из состава редакционного совета «Культурни живот», который постепенно совсем забрел в тупик. Свой уход из журнала эти поэты обосновали совершенно недвусмысленно: «Хотя «Культурни живот» и является журналом Союза словацких писателей, он не выражает культурно-политических взглядов выборных органов Союза... Мы не желаем впредь прикрывать своими именами тенденции, с которыми не согласны. Внешним силам удается парализовать и разлагать писательскую организацию как раз в то время, которое является решающим для дальнейшей судьбы нашего народа и культуры. Мы в этом участвовать не будем».

Увы, нашлись коллеги, писатели, даже из числа членов редакционного совета «Культурни живот», да и помимо него, которые злобно шипели на самого Ладислава Новомеского, ими же столь недавно превозносимого. А я испытал еще одно унижение: мой новый сборник стихов, который я подготовил к своему шестидесятилетию под названием «Прощай, любовь моя!», должен был выйти в серии «Круг любителей поэзии» повышенным тиражом. Его оттуда вышвырнули. Сборник вышел позже в серии начинающих поэтов, тиражом в тысячу пятьсот экземпляров. Так вот и работали. Бороться против террора такого сорта всегда нелегко. За одно из стихотворений этого сборника на меня даже обрушилась передовица в журнале «Словенски погляды», в котором я сотрудничаю уже чуть ли не полвека.

Справедливости ради надо сказать, что 27 июня 1967 года многие писатели выразили свой протест против всего хода IV съезда.

Несколько месяцев спустя, 30 апреля 1968 года, на конференции словацких писателей Войтех Мигалик сказал следующее: «В то время, которое должно было бы стать временем великого всеобщего возрождения, мне грустно видеть признаки нового карьеризма, грубой демагогии, поисков эстрадной популярности. Словацкие писатели не должны были бы бездеятельно наблюдать, как снова оживают волчьи законы кровной мести. Кривду нельзя исправить новой кривдой, а квалификация завоевывается не ораторскими приемами. Главным законом для писателя является гуманистический смысл его произведения, но этот смысл обуславливается глубоким личным участием в человеческих судьбах, подлинно человеческой заинтересованностью в борьбе того периода, который является решающим для словацкого народа, для его культуры, для его будущего».

Демагогия, о которой говорил Мигалик, и карьеризм, и поиски эстрадной популярности продолжались и далее. особенно на страницах «Культурни живот», достигнув своего апогея на известном активе словацких писателей 13 декабря 1968 года, главными вдохновителями которого были десять членов правления Союза словацких писателей, представившие в самом начале актива заранее подготовленную резолюцию и упорно домогавшиеся ее принятия.

Но я не могу забыть заседания расширенного правления Союза словацких писателей в один из дней сентября, в котором принял участие Густав Гусак, в ту пору — первый секретарь ЦК Компартии Словакии. Он ознакомил нас с политической ситуацией, вновь побуждая хранить единство рядов, говорил о миссии писателя, особенно в сложных положениях, когда порой невозможно предугадать ход развития и когда активизируются силы реакции, стараясь привлечь на свою сторону людей нестойких и колеблющихся — конечно, в том числе и из рядов писателей. Разговор с товарищем Гусаком продолжался несколько часов, это был поразительно откровенный разговор, прямой, без каких-либо reservatio mentalis [1], и я еще и сегодня считаю, что он многим открыл глаза. Особенно на будущее.

Недели и месяцы, последовавшие затем, были наполнены всякого рода обсуждениями и спорами, главным образом вокруг нашего журнала, выходившего в течение недолгого времени под измененным названием «Литерарни живот»;

[1] Задних мыслей *(лат.)*.

потом было много дискуссий с чешскими коллегами, которые еще довольно долго и упрямо настаивали на тезисах, не выдерживающих критики и прозвучавших на писательских съездах,— прежде всего на тезисе пресловутой «свободы писательского творчества», расширенной демократичности, «возрождения» социализма и тому подобное.

В Словакии же чем далее, тем громче раздавались голоса, требовавшие сначала демократизации нашей общественной жизни и уж потом — федерализации, которой давно желали широкие слои населения и которая должна была вступить в силу, в соответствии с упорядочением государственно-правовых норм, с первого января 1969 года. Это и произошло, когда президент республики Людвик Свобода подписал в Братиславском замке Основной закон.

Знаменательной вехой в жизни словацких писателей был I съезд, так называемый учредительный,— съезд уже самостоятельного национального Союза писателей. Он проходил 11 июня 1969 года, прекрасным солнечным днем, в одном из профсоюзных домов отдыха на берегу Дуная; этот чудесный день словно вдохнул оптимизм и в сердца выступавших, и в саму резолюцию съезда, в которой словацкие писатели выразили полную поддержку новому политическому руководству во главе с Густавом Гусаком. Союз словацких писателей становился тем самым идеологической организацией, руководимой выборным органом, состоящим из ведущих представителей писательской общественности всех поколений. Этот орган, правление Союза писателей, с незначительными изменениями работает и по сей день, и, можно сказать, работает успешно: с самого начала процесса консолидации он справился со многими важными задачами.

Бывший председатель нашего Союза Мирослав Валек был назначен министром культуры в первом национальном правительстве Словацкой Социалистической Республики, а на его место правление Союза писателей избрало Войтеха Мигалика. Однако три-четыре месяца спустя Мигалик тоже ушел на высокий государственный пост — председателя Парламента, и в октябре 1969 года меня снова пригласили стать во главе писательской организации. И вот я, человек, шагнувший за шестой десяток, снова очутился на улице Защитников Мира, в здании нашего секретариата, которое я покинул весной 1963 года. Как и в 1957 году, когда я впервые стал первым секретарем Союза, так и теперь ситуация была весьма нелегкой, она требовала много упорной, сосредоточенной работы. Опять начал я получать анонимки с угрозами. Не раз будили меня телефонные звонки и чьи-то голоса обрушивали на меня брань. Но благодаря сплоченности правления и секретариата Союза нам удалось преодолеть препятствия, стоявшие тогда на нашем пути.

После трех лет работы председателем Союза словацких писателей я уже спокойно мог предстать перед II съездом словацких писателей (31 мая 1972 года) с отчетом правления за этот беспокойный период, когда мы прилагали максимальные усилия для консолидации не только внутри нашего Союза, включая его международные связи, но и в области всей культуры, да и почти во всей нашей жизни — после таких горьких лет, 1968—1969. В заключение я тогда сказал:

«Дорогие товарищи, теперь, пожалуй, полезно вспомнить погожий июньский день три года назад, когда мы собрались, чтоб сообща подумать, как нам дальше быть. Мы учредили тогда Союз словацких писателей. Прошло три года, и новый опыт, новые факты помогли нам лучше продумать пути и найти лучший выход, чем прежде. Некоторые из тогдашних членов нашей организации выбыли из ее рядов. Их немного, к счастью, и это лишь доказывает, что огромное большинство словацких писателей во времена общественного кризиса с полной ответственностью осознали миссию писателя в обществе, строящем социализм...

Слово — отличный инструмент, только надо уметь играть на нем. Важно, кто на нем играет, как и что играет, и еще — кому играет. Как бы прекрасно ты ни играл — искусство твое напрасно, если тебя никто не слышит. Если подыгрываешь сам себе — что ж, сам и пляши. Или плачь. Но если твой инструмент, твое слово способно передать радость тысяч людей — твоя собственная радость, радость художника, беспредельна; и, пожалуй, только тогда поймешь ты в полной мере удел поэта и писателя в народе, чей язык служит тебе инструментом. Ведь этот инструмент ты выстругал не сам — его выстругал долгими веками твой народ, и ты взял его в руки, чтобы на нем испытать свое искусство. Это дедовский, это отцовский инструмент. Именно в этом — специфика словесного искусства. Как сказал один из наших поэтов: «На каждом из них засохла кровь». И верно — к каждому словацкому слову присохла кровь, каждое из них уже было сказано в горе и в счастье, в огне и дыму, в тюрьме или на школьной парте, вслух и шепотом, а порой только мысленно. Не злоупотребляй же им, не бросайся им по дешевке, подумай, куда и зачем ставишь его, для чего зажигаешь. Народ дал тебе его в руки — так возвеличивай же это слово к пользе народа, к добру, к славе его социалистической родины. Ибо в ней — и твоя слава».

В период между I и II съездами словацких писателей мы возобновили контакты с читателями. Устраивали на заводах, в школах, в сельскохозяйственных кооперативах, в рамках различных культурных мероприятий сотни бесед, в кото-

рых принимали участие почти все ведущие писатели; все это вызывало широкий отклик в обществе.

Я и сам с удовольствием встречался с моими читателями, чей интерес ко мне повысился, особенно после выхода в свет первой книги моих воспоминаний «Жаждущий влюбленный». Сверх моего ожидания, интерес к этой книге оказался действительно большим, и нередко приходилось мне стоять под перекрестным огнем вопросов, на которые не всегда легко было ответить. Тут мне отлично помогали участвовавшие вместе со мной в дискуссиях Ян Штевчек или Станислав Шматлак.

Должен признаться, что после опубликования «Жаждущего влюбленного» я стал получать много, много писем с похвалой, быть может, незаслуженной. Потом книгу перевели в Чехии и в Советском Союзе, письма стали приходить и оттуда. К чему скрывать, такие письма глубоко радуют автора. Но мне хотелось бы привести хоть несколько строчек из одного, очень для меня дорогого письма, ибо писал его литературовед и критик, который давно когда-то критиковал меня довольно резко,— стало быть, письмо его в высшей мере объективно. Автор письма Йозеф Феликс пишет:

«Я о б я з а н тебе сказать следующее: ты написал большую книгу — большую по правдивости, честности, человечности — и большую по словесному искусству. А главное — это ч и с т а я книга. В одном месте ты пишешь о деревне: «Она была чиста в своих грехах». Вот такой кажется мне, по прочтении твоей книги, и твоя жизнь. Местами это меня глубоко трогало. Кроме того, над страницами ее я как бы прожил часть собственной жизни — а может, часть давних своих стремлений, иллюзий, мечтаний. Родом я из такой же деревни, из тех же краев, родились мы с тобой в одну и ту же эпоху — может быть, еще и поэтому твоя книга так сильно на меня подействовала. Однако я убежден, что она так же сильно подействует и на читателей из других мест, других краев, других времен, подействует именно тем, о чем я сказал выше: своей в н у т р е н н е й ч и с т о т о й. Никуда не денешься — литература есть конгломерат не только эстетических, но и этических ценностей. И в беге времен эти вторые, пожалуй, куда более долговременны, чем первые...»

За «Жаждущего влюбленного» я получил вторую Государственную премию имени Клемента Готвальда. Это случилось 30 апреля 1972 года. А годом раньше президент республики Людвик Свобода присвоил мне звание народного художника.

Помимо бесед с читателями и разных других культурных мероприятий, помогавших процессу консолидации в нашей стране, надо было возобновить связи с писательскими организациями за рубежом, и прежде всего в социалистических странах. Поэтому в конце июля 1969 года делегация наших писателей отправилась в Москву, чтоб подписать договор о сотрудничестве между Союзами советских и словацких писателей. В делегацию входили: Войтех Мигалик, Павол Горов, Андрей Плавка и Владимир Жабкай. В том же году мы подписали договоры с Союзом болгарских писателей в Софии, а затем и Союзами писателей всех социалистических стран. Поскольку в то время Союз чешских писателей еще не образовался, и даже его Подготовительный комитет находился только в стадии становления, то мы в известной мере представляли и будущий Союз чешских писателей или, в случае необходимости, просто принимали в расчет интересы чешских коллег.

В осуществление подписанного договора с Союзом советских писателей в ноябре того же 1969 года в СССР отправилась первая крупная делегация нашего Союза в составе: Эмиль Болеслав Лукач, Ян Костра, Винцент Шикула, Винцент Шабик, Хелена Бриндзова, Ян Ференчик и Андрей Плавка. Мы побывали не только в Москве, но еще в Волгограде и Ленинграде; поездки произвели очень сильное впечатление на некоторых членов нашей делегации, посетивших эти города впервые в жизни. Эмиль Болеслав Лукач, например, в глубоком волнении, со слезами на глазах долго стоял на Мамаевом кургане перед грандиозным мемориалом героев Сталинградской битвы — так же, как и на Пискаревском кладбище героического города на Неве. Незабываемой была и встреча Лукача с советским поэтом Александром Безыменским, с которым он не виделся долгие десятилетия; такими же волнующими были встречи мои и Костры со старыми знакомыми — Алексеем Сурковым, Борисом Полевым, Александром Косоруковым и другими. В большом зале Центрального дома литераторов в Москве состоялся вечер словацкой поэзии.

Я уже писал ранее, как я 7 ноября 1951 года, взволнованный до глубины души, попал на Октябрьский парад, на трибуну на Красной площади. И вот теперь, восемнадцать лет спустя, мы с Яном Кострой и другими товарищами опять пойдем туда же, по тому же поводу. Держу в руке «Пригласительный билет № 08008», и опять дрожат мои пальцы от волнения. Волнуются и остальные — еще бы, большая честь увидеть 7 ноября праздничный парад в честь Великого Октября. Из гостиницы «Россия» мы, как нам советовали, вышли рано, предстояло пройти несколько контрольных пунктов. Температура воздуха — десять гра-

дусов ниже нуля, сеется мелкий снежок, поскрипывает под ногами, изо рта у нас поднимается легкий серебристый пар и тает на морозном воздухе.

— В общем, настоящая русская зима,— замечает Эмиль Болеслав Лукач, комментирующий всегда и все; у первого контрольного пункта он добавляет. — Правильно, порядок должен быть, ребята, не удивляйтесь,— и одобрительно кивает.

Куранты на Спасской башне бьют десять, из Кремлевских ворот выезжает первый сверкающий автомобиль. Парад начался...

В последней декаде января 1971 года в Москве состоялась конференция писательских Союзов всех социалистических стран. Сошлись многие представители писательской общественности, в том числе старые знакомые — Захария Станку, Ежи Путрамент, Йожеф Дарваш, Георгий Джагаров и другие; всех нас приняли потом в здании ЦК КПСС. Наряду с прочими я тоже имел счастье (или смелость?) выступить с рассказом о ситуации в литературе Чехословакии, особенно в кризисные 1968—1969 годы — согласитесь, задача нелегкая и в высшей степени ответственная. Потом товарищи говорили мне, что справился я хорошо. Замечательны были выступления на этой встрече Владимира Минача и Яна Соловича.

Я не собираюсь в своих воспоминаниях ни анализировать деятельность Союза словацких писателей, ни перечислять мероприятия и давать им оценку, ни писать лирическую — или нелирическую — хронику, отмечая события в их последовательности. Те события, которые запечатлелись у меня в памяти и имели хоть какое-то отношение к моей жизни, просятся на перо и, может быть, оттесняют другие, объективно более значительные — но я не виноват, если эти последние не оставили в моей душе сколько-нибудь глубоких следов. Моя книга и не претендует быть каким-то документальным материалом, объективно точным и даже определяющим место каждому событию. Это — книга субъективных воспоминаний, она, правда, исходит из фактов, но я перебираю факты, как плоды, порой горькие, порой сладкие; случается, надкушу тот или иной плод да и брошу; знаю, не всегда это положено делать, да что ж — придется вам меня простить. Вот уж в этом-то смысле надо предоставить мне эту самую пресловутую «свободу творчества».

Поэтому я, например, часто и с удовольствием вспоминаю одну совершенно незначительную поездку в Варшаву в марте 1971 года вместе с Владимиром Миначем и Владимиром Жабкаем. Мы нарочно поехали на автомобиле с нашим шофером Иожо Каменицким, чтоб побольше увидеть в соседней Польше. А ехали мы подписать договор о сотрудничестве между нашими Союзами. За пять лет до того я уже приезжал в Варшаву, тоже на машине, открывать выставку издательства «Татран», и мне было интересно, что нового появилось там за эти годы. Тогда, пять лет назад, страна праздновала тысячелетие «паньства польскего». Теперь в здание Союза писателей, к подписанию договора, пришло человек сто писателей, выражая таким образом свое одобрение и готовность к тесному сотрудничеству с нами, готовность углублять знания наших национальных литератур путем более интенсивного перевода лучших произведений, обменных поездок не только писателей, но и издателей и переводчиков. С этой точки зрения поездка наша была удачной, но удачной она была еще и потому, что мы увидели большую часть Польши, встречались с простыми людьми в польских деревнях, местечках и городах, через которые проезжали и в которых останавливались. Я любил ездить за границу с Владимиром Миначем, у нас с ним сходные натуры, мы всегда добросовестно исполняли свои обязанности.

Кроме Владо Минача я любил еще нашего поэта Павола Горова, человека чистого и благородного, каких мало встретишь на свете. Мы все поддразнивали друг друга: он меня — моим затопленным Липтовом, я его — восточнословацкими «землянками». В 1974 году ему исполнилось шестьдесят лет, что мы и отметили достойным образом в Союзе писателей, и я по этому случаю прочитал стихи, написанные специально к юбилею Павола.

ПАЛЕ ГОРОВУ К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ

«Чтобы было ясным поднебесье,
чтоб в словах не бились боль и страх,
чтобы чистый звук взлетал и в песнях
наших и в стихах»,—

Так писал ты, жизнь свою питая
крепким соком песен. Каждый стих
страстью жил. И вслед визжала стая
недоброжелателей твоих.

Знаю, гоготали серы гуси
много лучше тех, чьи голоса
не дошли и до ближайшей веси.
Как же им взлететь под небеса,

раззвенеться арфой разнотравья,
эхом разбудить простор степной,
новый день манить, хоть он протравит
волосы печальной сединой?

Что прекраснее, чем эти узы
с каждым днем? Мы в нем, и с нами он.
Пой, старик, на свадьбе с новой музой.
Для нее отыщешь снова тон

Песенный наш: «На заре, на зорьке
выйду ли...»— да это помнишь ты —
с той строкой и живы мы и зорки,
с нею не до бронзовой плиты.

Песни, свой напев к Дунаю мчите.
Разразит завистников беда.
Гогочите, серы гуси, гогочите.
Там, где песни, там мы господа.

(Перевод Н. Бялосинской)

(Написано в Государственном санатории на ул. Франё Краля, 25.V.1974 г., при участии Лацо Новомеского, который лежал там со мной.)

Стишок этот я писал тяжелобольной — с января уже лежал я, совершенно иссушенный бронхиальной астмой, даже ходить мне было трудно. Но я все-таки отпросился у врачей — идти-то было недалеко, от санатория до Союза писателей всего несколько десятков метров, и врачи отпустили меня часа на два поздравить друга, чокнуться с ним — конечно, всего только фруктовым соком, но все-таки.

Увы — через год и четыре месяца мой друг и собрат по перу Павол Горов ушел от нас навсегда...

В декабре того же 1974 года отмечали мы и семидесятилетие моего старшего друга Лацо Новомеского, которого, правда, затяжная болезнь приковала к больничной койке. В театре имени Павола Орсага Гвездослава мы устроили в честь Новомеского вечер поэзии, на котором читались его произведения. Прочитали и мое стихотворение, написанное к этому юбилею.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Лацо Новомескому

С высоты большого дальнего полета
оглядись вокруг и дух переведи,
прошлое свое измерь у поворота
к новой борозде на жизненном пути.
Если в этот час услышишь: «Добрый день»,
в сердце хлынет снова сила молодая.
«Ожил я теперь,— ты скажешь,— домечтаю
многовековые чаянья людей».

«Всё сквозь сеть годов просеивает время»
до поры, когда узнаешь до конца,
где добро, где зло и что пустое бремя,
что сбылось, а что — мечтания юнца,
чем же обеднил нас наслажденья час,
что уберегли мы жертвами своими —
горькими, прекрасными, страстными, живыми,
полными тревог о тех, кто после нас.

Старая любовь и боль — живое пламя —
освещают каждый поворот крутой.
С теми их познал я долгими годами,
кто горел за правду жертвою святой.
Долгий путь стихам, прекрасной их судьбе —
в них мечты людей становятся делами,
легким поцелуем радуги с полями.
Добрый день, наш Лацо, добрый день тебе.

(Перевод Н. Бялосинской)

А вот весна следующего, 1975 года, когда мы готовились праздновать тридцатилетие победы над фашизмом, поразила нас печалью. Ушли от нас, один за другим, два наших близких друга. Сначала Ондрей Клокоч, председатель Словацкого национального совета — давний мой товарищ, с которым мы были близко знакомы еще со времен партизанской Быстрицы, настоящий патриот и коммунист, который на всех своих постах всячески помогал развитию культуры. И, не успели мы вытереть слезы по нему, буквально через несколько дней внезапно скончался Александр Матушка. Умер он слишком рано, не болея — и не попрощавшись, словно хотел сыграть с нами слишком трагическую первоапрельскую шутку... Эта внезапная кончина глубоко меня ранила — ведь мы с Александром знали друг друга чуть ли не полвека, вместе с ним пережили славные и тяжкие времена Восстания, потом сложные годы после освобождения, когда — боже мой!— сколько вместе заседали на разных конференциях, активах, комитетах, сколько дней, сколько ночей провели в спорах и шутках, сколько пели и хохотали... Вот еще и совсем недавно, вернувшись с конференции в Смоленицах,

сидели мы с Матушкой в ресторане «Дакс», делясь своими печалями и тревогами, а под конец заспорили — кто над кем скажет надгробную речь... Тогда я был уверен, что делать это придется ему, а он, не предугадывая свой такой близкий, такой неожиданный конец, показывал на меня пальцем: «Ты, ты будешь говорить над моим гробом, Ондришко...»

И я говорил... Говорил 7 апреля 1975 года, в концертном зале Словацкой филармонии, когда умолк орган, который так любил Матушка...

«Ровно тридцать лет назад, в Банской Быстрице, на улице Коменского, вошли в одну скромную квартиру двое военных Советской Армии-освободительницы — так же, как входили другие советские воины в другие квартиры, чтобы посмотреть, не скрывается ли где какой-нибудь диверсант или, не дай бог, вооруженный враг; и тут, в этой скромной квартире, старший лейтенант и сержант Советской Армии нашли взволнованного, слегка побледневшего профессора, а над ним, на стене, висел портрет Пушкина...

Профессором этим был Александр Матушка. Он стоял посреди комнаты, и в его мягком взоре, в его всегда немного грустных глазах блестели слезы. Слезы радости — те, которых никто не стыдится, которые так желанны и которых так мало бывает в человеческой жизни... Старший лейтенант и сержант взяли под козырек. Быть может, им еще никогда не случалось видеть за пределами их родины этот портрет. И вот здесь, в Банской Быстрице, в городе, который они сейчас очищали от коричневой нечисти, встретились они со своим Пушкиным — в квартире незнакомого профессора, уже тогда слегка поседевшего, радостно взволнованного их появлением. Они не могли, конечно, знать, что этот самый профессор всей жизнью своей и трудами способствовал тому, чтобы их приход осуществился поскорее. Ведь в двух шагах от его дома находилась банско-быстрицкая тюрьма, из окон его квартиры можно было заглянуть в ее зарешеченные окошки — и за одним из этих зарешеченных окошек, после временного подавления Восстания, в мучительной неизвестности ожидал своей участи Александр Матушка. Оттуда рассвирепевшие гестаповцы увозили свои жертвы в печально прославленную Кремничку...

К счастью, судьба готовила ему иное соседство. Александр Матушка ляжет на банско-быстрицком кладбище поблизости от Яна Бутто, автора «Смерти Яношика»; так близко будут они лежать друг с другом, что даже в своей долгой посмертной жизни один услышит биение сердца другого.

С Панского Дела, с Урпина прибежит к ним ветерок, пошевелит ветки штуровской липы на кладбище, и она сразу станет как бы неувядающим лавром над могилами тех, кто эти лавры заслужил. А немного далее, на Радванском кладбище, прошумит в ответ другая липа, что над могилой Андрея Сладковича, певца Марины [1], и в шелесте ее отзовется дыхание поэта и сольется с дыханием его поклонника, который столетием позже ляжет в эту землю, столь любимую обоими. А там, еще выше, в Горной Леготе, липа Само Халупки вступит в этот ветряной хорал над Гроном — липа, которая в историческом сорок четвертом, взметнувшись ветвями, прогремела звонким «Бей его!» — превратив песню в оружие, которое не может притупиться.

В то время когда стих Халупки готовился нанести свой вихревой удар и банско-быстрицкая тьма начала постепенно рассеиваться, Александр Матушка вместе с друзьями готовит известный вечер Янко Краля, вечер его самых революционных стихов, вечер, расцвеченный алым — чтоб приблизить наступление зари.

Александр Матушка ждал зари в поэзии, неизбежного рассвета, порожденного закономерностью и правдой — правдой жизни и правдой художественной. Сочетания этих двух правд достигали в искусстве только те, кто был личностью, кто поистине заслужил неувядаемые лавры,— и Александр Матушка брал их за образец, освещал их труд своим могучим словом, чтоб и другие его увидели. Такими образцами, конечно, были штуровцы, затем Гвездослав и Краско. Тимрава, Есенский и Новомеский. Как часто мы вместе с Матушкой восхищались Галасом, и Есениным, и Маяковским, читали наизусть их стихи, засиживаясь порой до самого реального рассвета. И спорили — ведь не всегда и не во всем было согласие между ним и мной, как и между многими из нас,— но все мы хорошо видели, что впереди, все мы видели одну и ту же цель: счастливое будущее нашего народа, который не может существовать без доброго искусства.

Тяжко прощаться мне с тобой, дорогой Александр, но уж коли пришлось мне сделать это от своего имени и от имени твоих собратьев по перу, то легче становится на сердце при мысли, что ты — из тех людей, которые умеют досказать свое даже после смерти».

Мы проводили Александра Матушку на кладбище в Банской Быстрице и положили рядом с его отцом и матерью. Мелкий весенний дождичек мочил наши непокрытые головы, молодежный хор пел любимую его песню: «Как ты прекрасна...».

---

[1] **Сладкович Андрей (1820—1872) — словацкий поэт-романтик, автор лирической поэмы «Марина».**

Но были и радости в том юбилейном 1975 году. В нашем историческом городе Мартине, в присутствии партийной и правительственной делегации во главе с Йозефом Ленартом, Петером Цолоткой и министром культуры Мирославом Валеком, солнечным воскресеньем 31 августа председатель Матицы Словацкой Владимир Минач открыл на Гостигоре новое, великолепное здание Матицы, которое господствует теперь над городом.

В последние годы, о которых я тут упоминал, когда у меня, как у председателя Союза писателей Словакии, было невероятно много работы, много поездок и по стране и за границей, я все же успевал писать стихи, уединяясь в «праздничные» дни. В 1972 году выходит мой сборник «Завещание», а двумя годами позже, к тридцатилетию Восстания,— сборник «Не погиб на коне». Обе книги были очень благоприятно приняты и критикой, и читателями Я глубоко уважаю литературного критика Станислава Шматлака: он не только прекрасно понял мой замысел, но и дал такой критический разбор обеих книг, который очень тонко и при этом точно исследует художественную действительность стихов. Станислав Шматлак наряду с прочим пишет:

«В богатой и радужно-пестрой палитре литературных произведений, возникновение которых связано с тридцатилетием Словацкого национального восстания, поэтический сборник Андрея Плавки «Не погиб на коне» занимает одно из первых мест... Стихи сборника лишний раз подтверждают, что тема Восстания входит в творчество Плавки не извне, для него это не просто тема «по случаю»; отношение к Восстанию — неотделимая часть его личной жизни, личного участия в жизни общества...

Не каждое из стихотворений типа «Разговор», «Мать», «Сказка» и т. д. звучит одинаково сильно, но я хотел бы подчеркнуть, что именно в этом поэтическом жанре, который считают уже, пожалуй, непродуктивным в художественном отношении и «несовременным», Плавка написал вещь, которая останется, мне кажется, пусть лишенным внешнего блеска, но неувядающим украшением словацкой поэзии: это стихотворение «Мать», на первый взгляд миниатюрная, всего семь четверостиший, эпическая картина человеческой жизни, но по воздействию столь же сильная, как, скажем, «Прядка» Гвездослава или «Vesper dominicae» Ивана Краско...

Новое поэтическое слово Андрея Плавки, вдохновленное действительностью и темой Восстания, приобрелс такой специфический вес, что мы должны будем возвращаться к нему не только в волнующие дни славных юбилеев, но и в тишине наших личных соприкосновений с поэзией. Мы должны будем возвращаться к нему не только ради самого поэта, но и ради самих себя, ради новых и новых подтверждений органической связи нашего настоящего с фактом и с заветом Восстания, о котором по-новому, громко и негромко, трезво, но и взволнованно, в форме своеобразной, но понятной для всех, сказал нам поэт».

МАТЬ

Сидит под грушей тихая старушка,
как холмик памяти, у входа в дом,
и ниткой ищет у иголки ушко —
оно все у́же, у́же с каждым днем.

Зато для дали зорче глаз, и ясным
все видится в той дальней дали ей,
и только близкое заметно гаснет,
туманится, становится темней.

А осенью, когда и дождь напорист,
и лютый ветер ночи удлинит,
боль, что давно подсохла, словно хворост,
то остро колет сердце, то саднит.

Она самой себе прошепчет горько,
в глухую дверь уставя тяжкий взгляд:
«Три дня до свадьбы оставалось только
тебе, мой Дюрко...» Губы задрожат.

«А Мишко, мой второй, на Михаила
тебе бы пятьдесят сравнялось лет...»
Потом она и мужа схоронила.
Ни пахарей, ни сеятелей нет.

Идут года, как брошенные кони,
пустынной неоглядной целиной.
Она одна. Ее все ниже клонит
под старой грушей летом и зимой.

Куделью памяти ее прядется старость.
На день глядит, как на картинку, мать.
А ночь идет, чтоб снова принималась
она свой путь к могиле вышивать.

(Перевод Н. Бялосинской)

Чем завершить эту длиннейшую главу, посвященную в основном моей работе в Союзе словацких писателей, работе, в которой было много мучений, но и радостей, особенно от встреч с друзьями, нашими и — все чаще — иностранными, которые любят приезжать к нам, потому что здесь они находят раскрытые объятия, прямоту в речах, находят словацкое гостеприимство? Чем завершить этот длинный рассказ о моих соприкосновениях с окружающим миром, с людьми и событиями, затронувшими мой внутренний мир, порой трепетный, как мимоза, порой свернувшийся в клубочек от печали, но в нужный час взрывающийся в сильной радости, полными горстями рассыпая вокруг себя самое дорогое,— во имя красоты и полноты жизни? За долгое время моей деятельности в Союзе я поздравлял с юбилеями великое множество друзей — но, увы, и прощался со многими, ушедшими по пути, с которого нет возврата; тем приятнее мне было подписывать членские билеты новым талантливым молодым людям, которые когда-нибудь займут наши места, чтобы продолжить труд во имя развития нашей литературы, нашей культуры. Охотно признаюсь, что любил свою работу, как бы горька она ни была порой, любил я и товарищей моих и старался быть к ним справедливым. Каждый писатель — яркая индивидуальность, иначе он и не мог бы быть писателем, но именно поэтому в общении с ним необходима безграничная деликатность и бережность, не говоря уж о терпеливости. Не раз я готов был утратить ее — в таких случаях я всегда говорил в шутку: «Ох, и мучение мне с этими писательскими характерами!» Но хорошая новая книжка кого-либо из коллег всякий раз меня радовала, часто я хвалился на публике стихами Костры, Горова, Мигалика, позже — молодых Фельдека и Мигалковича, вплоть до самого юного Михала Худы. Не знаю более скверного чувства в нашем ремесле, чем зависть, по-моему, зависть даже хуже, чем плагиат.

Знаю от самого старшего из нас, Нестора словацких писателей, Ивана Стодолы до упомянутого юноши Михала Худы — все напрягают мысль свою и сердце, чтобы создавать самые гуманные, художественно самые убедительные произведения, достойные встать в ряд с теми, которые уже вошли в сознание народа, стремящегося к свободе и красоте, к человеческому счастью, к надежде, а не к отчаянию и гибели. Произведения, в которых чувствовался бы аромат словацкой земли, навсегда избавившейся от темноты и отсталости, земли, достойной и высокого пафоса, и того, чтобы тихонько прижаться к ней, слушая гул ее нелегкой истории — и в этом черпать национальную гордость, прозревать ее светлое будущее

Когда мы два года назад отмечали восьмидесятипятилетний юбилей Ивана Стодолы, конечно, вспоминали мы и о старых временах, о Липтове и Микулаше, о выборах во времена Австро-Венгрии и Первой республики (один из первых драматических опытов Стодолы так и называется — «Выборы»); и тут мы, старшие и старые, передавали молодым и младшим наш жизненный опыт, и многое из пережитого казалось теперь неправдоподобным, словно пришло из глубокой древности,— оно казалось бы чуть ли не трагическим фарсом, если б мы сами не были в те поры действующими лицами. Смотри, молодой драматург Ян Солович, перед тобою человек, сумевший отразить тогдашний мир, тамошнюю действительность, человек, который сплел из этой давней действительности плетку сатиры, до сих пор хлесткую и живую!

Однако, в самом деле, пора кончать эту главу, хотя на ум мне приходят имена все новых и новых писателей, которых я люблю не меньше, но ведь их более двухсот, и книга моя разбухнет до невероятия, если писать обо всех,— хоть и знаю, что было бы интересно рассказать о них. Впрочем, не хочу взвешивать на аптекарских весах! Пусть остается то, что уже отвешено... Просто мне иной раз хочется уловить, закрепить в своих воспоминаниях дыхание близкого мне человека, с сердцем которого билось в унисон мое сердце...

■

Сижу на холме Дел, когда-то воспетом Само Богданом Гробонем, позади меня шумит сосновая роща, тоже уже старенькая, помнящая детские и юношеские проделки не только нас, но еще и наших отцов, помнящая весенние праздники добровольных пожарных дружин и спектакли под открытым небом, которые с таким энтузиазмом игрывали сельницкие любители; сижу, погруженный в думы, сам похожий на старую задумчивую сосну, исхлестанную ветрами, выступающую немножко из ряда остальных — неизвестно то ли от смелости своей, то ли оттого, что ее забыли... Дует с Просечной северный ветерок, тут его от века называют «поляком» — всегда-то он, словно на сказочном ледяном коне, приносился к нам с северной польской стороны, окутанный тучами, из которых то хлестал дождь, то снегом мело, а то и так он задувал, всухую, опрокидывая копны сена или разметывая крестцы ржи, играя юбками девушек, которые он озорно вздымал до самых их зарумянившихся лиц. Вот и теперь он дует, но нет поблизости ни сена, ни хлебов, ни девушек. Не слышно и собачьего лая со дворов старой сельницы. Драночные крыши сараев давно упали меж старых груш, яблонь и

слив, усталых от долгой жизни, дуплистых и подгнивших, вобрали в себя запах земли, в которую ушли навек. Нет их — ни старых яблонь, ни слив, ни груш, нет уже и верб и тамарисков у речки, под которыми мы прятали штанишки, когда бегали купаться. Только тот давний, детский искристый смех еще звенит у меня в ушах — словно вчера... И гоготание гусей еще я слышу, слышу, как шипят старые гуси, охраняющие молодых от воображаемой опасности. Как не слышать мне тихого шепота влюбленных, прижавшихся друг к другу там, за деревней, в густой тени за стогами желтой пахучей соломы? Ах, я словно вижу парня — вот он вынул изо рта соломинку, которую жевал, чтобы искать своими губами другие губы, чтобы слиться с ними в любовном желании. И слышу какую-то мамашу с нижнего конца, она зовет в тревоге дочь: «Зузкаааа! Ступай домой, где так долго шляешься?!» Но добрая темнота не возвращает зова, поглотила его, как поглотила многое и навсегда...

Умолк дребезжащий колокол, звонивший под вечер с колоколенки католической церкви — нет уже ни колоколенки, ни самой церкви. Нет и евангелической. Но странно — в воспоминаниях своих я вижу ясно: сочельник, сходятся к церкви крестьяне, зажав под мышкой толстые молитвенники, поскрипывает снег под их подкованными сапогами. из-под усов поднимаются серебристые клубки пара; говор их стихает у дверей церкви. и вот уже могучие звуки органа всколыхнули зимний воздух, наполняя святую ночь.

Здесь где-то бегает мое детство, прислушивающееся и непослушное, бегает по приходскому саду, по всем трем школам — католической, евангелической и еврейской. . А юность бродит летними вечерами по лугам. В Печарчиной и в Сосновой рощах — здесь рассыпаны первые мои робкие поцелуи, как семена будущей жизни сердца, остались здесь и первые мои объятия, отлившиеся позднее в моем воображении в скульптурную группу, на которую из дали времен можно смотреть лишь с восхищением.

Сникли и семь старых яблонь в нашем саду, и развалился дом под красной черепичной крышей, на которую я так любил смотреть отсюда, с Дела,— нет, ничего больше нет, только этот нестирающийся образ в моей душе, разбереженной и печальной, что ищет утешения в широкошумной роще сосен — словно голос родной матери баюкает меня.. На той стороне, на другом холме над старой Сельницей, лежит старое кладбище с грустной гривкой лип и боярышника, смотрит на меня, словно угадывает — скоро не с кем будет поговорить, не от кого выслушать жалобы живых, которые уходят в немое будущее, примирившись с судьбой.

И все же! Там, повыше нового моста, что белеет перилами, выглядывает новая Сельница с высокими кирпичными домами, веселая, задорная от молодости; она протягивает мне руку, просит очнуться, принять приглашение к ней, в «переднюю горницу» Она и верно хороша — радостнее всего мне чувство, что дышу я здесь не чужим воздухом и все, что молодо здесь, не отрекается от старых корней. Тем слаще будут плоды...

Исчезает земля — клочок за клочком; там, снизу, от Вага, уже подползает, уже заплескалась вода, медленно подкрадывается к нашим местам, облизывает землю, пробует на вкус ее горечь, испытывает ее плодородность, умноженную потом, пролитым на нее веками, и теперь отдающуюся вечности воды. Земля и вода — две стихии сливаются воедино в крепком объятии, словно в любовной судороге, чтоб дать плоды во славу человека.

И здесь, именно здесь поднесла мне жизнь поистине полную чашу — чашу скорби и наслаждения, печали и радости. Жаждущий влюбленный дождался: переполнилась его жизнь. Чаша полна. Пей же ее до дна!

Когда погаснет взор, когда оставят силы,
хочу укрытым быть своей землей родной.
И даже в смертный час, и на краю могилы
отчизну воспою последнею строкой,
как те, кто пел до нас. И я уйду за ними.
Но пусть меня помянут песнями моими.

(Перевод Н. Бялосинской)

1 мая 1975 г.

■

Литературное наследие

ЭНДРЕ АДИ

К столетию со дня рождения

Не очень еще привычное за пределами Венгрии имя; необычная лирика, хотя вполне в духе нашего времени, принесшего в литературу столько необычного.

Поэтому, может быть, не так просто разобраться, что же в этом венгерском поэте (1877—1919) общего и своего. Страдал?.. Но ведь и «все» страдали. Лирика нашей эпохи замешана не на идиллии. Разве что страдал Ади — даже сравнительно с молодым Маяковским, Блоком, а не только более спокойным Верхарном — очень ожесточенно, громко. Страдал, не желая страдать и во всеуслышанье крича об этом, выставляя напоказ свои раны. Страдать так мог только сын веками закабаленной страны. Где с неслыханной даже для средневековья жестокостью была, например, подавлена крестьянская война 1514—1515 годов. Предводителя, «мужичьего короля» Дожу феодалы живьем изжарили на железном «троне», накормив этим печеным мясом его сподвижников перед казнью — и все лапотное войско зверски перебив, распяв и перевешав. Сын страны, где лишь в начале нашего столетия был официально отменен так называемый закон о кобыле («кобыла» — бревно для порки). И откуда тысячи и тысячи эмигрировали ежегодно, спасаясь от произвола и нищеты (голодная пеллагра стала, по словам Ади, настоящей потомственной венгерской болезнью)...

Какие же унижения должен был испытывать он сам, со своей голоштанной родословной (отец — мелкий, «лапотный», окрестьянившийся дворянин, как Дожа); со своей неустроенной жизнью журналиста и травимого за непатриотичный «пессимизм» поэта! Сколько горечи, шемящей нежности в иных его стихах! И какое, в самом деле, своенравно-упрямое несогласие, непокорство подымалось в нем, нежелательном свидетеле венгерского злосчастья! Опять и опять вставал он превозмогающим слабость «Геркулесом поневоле» и вмешивался, врывался в жизнь. Рисовал, например, поджог-пожар, с визгом, с дразнящим завываньем полыхающий на треклятом «графском гумне»... И как «внук Дёрдя Дожи», духовный собрат новых «мятежных ратей», которые в 1905—1907 годах въявь двинулись штурмовать монархические, помещичье-деспотические твердыни, торжествующе вопрошал:

Я Дожи Дёрдя внук, я дворянин в лаптях,
Скорбящий за народ. Эй, господа, эй, баре!
Вам не пора ль с народом-косарем
Поговорить? Ведь летний зной в разгаре...[1]

Это — и тут приоткрывается эволюция поэта в 900-х годах — уже не просто страдание, а сама жгучая и зажигавшая своей неопровержимостью ненависть к «кровавым и грубым» венгерским правителям. Ненависть, напитанная столь же пламенной любовью.

[1] Стихи во вступлении цитируются в переводе Леонида Мартынова (см. Эндре Ади. Стихи. М., 1975).

Ведь страдал Ади потому, что любил. Любил свой униженный, попранный народ. Любил женщину, нареченную в его стихах Ледой. Свободомыслящая и образованная, она поддержала поэта в его духовных исканиях. Но уже до встречи с ним связала свою судьбу с преуспевающим и чуждым искусству человеком. И животворное море любви, отравляемое этой фальшью, обратилось в «Мертвое». Прекрасный женский лик с дарящими счастье и песни глазами — зеркалом лучшего «я» поэта — стал искажаться. В нежно-благоговейную любовную лирику начал вторгаться обезображенный двойник Леды — некая трагически застывшая неживая маска. Какой поэт не воспевал любви?.. Но и любовь у Ади — и тут он опять, если близок кому-то, так, наверно, русским своим современникам (Блоку, например, с его «страшным миром») — обременена тяжким грузом жизненных противоречий.

Однако, перегорая, и эта несчастная любовь роняет каплю драгоценного металла, свою крупицу гуманного опыта: заповедь счастья для всех обездоленных. Такова горестная, но всегда очистительная голгофа поэта: от одного ко всем, от оскорбленного чувства к социальному разуму. Недаром предуведомлял Ади во вступлении к сборнику 1913 года: пером его водили и водят только Политика и Любовь, заглавными буквами словно придавая поистине «субстанциальный», символически программный оттенок этому двуединству личного и общественного.

Лишь в закабаленных, распятых, но уже социально пробуждавшихся странах тогдашней Европы могло, пожалуй, прийти столь полное приятие Жизни (тоже с большой буквы!), творящих ее Политики и Любви. И если что вменялось ему в особую вину зоилами-охранителями, ханжами-ретроградами, то именно крамольный грех жизнеприятия, крывшийся в его тоске по всем «майским ливням» бытия (см., например, стихотворение «После майского ливня»). Ибо Ади далек был от какого-либо плоского гедонизма (такое можно бы еще и простить!). Поэт требовательно звал к войне против всех «лжемадьяр», против «свиноголовых» узурпаторов свободы от лица «мадьяр истинных»: радикальных интеллигентов, студенчества, крестьян и грозной пролетарской «Улицы». Грех Ади на деле был величайшей патриотической добродетелью: вел к рабочим, в которых он обрел «кровных братьев» и единственного «бога» на захваченной «разбойными барами» венгерской земле. В братском пролетарском стане и окрепла его греховно-богоборческая «новая вера», самое священное откровение Жизни: вера в социалистический ренессанс, в подлинное спасение и возрождение человека.

Эта привлекшая поэта к рабочим вера вдохнула новый, радостный жар в его стихи. Они начинают пламенеть не только темным бодлеровским, но и алым, даже яростно-белым боевым накалом:

Проснулась кровь. Кипит огнем все!
Молчание. Никто не дрогнет.
Мы в Революцию несемся!

А в других, мерных, глухо-торжественных ритмах словно отдается поступь вышедших на улицы демонстрантов, сотрясающая тысячелетнее царство гнета:

Кроме терпенья, богаты мы всем,
Не поколеблет нас окрик ничей.
Все величавей наш голос звучит —
Мы вызываем на суд палачей!

И пусть в империалистическую войну присяжные гонители поэта, консерваторы и реакционеры, все националистическое «общественное мнение», не говоря уж о цензуре, ополчились на него с особым рвением. Пусть отметнулись его слабодушные поклонники и подражатели буржуазного, эстетского толка (см. «Останусь на цветущих лугах»). Пусть сам он не дожил до победы советской власти в Венгрии в марте 1919 года — все же целое свободомыслящее поколение выросло под его духовным влиянием. Ади стал настоящим вдохновенным провидцем революционных событий, которые свершились в России и у него на родине в последние два года его жизни, а его поэзия — светочем веры для читателей во всей габсбургской империи. «Луч надежды среди отчаяния» увидел в его лирике словак Эмиль Болеслав Лукач. «Провозвестником революции» признал его в своем некрологе Мирослав Крлежа.

Ади самого словно коснулось призываемое им новое возрождение. В высоком и реальном гуманизме — залог его поэтической универсальности и неисчерпаемой новизны. И ныне, в «год Ади», приносит своему великому поэту дань признания его страна. Открыт музей Ади в Будапеште. Новые публикации, воспоминания, статьи, выставки, стихи о нем... В столице Венгрии собрались в его честь в октябре поэты Европы на свою четвертую встречу. Главная ее тема — «Поэзия в революции и революция в поэзии» — по праву выдвинута его творчеством. Множатся переводы Ади, особенно (и это очень отрадно!) на русский язык.

«Я все-таки достигну Океана!» — возвысил когда-то голос молодой поэт, которого «сетью плотин» силились окружить литературно-политические «кроты». Гордое пророчество сбывается: поэзия Эндре Ади вливается в обетованный океан коллективистского братства народов и культур.

О. РОССИЯНОВ

Снег, исчезающий в грязи

Белые хлопья, пух серафимов,
Льдистые ноты, крохи фантазий,
Падайте, рейте и помогите
Грязи.

Небытие в высоте и безгрешность.
Как там чудесно — но это лишь грезы:
Пусть лучше грязь, чем в миражных аллеях
Розы.

Мир наш родимый (извечная песня!),
Грязный приют для фантазий и снега —
В Небытие ты смотришь с улыбкой,
В Небо.

Барки в тумане

Красные барки в дали океанской.
Радостный вымпел над синей волной.
Где твоя гавань, флот беспечальный?
Горькая и нелюдимая радость,
Хмель потайной.

Красные барки, где ваша пристань?
Держит штурвал безъязыкий моряк:
Машет руками, плещет в ладоши.
То мореход беспечальных просторов,
Смерть-весельчак.

Красная барка, кормчий веселый,
Кануть бы нам в голубизне!
По сердцу мне в Никуда уноситься,
Все, что прекрасно, погибельно, слепо,
По сердцу мне.

Красная барка над синей волною,
Скрой меня в желтый туман забытья.
Пусть меня мчит безъязыкий штурвальный
И зазвонит моя барка в тумане,
Радость моя.

Возвращаюсь в родную деревню

Глядит спокойно и сурово,
Но ждет бродягу городского,
Скрывая нежность.

Плела мне сети потаенно:
Паду коленопреклоненно —
И грех отпустит.

Скитальца, чужака, изгоя
Деревня ждет с такой тоскою,
Любя, жалея.

Не серого от утомленья —
Мальца в рубахе по колени
Улыбкой встретит.

«Забудься,— скажет мне деревня,—
Доверься мне, надежной, древней
Твоей опоре».

Баюкает и нежит сонно,
И святость мирного закона
Мне в душу сходит.

И выплакавшимся, усталым,
Отшлепанным ребенком малым
Усну навечно.

Перевод Б. ДУБИНА

После майского ливня

В легкой дымке струится Эр,
Вдалеке туманится Бюкк,
И моя усталая кровь
На исхлестанных ливнем полях
Красной песней вскипает вдруг,
Красной песней вскипает вдруг,

Пышет Солнце, лучи звенят,
Скрип травы — почти жестяной,
На земле бушует листва,
Небеса танцуют с Землей,
И целуется мир со мной,
И целуется мир со мной,

Городские мои глаза —
Зацелованные — смежив,
Тихо господа я прошу:
«Благо всякое сотвори
Для целующих этих нив,
Для целующих этих нив».

Стайки женщин рыхлят поля,
Где вершится дело весны
(О, как жить, как жить хорошо!),
Юной силы они полны,
И их ноги оголены,
И их ноги оголены.

Удержать тебя жажду

От поцелуев теряю разум —
Близости счастье,
Доброты и покорности праздник.

Сникнув — приникнув к тебе,— стенаю:
О моя женщина,
В ночь меня вышвырни, заклинаю!

Губы мои полыхать посмеют —
Растопчи меня гневно
И ледяными губами смейся.

Яви прекрасной насмешка злая:
Страсть, как палач, терзает —
Уйду, ибо слишком тебя желаю.

Пребудь же навеки желанной
И одержимой страстью
В нашем прошлом благоуханном.

Сберечь, удержать тебя жажду
И даль-чаровницу
Для тебя избираю стражем.

Сотворю я мечту такую,
Где ты будешь влюбленной —
Той, по которой тоскую.

Право женщины

Из пурпурной мечты Былого
Ты встаешь, обелиск печальный:
Ты скорбишь над моей могилой,
Женщина-мальва.

Ты лишь свой покой охраняешь,
Над могилою каменея,
Но и Смерть предвосхитить можешь
И все — что за нею.

Ты заблещешь неясным светом,
И, коль вор придет на кладбище,
Ты предъявишь святое право
Женщины бывшей.

Ты заявишь: все, что случилось,
Ты давным-давно упредила,
Потому что, меня побеждая,
Смерть победила.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Никто не заглянет

Тук-тук... Будто женская поступь...
Крадутся шаги по ступеням,
И замерло сердце в предвестье
Чудес на закате осеннем.

Тук-тук... Снова сердце забилось.
И слышу, ликуя и веря,
Как тихо и медленно кто-то
Все близится, близится к двери.

Тук-тук... Только ветер осенний
Туманную песню затянет
В могильных потемках. И снова,
И снова никто не заглянет.

Песня скитальцев-ку́руцев[1]

В лапах смерти — лет с десяток,
С жалкой саблей — в сотне схваток,
И ни жениных объятий,
Ни разобранной кровати.

Я лабанцев[2] гнал толпою,
Плакал над твоей судьбою,
Ты не бросил даже взгляда,
Край мой, господом проклятый.

Плакал — ты в ответ ни звука,
Падал — ты не подал руку,
Грудью встал — ты отступился,
Отдал все — а ты скупился.

Не жалел души и тела,
Сытый коркою горелой,
Без товарища и брата,
Без надежды и утраты.

Это время миновало,
Мне теперь заботы мало:
О гульбе, да гостеванье,
Да о чарке, да о панне.

Но кровати жгут шелками,
Точно пламя языками.
Стать бы снова сиротою
Да казниться болью тою!

Что отраднее для сердца
Нищей участи венгерца!
И скончания не знать ей,
Разве только на распятье.

Матерей скупые слезы,
Окровавленные розы
Да могила в чистом поле —
Воинская наша доля.

Перевод Б. ДУБИНА

---

[1] Куруцы — участники повстанческого антигабсбургского движения XVII—XVIII вв.; после его поражения многие из них вынуждены были жить в изгнании.

[2] Лабанцы — сторонники Габсбургов.

Подбрасываемый камень

Камень подбрось — он к земле вернется,
Так и сын твой к дому прибьется,
Маленькая страна.

Он уходит к далеким башням
И скорбит, припадая к пашням,
Где он взошел ростком.

Хочет бежать и остаться хочет —
Утихает и вновь клокочет
Его мадьярская кровь.

Гневный, любящий и неверный,
Остаюсь я печальным венгром,
Всегда остаюсь твоим.

Я взлетаю камнем безвольным,
Камнем падаю, делая больно
Малой моей стране.

Пусть бросают меня стократно,
Все равно я вернусь обратно —
Стократно и навсегда.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

ИЗ КНИГ 1912—1918 гг.

Задиристые Иисусы

Женой пречистой был Христос рожден.
С тех пор в надежде мы взираем
На мать-печальницу и сына
И ждем начала благостных времен.

Как это ожиданье мучит нас!
От напряженья всем нам тошно,
Как тошно небу на рассвете
Светлеть и лишь светлеть — в который раз.

Порой взорвется песней немота,
Желанье на заре застонет,
И пары бешено сольются —
Как будто жаждут сотворить Христа.

А время ждет-пождет, умерив прыть,
Круг замкнут именем Христовым.
Печальницы не могут миру
Веселого спасителя явить.

О матери! Христов рожайте нам,
Но только радостно, с улыбкой.
И пусть ослов заменят кони,
Подобные грохочущим громам.

Проснитесь, вера, мужество и кровь,
Звучи, мелодия победы,
Иссохшие святые чрева —
Распятые,— христоносите вновь.

Задиристое воинство Христов,
Весенних Иисусов красных,
Явись: испив страданий чашу,
Наш мир сегодня миром быть готов.

О Жизнь, прославь того, кто вступит в бой
И будет до конца сражаться,—
Рукоплещи Христам грядущим,
Давным-давно обещанным тобой.

Новый призрак

Гремит молва, что новый Призрак
Пришел не ночью, а средь бела дня
И, гордый, даже пред всевышним
Он остается в дивном шлеме
Красней огня.

Я слушаю его явленья —
Неторопливый переплеск молвы —
И ведаю: пришел великий,
Меня своей священной сетью
Опутав с ног до головы.

Не замечая барских взглядов,
Любовных излияний не любя,
Он жаждет — Призрак вечной битвы —
Борцам отдать с великой страстью
Всего себя.

Я с ним встречался не однажды,
Частенько дрался, затевая спор,
И мчался прочь, и возвращался,
И каждый раз влюблялся снова —
Сильней, чем до сих пор.

Полуденный пресветлый Призрак,
Он ослепляет взор, пьянит умы
И, прикипая к чистым душам,
Дает понять: с подобной мощью
Доныне не встречались мы.

И рыцари минутной чести,
Живущие средь суетных забот,
Как я, печально признаются,
Что не иной, а этот Призрак
Способен их вести вперед.

Мы потеряли все, я знаю,
В стране, где радости и правды нет,

Но мне отрадно Призрак встретить
И в красное одеться снова —
В его неповторимый цвет.

Со мною он всегда, повсюду,
И не способен я прогнать его;
Мне сладко, горькому мадьяру,
Твердить: у нас есть только Призрак
И нет иного ничего.

Нет ничего, лишь Призрак новый,
Его боятся все отставники,
Пред ним трепещет ум ничтожный,
На юный шаг его со страхом
Взирают старики.

Что говорить — мне жизнь постыла,
Душа впитала боль моей земли,
Но вместе с Венгрией скорбящей
Ищу, ищу я новый Призрак,
И вот алеет он вдали.

О мой господь, во прах повергни
Не верящих, не знающих любви,
А тем, которых Призрак манит,
Пошли скорее избавленье
И чудеса скорей яви.

Останусь на цветущих лугах

Цветы в лугах пестреют повсеместно,
Но забияк не стало легковесных,
Лишь ненавистники лелеют ярость.

Восторженное войско горлопанов
За мною ринулось под Солнцем рьяным:
Мол, он подходит нам — отважный, славный.

И все же, все же я один остался,
Отряд шутов-приверженцев распался,
Толпа меня ожесточенно травит.

Воздали, как монарху, мне гоненьем
И — как мóнарху — злобой и презреньем
Ничтожные гвардейцы-дезертиры.

Почти что одинокий, я доволен:
Мой буйный дух играет на виоле,
А сонмище гонителей не тает.

Всяк мыслящий у нас гоним упорно,
И мне признаться вовсе не зазорно,
Что лучше сто врагов, чем друг лукавый.

Гордыня, вера, страсть — моя опора.
Предпочитаю тех, кто воет хором,
Всем тем, кто льстит в глаза — во имя моды.

Покинутый, я жить не стал иначе:
Все раздаю, не требуя отдачи,—
Ведь я богат, гоненье тоже благо.

Владелец кладов, мальчик постаревший,
Я королем остался, как и прежде,—
Не страшен недруг мне и друг не нужен.

Мои дары — не мода, а наследье,
До самой Смерти, до поры последней
Останусь добрым, щедрым и цветущим.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■

Критика

УОЛТЕР АЛЛЕН

ПОСТСКРИПТУМ К «ТРАДИЦИИ И МЕЧТЕ»

Прошло тринадцать лет со времени выхода первого издания моей книги «Традиция и мечта. Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня»[1] и пятнадцать лет с момента окончания моей работы над ней. Какой кажется она мне сейчас, в ретроспекте? Должен признать — должен был признать с самого начала, не написав еще первой фразы,— что задача, которую я перед собой поставил, задача, сформулированная в самом заглавии книги, была невыполнима. Вопрос о том, какие именно книги и каких авторов следует отобрать для критического рассмотрения, весьма сложен и не может быть полностью разрешен, в свою очередь он слишком часто бывает связан с другими не менее важными вопросами — в основе своей философскими,— такими, как определение формы произведения и позиции писателя. Но не этот момент тревожит меня — ведь подобные трудности сопутствуют любому литературоведческому исследованию. Критическое отношение к себе вызывают слова «...английской и американской прозы»,— слова, с помощью которых я просто-напросто обозначил границы своих размышлений. Хотелось бы мне написать иное: «художественной литературы на английском языке...», но если бы я предпринял попытку охватить романы на английском языке, опубликованные в Канаде, Австралии, Южной Африке, Вест-Индии, Индии и Пакистане, а также в новых африканских государствах, то вряд ли книга моя была бы закончена даже сейчас. Вместе с тем, сколь это ни огорчительно, надо признать, что некоторые лучшие романы, написанные по-английски, особенно за время, прошедшее после появления моей книги, были созданы в таких странах, как Австралия и Индия. Но к этому я еще вернусь.

Разумеется, «Традиция и мечта» устарела еще до выхода своего в свет,— это я и сам знал. Тут уж ничего нельзя было поделать, ибо книги, если они предназначены для печати, должны иметь свой конец или хотя бы доводиться до конца. Когда пишешь историческую работу, то в каком-то пункте нужно подвести черту и сказать себе: «Дальше я не двинусь. Это мой конечный рубеж». В данном случае моим конечным рубежом стал год 1955-й,— для того чтобы иметь основания быть включенным в мой обзор, писатель должен был опубликовать свой первый роман до этой даты. Оказалось, впрочем, что дата была не столь уж произвольной — ведь именно в эти годы, до и после 1955-го, в литературе уже обозначилось то, что шло к своему завершению, и то, что лишь начало формироваться,— думается, мне удалось это уловить и выразить. Последний раздел моей предпоследней главы начинается так: «Сейчас, когда в ретроспекции мы обозреваем панораму всей послевоенной литературы, 1953 и 1954 годы предстают в особом свете. Ибо осенью 1953-го вышел из печати роман Джона Уэйна «Спеши вниз», а в начале 1954 года к нему присоединился «Счастливчик Джим» Кингсли Эмиса. В том же году увидели свет первые романы Айрис Мер-

[1] Книга опубликована на русском языке в издательстве «Прогресс». М., 1970. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

док («Под сетью») и Уильяма Голдинга («Повелитель мух»).

Когда в 1964 году книга была издана, в Англии и США появилось много новых писателей, которых мне не удалось включить в свой обзор, о чем я чрезвычайно сожалел, а с тех пор, разумеется, мы узнали и многие другие имена. Несколько позднее я назову их и расскажу, почему назвал именно их.

Мне кажется, что когда я писал свою «Традицию и мечту», то недостаточно глубоко размышлял над понятием романа как литературной формы. Не хочу сказать этим, что моя точка зрения на романы, рассматриваемые в книге, стала иной. Некоторые из них представляются мне сейчас более значительными, чем прежде, другие — менее значительными, однако в общем суждения мои остались неизменными. Но сами эти суждения могли быть выражены более точно, если бы я в то время обладал более глубоким взглядом на роман как литературную форму. «Традицию и мечту» я задумал в виде продолжения моей более ранней книги под названием «Английский роман. Краткий историко-критический очерк», начинающийся, как это принято, с конца XVII века, где от Беньяна я переходил к Дефо и Ричардсону — первым бесспорным романистам в английской литературе. Начальные строки вступительной главы гласили:

> «Историки литературы, по-видимому, страшно испуганные новизной этой литературной формы, обычно считали необходимым снабдить роман респектабельным древним прошлым подобно тому, как составитель генеалогических древ наделял выскочку безупречной родословной... Изо всех сил стараясь наделить роман почтенными предками, они вели себя примерно так, как если бы человек, взявшийся написать историю автомобиля, начал пространно рассказывать, заняв этим треть всего труда, об эволюции повозки, запряженной волами. Историки эти повинны во внесении путаницы: они исходили из предпосылки, что слова «художественная литература» и «роман» — взаимозаменяемые синонимы».

Должен признаться, что и сейчас я склонен сочувственно отнестись к этому своему высказыванию двадцатилетней давности. В те дни я был не только критиком, анализирующим роман, но и романистом, как романист нерасторжимо связан с традицией реалистического романа. Для меня роман всегда коренится в истории, имеет дело с такими событиями в жизни человека, которые происходят в действительности либо могут произойти, не нарушая нашего представления о правдоподобии. «Единственно общее определение, которое мы можем дать роману (и оно воздает ему должное),— писал Генри Джеймс,— это история». Для меня как романиста и критика мысль эта всегда была священной.

Да и теперь это так. Но двадцать лет назад я еще не читал работ канадского критика Нотропа Фрая, который убедительно показал — во всяком случае, для меня убедительно,— что до появления романа, предшествуя ему, как фундамент, и часто продолжая жить в нем самом, существовал прозаический жанр романтического повествования — т. н. «romance». Разумеется, я знал о существовании этого жанра, поскольку следовал за американским ученым Ричардом Чейзом, сформулировавшим различия между английским и американским романом. Чейз (я несколько раз цитирую его во введении к «Традиции и мечте») считает, что типичный американский роман в каком-то плане — антипод типичного английского романа или, по крайней мере, «кажется эксцентричным на фоне традиции, характерным образцом которой является, скажем, «Мидлмарч» Дж. Элиот». Ни одна из разновидностей американского романа, продолжает он, «не обнаруживает близкого родства с тем объемным, солидным, умеренным, моралистическим воспроизведением жизни и мыслей, которое ассоциируется у нас с «великой традицией» мистера Ливиса». С другой стороны, в нем проступает сходство скорее с романтическим повествованием («romance»), каким оно предстает в определении Н. Фрая: «...способ изображения в беллетристике, при котором главные персонажи существуют в мире чудес (наивный «romance»), либо сама тональность повествования элегична или идиллична и потому менее приспособлена для социального критицизма, чем миметические — то есть стремящиеся к правдоподобию — способы изображения».

Можно также сказать, продолжает профессор Фрай в другом месте, что «автор романтического повествования стремится создать не столько «образы живых людей», сколько стилизованные фигуры, перерастающие в психологические архетипы. Именно в романтическом повествовании мы обнаруживаем понятия Юнга — либидо, анима, тень, отраженные соответственно в герое, героине и «анима» [1]. Вот почему от романтического повествования так часто исходит жар субъективной интенсивности чувств, не свойственный роману, вот почему мы все время ощущаем где-то близко, совсем рядом присутствие аллегории».

Я был введен в заблуждение также и своей абсолютно ложной аналогией между историей романа и историей автомобиля. Если бы я писал свою книгу сейчас, то попытался бы доказать, что роман — по моему убеждению, в основе своей реалистический жанр — является характерной формой, в которую вылилось романтическое повествование в Европе на протяжении последних двух с половиной столетий.

[1] Душа, дух *(лат.)*.

УОЛТЕР АЛЛЕН
ПОСТСКРИПТУМ К «ТРАДИЦИИ И МЕЧТЕ»

Я попытался бы также показать, что в наше время роман как доминирующая литературная форма находится под угрозой из-за возрождения романтического повествования, являющегося полной его противоположностью,— разновидности прозы, посвященной «чудесному», «романтической» и вовсе не стремящейся, говоря словами Н. Готорна, «к соблюдению скрупулезной верности не только возможному, но и правдоподобному, обычному течению человеческой жизни». Это возрождение интереса к романтическому повествованию мы можем наблюдать в разрастании научной фантастики, в творчестве таких писателей, как англичанин Толкьен и немец Гессе (абсолютно на него не похожий), даже во многих произведениях, относящихся к жанру детективного и приключенческого романа. Многое в научной фантастике не имеет ни малейшего отношения к науке; пренебрегая правдоподобием, авторы переходят в область волшебства. То же самое можно сказать, например, о шпионских романах А. Флеминга.

По сути, романтическое повествование и занимается волшебством — если можно так выразиться,— на волшебстве оно и держится. На первый взгляд кажется, что именно этому началу полностью противостоит все, созданное великими английскими реалистами со времен Ричардсона и Дефо,— противостоит во имя разума и реализма. Однако теперь я в этом не столь уж уверен. Если, как я теперь склонен думать, реалистический роман поглотил и впитал в себя романтическое повествование, то факт этот, я полагаю, разъясняет и освещает многие вещи в романе. Он, например, помогает лучше понять, почему некоторые романы и некоторые литературные персонажи обладают непреходящим обаянием, несмотря на их, казалось бы скромные, литературные достоинства. Если, скажем, «Джен Эйр» Ш. Бронте и можно назвать шедевром, то лишь с большими оговорками, в своем роде это столь же нелепая книга, как «Замок Отранто» Г. Уолпола или любой готический роман. Попробуйте кратко пересказать ее фабулу — и вся история Джен Эйр тут же превращается в абсурд. Много лет мистер Рочестер держал безумную жену на третьем этаже своего загородного дома, под присмотром пьяницы служанки, и никто среди других слуг, ни сама Джен Эйр, гувернантка незаконной дочери Рочестера, даже не подозревали о существовании этой помешанной женщины. Убежав из поместья Рочестера, Джен Эйр пешком скитается по дорогам, пока, без гроша, умирающая от голода и усталости и промокшая насквозь, не падает в изнеможении перед дверью дома, где живут ее кузены, о которых она вообще ничего не знала, а затем обнаруживает, что их покойный отец — ее дядя — завещал ей 20 000 фунтов.

Дальше — в том же духе. В тот самый момент, когда Джен почти готова согласиться на просьбы своего кузена и выйти за него замуж, она слышит зов Рочестера: «Джен, Джен!» «Где вы?» — кричит она, выбегая в сад. В саду нет никого, Рочестер за много миль отсюда. «Прочь, суеверные обольщения!» — восклицает она, но вопреки всему спешит вернуться в усадьбу Рочестера. И узнает, что безумная жена сожгла дом, на Рочестера упала горящая балка и он ослеп.

Сплошная чепуха? Но ведь «Джен Эйр», с момента своего выхода в свет, была и остается одним из самых популярных английских романов, во всяком случае в Англии. Трудно вообразить себе произведение, представляющее собой сплошную чепуху, но широко читаемое сто пятьдесят лет подряд. Может быть, Шарлотта Бронте и перенесла на бумагу одну из самых распространенных женских сексуальных фантазий, но роман этот — нечто гораздо более значительное, чем увлекательная небылица, и литературная критика не раз подчеркивала незаурядный интеллект героини, ее способность испытывать подлинную страсть. «Джен Эйр» открывается нам как замаскированная сказка, фантазия, явно перекликающаяся с одной из самых знаменитых и популярных сказок — историей Золушки. Волшебные сказки принадлежат к числу древнейших, изначальных форм романтического повествования, корни их уходят очень глубоко в недра человеческого сознания, мы можем обнаружить их, в остаточном виде, во многих реалистических романах. По существу — теперь у меня возникает соблазн прийти к такому выводу — какие-то элементы сказки должны присутствовать в любом романе. Именно младший сын оказывается всепобеждающим героем в волшебной сказке, именно младший сын становится героем «Красного и черного».

Вот все это, по неведению либо по недостатку воображения, я не принимал во внимание, когда писал свою «Традицию и мечту». Результатом было причудливое смещение мерок: я недооценил значение символа в романе, другими словами, забыл, что роман — тоже проявление поэтического творчества, а так как символическое начало в английском романе осталось вне моего поля зрения, то я сильно преувеличил степень разрыва между английским и американским романом, а вместе с тем проглядел и значительные расхождения между ними, возникавшие с ходом времени.

■

В 1956 году, через несколько месяцев после того как я подвел черту под своим обзором, появился крупнейший английский романист нашего времени. С той поры Энтони Бёрджес написал двадцать один роман, а также два ценных популярных очерка о творчестве Джеймса Джойса. Бёрджес, лингвист по образованию, вновь приобщил английский роман к джойсовскому искусству обращения со словом, упоению стихией языка, используя, как и Джойс, свой пародийный дар в качестве комического приема и средства критической оценки явлений. Критик Б. Бергонци говорит, что

«Бёрджеса можно с полным основанием назвать писателем, работающим в жанре «черного юмора» и поглощенным определенными темами квазирелигиозного характера». В этом смысле чрезвычайно типичен его лучший роман «Заводной апельсин» (1962) — роман-антиутопия; действие его происходит в недалеком будущем, в городе, весьма напоминающем Лондон, жители которого терроризированы шайками подростков и молодежи. Рассказ ведется от лица члена одной из этих шаек, юноши по имени Алекс, на языке, изобретенном самим Бёрджесом, смеси английского сленга и русских слов, что несомненно является своего рода лингвистическим достижением писателя. Алекс — садист по призванию; он утверждает свою духовную свободу, сознательно избрав путь зла. Очутившись в руках представителей государственной власти, он отдан в распоряжение правительственных служащих — психологов и врачей, которые решают насильственно избавить его от криминальных склонностей. «Заводной апельсин» называют «метафизическим приключенческим романом», это комедия — и смешная, и тревожащая одновременно, посвященная теме свободы воли и всему, что связано с этим древним философским понятием. В романе есть нечто близкое проблематике творчества Грэхема Грина (следует заметить в связи с этим, что Бёрджес ведет свое происхождение от католического рода).

Еще один характерный роман Бёрджеса — «На солнце не похожи», герой которого не более и не менее как Шекспир, изображенный без особого почтения, откровенно говоря, крайне реалистично. Написана книга блистательно и достоверно — языком, близким языку елизаветинской эпохи. Бёрджес чрезвычайно плодовит как журналист и автор документальной прозы, и можно предположить, что он достиг бы большего как романист, если бы писал поменьше.

Год спустя появился еще один романист-католик: писательница Мюриэл Спарк [1]. Ранние ее романы представляются мне более удачными, чем последние. Это — писательница необычайно острого комического видения, она дает читателю почувствовать за внешним комизмом окружающего нас мира другой мир, духовный и вечный, и онто придает значимость происходящему. Типичным в этом смысле является ее четвертый роман «Мэмэнто мори» (1959). все персонажи которого — старые люди, перешагнувшие за седьмой и восьмой десяток, иные из них живут в больницах для престарелых. Каждый получает мистическое предупреждение: таинственный голос по телефону произносит «мэмэнто мори» — «помни о смерти». Книга эта, как и все лучшие произведения Спарк, очень смешна, однако читателя пробирает озноб.

Когда я подводил черту в своей книге, вышли в свет первые и, в той мере, в какой это касается романа, лучшие произведения писателей, чуть позже получивших прозвище «сердитых молодых людей»,— романы Джона Уэйна и Кингсли Эмиса [1]. Прозвище на редкость неудачное — можно лишь порадоваться, что сам я им не воспользовался. Было еще слишком рано, чтобы высказывать обобщающее суждение по поводу более значительного события: прихода в литературу группы романистов, самыми крупными в которой были Алан Силлитоу («В субботу вечером и в воскресенье утром», 1958), Кит Уотерхауз («Лгунишка Билли», 1959), Рэймонд Уильямс («Пограничный край», 1960) и Дэвид Стори («Такова спортивная жизнь», 1960). Группой можно было их назвать лишь в том смысле, что все они принадлежали по происхождению к одному классу. Все они родились в семьях промышленных рабочих и если даже, получив образование, покидали свою среду, то тем не менее в каком-то смысле оставались на позициях пролетарского сознания. Единственным среди них настоящим рабочим, в традиционно английском понимании этого слова, был Силлитоу, четырнадцати лет оставивший школу, чтобы начать работать. Уотерхауз стал газетным репортером и известным журналистом и одновременно драматургом и романистом. Верно, что Стори, сын шахтера, три года играл в профессиональной команде регбистов, но в это же время он учился на искусствоведческом факультете. Что же касается Уильямса, отец которого был рабочим-железнодорожником, то он, быть может, более известен как литературный критик (автор очень авторитетного труда «Культура и общество») и преподаватель курса драматургии в Кембридже, нежели как романист.

Перемены в социальных условиях жизни, контраст между участью родителей и своей — все это, однако, продолжает занимать творческое воображение ряда писателей, а также других, меньшего масштаба, которых они как бы представляют. Правда, к Силлитоу это явно не относится. «В субботу вечером и в воскресенье утром» — повествование об одном уик-энде в жизни Артура Ситона; он работает токарем на заводе, устроен неплохо и отлично сознает, насколько больше ему повезло, чем отцу, испытавшему довоенную безработицу. Артур вполне доволен всем — пива и женщин у него достаточно. Конечно же, Артур Ситон, представитель люмпен-пролетариата, не выступает от имени самого Силлитоу, судьба которого более сходна с судьбой старшего брата Артура, Брайана, героя последующего романа «Ключ от двери»

[1] Мюриэл Спарк. На публику. М., «Молодая гвардия», 1971 г.

[1] Джон Уэйн. Спеши вниз. «Новый мир» № 8—10, 1959. Кингсли Эмис. Счастливчик Джим, «Иностранная литература» № 10—12, 1958 г.

УОЛТЕР АЛЛЕН
ПОСТСКРИПТУМ К «ТРАДИЦИИ И МЕЧТЕ»

(1961)[1]. В книге развернута история жизни Брайана — полное тягот детство среди бедняков довоенного кризисного Ноттингема, а затем военная служба в авиачастях, отправленных в Малайю. Книга замечательная, производящая большое впечатление; настоящий кусок из жизни людей рабочего класса, описанной правдиво и детально. Это — выдающееся литературное достижение и, на мой взгляд, лучшее произведение Силлитоу.

«Лгунишка Билли» до сих пор остается книгой, которой Уотерхауз обязан своей известностью романиста. Изображена в ней жизнь — вся из «снов наяву» — юнца, работающего в похоронном бюро. Он оказывается героем в высшей степени неправдоподобных и никому не внушающих доверия фантастических выдумок, обручен с тремя девушками сразу и, естественно, служит причиной отчаяния для своих родителей. Он и смешон и жалок, а поскольку в каждом из нас есть нечто от него, то существо это трогает нас. Роман написан очень остроумно, изобретательно и живо.

Главный персонаж «Пограничного края» Р. Уильямса — молодой преподаватель Лондонского университета — уезжает из Лондона в родной городок, находящийся в пограничном районе между Англией и Уэльсом, навестить больного отца, всю жизнь проработавшего сигнальщиком на железной дороге. В основе своей это повесть о том, как человек вновь обнаруживает свои корни, и показывает она, по словам американского критика, «преемственность и различия между старой Англией «классического» капитализма и новой Англией «государства процветания».

Дэвид Стори, роман которого «Такова спортивная жизнь» аннексировал новую территорию для английской литературы — поскольку содержание его связано с жизнью профессионального регбиста (регби — вид футбола, популярный на севере Англии),— пользуется также завидной репутацией в качестве драматурга. Романы его обычно исследуют внутренние конфликты, противоречивое и напряженное состояние духа одаренных молодых людей, вышедших из рабочей среды и благодаря полученному образованию как бы вытолкнутых из нее, отторгнутых от привычной семейной обстановки, от родителей, самопожертвование которых и дало детям возможность это образование получить. Такова тема второго его романа «Бегство в Кэмден» (1961) и последнего по времени «Сэвилл» (1976). «Сэвилл» — произведение, удивительное по насыщенности фактическим материалом и наблюдательности, с большой любовью автор прослеживает этапы и перипетии возмужания своего героя — сына йоркширского шахтера. Роман этот, как бы пропитанный насквозь атмосферой жизни рабочих северных провинций Англии, широко охватывающий действительность, по содержанию своему заставляет вспомнить «Сыновей и любовников» Д. Г. Лоуренса и при этом ничуть не проигрывает от такого сравнения.

Совершенно несхож с этими романистами Джон Фоулз — его первая книга «Коллекционер» вышла в 1958 году. Предмет исследования этого чрезвычайно изысканного, техничного и блистательного по стилю романиста — соотношение между выдумкой и реальностью, литературой и жизнью. В «Маге» (1966) тема эта раскрыта в приключениях молодого англичанина, преподающего в Греции; вся его жизнь словно бы таинственным образом управляется неким магом, давшим заглавие роману. Написана книга блестяще, но, как представляется мне, она страдает слишком очевидной искусственностью, нарочитостью построения и ситуации; «Маг» — почти готический роман, с необыкновенной тщательностью разработанный. Значительно удачнее «Подруга французского лейтенанта» (1969) — хотя и здесь писателя занимает тема иллюзии и реальности — история, им рассказанная, кажется гораздо более приемлемой. Главная линия повествования — сюжет из викторианских времен, который вполне мог бы стать темой баллады Томаса Харди. Фоулз создает на его основе своего рода стилизацию под традиционный английский роман XIX века. В книге то и дело возникает перекличка с мотивами романов Харди и Дж. Элиот, а также с подлинными историческими событиями: героиня, любовница французского морского офицера, в конце повествования сближается с людьми, связанными с художником и поэтом Данте Габриэлем Россетти. Я сказал «в конце», однако в романе три различных концовки — они одинаково правдоподобны и убедительны с точки зрения развития сюжета и психологии людей тех времен, о которых он пишет. Рассказ обо всех этих событиях ведет человек викторианской эпохи, наделенный нашими сегодняшними познаниями и критериями в оценке истории XIX века, его проблем и достижений. «Подруга французского лейтенанта» — роман сложный, свидетельствующий об эрудиции автора и вознаграждающий читателя за его труд; в нем поднято и поставлено на обсуждение немало вопросов: что мы подразумеваем под термином «викторианцы», какова природа исторической и художественной правды, какова ценность художественного вымысла.

Три-четыре года отделяют появление на литературной сцене двух романисток, разных по происхождению, но в чем-то сходных: Герды Чарльз — ее первый роман «Подлинный голос» вышел в 1959-м — и Маргарет Дрэббл, чья книга «Один летний сезон»[1] была издана в Англии в 1963 году. Мисс Чарльз сосредоточила свое творчество на изображении жизни английских евреев, в то время как мисс Дрэббл, которая сделала блестящую академическую карьеру в Кембриджском университете, повествует

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 5—7, 1963 г.

[1] М. Дрэббл. Один летний сезон. М., «Прогресс», 1972 г.

в своих книгах о молодых женщинах, принадлежащих к кругу профессиональной интеллигенции. Среда в их романах имеет весьма мало общего между собой. Тем не менее общее у них есть: обеих романисток в какой-то мере сближает стремление к серьезному и беспристрастному освещению моральных проблем — то, что отличало творчество самой крупной английской писательницы XIX века Дж. Элиот. Мисс Чарльз очень остро ощущает свое еврейское происхождение, и в то же время она определяет область, в которую вторгаются ее романы, шире — как «зону повседневной боли». В этой связи еврейское начало в самой писательнице и в ее персонажах приобретает второстепенное значение, даже в «Точке пересечения» (1960), быть может, лучшем ее романе, рассказывающем о том, что значит быть евреем.

Самый характерный роман мисс Дрэббл — третье ее произведение «Жернов» (1965). Его героиня — молодая женщина, работающая над диссертацией по елизаветинской поэзии, забеременела от случайного любовника, к которому не питает никаких чувств. К изумлению своих друзей, она решает сохранить ребенка и воспитать его самостоятельно. В ходе событий она открывает для себя многие стороны жизни, от которой была отрезана раньше, погруженная в мир своей специальности. В этом романе несколько едкий юмор мисс Дрэббл отлично уравновешивается ее сострадательностью.

Пол Скотт издал свой первый роман года за два до избранного мной временно́го рубежа, однако «Сокровище короны» — первый том тетралогии «Квартет раджи», принесший ему известность, был опубликован лишь в 1966-м. Четыре обширных романа (заглавия последующих: «День Скорпиона», 1968, «Башни молчания», 1971, и «Раздел трофеев», 1975) образуют полотно крупного масштаба, воссоздающее последние годы британского владычества в Индии и отношения между двумя странами на протяжении этих лет. Тема безусловно весьма сложная, требующая достаточно большого числа действующих лиц. Замысел широк, но метод Скотта заключается в том, чтобы в фокусе повествования оказались отдельные эпизоды и сцены, входящие в общий композиционный план. По выражению одного из критиков, «в повествовании этом сосуществуют чувство истории и чувство сиюминутной конкретности». Скотт прекрасно передает особенности индийского «фона», но интересуют его прежде всего и главным образом люди — и англичане и индийцы, их поведение в общественной и частной жизни в напряженный период истории. Скотт создал произведение, исполненное большого человеческого достоинства.

Снова я ощущаю необходимость отбирать главное и ограничивать себя. Отбирать следует сверхстрого, поэтому я могу еще позволить себе назвать лишь одного английского романиста — Малькольма Брэдбери, он к тому же выдающийся специалист по американской литературе, профессор университета и критик. В своем творчестве он в чем-то родствен с группой рабочих-романистов из северной Англии, о которых я уже говорил. Все три романа Брэдбери посвящены университетской среде; главной целью его было, как пишет сам автор, «оставаясь в пределах более или менее комической структуры, исследовать проблемы либерализма и принципов моральной ответственности». Что он и делает — в высшей степени занимательно, сатира его чрезвычайно безжалостна. Действие романа «Кушать людей нехорошо» (1959) развертывается в одном из английских «кирпичных», то есть построенных в начале этого века, университетов. «Шаг на Запад» (1965) рисует университет в одном из западных штатов Америки, куда прибывает молодой английский провинциальный писатель, приглашенный вести творческий семинар. Наивность героя открывает широкие возможности перед Брэдбери-сатириком. Мне кажется, что книга эта написана блистательно, великолепно улавливает особенности американской жизни и образа мыслей и очень смешна. Место действия романа «Исторический человек» (1975) — один из так называемых «новых» университетов, то есть открытых в течение двух последних десятилетий. Комическая изобретательность автора, как всегда, энергична, сатира носит более откровенный и целенаправленный характер. За последние тридцать лет в Англии и США было написано столько романов из университетской жизни, что они, можно сказать, образовали чуть ли не новый особый жанр. Брэдбери, несомненно, является мастером этого жанра.

■

Обращаясь к американским романам последних двенадцати лет и сравнивая их с английскими, я еще раз поражаюсь, насколько различны между собой эти две ветви литературы, существующей — что ни говори — в стихии одного и того же языка. Поражает меня и обобщение Ричарда Чейза: «Лучшие образцы английского романа неизменно рассчитаны на среднего читателя». Обобщение это все еще остается в силе, но только не для романа американского, который неизменно тяготеет к крайностям: то к буйному плебейству Марка Твена, то к бескомпромиссной литературной аристократичности Генри Джеймса. В стране, славящейся своими крайностями, писатели редко занимают или культивируют промежуточные позиции.

В американской литературе сегодняшнего дня господствует имя Владимира Набокова, который родился в 1899 году в Петербурге, эмигрировал в 1919-м и стал гражданином США в 1945 году. Именно в том году появился его первый роман, написанный на английском языке, но подлинный успех пришел к Набокову лишь в 1958-м, с публикацией «Лолиты». В самом начале это мог быть и успех скандального свойства, по-

скольку тема романа — сексуальное влечение не столь уж молодого человека к девочке-подростку. Но все же, хотя любовь героя Набокова Гумберта Гумберта, может быть, и извращенное чувство, к концу книги мы осознаем, что прочли одно из поистине замечательных описаний этого чувства, что перед нами — новый вариант того, что поэт Шелли называет «стремлением мотылька к звезде». Набоков (он все еще был в то время иностранцем в Америке и именно с этим ощущением писал свою книгу) с предельной сатирической резкостью и остроумием изображает американский быт и нравы — те их стороны, которые кажутся особенно странными европейцу. И по любым критериям сегодня он — не превзойденный никем мастер английского языка, величайший виртуоз со времени Джойса. Более поздние романы Набокова «Бледный огонь» (1962) и «Ада, или Страсть» (1969), на мой взгляд, менее доступны для понимания и напоминают скорее о сложной, изобретательно разработанной игре, нежели о романе в том виде, в каком привычен он английским читателям.

Мы ощущаем, что для Набокова изощренная искусственность — важная грань искусства, совершенно так же обстоит дело и с Джоном Бартом, роман которого «Табачный маклер» появился в 1960 году. Внешне этот очень длинный роман является жизнеописанием некоего Эбензора Кука, реального лица, издавшего в 1708 году эпическую поэму под тем же названием. Фактически же Барт развертывает нечто вроде пародийно героического эпоса в прозе, с элементами готики и пикарескного повествования, имитируя различные литературные стили Пытаясь определить природу и характер этого произведения, невольно обращаешься к именам Рабле и Стерна. Подобно им, Барт влюблен в языковую стихию, в многозначность и в двусмысленность слов, а более всего, мне кажется, влюблен в метафору. Можно сказать, что он подходит к рубежам научной фантастики; это становится очевидным в следующем его романе «Козлоюноша Джайлс» (1966) — книге, содержание которой трудно передать в одной фразе; не случайно сам автор подсказывает, что «Джайлс» может быть и творением обезумевшего компьютера. Но как бы то ни было, нам совершенно ясно, что Барт наделен большим, остро эксцентричным комическим талантом.

Один из самых влиятельных современных писателей — Курт Воннегут, первый роман которого был издан в 1952 году. Воннегут — писатель-фантаст, пользующийся формой научно-фантастического романа, чтобы выразить свое ощущение абсурдности жизни, которую он воспринимает сквозь призму «черного юмора». По собственному определению, Воннегут является «тотальным пессимистом», присущее ему сострадание к роду человеческому не может перевесить его отчаяния. Чувствуется, что смеется он просто потому, что ничего другого уже не остается. Очень характерен его роман «Благослови вас бог, мистер Розуотер» (1965). В нем рассказывается о паллиативных попытках баснословно богатого человека облегчить страдания своих ближних при помощи грандиозной благотворительности. Но даже его богатство бессильно перед окружающей нищетой и людскими невзгодами. Те, кому он стремится помочь, эксплуатируют его, друзья считают его сумасшедшим. Мистер Розуотер в книге Воннегута — безумец-святой.

Наиболее сильное художественное воплощение пессимизма Воннегута — появившийся пять лет спустя роман «Бойня номер 5» [1], в котором рассказано о разрушении Дрездена английскими и американскими бомбардировщиками; увидено это глазами автора — а он действительно все это видел, будучи в те дни военнопленным в Дрездене,— и главного его персонажа Вилли Пилигрима. Пилигриму удается вырваться из тисков времени, космический корабль уносит его на планету Тральфамадор, где прошлое, настоящее и будущее раскрываются перед ним как единое целое, в результате он обретает более глубокий взгляд на условия жизни рода человеческого и бóльшую способность сочувствовать людям, как ни безнадежно их состояние. Мне кажется, что именно «Бойня» помогает понять, с кем из писателей прошлого вернее всего связывать Воннегута — это Вольтер.

Назову двух писателей, чрезвычайно трудных для восприятия и тем не менее весьма влиятельных,— это Джон Хоукс и Уильям Пинчон. Хоукс заметил как-то, что начал писать беллетристику, исходя из предпосылки, что истинными врагами романа являются фабула, персонажи, место действия и тема. Что же остается от романа, если убрать все эти моменты? — можно спросить Хоукса. И он ответит: структура, словесная и психологическая. Романы его — иллюстрация авторской мысли. С этой точки зрения «Каннибал» (1949) в символических образах показывает нам «больную, деградировавшую послевоенную Германию» и раскрывает определенный взгляд на историю. Символы, как, например, каннибализм, сплавлены в повествовании с интенсифицированным, блистательным использованием выразительных средств языка. Или возьмем «Веточку липы» (1961), на первый взгляд книгу более удобопонятную, потому что написана она в форме пародии на детектив. Но по существу — это картина жестокости и насилия, и относится она к послевоенной Англии, созданной воображением Хоукса. «Немного найдется романов,— говорит один из критиков,— которые с такой мощной выразительностью изобразили бы предельную угрозу, нависшую над человеческой личностью». Романы Хоукса очень близки к поэмам, они представляют собой символические структуры, заключающие в себе и состояние ума, и выражение убеждений, структуры, в которых есть место и для наблюдателя, и для наблюдаемого одно-

[1] Опубликован в журнале «Новый мир» № 3—4, 1970 г.

временно. А также, следует добавить, символические структуры, свойственные американскому литературному творчеству с тех самых пор, как Готорн написал свою «Алую букву» около столетия назад.

Как показал опыт Воннегута и Хоукса, апокалипсические мотивы принадлежат к числу ведущих в современном американском романе, да, в сущности говоря, видение грядущей катастрофы с самых истоков тяготеет над ним. В этой связи есть основания поразмыслить о том, какую роль в американском самосознании играла национальная традиция кальвинизма и религии, пугающая вечным проклятием и адским пламенем. Такого рода романы пишет и Уильям Пинчон, пишет с силой необыкновенной. Это подлинный мастер жанра «черного юмора», и романы его называют «историями о психопатическом подполье современного воображения». Первым романом Пинчона был «Ви» (1963). В основе повествования — история поиска: Герберт Стенсил, пытающийся выяснить обстоятельства гибели своего отца, оказывается вовлеченным в поиски таинственной женщины Ви; судя по всему, эта женщина — муза современной войны, и появляется она при бомбардировке Мальты немецкой авиацией. Тема романа Пинчона, по словам одного из критиков, «обдуманное и систематическое превращение человечества, живых существ даже не в машины, а скорее в совершенно неподвижные предметы». Пинчон выражает это апокалипсическое видение в ключе чернейшей «черной комедии». И все же она остается комедией, иначе это было бы просто непереносимо.

Пинчон — человек столь колоссальных и энциклопедических познаний, что, пожалуй, он не оставил без внимания ни одной отрасли современной науки. Он увлекался современной физикой, вел научную работу в промышленности; все это нашло отражение в трех его романах, особенно в последнем, «Радуга силы притяжения» (1973). Главная сюжетная линия романа связана с похождениями Тайрона Слотропа, американского офицера, который дезертирует к концу войны и бродит, растерянный и потерянный, по оккупированной послевоенной Германии, все более превращаясь в вещь, в предмет.

В своей личной жизни Пинчон придерживается одной из старейших традиций в американской литературе. Судя по всему, он питает непреодолимое отвращение ко всякого рода шумихе. Никто не знает о нем почти ничего, последняя его фотография — пятнадцатилетней давности, неведомо даже, где он живет. Все это заставляет вспомнить, скажем, о годах добровольного затворничества Готорна в Сейлеме, Массачусетс.

Обратиться к творчеству Джона Апдайка — значит (для читателя-англичанина во всяком случае) ступить на более или менее привычную территорию, хотя под верхним слоем его повествований проступает образный рисунок, заимствованный из античной мифологии, библейских сказаний, фольклора. Однако то, что наверху,— успокоительно реалистично, да и сами источники мифологических и прочих уподоблений и иллюзий должны быть известны образованному читателю. Более того, он пишет как верующий христианин, что ни в коей мере не умаляет силы его реализма. В произведениях Апдайка обыденную повседневную жизнь словно пронизывает ток высокого напряжения — напряжение это порождается фактом существования секса и смерти, «великих неотступностей», по его выражению. Эта идея очень хорошо раскрыта в романе «Кролик, беги» (1960). «Кролик» Энгстром — человек, занятый бессмысленным делом, его приводит в ужас быстрый ход времени и перспектива неминуемой смерти и поддерживают лишь воспоминания о спортивных успехах школьных лет да уверенность в своих сексуальных возможностях. Но за историей этой жизни, словно в ироническом контрапункте, возникает миф об Оресте. Миросозерцание Апдайка полнее всего выразилось в «Супружеских парах» (1968), романе, рисующем жизнь десяти семейств из буржуазной среды, обитателей городка в Новой Англии; действие происходит в 60-е годы, когда, как сообщает автор, «вместо долга и труда идеалами стали правда и веселье». Роман чрезвычайно подробно знакомит нас с сексуальными нравами жителей американских пригородов, тем не менее под конец становится ясно, что читаем-то мы христианскую притчу.

Элисон Лури — романистка крайне редкого для Америки направления, она пишет в традиции, которая в США так и не привилась,— традиции английской комедии нравов. Это особенно наглядно в ее первом романе «Любовь и дружба» (1962), не случайно названном так же, как и ранний роман Джейн Остин. Лури предпринимает «разоблачение» — хотя слово это здесь звучит слишком сенсационно — образа жизни персонала модного американского колледжа, показывая крах брака молодого преподавателя. Написано это в холодной сатирической манере, остроумие писательницы — в духе Джейн Остин. Еще более благодарная мишень избрана в романе «Город Нигде» (1966) — картина нравов Лос-Анджелеса, поданная через восприятие американца из старинного рода Новой Англии. Свой цикл этюдов из жизни американских университетов Элисон Лури продолжила в «Войне между Тейтами» (1974) — этот роман связан с темой войны во Вьетнаме, с волнениями, охватившими в те годы колледжи страны. Писательница — весьма искусный мастер жанра, привычного для англичан, но чуждого для американцев и даже смущающего их как нечто слегка «антиамериканское», когда в этом жанре работает кто-либо из собственных их писателей; у меня создалось впечатление, что дарование и успехи Элисон Лури оце-

---

УОЛТЕР АЛЛЕН
ПОСТСКРИПТУМ К «ТРАДИЦИИ И МЕЧТЕ»

нены по достоинству скорее в Англии, чем в США.

■

Остается несколько писателей в литературах стран английского языка, которых я вообще не мог коснуться в «Традиции и мечте». Двое-трое из них сейчас пользуются уже международной известностью как крупные мастера, и первым среди них следует назвать австралийца Патрика Уайта [1], удостоенного в 1973 году Нобелевской премии по литературе. Из десяти с лишним опубликованных им романов самым характерным и одним из лучших является «Фосс» (1957). В «Фоссе» рассказывается о приключениях немецкого путешественника-исследователя в австралийском буше в начале XIX столетия, но по сути своей роман — это не больше не меньше чем попытка создания национального мифа.

Есть также писатель из Индии, Р. К. Нарайан [2], который за сорок лет литературной деятельности опубликовал десять романов и семь сборников рассказов; в выдуманном им городе Мальгуди, в Южной Индии, он создал воображаемый край, который может выдержать сравнение — в смысле художественной достоверности — с Барсетшайром Э. Троллопа, с Уэссексом Т. Харди и с округом Йокнапатофа У. Фолкнера. Произведения, которые воссоздают жизнь города, образуют мастерски написанную комическую эпопею, спокойную по тону, лишенную сентиментальности.

Канада выдвинула Мордекая Ричлера и Брайана Мура. Мур родом из Ольстера, и Ольстер занимает приметное место в его книгах, хотя столь же достоверно он пишет и о Монреале и о Нью-Йорке. Он следует традиции натурализма с бескомпромиссной правдивостью, о чем свидетельствует первый его роман «Джудит Хирн» (1955), портрет одинокой старой девы из Белфаста, алкоголички, жаждущей любви. Столь же трогает своей непреклонной честностью и сострадательностью недавний его роман «Жена врача» (1976) — история жительницы современного Белфаста, которая, отправившись отдохнуть во Францию, бросает мужа ради новой любви.

Дарование Мура воспринимается как явление скорее европейское, тогда как Ричлер кажется явным гражданином Северной Америки. Нельзя не подумать в связи с ним о Соле Беллоу, как ни различно их творчество. Главная тема Ричлера — жизнь еврейской бедноты в Сент-Юрбэне, районе Монреаля; и даже когда действие его книг переносится в Лондон, где Ричлер живет с давних пор, героем его все равно остается еврей из Монреаля. К лучшим его романам, по-видимому, надо причислить «Сына меньшего героя» (1955), «Ученические годы Дадди Кравитца» (1959) и «Всадника из Сент-Юрбэна» (1971). Сочетая реализм с фантазией, с большим юмором рассказывает в этих романах писатель о проблемах, навязанных евреям собственными их традициями и характером культуры страны, в которой они живут. При том, что Ричлер еврей, он еще и настоящий канадец, как показывает все его творчество. Специфика Канады заключается в том, что в силу своего исторического прошлого и географического положения эта страна до сих пор не может окончательно решить, принадлежит ли она Англии или США, и все время как бы разрывается между двумя культурами.

И наконец — он, кстати, моложе всех этих романистов — существует В. С. Найпол с Тринидада, британского острова Карибского моря. Найпол — потомок иммигрантов из Индии (восточных индийцев), и тематика его романов отражает большей частью либо комические аспекты расовых трений и конфликтов в Вест-Индии, где, как ни странно, выходцы из Индии составляют национальное меньшинство, либо жизнь самой восточноиндийской общины. Пока что самым крупным его произведением надо назвать «Дом для мистера Бисваса» (1961) — щедро и сочно написанный роман, и юмористический, и сатирический, и патетический одновременно,— книга, написанная в русле традиции английской прозы. Найпол рисует истории жизни трех поколений индийской семьи, все это дается и интерпретируется через восприятие Могуна Бисваса — натуры артистической, хотя ему доступны лишь два пути самовыражения: он пишет вывески и служит репортером в местной газете. Пожалуй, лучше всего можно представить себе, чего достиг Найпол в этом романе, в чем заключена его художественная сила, вообразив, какой роман написал бы Дж. Г. Уэллс, будь он юношей азиатского происхождения, рожденным на Тринидаде пятьдесят лет назад. Ибо «Дом для мистера Бисваса» — это карибский «Киппс» или карибская «История мистера Полли».

Перевод с английского И. ЛЕВИДОВОЙ

---

[1] Патрик Уайт. На свалке, «Иностранная литература» № 4, 1976 г.

[2] Его произведения неоднократно печатались на русском языке, в частности в журнале «Иностранная литература»,— «Святой Раджу» № 6, 7, 1960; «Людоед в Мальгуди» № 2, 1964; «Продавец сладостей» № 1, 2, 1969.

◆

А. МУЛЯРЧИК

Несколько слов по поводу статьи Уолтера Аллена

Написанная по просьбе редакции «Иностранной литературы» статья английского критика Уолтера Аллена задумана как своего рода комментарий к известной его книге «Традиция и мечта», посвященной развитию английского и американского романа после первой мировой войны и опубликованной в русском переводе. Советский читатель с интересом встретил работу У. Аллена, которая в живой форме, с привлечением многочисленных литературных иллюстраций знакомила с творчеством как общепризнанных мастеров, так и с некоторыми еще недостаточно оцененными у нас романистами Англии и Соединенных Штатов.

Развернуть панораму литературного процесса в США и Англии на протяжении последних десяти — пятнадцати лет с изложением хотя бы кратких сведений о наиболее примечательных явлениях в прозе других англоязычных стран — задача сложная и, как отмечает сам Уолтер Аллен, в рамках журнальной публикации маловыполнимая. Но не менее самонадеянной была бы, видимо, претензия автора этих строк на то, чтобы, идя путем краткого комментария, попытаться со своей стороны осветить основные тенденции развития многочисленных литератур английского языка в 60—70-е годы и противопоставить точке зрения зарубежного исследования собственную историко-литературную концепцию.

По своему жанру статья У. Аллена скорее обзорная, нежели проблемная. Ее основная цель состоит в том, чтобы в какой-то мере дополнить содержание предыдущей работы, в хронологическом отношении обрывавшейся на рубеже 50—60-х годов. Что касается общей методологической позиции английского критика, то она, как в этом мог убедиться читатель, не свободна от противоречивых суждений. С одной стороны, У. Аллен по-прежнему считает художественное творчество отражением подлинного, объективного мира, а реалистический роман — наиболее адекватной этой задаче прозаической формой.

«Для меня,— пишет исследователь,— роман всегда коренится в истории, имеет дело с такими событиями в жизни человека, которые происходят в действительности либо могут произойти, не нарушая нашего представления о правдоподобии». Но прежде чем перейти к изложению фактического материала, английский критик внезапно объявляет о едва ли не пересмотре былых методологических установок и приходе к «новым взглядам» на эстетику современного романа. С большими или меньшими оговорками он готов теперь отказаться от преобладавших в «Традиции и мечте» историко-социологических критериев, выдвигая им на смену несколько запоздалое увлечение психоаналитическо-мифологическими теориями.

Сожалея о недооценке им в прошлом «значения символа в романе», У. Аллен подчеркивает, что ныне ему гораздо ближе теоретические воззрения Н. Фрая, сводящего по сути все богатство и разнообразие жизненного содержания, отразившегося в жанре романа за всю его историю, к немногочисленным вариантам извечных образных мотивов (или архетипов). Доводы У. Аллена покоятся на достаточно прочной почве, когда он вслед за Фраем и его единомышленниками настаивает на значении традиции романтического повествования («romance») не только для американского, но и для английского романа XIX века, а его анализ «Джен Эйр» Ш. Бронте вполне в состоянии убедить читателя, что в этой книге ему может открыться «замаскированная сказка, фантазия, явно перекликающаяся с одной из самых знаменитых и популярных сказок — историей Золушки».

Но правомерно ли говорить об универсальности подобной методики в применении к многогранной литературной действительности наших дней и в особенности к «большой», проблемной литературе, живо откликающейся на подлинные социальные и духовные запросы современности? Характерно, что для обоснования тезиса о бурном возрождении интереса к романтическому и «чудесному» У. Аллен вынужден ссылаться на такие, далеко не ведущие разновидности художественной прозы, как научная фантастика, детективный и приключенческий жанр и даже на... «творчество» создателя «шпионских боевиков» А. Флеминга. Однако думается, что самым решающим аргументом против поспешной «перемены курса» под дуновением литературоведческой моды становится собственный рассказ У. Аллена о новинках англо-американской прозы, в ходе которого критику фактически ни разу не удается приложить «мифологический критерий» к истолкованию называемых им произведений.

Что касается имен в английской литературе, которыми Аллен пополняет свой перечень, данный в «Традиции и мечте», то список этот достаточно широк и представителен, хотя почти каждая писательская характеристика так или иначе не может не страдать от вынужденного лаконизма изложения. Из хорошо известных нашему читателю прозаиков тут отсутствуют, правда, Сид Чаплин, прославившийся романами «День сардины» и «Соглядатаи и поднадзорные», и Стэн Барстоу, занявший с выходом в свет книги «Любовь... любовь?» видное место среди писателей «рабочей темы» того времени. Не упомянуты У. Алленом и романисты более молодого поколения П. П. Рид и

М. Брэгг, лишь недавно «открытые» в русском переводе романами (соответственно) «Дочь профессора» и «В Англии». С другой стороны, не вполне оправдано упоминание в столь обязывающем контексте имен К. Уотерхауза и особенно Г. Чарльз, узость творческого диапазона которой особенно наглядно выявляется, пожалуй, в сопоставлении не только с М. Дрэббл (как на этом настаивает английский критик), а быть может, с американцем еврейского происхождения Б. Маламудом, решительно шагнувшим в своих лучших романах и новеллах от бытовой, национальной этнографичности к глубоким философско-этическим обобщениям.

Выделение Энтони Бёрджеса в качестве «крупнейшего английского романиста нашего времени» вряд ли получит полную поддержку даже у самых горячих поклонников «Заводного апельсина» и созданного на основе этого романа нашумевшего кинофильма. Так же, как у позднего В. Набокова (о котором у нас еще будет возможность сказать несколько слов), наиболее броская сторона индивидуальности Бёрджеса — это склонность к пародии, к своего рода «литературному коллажу». В стилистическом отношении книги Бёрджеса, отмеченные вполне умеренной по нынешним временам тягой к словесному экспериментаторству, уступают многим современным английским авторам: скажем, изящному артистизму Джона Фоулза. Если же говорить об их актуальности, о степени соотнесенности с наболевшими вопросами послевоенной английской действительности, то и тут у Бёрджеса возникает весьма серьезное соперничество — со стороны, например, вовсе не названной У. Алленом школы «антиколониального романа» во главе с Дж. Олдриджем, Д. Стюартом и Н. Льюисом. И не потому ли обошел Аллен молчанием печально известную «эволюцию» Джона Брэйна и Кингсли Эмиса, что художественная значимость произведений последних лет этих авторов не заслуживает особого внимания?!

Останавливаясь на литературе бывших английских колоний и доминионов, У. Аллен ограничивается лишь самыми беглыми аннотациями ряда книг, принадлежащих перу писателей, которые заслуженно считаются едва ли не центральными фигурами литературного процесса в своих странах. Так, и Р. К. Нарайан, и П. Уайт представлены в книжной серии «Мастера современной прозы», выпускаемой издательством «Прогресс», начиная с 1970 года. Следует заметить, что переведенное на русский язык «Древо человеческое» Уайта — произведение по крайней мере столь же монументальное и в целом характерное для австралийского нобелевского лауреата, как и выделяемый У. Алленом роман «Фосс». Не менее велик, впрочем, в Австралии и авторитет Кс. Герберта, автора романов «Каприкорния» (1939) и «Несчастная страна моя» (1975). Советский читатель хорошо знаком с творчеством А. Маршалла и других австралийских писателей и может мысленно продолжить этот список.

Сложнее обстоит дело с освещением американской литературы, занимающей в 60—70-е годы, как и в течение всего послевоенного периода, ведущее положение среди других англоязычных литератур мира. Говоря об американском романе, нельзя обойтись одним только перечислением наиболее выдающихся фактов и указанием на динамично развивающуюся «литературную ситуацию». Пятнадцать лет назад, работая над «Традицией и мечтой», У. Аллен по существу уклонился от любых гипотез и обобщений на сей счет, разбив произведения послевоенных прозаиков на тематические рубрики: «военный роман», «проза битников», «еврейский роман», «негритянский роман», «южная школа» и т. д. Последняя его статья следует в том же литературно-критическом русле, хотя, скажем, встречающиеся время от времени в тексте упоминания о «черном юморе» и «черной комедии» в связи с книгами Дж. Хоукса, Т. Пинчона, К. Воннегута дают основание предположить, что речь тут идет об определенной эстетической общности, о важном литературном направлении.

И действительно, роман «черного юмора», представляющий собой американский вариант европейского абсурдизма, еще в 60-е годы был объявлен многими критиками в США доминирующим фактором литературного процесса. Десять лет спустя, в середине теперешнего десятилетия, заявления о том, что «неистово утверждающей себя» модернистской прозе принадлежит настоящее и будущее, а реализм есть «своего рода аберрация в истории литературы», стали общим местом в буржуазном литературоведении. Известное воздействие эти взгляды оказали, по-видимому, и на У. Аллена, особенно акцентирующего в своей статье роль писателей «апокалипсического склада» (Дж. Барт, Т. Пинчон, Дж. Хоукс), творчество которых часто служит философским обоснованием ущербности человеческой личности, ее беспомощности в столкновении с грозными, но, как правило, безликими социальными силами.

На самом деле, однако, модернизм (или «новый сюрреализм») не всемогущ и не вездесущ в литературе США и подлинные очертания современной американской прозы далеко не соответствуют прокрустову ложу, изготовленному для нее критиками формалистической и мифологической ориентации. Как и в межвоенное двадцатилетие, когда американская литература казалась россыпью первостатейных талантов, ее основные творческие силы продолжают развивать направление критического, социально-психологического реализма. В «Традиции и мечте» У. Аллен уже называл многих писателей подобного склада, продолжающих вносить свою лепту в гуманистическое искусство наших дней. Это Н. Мейлер, У. Стайрон, Г. Видал, Дж. Чивер, Б. Маламуд, Дж. Болдуин и другие; с тех пор к ним присоединились не только Дж. Апдайк и Э. Лури (величины, впрочем, несопоставимые по масштабу их художественных дарований), но и

У. Перси, Р. Прайс, Дж. К. Оутс, Дж. Дидион, Дж. Гарднер. Несмотря на всю эксцентричность стилистического рисунка и внешний парадоксализм, на прочной гуманистической основе покоится творчество Дж. Хеллера и К. Воннегута, замечательных сатириков буржуазной цивилизации, которых кое-кто в США и сейчас еще пытается зачислить в разряд безответственных и отчаявшихся представителей «черной комедии».

Необходимо особо коснуться и роли ныне покойного В. Набокова (1899—1977), вклад которого в литературу английского языка весьма высоко оценивается не только У. Алленом, но и рядом других англо-американских критиков. Стилистическое искусство Набокова не подлежит никакому сомнению, равно как и его тонкий психологический и сатирический дар, воплотившийся в «Лолите», «Пнине», «Реальной жизни Себастьяна Найта». Но не менее очевидны и консервативные черты мировоззрения Набокова, его упрямая приверженность давно отжившим политическим представлениям, о чем, в частности, свидетельствует и недавний сборник его высказываний с характерным заглавием «Прочные мнения» (1973): У. Аллен не остановился на этой стороне творческой индивидуальности писателя.

С Набоковым — философом и политиком, «незаинтересованным эстетом» и «благочестивым жрецом собственных воспоминаний» — необходимо вести принципиальную и бескомпромиссную полемику. Но прежде всего творчество этого уникального в современной литературной практике двуязычного феномена нуждается в углубленном, внимательном изучении и интерпретации.

Очертив в одной из своих последних статей основные писательские группировки в Соединенных Штатах, известный романист Джон Гарднер вновь напомнил о важнейшей, на его взгляд, функции художника. «Основное назначение литературы,— писал он,— исследовать и объяснять мир, делать его понятным людям». «Литература — общезначима, она имеет самое непосредственное отношение к тому, что свершается вокруг нас»,— думается, что это убеждение талантливого американского прозаика составляет начальную точку отсчета и в творческих поисках многих из тех, чьи имена были названы У. Алленом в его интересном обзоре современной англоязычной литературы.

◆

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ

НОВЫЕ ИМЕНА В ПЕНДЖАБСКОЙ ПОЭЗИИ

Перевод с английского и вступление М. САЛГАНИК

Пенджаб (Пятиречье) — так называют северо-западную часть Индостанского субконтинента, землю с древней историей, населенную рослыми, крепкими пахарями и воинами — они издавна обороняли «Ворота в Индию» от нашествий и вторжений.

Пограничное расположение Пенджаба во многом обусловило особенности его духовной жизни и культуры, испытавшей немало перекрестных влияний и упорно оберегавшей свою самобытность. В богатом фольклоре Пенджаба заметное место занимает то, что мы назвали бы сегодня «военно-патриотической темой». Пенджаб всегда воспевал в народных песнях подвиги воина и тоску возлюбленной, разлученной с ним войной:

Если твой долг призывает тебя, о всадник на синем коне,
увези и меня с собой на войну в своей седельной суме.
И когда на землю спустится ночь, о всадник на синем коне,
я тихо выскользну и засну на крепкой твоей руке[1].

Первые литературные произведения на пенджаби появились в XII веке. Примечательно, что уже родоначальник пенджабской поэзии Шейх Фарид писал удивительно близкие нашему времени по языку и гуманистическому звучанию стихи:

Жестоких слов не говори —
ведь в каждом человеке — Бог,
сердце человека береги,
ведь каждое сердце — драгоценность.

В XV веке произошло событие, повлиявшее на дальнейшее развитие духовной жизни Пенджаба вплоть до наших дней: гуру Нанак создал религиозную общину, члены которой стали звать себя сикхами (изучающими).

К XVII веку сикхская община — хальса — в силу исторических обстоятельств приобрела характер военизированной организации: ее члены проходили посвящение мечом и добавляли к своим именам слово «сингх» (лев), сикхи давали обет не стричь волос, всегда носить короткий кинжал (кирпан) и железный браслет на запястье — символ пренебрежения мирскими богатствами. Сикхские гуру проповедовали принцип единобожия и равенства всех людей перед богом (в условиях Индии это означало отказ от кастовой системы), простой образ жизни, чистоту помыслов и верное служение общине. Мерилом добродетели провозглашалось человеческое деяние. «Бог не спросит человека: «Какого ты племени?» — «Что сделал ты?» — спросит бог»,— учил гуру Нанак.

После смерти последнего — десятого — гуру в Золотой храм в Амритсаре была помещена священная реликвия сикхов — Ади Грантх, книга, которой поклоняются все,

[1] Здесь и далее стихи приводятся в переводах М. Салганик.

исповедующие эту религию, одна из самых обширных поэтических антологий мира. В нее включены и стихи, написанные мусульманами (например, Фаридом), и неприкасаемыми индусами, такими, как Равидас.

Существование тесно спаянной религиозной общины, единственным объектом почитания которой была Книга, привело к тому, что долгое время пенджабская литература была по преимуществу религиозной; светская же литература развивалась в основном на других языках, распространенных в Пенджабе,— урду и хинди. Чтобы представить себе фон современной пенджабской литературы, необходимо помнить, что не каждый пенджабец — сикх, но все сикхи — пенджабцы.

Светская литература на пенджабском языке возникла, в сущности, вместе с пробуждением национального самосознания, с ростом движения за освобождение Индии от чужеземного владычества. В 1947 году британскому господству наступил конец, началось независимое существование двух государств — Индии и Пакистана. В основу раздела лег религиозный принцип, и государственная граница между Индией и Исламской Республикой Пакистан рассекла Пенджаб. Раздел страны, кровавая индо-мусульманская резня, последовавшая за ним, военные столкновения Индии и Пакистана, проходившие на пенджабской земле, сложные, часто противоречивые чувства пенджабцев, сделавшихся гражданами двух разных стран, остаются — вот уже на протяжении трех десятилетий — постоянной темой пенджабской литературы по обе стороны границы.

Писатели старшего поколения — Амрита Притам, автор предлагаемой читателю статьи Картар Сингх Дуггал, Мохан Сингх, Притам Сингх Сафир и другие — вновь и вновь возвращаются в своих произведениях к воспоминаниям о едином Пенджабе и о трагедии раздела. У младшего поколения (к нему принадлежит, например, упоминаемый в статье Сохан Сингх Миса) уже нет таких воспоминаний — есть ощущение кровного родства народов Индостана; история вражды странна ему.

Различия между сикхами, мусульманами и индусами Пенджаба, даже в периоды крайнего обострения отношений, никогда не препятствовали теснейшему взаимодействию их литературных и культурных традиций. Напротив, пенджабская поэзия включила в свой арсенал газель и мчогие другие формы поэзии урду, широко использует мифологическую метафорику поэзии хинди, а поэты урду охотно прибегают к метрике пенджабских баллад. Мохан Сингх в Индии сделал газель неотъемлемой частью пенджабской поэзии, а Фаиз Ахмад Фаиз в Пакистане вводит размер пенджабских народных песен в поэзию урду. Как видно из статьи Картара Сингха Дуггала, эта тенденция прослеживается и в творчестве молодых поэтов.

Известный пенджабский критик Аттар Сингх писал: «Эволюцию пенджабской поэзии в период после обретения независимости правильнее всего охарактеризовать как поиск поэтической формы для наиболее полного выражения противоречий современного человеческого бытия».

По мере нарастания темпа социальных перемен в стране усложняются проблемы, встающие перед поэзией, намного отчетливей звучит в ней социальная тема, хотя способ ее раскрытия неоднозначен у поэтов разных поколений. Представители старшего поколения видели решение если не всех, то многих проблем в достижении независимости родины, поэтому личностное начало в их творчестве уступало место идеалу всенародного благоденствия.

Поколение, пришедшее в литературу после 1947 года, решительно обратилось к социальному бытию и судьбе отдельного человека — клетки организма, называемого народом.

Молодые поэты последнего десятилетия, о которых рассказывается в статье Картара Сингха Дуггала, ищут сочетания личного с общественным, всемирного с национальным, по-своему продолжая традиции пенджабской поэзии в новых условиях.

■

Было время, когда мы опасались, что после расцвета пенджабской поэзии в 40-е годы — после Мохана Сингха, смело экспериментировавшего в области поэтической формы и столь же смело обратившегося к ритмам и речениям разговорного языка, к размерам народных песен; после Амриты Притам, сделавшей проблему женского равенства постоянной темой своей лирики; после Притама Сингха Сафира с его напряженностью эмоций и невероятным разнообразием духовных исканий — наступит известный застой. Однако уже в 50-е годы Харбаджан Сингх и Шив Кумар доказали своим творчеством всю беспочвенность подобных опасений. Не отрываясь от традиции своих блестящих предшественников, оба сумели внести в нее новое, собственное.

Поэзия Харбаджана Сингха (как, впрочем, и его критические труды) заслуженно заняла значительное место в нашей литературе. Отмеченная высоким интеллектуализмом, она пользуется признанием в первую очередь интеллигенции. Харбаджан Сингх — мастер классического стиха, в который уверенно вводится современная тематика:

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ
НОВЫЕ ИМЕНА В ПЕНДЖАБСКОЙ ПОЭЗИИ

Я одинок.
Пустыня одинока.
Нам нужно отыскать пути друг к другу.
В каждом тлеет собственный огонь.
Мы — в поиске бушующего пламени.

(«Дерево, которое я несу»)

Творчество Шива Кумара — уникальное в пенджабской литературе явление. Прирожденный поэт, почти не получивший образования, он, казалось, превращал в стихотворные строки само дыхание родной земли. Его поэзию равно полюбили и простые люди, и интеллектуальная элита.

Можно спорить, правда ли, что стихи Харбаджана Сингха новы по мысли, а Шив Кумар по-особому лиричен, но нет сомнения, что этих поэтов отличает необычайная острота социального сознания. После них снова наступила тревожная пауза, к счастью оказавшаяся короткой. Как бы в развитие «зеленой революции», так изменившей наше сельское хозяйство, поэзия тоже зазеленела молодыми побегами.

■

Новое поколение пенджабских поэтов достаточно многолико, многообразны и пути, которые оно избирает. Объединяет этих поэтов стремление уяснить себе, кто же они такие, и выразить себя, не считая общего для них упоения словом. Не все молодые поэты освободились от эклектичности стиля, не все выработали четкие нравственные позиции, кое-кто из них склонен подменить ответственность художника расплывчатыми протестами: вина за плохие стихи возлагается на плохое общественное устройство. Новые поэты традиционны и современны, циничны и прагматичны, потусторонни и влюблены в этот мир. Они возглашают бунт и склоняются к конформизму, оглядываются на прошлое и вглядываются в будущее. Они сражаются с формой и наслаждаются ее отсутствием. Каждый из них старается найти собственную дорогу, но похоже, что движутся они в одном направлении. В отличие от мастеров предшествовавшего поколения литературная молодежь, требуя социальной справедливости, ратует и за духовное освобождение личности. Стихи молодых интимны по тональности, но остросоциальны по сути, остросовременны по тематике.

Трудная жизнь народа, глубочайшие общественные перемены, непрестанно совершающиеся в стране, духовные искания интеллигенции — так можно было бы определить темы стихов молодых. Эта поэзия не удовлетворяется ни описаниями нищеты, ни состраданием к обездоленным; как обеспечить равные возможности всем — вот что волнует молодых поэтов, и в этом новизна их подхода к жизни. Предлагаются разные решения: Джасбир Сингх Алювалия видит спасение в возрождении сикхской хальсы в ее первоначальной чистоте; Хасрат верит в «шакти» — таинственную «энергию женского начала мироздания»; Джагтар углубляется в собственное «я»; Сохан Сингх Миса обращается к марксизму; Неки ищет выхода в некой всепроникающей духовной силе; Равиндер Рави — в национализме; Сати Кумар — в интернационализме; Аджаиб Камаль — в обожествлении собственной пытливости.

Все эти молодые поэты — выходцы из среднего сословия, и им не дано полностью освободиться от своего классового миропонимания. Все они — выпускники индийских университетов, но обучали их на английский лад, и это наложило отпечаток на их творчество. Каждый из них — художник, осознающий себя таковым. Будущее, бесспорно, за ними, хотя не все они пока добились непосредственности и естественности звучания, которыми отмечены стихи Харбаджана Сингха и Шива Кумара.

Самым ярким из новых поэтов считают Джасбира Сингха Алювалию. Правда, написанное им о новой поэзии заметно перевешивает собственно стихи — они составляют пока два сборника — «Бумажный демон» и «Лжецарь, лженарод».

Алювалия стремится создать такие поэтические формы, которые могли бы соответствовать приметам индустриального общества, уже возникающего в Индии. В своих поисках он нередко обращается к прошлому. Система его образов поражает неожиданностью — чаще всего это символы, почерпнутые из древнеиндийского эпоса, но помещенные в современный контекст. Язык Алювалии полон заимствований из Ади Грантх — священного писания сикхов,— но какую свежесть приобретают под пером поэта архаизмы!

Вот пример стихов Алювалии, где знакомые каждому индийцу герои эпической поэмы «Рамаяна» перенесены из лесов Айодхьи в душную скученность большого города:

Ты живешь в теснине улочки Лакшмана,
но демон Равана, которого ты ждешь,
он из бумаги.
Он может и не появиться.
Ты живешь в теснине улочки Лакшмана,
но справедливый Рама, которого ты
ждешь,
ушел обратно в Айодхью.
Он может и не появиться.
Выйди из улочки Лакшмана,
выйди из небытия
в этот момент истины.

(«1 × 0 = 0»)

К Сукхпальвиру Сингху Хасрату прилип ярлычок «шактивада» — проповедника мистической силы, сути которой поэт и сам подчас не может объяснить. Какой бы смысл, однако, он ни вкладывал в свои мистические теории, мне кажется, что такое определение несправедливо и надуманно. Хасрат — заметная фигура среди новых поэтов. Сборник «Стихи Хасрата», куда включено лучшее из написанного им за два десятка лет — с 1955 по 1975 год,— безусловно стал событием в пенджабской поэзии.

Хасрата обыкновенно причисляют к поклонникам «культа эксперимента». Не думаю, чтобы поэта его дарования можно

было втиснуть в рамки культов или школ. С моей точки зрения, в своем творчестве Хасрат развивает блистательную традицию неоромантиков, таких, как Мохан Сингх и Притам Сингх Сафир. Хасрат — и это типично для нового поколения поэтов — нетерпеливо ищет собственное «я», хотя надо сказать, что поиск его пока далек от завершения. Мне нравится серьезность, с которой Хасрат относится к стихам, к тому, как они воспринимаются аудиторией. Как читатель, я больше всего ценю его тонкую сатиру на те слои общества, к которым он принадлежит:

Мисс Танеджа — само сострадание.
Она любит животных
совсем как людей.
Покупает своей собачке
кока-колу и спать укладывает
в собственную постель.
Если ей попадется оборванный ребенок,
она выходит из машины
и оделяет ребенка монеткой.
В глазах ее слезы,
и она счастлива, что сострадает.
Опираясь на руку своего спутника
и сдерживая слезы,
мисс Танеджа говорит ему:
«Бедняжка, какой бедняжка!»

(«Мисс Танеджа — само сострадание»)

Поэзия Джагтара далеко ушла по новому пути. Джагтар плодовит — он опубликовал пять стихотворных сборников, последний из которых называется «Обрубленное дерево». В конце книги собраны все его любовные стихи — и это не случайно: они написаны скорее в традиции поэзии урду, отточены и обладают богатым подтекстом.

До сих пор непревзойденным мастером пенджабской газели считался Садху Сингх Хамдард, теперь, однако, ясно, что Джагтар ему не уступает. Его газели сближают новую пенджабскую поэзию с той, что существует по другую сторону границы — в Пакистане,— и нет сомнения, что Джагтар хорошо знаком с ней:

Ради тебя я цепи сменил,
но не расслышала ты моих шагов.
Я один смогу отпереть твой замок,
никто другой, я один.

(«Газель»)

Я всегда считал, что в любом виде искусства право на эксперимент имеет только тот, кто полностью владеет классической техникой. Джагтар, безусловно, относится к числу именно таких художников, поэтому, идя непроторенными путями, он чувствует себя уверенно, шаг его тверд, взгляд зорок.

Зима прошла.
Рассматривая свой обтрепанный пиджак,
перелицованный и грязный,
я задаю себе вопрос:
что от меня останется,
когда я с ним расстанусь?

(«Личины»)

Сохан Сингх Миса — самый интеллектуальный из молодых поэтов. Он пишет о тех, кто стремится «собрать светлячков в непроглядной ночи», или о «тенях, что к тебе подходят, желая, чтоб ты их одел». Политическая и религиозная узколобость, убожество повседневной жизни индийской буржуазии — вот постоянные темы творчества Мисы. Его сатирические стихи колючи, но прямолинейности в них нет. Как многие поэты этого поколения, Миса не остается равнодушным к сложным взаимоотношениям Индии и Пакистана, где от любви до ненависти порой меньше шага:

Как странна история этой вражды,
чужестранец бы не поверил, если бы
я рассказал ему.
Когда ваша армия
сложила оружие под натиском нашей
армии,
тот день был горек для вас,
вы нас проклинали.
Наверное, плакали.
И было это понятно.
Ну, а я почему плакал в тот день?

(«История вражды»)

Читая четвертый сборник стихов Мисы— «Стеклянные одежды»,— я обратил внимание на ту его часть, где собраны газели. Этот в высшей степени условный жанр поэзии не допускает отклонений от устоявшихся канонов. Язык и метафоры пенджабской поэзии вообще, по-моему, с трудом укладываются в жесткие рамки газели. И Мисе больше всего удались газели, в которых он не отходит от классической традиции:

Какое одиночество.
со мною даже тени моей нет!
Я песнь пою о саде,
где нет ни веточки моей.

(«Газель»)

Когда-то Аттар Сингх сказал о Джасванте Сингхе Неки, что он из тех поэтов, кого часто представляют читателям, но о ком мало пишут. Лично для меня сборник Неки «Луч памяти» был открытием. Есть у него и еще две книги — «Реальность и иллюзия» и «Мои сомнения — песни мои». Неки — поэт масштабный. Как в свое время Харбаджан Сингх, Неки ввел в пенджабскую литературу новую тематику, новые измерения, а в лучших произведениях поднялся поистине до эпических высот. Мир Неки проникнут духом мифа и магии — пожалуй, это вообще характерная черта новой поэзии. Язык его стихов несет полную нагрузку — многослойного подтекста и прямого мелодического выражения. Это язык тех чувств и мыслей, что нельзя передать прозой. Тем не менее, читая большую поэму Неки — 1000 строк! — написанную верлибром, ни на миг не ощущаешь надобности опереться на рифму или четкий размер — традиционное подспорье поэзии. Стихи метафоричны, неожиданны повороты настроений поэта и бесконечно их разнообразие.

Несколько лет назад Неки попал в автомобильную катастрофу и остался жив лишь чудом. Он написал стихи о той секунде, когда был «в гостях у жизни и у смерти»:

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ
НОВЫЕ ИМЕНА В ПЕНДЖАБСКОЙ ПОЭЗИИ

В запредельной магии небесной синевы
есть нескончаемость круженья золотых
тропинок —
и там есть точка небытия.
Бог смерти Яма властвует той точкой.
Все кружась и кружась на бесконечных
тропинках,
снова и снова ступаешь на эту точку.
Любая тропинка ведет через точку
неизбежно,
когда начинает распадаться память.

(«Когда распадается память»)

Мне хотелось бы рассказать еще о трех поэтах — Равиндере Рави, Сати Кумаре и Аджаибе Камале, которых я намеренно объединяю. Все трое родились в Пенджабе, и все трое живут за границей: Равиндер Рави — в Канаде, Сати Кумар—в Швеции, Аджаиб Камал — в Кении. Тем не менее они постоянно пишут на родном пенджабском языке, пишут, пожалуй, больше, чем мы, живущие дома.

Их творчество вносит совершенно особую тональность в пенджабскую поэзию, дает ей новые параметры и новый жизненный опыт.

Может быть, прямой контакт с реальностью, столь отличной от нашей, с культурой других народов, желание освоить новое толкает их к экспериментированию, которое действительно приобретает характер культа. Что бы ни встретили эти три поэта за границей, они, как дети, пытаются «опробовать» новинку на родном языке. Читая их стихи, оказываешься в обществе то дадаистов, то экзистенциалистов, а то и создателей «конкретной» поэзии. Эти поэты будто ловят все ветры перемен, бушующие над тремя континентами, далекими от их родины. К чести пенджабского языка нужно сказать, что он стойко выдерживает самые невероятные эксперименты как в области содержания, так и формы...

Я часто думаю, что молодым, о которых идет речь, недостает большой цели в жизни — им кажется, что сегодня сражаться не за что: колониализм агонизирует, что же касается борьбы за социальную справедливость, то при разнообразии нынешних экономических структур трудно сделать выбор. Не в силах обнаружить цель среди хаоса и смятения, каким представляется им мир, наши поэты подчас усугубляют путаницу своим цинизмом или нетерпеливостью. С другой стороны, их можно понять — они чувствуют, что лишены направления, изолированы от собственных корней и даже от самих себя. Одиночество этих троих ощущается тем сильнее, что живут они вдали от родины, а родина встречает их стихи «заговором молчания»...

Равиндер Рави много работает, и не только как поэт — он пишет пьесы, рассказы, иногда критические статьи. «Город — дикий зверь» — так называется его шестой по счету поэтический сборник. Поэт задает множество вопросов и старается ответить на них — нередко наивно. Его не занимает «завтрашний рай», он предпочитает «обнаженную сиюминутность». Рави не согласен с мироустройством, при котором «зреет урожай голода в полях» и «каждый ребенок рождается с вопросительным знаком на лбу». Трагически воспринимает поэт «вторжение одичания» в большие города, где человек одинок, отчужден и никому не нужен, где он становится придатком машины; и личные и общественные связи рвутся одна за другой, оставляя человеку один только секс:

Я обволакиваю эту женщину,
как океан, который размывает сушу,
а женщина
огнем африканских джунглей
выпрыгивает из расстегнутой блузки,
во мне рождаются крокодилы,
алчущие челюсти распахнуты,
они глотают женщину за женщиной.

(«Сияющая мечта»)

Нет больше мелодичной нежности неоромантиков, исчезли изысканные описания прелестей возлюбленной. В сердце нового человека только мрачная бездна первобытных ощущений.

Сати Кумара хорошо знают на Западе, но он горько жалуется на отсутствие читателей на родине. Он — член Союза шведских писателей, который не всякому оказывает эту честь. Прежде чем обосноваться в Швеции, Сати Кумар чрезвычайно активно участвовал в литературных битвах в Индии, где недавно вышел в свет новый сборник его стихов — «Раху». Тоненькая книжечка, из которой явствует, что Сати Кумар, признанный ультрановатором пенджабской поэзии, ныне больше всего увлекается звуковыми эффектами и всякого рода литературным трюкачеством. В отличие от предыдущего сборника Сати Кумара — «В ожидании героев» — этот оставляет впечатление сделанного торопливо. Сати Кумар слишком спешит публиковаться — и в результате появляются вот такие умозрительные стихи:

На новой планете
только одно было дерево,
и даже оно было запретным.
Никто не мог на него залезть:
было велено —
до того, как залезешь,
нужно слезть.

Аджаиб Камал — типичный представитель этого «поэтического племени»: агрессивный, эксцентричный, поглощенный модернистскими изысками. Очень многое из того, что он пишет, чуждо среднему пенджабцу. Никогда не поверю, что настоящий художник способен игнорировать тех, ради кого он творит. Тотальный разрыв с реальностью формы и языка приводит читателя лишь в недоумение. Справедливости ради нужно сказать, что Камал представляет собой довольно сложный случай — он утверждает, что ищет новый смысл в привычных словосочетаниях. Его манера письма сложилась не без влияния аудиовизуальных средств массовой информации. Впрочем, Камаль отдает себе отчет в том, что внешней эффектности стихов недостаточно, чтобы они стали подлинной поэзией. Поэт-модернист, он тем не менее

резко критичен по отношению к безоглядному модернизму:

Пишущая машинка на голове,
электронный мозг,
телекс и компьютер,
субзвуковой часовой механизм тикает
в сердце,
объектив в глазах,
микрофон на губах,
ракеты и бомбы на груди,
ноги на колесах,
реактивные крылья развернули плечи,
им движет уголь, нефть и атомная
энергия —
сколь цивилизован
и сколь образован
нового времени человек!

(«Все Чанакьи умерли»)

Аджаиб Камал словно не в силах остановить собственный эксперимент. Он вырвался далеко вперед и обогнал остальных поэтов, идущих той же дорогой. Мне кажется, что ему следовало бы оглянуться вокруг, поразмыслить, подождать. Если нет — он напрасно скорбит по поводу того что остается непонятым...

■

Обращаясь к новым голосам в пенджабской поэзии, я хотел уяснить себе, как изменилась роль поэзии в наши дни, когда издается столько литературных журналов, когда у поэта так много выходов в мир, к читателю. Но пытаясь выбрать несколько голосов из хора, где их звучит великое множество, всегда идешь на определенный риск. Помню, несколько лет назад когда я выдвинул кандидатуру Шива Кумара на соискание премии Литературной Академии, кое-кто из маститых усомнился можно ли серьезно отнестись к творчеству поэта, который еще далеко не стар. Ни возраст поэта, ни количество строк, им написанных, ни известность и мастерство не могут служить залогом того, что и завтра поэт останется поэтом. В 30-е годы гремело имя некоего Атма Сингха Шатира, его стихи потрясали читателей, их знали все. Теперь о нем никто и не вспоминает. Он занялся торговлей фруктами и преуспевает в ней.

Чтобы быть и остаться поэтом необходима неугасимая страсть к творчеству. Но и одной страсти к поэзии — даже при наличии таланта — мало, чтобы заслужить звание истинного поэта. Нужно еще чувство ответственности, личной ответственности за все, что происходит на свете и вера в то, что поэзия способна и должна сделать человека лучше, сильнее.

◆

Трибуна переводчика

ГРИГОР ЛЕНКОВ

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ПУШКИНУ

Сколько поэтов мира переводили на родной язык поэзию Пушкина... Лишь в Болгарии за последние пятьдесят лет вышло одиннадцать переводов «Евгения Онегина». Работа недавно умершего Григора Ленкова, по единодушному мнению болгарской критики, стала событием в культурной жизни страны. Как писал Симеон Хаджикосев, «Григор Ленков сумел достичь необыкновенной легкости и музыкальности фразы, не позволяя себе при этом какого бы то ни было отклонения от духа и образной системы оригинала». В самом деле, вот как звучат по-болгарски начальные строки письма Татьяны.

Писмо ви пиша — по неволя.
Какво да кажа друго аз?
Оставям се на ваша воля
да не прозрете в тоя час.
Нещастна, милост аз не моля,
но имате ли капка жал,
ще разберете моя дял...

Предлагаем вниманию читателя статью Григора Ленкова, которая вводит нас с творческую лабораторию переводчика.

Двенадцать лет тому назад редколлегия Собрания сочинений А. С. Пушкина на болгарском языке в шести томах предложила мне сделать новый перевод «Евгения Онегина». Это было настолько неожиданным и, конечно, такой большой честью, что, признаться, моя радость очень скоро сменилась страхом и сомнением. Чувство неуверенности не покидало меня на протяжении двух-трех лет. Да и кто другой не подумал бы благоразумно отказаться от столь лестного предложения — ведь речь шла о гении русской литературы, о его высшем творении, романе в стихах «Евгений Онегин»!

Приступая к переводу, прежде всего спрашиваешь себя: кто ты, будущий переводчик «Онегина»? И кто ты в сравнении с Пушкиным? Ответ был крайне неутешительным для меня, но я переводил лирику Лермонтова и Пушкина, и, обнадеженный доверием наших известных болгарских поэтов, предложивших мне перевести пушкинский шедевр, я решился. И с этого мгновения начались мои муки творчества.

Меня смущало не только величие гения Пушкина, но и то, что «Евгения Онегина» уже переводили выдающиеся болгарские поэты. Я словно оказался в заколдованном кругу и не знал, что делать.

Я начал, как начинают все,— с начала. Попробовал перевести первую строфу. Но уже с первого четверостишия меня залихорадило.

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог...

Раньше оно казалось мне совершенно понятным, но когда я попробовал перевести его, попал в тупик. Что значит все-таки «мой дядя самых честных правил»? Что значит «когда не в шутку занемог»? Или же «он уважать себя заставил»? Почему? И почему «и лучше выдумать не мог»? Я с ужасом констатировал, что не понимаю предельно ясного и простого на первый взгляд Пушкина. Решил обратиться за помощью к своему редактору. Редактор, молодой и начитанный человек, только что прослушал курс русской филологии в Ленинградском университете, разъяснил подробно смысл этих стихов, связывая первый стих с басней Крылова «Осел был самых честных правил», объяснил также, почему молодой повеса Онегин, пародируя Крылова, не очень хорошо думает о своем родном дяде. И так далее и так далее. Одним словом, я увидел, как мало подготовлен, чтобы читать и понимать Пушкина... Я понял, с чего нужно начать: научиться понимать Пушкина, читать его «духовными глазами», как сам он сказал о своем любимом герое.

Я запасся литературой о Пушкине, принялся ее изучать, читая и перечитывая самого поэта. Отказался переводить первую строфу, решив, что она слишком трудная, и стал искать по всему роману более легкие, более доступные строки, которые мог бы перевести без особых усилий. Нашел несколько таких строк, перевел их сразу, но так как переводил их изолированно одну от другой, в отрыве от контекста, понял, что в итоге я ничего не сделал. Тогда я сменил тактику. Каждое утро переписывал на машинке строфу из «Онегина» и шел в парк. Прогуливаясь, за первые 20—30 минут я выучивал строфу наизусть. И, повторяя ее все время, старался перевести на болгарский язык. Это обычно мне удавалось за четыре-пять часов прогулки. Но когда на другой день перечитывал уже переведенную строфу, с горечью осознавал, что это все-таки не Пушкин. Так продолжалось днями, месяцами. Прогулки были хорошие, а результаты — плохие. И я готов был отказаться от непосильной задачи. Отказаться — но как? Уже было поздно — редактор настаивал на том, чтобы я ему передал первые две-три главы. Как передать ему эти главы, когда их перевод абсолютно не удовлетворял меня?! Увы, больше двух лет я усердно трудился и, к сожалению, не сумел даже приблизиться к Пушкину. Он по-прежнему оставался недосягаемым, как Гималайские вершины, а я, так сказать, ползал, как муравей у подножий. Тогда я собрался в Россию...

Надо побывать на родине Пушкина, чтобы понять, что такое Пушкин для каждого русского. Итак, восемь лет тому назад я впервые приехал в Советский Союз с намерением поехать в места, где родился, жил и творил самый великий поэт России. Моим Вергилием по Пушкинским местам была очень милая семидесятилетняя русская женщина Ольга Георгиевна. Мы с женой пришли к ней в гости в Ленинграде. Она, узнав, что я перевожу Пушкина, принесла толстую, потрепанную, очень похожую на Библию книгу. «Пушкин»,— просто сказала она. Каково было мое удивление, когда я перелистал книгу и увидел, что это очень старое, полное собрание сочинений Пушкина. «Семейная библия» передавалась от дедушки к отцу, от отца — к дочери, а теперь уже перешла к внучке. Это была единственная реликвия, уцелевшая в страшные дни блокады,— Ольга Георгиевна никогда не расставалась с книгой.

В дальнейшем мне не раз довелось слушать русских, читающих наизусть стихотворения Пушкина или строфы из «Онегина». И Пушкин мне представился с другой стороны. Это уже не был тот недосягаемый гений, «сын гармонии», как называет его Блок, просто самый желанный, самый задушевный собеседник в каждой семье. Пушкин разговаривает с Россией! Россия разговаривает с Пушкиным! Тогда впервые я не просто осознал, но прочувствовал эту истину. И значит, Пушкина надо не переводить, а сопереживать, что само по себе уже творчество, «пресотворение» и как раз в том смысле, который вложила Марина Цветаева в свои строки, написав: «Говорят, что Пушкин непереводим. Как может быть непереводим поэт, который уже перевел, пресотворил на свой — общечеловеческий — язык несказанное и невысказанное?»

Роман Пушкина «Евгений Онегин» стал достоянием болгарского читателя с большим опозданием. Первым прикоснулся к нему народный поэт Иван Вазов. В вышедшей в конце прошлого века хрестоматии он напечатал свой перевод четырех строф из второй главы «Онегина». Только в начале 20-х годов нашего столетия вышел первый полный перевод романа на болгарский. После этого до 1971 года последовали один за другим семь поэтических переводов романа и три перевода в прозе. За пятьдесят лет — одиннадцать переводов одного и того же произведения! Чем объясняется водопад переводов «Онегина» в стране, где каждый человек может прочитать роман в оригинале? По-моему, желанием проникнуть как можно глубже в неисчерпаемые глубины гениального творения. Лев Николаевич Толстой когда-то писал, что все удивительное совершенство пушкинской драматической поэмы «Цыганы» раскрылось ему, лишь когда он прочитал ее в переводе на французский. Сопоставление оригинала и перевода неожиданно открыло ему неизвестные дотоле эстетические богатства слишком привычного русского текста. Перевод оказался зеркалом, в котором Толстой увидел такие черты оригинала, каких до этого не мог заметить. Приведу еще один пример, когда читателем перевода явился сам автор оригинала. Когда двадцатилетний французский поэт Жерар де Нерваль

перевел «Фауста» на родной язык, Гёте написал ему восторженное письмо. «Я еще никогда так хорошо не понимал самого себя, как при чтении вашего перевода». А в «Разговорах с Гёте», 3 января 1830 года, Эккерман пишет: «Гёте хвалил как «очень удачный» упомянутый выше перевод Жерара, хотя он в значительной своей части и был прозаическим. «По-немецки,— сказал он,— мне больше уже не хочется перечитывать «Фауста», но в этом французском переводе все опять производит на меня впечатление и кажется свежим, новым и острым».

Нечто подобное произошло и со мной. Около трех лет я буквально топтался на месте, не находя ключа к гениальной непосредственности пушкинского стиха. Боясь чужого влияния, я специально не раскрывал ни одного из предыдущих переводов. И в тот момент, когда хотел было отказаться от непосильной задачи, мне в голову пришла мысль посмотреть, как переводили «Онегина» до меня. И странно! Несмотря на то, что я уже детально знал оригинал, переводы так приковали мое внимание, что я не мог думать о дальнейшей работе, пока не изучил их все до мельчайших подробностей.

В процессе работы я понял, что без опыта предшественников, без детального исследования всех сделанных ранее переводов «Онегина» на болгарский язык невозможно найти новый подход к решению чрезвычайно сложной и ответственной задачи. И потому каждый следующий переводчик «Евгения Онегина» оставался в долгу перед своими предшественниками—либо потому, что пользовался в большей или меньшей степени некоторыми уже готовыми решениями, либо потому, что они оказывались единственно возможными на болгарском языке. Трудно сказать, является ли это слабостью переводчиков. Думаю, это «меньшее зло» и доказательство живого присутствия традиции в бесконечном процессе усвоения и приближения к духу и звучанию гениального творения.

Пастернак сказал, что бессмертие Пушкина как поэта заключается в том, что он изобразил *повседневное вечное*, будни жизни. Это утверждение несколько необычно, но оно глубоко правдиво. В повседневных вечных страстях, которые будоражат нас, в повседневности народной жизни таятся, как на морском дне, сокровенные жемчужины народной души. Пушкин первым погрузился в море души народной, показал нам русский характер в его первозданной чистоте и красоте... В этом смысле он является глубоко народным поэтом, и его «песнь,— говорит Герцен,— продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».

И мы счастливы тем, что являемся современниками «отдаленного будущего».

В последний вечер восемнадцатого столетия, 31 декабря 1800 года у Пушкиных собрались гости. Стол был парадно накрыт. Ждали наступления Нового года, нового, девятнадцатого столетия.

Читали стихи. Хозяйка дома, Надежда Осиповна, «прекрасная креолка», внучка арапа Петра Великого, вполголоса напевала романсы, аккомпанируя себе на клавесине.

Ровно в полночь раздался звон часов. Первый удар, за ним второй, третий... последний — двенадцатый... Гости подняли бокалы, поздравили друг друга:

— С новым годом! С новым столетием!

Звон бокалов и громкие голоса гостей разбудили спавшего в соседней комнате маленького сына Пушкиных, Александра. Ему было всего полтора года. Как гласит легенда, он соскочил с кровати, тихонько приоткрыл дверь в комнату, где собрались гости, и в одной рубашонке ослепленный множеством свечей, остановился у порога. Няня, крепостная Пушкиных Ульяна Яковлевна, бросилась вслед за ребенком. Но мать, Надежда Осиповна, остановила ее. Тронутая неожиданным появлением сына на пороге нового века, она взяла его на руки, высоко подняла над головой и сказала, восторженно обращаясь к гостям:

— Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!..

Слова оказались пророческими.

Пушкин перешагнул уже через два столетия. Он перешагнет и через тысячелетия...

◆

Заметки на полях

«ВВЕРХ ПО КРУТОЙ ДОРОГЕ»

За всеми вопросами, которые задавал Джеймсу Болдуину, крупнейшему негритянскому прозаику США, беседовавший с ним корреспондент журнала «Бук дайджест», скрывался один главный, на разные лады повторяемый вопрос: почему вы не хотите признать, что достигнут «подлинный прогресс в деле ассимиляции» черных в американском обществе? Напечатанный в журнале текст мало похож на традиционное интервью. Вместо привычно беглых оценок недавно появившихся книг и двух-трех фраз насчет собственных творческих планов виден принципиальный спор писателя со своим собеседником. Местами спор идет чуть ли не открыто.

Собеседник напорист: неужели Болдуину не ясно, что у черных в сегодняшней Америке «есть вполне реальная власть», неужели его не впечатляет «происходящая у нас на глазах эволюция»? Какие еще «решительные изменения в американском обществе» нужны ему для того, чтобы «оценить ситуацию более позитивно»? Не лучше ли порадоваться достигнутому и с уверенностью смотреть в будущее? Вот, к примеру, теперь не такая уж редкость известный профессор, общественный деятель, видный медик из негритянской среды. И уж они-то, несомненно, «полностью освоились в современной Америке». Но непреклонен и Болдуин:

> «Да, эти люди поднялись на ту ступень, которую общество считает для них позволительной... У них особая роль — что-то вроде украшения на ткани. Я сам принадлежу к числу таких людей. Они умеют работать. Они умеют пробиваться вопреки всему. Но попробуйте всерьез изменить положение дел хотя бы в одной школе».

Когда говорят о «прогрессе», о «реальной власти» черных американцев, подсчитывают количество негритянских конгрессменов, негритянских мэров городов. Да только — «много ли может черный мэр, целиком зависящий от начальства своего штата»? Та «власть», без которой негры «ныне просто не существовали бы», и сегодня, как десятилетия назад, определяется лишь одним — умением выжить в окружающем тебя враждебном мире, способностью терпеть, сопротивляться, как-то приноравливаться к чужим понятиям и нормам и на каждом шагу сдерживать, ограничивать себя.

Об этом не упоминается в благополучных статистических сводках, показывающих, как растет число негритянских студентов в университетах, почти уравниваются с положением белых выпускников их шансы получить работу. И вообще эта сторона дела не принимается во внимание, когда толкуют о «реальном прогрессе» в области расовых отношений. Ведь так удобно сослаться на новые законы, направленные против расовой дискриминации, привести два-три примера «реального прогресса» и сделать вид, что, собственно, и самой проблемы больше нет. Все как будто бы логично, но только не для Болдуина, который вырос в гетто и на собственном опыте изведал, как велика в США дистанция между демократическими принципами и их осуществлением на практике. А Болдуин именно из таких людей. И ему нетрудно опровергнуть мнимую логичность сегодняшних оптимистов. Да, законы приняты, но дискриминация остается, по-прежнему на каждом шагу бросается в глаза социальное неравноправие черных и белых американцев. Оно и создает многочисленные барьеры между этническими группами, оно и является первоосновой расового конфликта — социального конфликта по самой своей сути. И поэтому его острота не угасает и не может угаснуть.

Разве сам факт относительного приспособления, сравнительного благополучия отдельных негритянских семей делает несущественной цену, которой оплачивается подобный успех? Ведь цена непомерно велика. Как заметил Болдуин корреспонденту, «черному приходится расплачиваться уже за то, что он живет в Америке». С детства ему знакомо чувство своей отверженности, и он стремится преодолеть свою неполноценность, «создавая в самом себе стереотип белого», уродуя собственную личность. Его постоянно преследует страх перед опасностью насилия, всегда реальной и грозной, и, даже сделавшись «украшением на ткани», не чувствуя столь обостренно «угрозу общества извне, он продолжает ощущать ее, но уже в себе, в своем внутреннем мире».

И эта ситуация, по сути, ничуть не изменилась с течением времени. В годы войны, когда Болдуин был железнодорожным рабочим и в армейских лагерях впервые столкнулся лицом к лицу с «обыкновенным расизмом» повседневного американского быта, ему открылось такое знакомое любому чернокожему состояние, «когда ты чувствуешь себя в высшем смысле беспомощным, полностью беспомощным, как бы ты не поступал». Прошло тридцать с лишним лет, Болдуин стал всемирно известным писателем. На первый взгляд его биография, начинавшаяся в трущобных кварталах Гарлема, могла бы служить аргументом для тех, кто рассуждает о благотворной «эволюции», стараясь не обращать внимания на действительно существенные факты. Однако об этих фактах не устает напоминать сам Болдуин. Для него и сегодня все, как было в дни его юности.

«Я понял, что значит быть черным в Америке. Это ужасно. И это приходится осознать каждому поколению, потому что дух, господствующий в нашей стране, неизменен. Меняются только частности. Я понял, что это такое, когда соотечественники обливают тебя презрением».

Корреспондент «Бук дайджест» М. Кросс не соглашается:

«Я думаю, все это давно в прошлом».

Знакомая нота! После трагических событий 60-х годов, когда по всей Америке прокатилась волна негритянских восстаний и пылали гетто Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, после того, как чуть спало напряжение расового конфликта и жизнь медленно начала входить в обычную колею, многим не хочется вспоминать близкую историю и очень хочется сделать вид, что она, к счастью, ушла безвозвратно и никогда не повторится.

В годы взлета негритянского движения позиция Болдуина неизменно была и подлинно гражданской, и подлинно гуманистической и реалистичной. Он с презрением отвернулся от идеологов «благополучной» черной буржуазии, перепуганной размахом борьбы и искавшей любых средств, чтобы пригасить ее накал. Он отверг и националистический авантюризм ультралевых группировок с их лозунгами расового террора и негритянского сепаратизма. В то же время Болдуин открыто выразил солидарность с движением за гражданское равноправие и поддержал самые революционные силы черной Америки. Свои взгляды он высказал в книге «Имени его не будет на площади»; она известна читателям «Иностранной литературы» [1]. И в отличие от некоторых недавних пропагандистов левацкого экстремизма, которые теперь занялись перекраиванием своих обанкротившихся теорий и сведением счетов друг с другом, Болдуин не отступил от идей, прозвучавших со страниц этой книги.

«Прошлое? — отвечает он М. Кроссу.— Но как это может стать прошлым? В 1957 году я оказался в Литтл-Роке, потому что там бушевало насилие. Девятнадцать лет спустя та же причина заставила меня отправиться в Бостон».

Не вырываясь на поверхность с такой периодичностью, как в минувшее десятилетие, пламя негритянской борьбы продолжает кипеть в непотухшем вулкане, и у Болдуина нет сомнений, что близится новый катаклизм,— ведь конфликт не закончен, а порождающие его причины не исчезли. В интервью «Бук дайджест» он говорит об этих причинах просто и четко:

«Большинство черных в Америке по уровню жизни стоит намного ниже, чем большинство белых... В своих основах наше общество остается сегрегированным.... Вы находите, что положение в самом деле меняется к лучшему? Хотелось бы мне, чтобы вы почитали письма, которые я получаю из тюрем».

Как не хватает такой ясности людям, еще несколько лет назад стоявшим у руля негритянского движения! Кумиры левой молодежи 60-х — Стокли Кармайкл, Элдридж Кливер — ходом событий отодвинуты так далеко на задний план, что нынешнее поколение черных американцев едва знает их имена. Они молчат годами — не потому ли, что скороспелые теории безотлагательной расовой революции заслонили от них реальность американской общественной ситуации, которая опровергла их построения, внушив им чувство катастрофы и полную растерянность? А реальность в том, что судьба негритянского народа не может решаться отдельно от судеб всей Америки. И потребуются

[1] См. «Иностранную литературу» № 2, 3, 1974 г.

годы последовательной социальной борьбы и духовной работы — кропотливой, не допускающей никаких иллюзий работы, чтобы покончить с дискриминацией и сломать барьер расового отчуждения, обеспечив подлинное равенство — и по закону, и по сути, и по форме отношений между людьми.

Расовое отчуждение... Эта тема проходит через все творчество Болдуина, да, пожалуй, и через всю негритянскую литературу последних десятилетий. Собственно, даже не тема, а целый узел острейших проблем. Их содержание далеко не замкнуто психологией. С ходом времени социальные коллизии, порожденные расизмом, все отчетливее кристаллизуются во всей сфере повседневных человеческих отношений. Здесь-то особенно и выявляется, насколько формально, иллюзорно то равенство, которое провозглашено законом. Ибо по сути Америка по-прежнему не признает (как не признавала веками) своих черных граждан гражданами в истинном значении слова, свободными и полноправными людьми.

Активная борьба против расизма принесла свои плоды, и сегодня это неравенство не столь самоочевидно, как прежде. Но оно не укроется от внимательного взгляда. Ведь и в самом деле «меняются только частности», а дух расовых отношений неизменен. Сегрегация потеснена юридически, но все так же осуществляется на практике — просто форма иная, форма «эмоциональной сегрегации», как называет ее Болдуин.

Едва ли этот термин выдержит суд теоретического мышления. Строго говоря, дело упирается не в расовую разобщенность и разъединенность — Болдуин, заметим, склонен их абсолютизировать. Дело упирается в социальные установления, которые сделали неизбежным этот тяжелый конфликт.

Здесь — не социальное обобщение, а скорее поэтический образ, и важно видеть то очень реальное и для негра крайне болезненное содержание, которое за ним стоит. На фоне правовой дискриминации и полицейского произвола какая как будто мелочь — отдельные для черных и белых подростков школьные вечера или раздельные, точно клетки на шахматной доске, кварталы американских городов. И не всегда замечается, что с этих ранних уроков социальной и психологической разделенности и ведет свое начало процесс духовного формирования негритянской личности. День за днем подвергаясь «эмоциональной сегрегации» в ее бесчисленных формах, воспитываясь на сознании своей второсортности, человек нередко накапливает в себе такую ненависть ко всей жизни, которая его окружает, что неполноценным, изуродованным оказывается весь комплекс его этических представлений. Известно, что среди негров всего больше наркоманов, что в негритянской среде наиболее высока преступность. Расисты утверждают, что во всем этом повинны врожденные этнические особенности черных. На самом деле это глубоко социальная проблема.

Биография человека, молчаливо, но последовательно оттесняемого в гетто и приучаемого к сегрегации как к некоей естественной норме существования, словно бы обречена закончиться катастрофически — либо саморазрушением и нравственным распадом, если он капитулирует перед такими «нормами», либо гибелью в отчаянной схватке один на один с обществом, пропитанным духом расизма. Это тоже цена, которую должен заплатить черный за то, что он родился и живет в Америке. Сколько раз эта специфическая негритянская трагедия оказывалась в центре внимания литературы! О ней писал Ричард Райт в «Сыне Америки» (1940). И Ральф Эллисон в «Невидимке» (1952). И сам Болдуин в «Другой стране» (1962). Очень разные книги, но вместе с тем — своего рода трилогия, в которой существенна не эволюция, а как раз конечная неизменность конфликта героя с Америкой, повторяющегося десятилетие за десятилетием и всегда завершающегося жестокой развязкой.

Так же повторяется — и так же завершается — этот конфликт и сегодня. Не случайно Болдуин в беседе с корреспондентом упомянул о письмах, которые приходят ему из тюрем: у него есть причины верить таким письмам больше, чем рассуждениям о «прогрессе» в расовых отношениях, его корреспондентам характер этого прогресса достоверно известен из личного горького опыта отверженных. Накаленная атмосфера 60-х годов и сегодня продолжает ощущаться в своих последствиях. Они затрагивают меняющееся самосознание черной Америки и весь комплекс ее бытия. Они проявляются, среди многого другого, и в той духовной подавленности, которой охвачена сейчас, в период относительного спокойствия, некоторая часть негритянской молодежи, уже не верящей в лозунги недавней эпохи, не находящей для себя конкретного общественного идеала и опасно восприимчивой к настроениям отчаяния и этического нигилизма.

> «Все знают,— говорит Болдуин в интервью для «Бук дайджест»,— о том, что произошло с Медгаром Эвансом, с Малькольмом Икс (лидеры негритянского движения, павшие жертвами насилия в 60-е годы.— А. З.). Но не все знают о том, что в те же годы происходил внутренний надлом, и вот мы сегодня видим их, всех этих ребят, у которых что-то навсегда повредилось в душе, всю эту молодежь, которая навеки останется потерянной, хотя она все еще жива. Это и есть настоящий счет тому времени. Страшный счет».

Быть может, и эта мысль даст критикам Болдуина повод для того, чтобы упрекнуть писателя в чрезмерном пессимизме. Такие упреки обычны, их повторил и М. Кросс. Стали общим местом утверждения, что Болдуин по своим взглядам чуть ли не фаталист, что он воспринимает мир в экзистенциалистских категориях человеческой

отчужденности, обреченности, «заброшенности» в равнодушном макрокосме общества, что он не признает возможности разумных и справедливых социальных отношений.

Назвать эти обвинения просто несправедливыми нельзя. Иные книги Болдуина дают для них определенные основания. Но нельзя согласиться с тем, что подобное видение (даже в тех случаях, когда оно действительно присуще Болдуину) является произвольным и не имеет почвы в американской действительности, которую писатель стремится понять и объяснить.

Болдуин непрост — наверное, как каждый значительный художник. Есть в его творчестве свои крайности и свои слабости. Они порождены главным образом присущей Болдуину повышенной эмоциональностью: он крайне напряженно переживает драматизм текущего и порою игнорирует диалектику и сложность общественного процесса. Он обостренно — быть может, слишком обостренно — воспринимает тягостные явления окружающего мира: незамечаемую повседневную жестокость, стихийные вспышки насилия, все более частые примеры моральной дегенерации, «потерянность» и ненужность личности в стандартизованном, бездуховном обществе.

Эта жестокая реальность порою становится для Болдуина самодовлеющей. Здесь его самая ощутимая слабость как художника. Не оттого ли конкретные следствия трех веков расизма — опустошенность, чувство своего бесправия и своей «второсортности», такое мучительное для его героев,— подчас заслоняют от Болдуина первопричины и сущность всего расового конфликта как социальной проблемы и тем самым объективно снижается художественная значимость его книг? Не оттого ли и его запальчивые инвективы по адресу негритянских писателей 20—30-х годов (они прозвучали и со страниц «Бук дайджест»), и его явно поспешный отказ признать негритянскую литературу — прежде всего литературой протеста, хотя протестом полны и его собственные книги?

Только протест этот так и не приводит Болдуина к решительному шагу — к признанию, что трагизм негритянской ситуации, столь остро им ощущаемый, не может быть преодолен в рамках той общественной системы, которая и создала саму эту ситуацию. А пока такой шаг не сделан, выхода и не может найтись. Вот почему так часто книги Болдуина оставляют горький привкус безнадежности. Вот почему писатель иногда вплотную приближается к той грани, переступив которую художнику уже непросто освободиться от идей изначальной абсурдности и извращенности жизни.

Однако и в самых безысходных его книгах — «Другой стране», «Скажи, давно ли ушел поезд» (1968) — обязательно ощутим тот трагизм, который не задан наперед модернистской схемой, а определяется действительным жизненным опытом и самого автора, и черной Америки, от чьего имени он говорит. Через наслоения заимствованных у экзистенциалистов концепций в его творчестве всегда пробивается реальная и, как правило, особенно жгучая, особенно драматичная социальная проблематика. Она затрагивает болезненные стороны американской жизни — прежде всего, конечно, неубывающе злободневную тему расовых отношений. И если болезненность порой сообщается художественному мироощущению Болдуина, дело здесь не только в особенностях его позиции, но и в особенностях материала, который влечет его как писателя и из которого соткана его биография как личности.

> «Я вовсе не подавлен происходящим,— заявляет он со страниц «Бук дайджест».— По природе я оптимист. Только я не строю радужных иллюзий в отношении всего того, о чем мы говорили. Ибо предстоят очень жестокие испытания, через которые придется пройти нашей стране... Но я не утратил веры в Америку, которая была мне свойственна и раньше».

Для Болдуина, как и для других американских писателей, это прежде всего вера в демократическую Америку и крепнущие духовные силы негритянского народа, в его новое самосознание, утверждающееся — пусть с неизбежными трудностями и неизбежными трагедиями — сегодня, когда в полной мере начинает раскрываться исторический смысл огромных общественных потрясений 60-х годов. Преодолевая настоянные на расизме представления о сущности негритянского характера, отказываясь от левацких концепций, которые сопутствовали борьбе за равноправие в последнее десятилетие, мысль и культура черной Америки стремятся объективно осознать историю, традиции, миропонимание, этику этой необыкновенной страны, которая неотделима от американской действительности и в то же время отделена от нее многочисленными барьерами — и явными, и невидимыми, но прочными. В литературе наметилась новая тенденция: сошли со сцены ревнители «черной исключительности», кончились увлечения эстетическим примитивом, пропагандирующим экстремистские идейки, и снова заявил о себе реализм с его неотъемлемыми качествами объективности, многогранности, историчности, пристального социального анализа повседневной жизни.

Всего полнее эта тенденция воплотилась в повести Болдуина «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» [1]. Но не только в ней. Примечательны книги молодых писателей, выступивших уже в 70-е годы. Они обращены к реальному миру и показывают современную негритянскую трагедию во всей жестокости. Но, как и повесть Болдуина, эти книги полны надежды, и герои уже не чувствуют себя обреченными — у них доста-

[1] См. «Иностранную литературу» № 7, 1975 г.

нет сил выдержать самые крутые повороты судьбы, в них пробудилось человеческое достоинство, созрела убежденность в своей нравственной правоте. К такой литературе приковано сегодня внимание критики и читателей.

Время накладывает рельефный отпечаток на социальную и духовную жизнь черной Америки: рождается новое ощущение своей истории и своего места на земле, оформляются новые потребности сознания и новые этические ориентиры. В одной из недавних статей Болдуин очень точно определил суть умонастроения, которое сейчас становится все характернее для черных американцев: человек немыслим вне своей истории, он должен осознать эту историю в ее трагизме и величии, осознать самого себя наследником и продолжателем исторического процесса. И сделать все от него зависящее для того, чтобы это был процесс развития и «движения вверх по крутой дороге, хотя каждый может погибнуть под колесом истории».

Пожалуй, и о самом Болдуине можно сказать, что его творчество — это движение вверх по крутой дороге. Тридцать лет назад это имя впервые появилось в печати, и с той поры вокруг любой его книги завязывались горячие споры, потому что всегда в произведениях Болдуина отражались острейшие коллизии американской реальности. Случалось и так, что уместнее было говорить не о движении вверх, а о движении вспять, но писатель преодолевал эти кризисы, как преодолевала свои кризисные периоды и та, «другая страна», которая в книгах Болдуина смогла заговорить.

Сделанное этим писателем — настоящая художественная хроника той полосы жизни, которая несомненно останется одной из важнейших в истории негритянской Америки: ведь в эти годы произошел подлинный переворот в ее мышлении и психологии. О том, что значил этот переворот и что он сулит, и шел спор между писателем и его собеседником в «Бук дайджест». Не каждому, даже большому, художнику суждена такая нерасторжимость со своим миром и такая значимость для своего мира. Чтобы обрести ее, наверное, нужен особый дар, которым владеет Болдуин,— дар нечасто встречающейся чувствительности к подземным толчкам истории, дар особой восприимчивости к биению пульса времени.

А. ЗВЕРЕВ

■

Публицистика

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Зарубежные писатели
о новой Конституции СССР

Вацлав Садковский
ПОЛЬША

ФОРУМ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

Это было в начале октября в Ташкенте, жарким осенним днем. После нескольких дней работы Совещания молодых писателей социалистических стран, в котором я участвовал в качестве гостя, мы, разбившись на несколько групп, разъехались из Москвы по различным городам и республикам Советского Союза. Использовав небольшую паузу в интенсивной программе, подготовленной для нас хозяевами, я вырвался на короткую прогулку по столице Узбекистана. Не знаю, знакомо ли вам то своеобразное ощущение какой-то растерянности, которое охватывает человека в тот момент, когда в городе, для него новом и неизвестном, он оказывается без провожатого, без автобуса, столь упрощающего посещение мест, предусмотренных туристским маршрутом. Разумеется, я не боялся заблудиться, но в какое-то мгновение почувствовал, что потерял ориентацию, и спросил у двух ребят с портфелями, вышедших из прекрасного школьного здания на улице Тараса Шевченко, как добраться до гостиницы «Узбекистан».

Старший из них — ему было на вид лет пятнадцать — внимательно посмотрел на меня и произнес:

— Вот вы спрашиваете, как туда пройти, значит, город наверняка не знаете. Если у вас есть немного времени, то мы проводим вас к гостинице такой дорогой, чтобы вы как можно больше увидели.

И, рискуя опоздать на поэтический вечер участников встречи, который должен был состояться через несколько часов, я с двумя своими новыми друзьями отправился в чудесное путешествие по Ташкенту. Пока мы шли, мои молодые спутники рассказали мне, как город после землетрясения был восстановлен и отстроен общими усилиями всего советского народа, и при этом с особенной гордостью упоминали о своей школе. Проект ее был создан киевскими архитекторами для своей республики, но после того, как вся страна узнала о бедствии, обрушившемся на Ташкент, здание, которое должно было стоять в Киеве, было возведено здесь.

— Прекрасна ваша столица,— сказал я, благодаря и прощаясь с ребятами уже не возле гостиницы, а у входа в Дом знаний, где должен был состояться поэтический вечер и куда они меня проводили. И тогда один из них ответил:

— Так же прекрасна, как наша новая Конституция, где и о вас тоже сказано, вернее, о нашем с вами сотрудничестве.

Таким образом, в этом разговоре с ташкентскими школьниками, как и ранее в беседах с московскими студентами, с колхозниками из узбекского колхоза

«Ленинград», с водителями грузовиков, которые ели плов в самаркандском кафе, куда я попал, возвращаясь под вечер с шумного базара,— мне еще раз представилась возможность убедиться, чем является для советского народа его новая Конституция, насколько всеобщую, глубокую и поистине творческую заинтересованность вызвала она среди советской общественности.

Тот же ее раздел, который имели в виду ташкентские школьники, встречает живой отклик и у людей, живущих за пределами Советского Союза, у его друзей во всем мире. Дело в том, что Советская Конституция является, по-видимому, первым и единственным в истории международного права сводом основных законов государства, в числе которых содержится раздел о культурном сотрудничестве с другими странами — принцип, возведенный в ранг конституционного установления. Таким образом, авторитетом государственного закона санкционируется вся та огромная деятельность, которая систематически и с впечатляющим размахом ведется Советским Союзом во всех областях художественной, культурной и духовной жизни.

Для меня источником особого удовлетворения является то обстоятельство, что этими размышлениями, возникшими у меня во время пребывания в СССР в те дни, когда Конституционная Комиссия заканчивала свою работу, а Верховный Совет обсуждал и принимал новую Конституцию СССР, я делюсь с читателями журнала, представляющего собой абсолютно уникальное явление в мировой культуре. Нигде в мире больше нет такого ежемесячника, как ваш,— который бы в сотнях тысяч экземпляров знакомил своих читателей с литературами других народов, с литературной и художественной жизнью за рубежом.

Нельзя переоценить значение того факта, что Советский Союз благодаря своей деятельности в области культурного обмена с другими странами стал для мировой литературной общественности международным форумом обмена информацией, идеями и опытом. Именно эта его деятельность обеспечивает нам непрерывное поступление информации о творчестве советских авторов и о литературной жизни в СССР — информации, которая позволяет нашим критикам и читателям ознакомиться с наиболее важными и ценными произведениями советского искусства и образцами критической мысли. Но это еще не все. Этой деятельности мы обязаны также значительной частью наших знаний о мировом литературном процессе, о явлениях и событиях, происходящих зачастую далеко, вне нашего непосредственного поля зрения, которые без этого международного форума, созданного Советским Союзом, ускользнули бы от нашего внимания, не были бы правильно распознаны или вообще замечены.

И, наконец, мы обязаны существованию этого форума еще и тем, что он предоставляет нам самим возможность использовать его, участвовать в нем — не только без каких-либо комплексов неполноценности, но со своего рода особым удовлетворением. Неоднократно в беседах с писателями из разных стран, чьи произведения были опубликованы в переводах на языки народов СССР, я отмечал, что этот факт является для них источником особой радости, обостренного осознания собственной полезности и своего места в мировой культуре. Интерес советских читателей к мировой литературе, их вкусы, склонности и пристрастия, а также их тяга к искусству — все это для современного писателя, ученого, художника представляет собой один из самых ценных побудительных мотивов и источников вдохновения, которые позволяют ему создавать произведения таким образом, чтобы через свой собственный опыт, через опыт своего общества, своего народа обогатить совместный опыт всего человечества. В особой мере это относится к писателям, к художникам, создающим свои произведения в странах, вместе с Советским Союзом идущих по пути социалистического развития, по тому пути, где нас еще теснее сплачивает совместный или же сходный исторический опыт.

Москва

Андраш Апоштол

ВЕНГРИЯ

КАК ИЗМЕРИТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

Признаюсь, до сих пор мне как-то не доводилось специально размышлять о конституциях. Ни о конституции своей родины — Венгерской Народной Республики, ни о советской. Очевидно, причины здесь те же, по каким человек обычно не задумывается над тем, что он дышит и что сердце

его работает. Есть такие системы в человеческом организме, которые, если организм здоров, действуют как бы автоматически, сами по себе. В жизни общества такую роль, пожалуй, играет конституция. Она существует, действует эффективно, и люди находят это естественным и нормальным. Разумеется, сравнение достаточно условно. Конституцию время от времени следует обновлять, чтобы она могла соответствовать и уже достигнутым результатам...

Я как раз находился в Москве, когда был принят и опубликован текст новой Советской Конституции. А поскольку есть у меня такая старая уже привычка — читать важный текст с карандашом в руке, только тогда я могу добраться до его сути, то и этот текст — Основного Закона СССР — я прочитал, делая заметки на полях.

Вероятно, самая острая, самая злободневная проблема XX века — проблема власти, социальной системы, отношений государства и личности. Сколько создано литературных произведений, в которых государство как молох пожирает отдельную личность, но не многим авторам удалось добраться до глубинных причин и следствий этого процесса.

В статье 20-й Советской Конституции сказано: «В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности» На Западе много рассуждают о проблеме «государство и личность», между тем сами по себе отвлеченные рассуждения мало что дают — нет смысла спорить об абстрактном государстве, абстрактной власти, абстрактной системе, в каждом конкретном случае мы должны знать, о каком государстве и о какой системе идет речь. Социалистическое государство, социалистическая система предоставляют личности согласно конституции реальные права и реально обеспечивают ее свободное развитие. И это не самоцель, а в некотором роде — средство. Ведь личность именно в процессе свободного развития больше всего приближается к осуществлению идеала: «свободное развитие всех». Это — право личности и одновременно ее обязанность.

Согласно 59 й статье — «Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей».

Эта неотделимость прав и обязанностей проливает новый свет на отношения личности и общества, характеризует сам уклад бытия Жизнь человека становится полнее, разнообразнее, богаче. В частности, одним из важнейших условий расцвета личности становится ее обеспеченное право пользоваться достижениями культуры Мы в Венгрии, имеем возможность знакомиться с лучшими произведениями мировой классики, а также с современными произведениями, включая экспериментальные, спорные. Венгерское государство затрачивает немалые средства на публикацию в нашей стране книг писателей Запада — английских, американских, французских и других. Бывая в городах Западной Европы, я обычно всегда останавливаюсь у витрин книжных магазинов в надежде обнаружить — чаще всего тщетной — венгерский роман или сборник стихов Винце Шуйок, переводчик венгерской литературы, живущий в Осло, с которым мне довелось беседовать несколько недель тому назад, рассказывал, что на норвежском языке опубликованы только сборники стихов Шандора Петефи и Дюлы Ийеша, тоненькая антология современной венгерской поэзии да еще три-четыре романа. И это в Норвегии считается неплохим достижением.

Даже рискуя быть обвиненным в пристрастии, я все же скажу, что венгерская литература уже внесла ощутимый вклад в литературу мира. Мне нет необходимости доказывать это советским писателям, перечисляя все те романы классической и современной венгерской литературы, сборники рассказов, стихов, которые они имеют возможность прочитать на своем родном языке...

Вспоминаю один эпизод из своего недавнего туристического пребывания в Лондоне Нас поселили довольно далеко от центра. Каждое утро и каждый вечер мы встречали в своем квартале многих его обитателей с темным цветом кожи. Однажды утром мы с женой торопились к станции метро Двое мальчиков прыгали и резвились на узком тротуаре, и чтобы обойти их, мы были вынуждены ступить на мостовую Молодая женщина — судя по внешности, ее родиной была Индия — поспешила нам навстречу, низко поклонилась и попросила извинения за то, что дети причинили нам беспокойство. Не могу передать испытанного нами чувства — столкнуться лицом к лицу с унижением, вошедшим в привычку, унижением ставшим традицией за столетия колониального господства.

В статье 36-й Конституции читаю: «Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права»

В самом деле нелишне вдруг осознать для того чтобы дышать, нужен воздух, для того чтобы чувствовать себя равноправным, нужна свобода. И это равноправие, и эта свобода не везде существуют.

Для нас, живущих в Центральной Европе, одна из важнейших глав Конституции — та, в которой говорится о суверенитете наций На территории СССР проживает больше народностей, чем во всей Европе. И тем не менее в СССР

представители даже самых малочисленных национальностей могут обучаться в школе на родном языке и пользоваться богатствами родной культуры. Это пример и образец практического претворения в жизнь ленинской национальной политики. Для меня эти статьи Основного Закона представляют особый интерес, так как наш народ, да и другие народы Центральной Европы очень много страдали в прошедшие столетия из-за искусственно разжигаемой национальной розни.

Не так давно я подготовил интервью с Эрикой Ач, редактором журнала «Нойе цайтунг», издающегося для немцев, живущих в Венгрии. Мы беседовали о правах граждан различной национальности в нашей стране. В частности, Эрика Ач говорила о том, что в последние годы поразительно вырос интерес к национальным клубам, библиотекам, школам, где ведется преподавание на родном языке. Молодежь в районах, где проживают национальные меньшинства, вырастает двуязычной. Позднее это служит им хорошую службу. И такое положение характерно не только для немцев, но и для других национальностей, живущих на территории Венгрии.

Кстати сказать, проблемы двуязычия и многоязычия были одной из тем III Конференции родного языка, которая состоялась в Будапеште летом 1977 года и в которой приняли участие многие венгры, живущие в западных странах. Их выступления были посвящены тому, как сохранить венгерское национальное самосознание и венгерский родной язык — там, вдали от родной земли.

Самые разные венгры разбросаны сейчас по миру: от ультраправых — после контрреволюционного мятежа 1956 года часть венгров уехала в западные страны, в Америку — до вполне лояльных: как известно, в двадцатые и тридцатые годы очень многие венгры были вынуждены эмигрировать из родной страны по политическим и экономическим причинам. В работе Конференции родного языка, естественно, приняли участие те писатели, художники, врачи, представители церкви, кто дружественно настроен к социалистической Венгрии. В этом году на Конференцию впервые приехали делегаты из соседних социалистических стран — Советского Союза, Чехословакии, Югославии, на территории которых живут венгры. Их присутствие привнесло новые краски и новое содержание в работу Конференции, подняло ее политическое значение на всеевропейский и даже всемирный уровень.

На этой Конференции я, между прочим, познакомился с Палом Надем, редактором литературного журнала «Мадьяр мюхей», выходящего в Париже. Издавать этот журнал не так легко — его редакторы половину недели работают в редакции, а половину — в типографии. Венгерские писатели, поэты, живущие за рубежом и печатающиеся в этом журнале, понимают, что они — только маленькая часть венгерской литературы, что история ее творится на земле социалистической Венгрии.

Возможно, кому-то покажется, что я далековато ухожу от своей темы — впечатлений о новой Советской Конституции. Но именно эти мысли нахлынули на меня, когда я прочел в ее 28-й статье: «Внешняя политика СССР направлена на... социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем.

В СССР пропаганда войны запрещается».

Я думаю, что не только нам, венграм, важно, чтобы живущие в разных уголках мира венгры и их потомки знали и любили социалистическую Венгрию. Это важно и с точки зрения европейской безопасности и безопасности всего мира. Народы нашей планеты должны быть ближе друг к другу для того, чтобы жить в мире.

Я обратился лишь к отдельным положениям Конституции, в которых вижу особенно ощутимую нацеленность в будущее. Впрочем, в будущее, не столь уж отдаленное. Мы живем и трудимся как добрые соседи, многое в нашей жизни тесно переплетается, и все же нам нужно еще лучше знать друг друга. Для нашего сегодня. Для нашего завтра.

◆

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК

Интервью, взятые Е. СТОЯНОВСКОЙ у участников международной писательской встречи

III

Еще немного о духе Хельсинки, творческих контактах и выгодах знакомства

1. С ПОЗИЦИИ, прежде всего, ЛОГИЧЕСКОЙ...

Элтон Фэкс

США

Первые сведения о вашей стране — а точнее, о народностях среднеазиатских республик — я почерпнул из книги Хьюлетта Джонсона «Советская власть». Я хорошо помню — и говорю об этом в своей книге «Глазами черного»,— что, когда книга Джонсона вышла в Соединенных Штатах — это было в конце 40-х,— я был слишком беден, чтобы позволить себе купить ее. Но я достал и прочел эту книгу. Читая ее, я и не подозревал, что когда-нибудь смогу увидеть Ташкент и другие города, описанные Хьюлеттом Джонсоном. Затем мне попалась автобиографическая книга Ленгстона Хьюза «Странствуя, я удивляюсь» — он делится в ней и своими впечатлениями о Советском Союзе. Я прочитал эти две книги, а еще познакомился с одним американским негром, который жил в Советском Союзе, работал там и женился на советской девушке. Джон Саттон — так его зовут — часто рассказывал мне о своей жизни в Советском Союзе, он был консультантом в области агрономических наук. Так что, когда я получил приглашение посетить Советский

Окончание. Начало см. в № 10, 11, 1977 г.

Союз, я был внутренне как-то подготовлен к этой поездке. И вот я гуляю по Ташкенту, Самарканду, Бухаре, Фергане. Ребятишки спрашивают меня: «Скажите, вы африканец?» — я отвечаю: «Нет, я — американец». И они тут же вспоминают Анджелу Дэвис и Мухаммеда Али: у этих детей — свое представление о неграх в Америке, которое они пытались связать с тем, что́ я, по их мнению, должен чувствовать.

Когда я начал работу над книгой «Глазами черного», я выбрал Восточную Африку и Узбекистан. Особенно отчетливые впечатления от путешествия по Восточной Африке оставили у меня Уганда, Эфиопия и Танзания. Почему? Уганда — потому, что, как мне казалось, нищета, невежество и угнетение ее народа не могут вечно существовать, положение там должно было измениться. Танзания — потому, что именно в этой стране в ту пору успешно осуществляли программу сближения племён, сплочения их воедино. А потом я обратился к Узбекистану, я рассуждал так: «Ну вот, я наладил контакты с народами Восточной Африки, но покидал ее с ощущением, что во многих областях они добились лишь формальной независимости, а не полной, так как они не управляют своей экономикой; посмотрим, как обстоит дело в Советском Союзе»... За время поездки по Узбекистану я побывал в различных местах республики, сделал много зарисовок — я ведь художник[1], не только общественный деятель. Должен сказать, мои хозяева в этой поездке были очень честны и откровенны — они говорили свободно и открыто о всех своих проблемах. Многое из того, что я увидел, располагало к сопоставлениям. Я узнал, например, что при новом строе женщины-узбечки занимают ответственные посты — при царе их угнетали... Я начал сравнивать: женщины Узбекистана больше не носят паранджи, в Хартуме (северная часть Судана), хотя новые веяния начинают уже проникать к ним, женщины еще полностью не освободились от некоторых старых обычаев, на улице они все еще носят паранджу. И много таких деталей... Из всего увиденного в Узбекистане я сделал вывод, что именно там достигнут заметный прогресс в обеспечении прав женщин. Это действительно так, и я написал об этом в своей книге. И еще я узнал, что когда в Узбекистане наступает время сбора хлопка, туда приезжают люди из всех республик, чтобы помочь в уборке — я видел огромные горы хлопка, приготовленные к увязке в кипы... И вспомнил, разумеется, как дело обстоит с этим на Юге Соединенных Штатов, в Южной Каролине, где я бывал и где подавляющее большинство людей собирает хлопок не для себя, а для тех немногих счастливцев, кому принадлежат хлопковые плантации...

И я написал в своей книге: «Я не стыжусь признаться, что увиденное в Узбекистане понравилось мне гораздо больше, нежели то, что я видел у себя в стране». Я писал и о том, что жилищные условия в Узбекистане хотя еще и не таковы, какими должны стать в будущем во всем Советском Союзе, однако это меня не тревожило — я видел жилые дома, построенные после случившегося там крупного землетрясения, они мне очень понравились — у себя дома я сам жил в так называемом типовом доме и не задираю нос, когда вижу жилой дом не столь совершенной конструкции. Я знаю, что дома, на месте которых возникли эти жилые комплексы, были намного хуже, я испытывал чувство симпатии и солидарности с теми, кто живет в этих комплексах... Обобщая свои впечатления, я написал, что хотел бы вновь поехать в Узбекистан, чтобы увидеть еще больше. При этом, если бы кто-либо спросил меня, не хочу ли я остаться жить в Узбекистане, я бы ответил: «Нет. А, собственно, зачем?»

Я ценю все хорошее, что делается в других странах, но каждый человек любит свой дом. Мне хотелось бы, чтобы и в моей собственной стране был достигнут такой же быстрый прогресс за столь короткий срок... Вот что меня волнует...

Мое кредо в вопросах войны и мира? Я против войны. Я решительно против войны, потому что считаю ее безумием. В то же время, будучи реалистом, я понимаю, что если на вашу страну кто-нибудь нападет, то вы будете обороняться. Но нет таких причин, которые могли бы оправдать агрессивные войны. Таково мое отношение к войне как жителя нашей планеты.

Как у американца, у меня особое отношение к войне. На моей памяти моя страна участвовала в четырех войнах. К счастью, я не побывал ни на одной: я был слишком молод во время первой мировой войны, слишком обременен семьей, чтобы принять участие во второй мировой войне, и слишком стар для корейской и вьетнамской войн. И не жалею, что так получилось.

Как американец негритянского происхождения, я вижу, что в нашей стране приходится вести постоянную оборонительную войну с расизмом, с его отвратительной практикой. Мы ведем эту войну не только ради себя, но и ради всей страны, потому что, на мой взгляд, ни одна страна не может считаться сильной, если у нее есть уязвимые места, точно так же, как человека нельзя назвать здоровым, если у него что-то болит. И поэтому я и выступаю против всяческих изъянов и несправедливостей. Как видите, у меня есть веские основания быть сторонником мира. Я выступаю за справедливый мир, ведь мир бывает и несправедливым: раб живет в мире со своим хозяином лишь ради того, чтобы выжить. Но я говорю не об этом мире, а о таком, при котором люди не теряли бы чувства собственного достоинства — в борьбе за такой именно мир я вижу смысл нашей конференции. Мир, к которому мы стре-

[1] См. публикации в «Иностранной литературе» № 8 за 1972 год и № 11 за 1977 год.

мимся, должен быть таким, при котором каждый человек станет уважать достоинство другого и будет готов прилагать все усилия для достижения этого. Мне кажется, что все писатели и художники должны выступить за это и отстаивать это всеми доступными им средствами. Здесь, в Софии, разговор идет о значении художника в широком смысле слова. Театральные деятели, литераторы, живописцы и скульпторы — все эти люди формируют общественное мнение они могут и должны защитить идею справедливого мира.

У меня такое чувство — в настоящий момент я говорю сам за себя а не от имени какой-либо группы,— мне приятно сознавать, что дело которому я посвятил себя, будь то живопись или писательская деятельность, служит на благо людям. Я не был бы удовлетворен если бы делал это только ради искусства как такового. Нет, я не осуждаю тех кто творит ради искусства, но сам предпочитаю работать так, чтобы это шло на пользу не только мне, моему народу но и всему человечеству. Таков мой взгляд на призвание художника...

Меня спросили после первого дня наших заседаний: какими, по моему мнению будут итоги конференции а я ответил, что я не знаю — ведь я не пророк Но я полон надежд я вообще думаю, что если бы у нас не было надежд мы не смогли бы оставаться художниками, особенно это касается того общества, где художник не получает достаточного вознаграждения за свой труд. Как одз с этим мы и сталкиваемся в Америке, мало кому из художников удается прокормить себя с помощью своего искусства. Но мы остаемся верными ему потому что любим его, любим людей и в этом видим наше утешение, в этом черпаем свою веру, обретаем силу...

Рассказать что я думаю о Болгарии, о болгарском народе... Я в первый и, надеюсь, не в последний раз приехал сюда. Мне кажется, что я еще вернусь. Самые первые впечатления... Страна очень красива; сразу ощущаешь радушие и гостеприимство народа; правда, негостеприимные люди не приглашали бы вас к себе разделить с ними хлеб-соль, показать лучшее, что у них есть. Я хорошо сознаю это, поэтому считаю для себя честью, когда меня приглашают. Я говорю это не ради красного словца. Люди не обязаны приглашать вас к себе, а уж если приглашают то потому, что искренне хотят встретиться с вами, поделиться всем, что у них есть, ведь делятся с другими обычно лучшим, что у тебя есть,— такова человеческая природа.

До приезда в Болгарию я читал о жизни и деятельности Георгия Димитрова — ее национального революционного героя. Сегодня, когда я проезжал через горнорудный район, мне было приятно думать что я нахожусь как раз в том месте, где так активно выступал этот человек — организатор борьбы шахтеров. Это был для меня весьма волнующий момент. Меня здесь прекрасно принимали. Люди хотят, чтобы вы узнали их, они хотят проявить себя с лучшей стороны. И я ожидаю увидеть то лучшее, что отличает болгарский народ, болгары делают, как мне кажется, все, чтобы наше пребывание здесь было содержательным и приятным...

Меня всегда интересуют люди, поэтому я и предпочитаю рисовать именно их, а не предметы Болгары напоминают мне людей, которых я встречал в других странах,— между прочим, внешне, мне кажется, вы тоже похожи на болгарку. Но это так, с точки зрения художника.

А если говорить всерьез, людям, которым пришлось отстаивать свое достоинство, присуща какая-то особая, земная теплота. Я хорошо знаю это, потому что встречал ее во многих местах, у многих людей...

Эрнешту Мануэл де Мелу-э-Каштру

ПОРТУГАЛИЯ

Хочу для начала немного рассказать вам о себе — биография моя, пожалуй не вполне типична для литератора-профессионала. Меня зовут Эрнешту Мануэл де Мелу-э-Каштру мне 45 лет. Моя первая книга вышла в 1952 году и включала шесть небольших образцов поэтической прозы. В то время я был студентом медицинского факультета Лиссабонского университета однако вскоре я бросил университет — понял, что призвания к медицине у меня нет и хорошего врача из меня не выйдет Вернулся в свои родные места в город Ковильян — слышали о таком? — он расположен у подножия самой высокой в Португалии горной цепи Серра де Эштрела. Издавна (с XI века) наш город славится как центр текстильного производства; шерстяные ткани, вырабатываемые здесь, широко известны. Моей семье здесь принадлежала текстильная фабрика — это обстоятельство, конечно, имело прямое отношение к моему решению стать инженером специалистом по текстильному производству. А поскольку в Португалии не было учебных заведений такого профиля, я отправился в Англию. Там, на севере в одном из университетов я получил инженерное образование В 1956 году возвратился на родину, и с этого момента жизнь моя как бы раздвоилась: я стал (и до сих пор работаю в этом качестве) инженером-текстильщиком, занимал разные посты и должности на промышлен-

ных предприятиях, в лабораториях, преподавал на вечерних курсах усовершенствования города Ковильян, руководил техническими отделами ряда международных фирм; сейчас возглавляю отдел финансового контроля в министерстве торговли.

Это, так сказать, «техническая» сторона моей жизни — при этом весьма важная ее сторона: свои технические познания я всегда стремился использовать, чтобы способствовать развитию португальской промышленности, а также — по мере своих сил — содействовать повышению культурного уровня своего народа, именно поэтому я отдал девять лет преподаванию. Другая сторона моей жизни — без нее я просто не мог бы существовать — писательский труд. Начиная с 1952 года, когда вышла моя первая «юношеская» книга рассказов, я не переставал писать: в 60-е годы выпустил сборник стихов, составил несколько поэтических антологий. Что касается моих пристрастий в области литературы, то они прежде всего связаны с творческими исканиями нашего «авангарда». Замечу, что термин этот мы понимаем двояко; для его представителей характерны стилевые поиски, обращение к новым языковым средствам. И определяющую, «сквозную» роль играет дух сопротивления фашизму. Но это, так сказать, преамбула к нашей беседе.

Что принесла революция 1974 года в нашу литературу? Я бы сказал, панорама культурной жизни Португалии изменилась с тех пор до неузнаваемости. Горизонты наши раздвинулись, теперь мы большое место отводим пропаганде португальской литературы и искусства за рубежом, потому, в частности, так охотно принимаем участие во всех международных форумах, встречах, движениях — прогрессивных по характеру, разумеется. Прежде всего, конечно, речь идет об участии в начинаниях, связанных с движением сторонников мира. Мы, португальцы, народ миролюбивый, в несправедливые войны в Африке нас втравил фашистский режим — сами мы воспринимали эти войны как национальное бедствие. Португальцы действительно хотят мира, недаром народ всегда стремился снискать себе славу среди других мирными деяниями—вспомните хотя бы великие географические открытия, совершенные португальскими мореплавателями в эпоху Возрождения... Это наш вклад в прогресс человечества, в накопление им новых знаний. Кстати, уместно упомянуть и двух португальских поэтов, чьи имена связаны с историей географических открытий,— Камоэнса и Фернао Мендеша Пинту.

Одно из тяжких преступлений фашизма мы видим в том, что на целых полстолетия — а если точно: на 48 лет — он лишил народные массы доступа к культуре... ведь до сих пор в Португалии все еще чрезвычайно высок процент полностью неграмотных и полуграмотных людей. И потому мы стремимся сделать все возможное, чтобы лучше узнать реальные нужды своего народа, помочь его духовному и культурному развитию, чтобы покончить с изоляцией португальской культуры, вывести ее на орбиты подлинно гуманистической культуры мира. Португальские писатели и деятели искусства хотят внести свой позитивный вклад в создание такого международного морального климата, который заставил бы политиков, военных, ученых положить конец гонке вооружений и действовать в соответствии с принципами разума и гуманизма — вот почему нас так привлекли идеи Софийской писательской встречи. Наиболее важный итог конференции? Возможность установления контактов со своими друзьями и коллегами, собратьями по перу, возможность обмена идеями, сопоставления точек зрения и мнений, наконец, возможность личного знакомства с теми, кого знали раньше только по книгам. Особенно важны для нас связи с писателями из социалистических стран — очень долго мы были лишены, или почти лишены, таких связей. Вот почему для нас столько значит «открытие» видных поэтов, романистов, новеллистов, критиков из стран социализма, персональное знакомство с ними. Лично я высоко оцениваю эту встречу — выше, чем другие международные встречи, в которых я участвовал,— прежде всего потому, что воздействие ее, ее международный резонанс — нынешний и будущий — нахожу более значительным.

Выступления, которые произвели на меня самое сильное впечатление? Пожалуй, я выделил бы речь Эдвина Фишера. Он сформулировал концепцию активного понимания мира в противоположность пассивному или негативистскому подходу к вопросу о борьбе за мир. Весьма интересным было и выступление Марио Бенедетти, который говорил о борьбе за мир в Латинской Америке; блестяще выступил Евтушенко: совесть литераторов мира обязывает их служить человеку — конечно, на свой писательский лад,— эта его мысль особенно мне близка. Очень понравилось и живое, яркое выступление Николаса Гильена. Говоря о нем, я становлюсь сентиментальным — настолько теплые чувства он вызывает у меня; я очень рад, что встретил его здесь, в Софии. Ну и всех участников встречи покорил Константин Симонов — какой-то особенной ясностью, убежденностью своего выступления...

Что я думаю об откликах Запада на эту конференцию? Конечно, встреча, подобная Софийской, затрагивающая такие важные проблемы, как хельсинкские решения, и проходящая накануне Белградской конференции, не у всех вызывала одобрение — не у всех на Западе, я хочу сказать. Вы-то хорошо знаете, какая там ведется сейчас кампания с помощью так называемых диссидентов, подтасовки фактов, как им хотелось бы сорвать или, по крайней мере, осложнить работу нашей встречи! Какие-то отзвуки этих намерений можно было почувствовать и в одном-двух выступлениях. Однако они не встретили ровно никакой поддержки, наоборот, получили отпор.

И дело здесь было не только в силе дружбы, в единстве, господствовавшем на наших заседаниях, не только в силе разума, здравого смысла, но и в главной могучей силе—правде. На встрече восторжествовала атмосфера нетерпимости ко лжи и клевете всякого рода, распространяемой западными кругами...

Я думаю, нам предстоит сейчас широко внедрять активную концепцию идей мира, в существенных коррективах нуждаются и представления о свободе — мы должны научить людей отличать конкретное понятие свободы от абстрактного. На Западе, да и у меня на родине, немало приверженцев этой абстрактной свободы. По-моему, это происходит от недостатка политической культуры. Мы, португальские писатели, через Ассоциацию португальских писателей и помимо нее обязаны разъяснять народу, какие опасности таит в себе эта «абсолютная», абстрактная свобода, да и всякое другое понятие о свободе, не опирающееся на принципы гуманизма...

Вас интересуют мои суждения о юбилее Октября... Я убежден, что Октябрьская социалистическая революция 1917 года имеет огромное международное значение, и воздействие ее идей, на мой взгляд, продолжает расти и шириться. Заметное влияние оказала она и на судьбы моей страны: в то время, когда она совершилась, в Португалии уже семь лет существовала буржуазная республика, объявленная после свержения монархии. С победой социалистической революции в России непосредственно связано образование в 1923 году Португальской компартии — она сразу же начала активную борьбу против распространенного в Португалии да и на всем Пиренейском полуострове анархо-синдикализма. Постепенно, с ростом политического сознания, политической культуры трудящиеся освободились от его влияния. Компартия немало сделала в нашей стране для организационного укрепления рабочих профсоюзов, даже и после вынужденного ухода в подполье она продолжала оставаться главной организационной силой трудящихся, хотя сотни коммунистов были арестованы, брошены в тюрьмы, а первый Генеральный секретарь ПКП Бенито Гонсалвиш погиб в лагере смерти Таррафал. Нашего нынешнего Генерального секретаря ПКП Альваро Куньяла, как вы знаете, также не раз арестовывали, но, к счастью, он сумел бежать из тюрьмы. Сегодня Альваро Куньял — одна из самых выдающихся фигур нашей политической жизни. Можно было бы пространно говорить на эту тему, замечу, что воздействие идей Октября распространилось не только на политическую, но и культурную жизнь Португалии. О себе лично хочу сказать, что я всегда был (и являюсь) горячим почитателем Маяковского. Русским языком я не владею, и стихи Маяковского читал в переводах на французский и английский, а затем и на португальский языки. Со стыдом и сожалением должен сознаться, что почти ничего не знаю о современной культуре и литературе Болгарии — ведь, как я говорил, совсем еще недавно у нас не было никаких контактов с социалистическими странами. Судя по людям, с которыми я познакомился на болгарской земле, народ ее исключительно дружелюбный, человечный, гостеприимный. Насколько я могу судить, культуре в этой стране отводится весьма активная роль. Это универсальная культура, не обращенная к самой себе, а открытая миру, открытая для контактов, обменов, общения с культурами других народов. Надеюсь, пребывание здесь, на конференции, позволит мне глубже познакомиться с жизнью и культурой Болгарии...

2. ...ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ

Скотт Момадей

США

Вы спрашиваете, как бы я построил свое выступление, если бы не опоздал на конференцию и получил бы слово? Скорее всего, я говорил бы о важности литературного творчества, важности самой литературы, о роли, которую она играет в нашей жизни. Вероятно, я также попробовал бы установить различие между литературой и устным творчеством, говорил бы о силе устной речи, опираясь, в частности, на богатые традиции устного творчества американских индейцев — в свое время я изучал устные предания американских индейцев, и этот вопрос и сейчас меня очень интересует. Наверное, рассказал бы, насколько серьезно относятся к языку те, в чьем народе сильны традиции устных преданий — их язык своего рода аккумулятор фантазии, художественного воображения. У них особенно развита память, способность внимательно слушать, предельно нагружать слово смыслом — таковы самые главные особенности языковой пластики у народов, где сильны традиции устных преданий. Иногда мне кажется, что нам, профессиональным писателям, нужно глубже разбираться и осмысливать такого рода языковой уклад — мне кажется, от этого наше литературное мастерство только выиграло бы. Скорее всего, что-нибудь в этом роде я бы произнес с трибуны. И потом, почти наверняка, рассказал бы какую-нибудь индейскую легенду; во-первых, я их очень люблю, а во-вторых, традиции и предания играют для меня особенную роль — ну, просто в силу мо-

его собственного происхождения. Вы хотите услышать самую мою любимую легенду? Несколько лет тому назад я опубликовал книгу «Дорога в горы, где идет дождь», в которой пересказал некоторые предания индейцев племени кайова. Одно из этих преданий, которое имеет для меня особый смысл — с ним непосредственно связано мое индейское имя, я коротко расскажу вам его,— пожалуй, можно как-то связать и с нашими софийскими заботами... Так вот, однажды, когда еще кайова жили в районе Черных гор (нынешние штаты Вайоминг и Южная Дакота), пошли дети играть в лес — один мальчик и семь его сестер. Дети бегали по лесу и играли: мальчик изображал из себя медведя и гонялся за сестрами, а те делали вид, что им очень страшно, и убегали от него. Однако, пока они играли, случилась ужасная вещь — мальчик действительно превратился в медведя, в настоящего медведя. Поняв, что произошло, сестры страшно перепугались и бросились бежать. Когда они пробегали мимо пня — некогда громадного дерева, пень вдруг обратился к ним: «Залезайте на меня, и я спасу вас». Как только сестры залезли на пень, тот начал сразу расти. Он рос и рос, и когда медведь подбежал к нему, он уже не мог дотянуться до детей, как ни вставал на задние лапы, как ни царапал когтями кору пня. Семеро же сестер поднялись так высоко в небо, что превратились в семь звездочек Большой Медведицы...

Мне очень нравится эта легенда; мне кажется, в ней хорошо видны характерные черты фольклора... Сталкиваясь с необъяснимыми явлениями, мы стараемся дать им какое-то истолкование, стараемся связать их с собственным опытом. Так рождаются легенды, по крайней мере, таков один из источников их возникновения... Если говорить о рассказанном мною предании — тут дело в том, что в Черных горах действительно имеется большое скальное образование, которое индейцы племени кайова назвали Цо Ай. Эта скала очень похожа на огромный пень и достигает высоты в 800 футов. И конечно, когда индейцы кайова впервые попали в район Черных гор и увидели такое чудо, оно стало занимать их воображение как неразгаданная тайна. Вот они и сочинили эту легенду. Когда я был совсем маленьким, мои родители как-то взяли меня посмотреть на это место, и когда мы вернулись в Оклахому, где жила моя бабушка, к нам в дом пришел однажды старик, ему настолько значительным показалось, что меня возили на священное место, что он дал мне имя Цо-Ай-Тали, что означает «мальчик каменного дерева»,— так что мое индейское имя прямо связано с этой легендой, она исполнена для меня особого смысла... И вообще, когда я задумываюсь над этой историей, то нахожу в ней очень важный для литературного творчества момент: мне кажется, что одной из целей нашей конференции как раз и является разговор о природе и об особенностях нашего ремесла. Те из нас, кто занимается творческим трудом и пишет стихи, рассказы, романы и т. д.,— все мы в той или иной степени стремимся дать истолкование окружающим нас явлениям, сделать их понятными — как для нас самих, так и для наших читателей. Тем самым эти явления приобретают более глубокий смысл и становятся связующим звеном между нами и окружающим миром. Подобно тому, как эта легенда связывает меня со звездами Большой Медведицы...

И я нахожу, что прямой наш писательский долг в том и заключается, чтобы передавать наше восприятие мира всем окружающим и всей вселенной, в этом я вижу истоки красоты и силы языка, а под языком имею в виду и вообще литературу...

Моя биография?.. Я родился в Оклахоме в 1934 году. Когда мне исполнился год, мы переехали в индейскую резервацию на юго-западе страны, где мои родители начали работать в так называемой «индейской службе». После этого мы жили в нескольких резервациях: в Навахо, в двух резервациях района Аппалачей и в резервации района Пуэбло. С детства я мечтал стать писателем — может быть, не без влияния матери, она тоже писательница и всегда хотела, чтобы я как можно больше читал и писал. Так что мысли о литературном творчестве сопутствовали мне с раннего детства. Однако в детстве я получил неважное образование — в то время школы в резервациях были из рук вон плохими, а учиться в хороших школах мне не пришлось, так что, с одной стороны, я рос, мечтая стать писателем, а с другой — имел весьма мало шансов на удачу. Но возможность развивать свое воображение зависела от меня, и большую часть своего времени я к этому стремился — сочинял игры, разговаривал сам с собой, выдумывал всякую всячину... Так или иначе, когда я вырос, желание стать писателем не покинуло меня, и, когда мне представилась возможность учиться в университете, в свободное от занятий время я писал — главным образом стихи. Так что в этом смысле мне в жизни повезло... Кстати, раз уж разговор зашел о моей жизни, самая последняя моя книга, вышедшая в декабре прошлого года, называется «Имена» — это автобиографическая повесть, в ней я рассказываю о своих предках, о первых семнадцати годах своей жизни, это книга о моем детстве и юности...

С удовольствием поделюсь своими впечатлениями о Советском Союзе. В январе 1974 года я был приглашен в Москву, чтобы прочитать в Московском университете цикл лекций по американской литературе. До этого мне не приходилось бывать в Советском Союзе, и я совершенно не знал, что меня ожидает. Чего только мне не рассказывали о России... Правда, я был знаком с русской литературой, так что мое представление о стране сложилось прежде

всего на основе произведений Толстого и Достоевского. В Москве я поселился в университетском общежитии, мне была также предоставлена возможность совершить путешествие по Советскому Союзу. Несколько дней я провел в прекрасном городе Ленинграде, в течение двух недель разъезжал по Средней Азии. От этого путешествия у меня остались незабываемые впечатления; смешение старого и нового приводило меня в восторг, никогда не забуду старый базар в Самарканде: узбеки в национальных костюмах и горы замечательных плодов, которые я видел впервые в жизни: различные сорта дынь, винограда и всяких других овощей и фруктов — необычайно экзотические, яркие, многоцветные...

В чем разошлись мои представления о сегодняшней России с литературой XIX века? Например, кипучая деятельность, которую я увидел, совсем не похожа на тот мир, который изобразил Достоевский в своих романах. Интенсивная деятельность, громадные усилия в созидании общества: ритмы стройки, трудовой порыв, стремительный темп жизни... Я говорил вам что мое пребывание в России в первую очередь было связано с университетом. Меня поразил уровень языковой подготовленности студентов. Лекции я читал на английском языке — понимали меня без затруднений, после лекций студенты часто задавали мне очень глубокие вопросы, такие же, какие могли возникнуть у моих слушателей в Стэнфорде, где я преподаю. Я был поражен степенью их знакомства с американской литературой. Мои лекции были посвящены современной американской литературе, и я обнаружил не только огромный интерес московских студентов к американской литературе XX века, но и серьезное знание предмета. Для меня это был приятный сюрприз... В Ленинграде я посетил Пискаревское кладбище. Никогда не забуду огромные братские могилы, в которых покоятся многочисленные жертвы войны. Я думаю, что это мое впечатление имеет прямую связь с центральной темой нашей Софийской встречи.

Четыре месяца в Советском Союзе оставили у меня самые добрые воспоминания,— где бы я ни оказывался, меня окружали теплые, сердечные люди. В результате моих наблюдений у меня сложилось впечатление, что и русские, и народы других советских республик остро ощущают близость с природой. Само понятие «страна» означает для них очень многое. И будучи американским индейцем, я высоко ценю это чувство, сам я ощущаю кровную связь с природой Северной Америки: мне иногда кажется, что возраст этой моей привязанности — несколько тысяч лет... Некоторые черты поведения узбеков, таджиков и русских также указывали мне на это чувство общности с их родиной, оно явно обогащает их жизнь и делает ее более значимой. И мне кажется, еще одна задача нашей конференции состоит в том, чтобы понять те нити, что связывают нас с нашей землей, и рассказать об этом — эта тема из самых важных в литературе, я надеюсь, что мои книги в какой-то мере ее освещают...

3. ...СКЕПТИЧЕСКОЙ

Отто Штайгер

ШВЕЙЦАРИЯ

Знаете, я довольно долго раздумывал — стоит ли мне вообще ехать на этот конгресс: я опасался, что будут слишком много говорить, слишком много будет произнесено трафаретных фраз, есть ли смысл терять из-за этого свое время... А с другой стороны — соберется много писателей, можно будет завязать новые знакомства — в итоге, в общем, так оно и получилось. Были, правда, и речи вполне, как говорится, банальные — на уровне клише, много раз читанных; мы все приехали сюда, и мы все знаем, что мы за мир,— так ли уж обязательно друг другу доказывать, что мы все за мир, когда это и так известно?.. Самым положительным мне кажется прежде всего сам факт, что такой конгресс вообще может состояться. Что писатели из многих стран мира могут собраться вместе, руководимые одной и той же мыслью: мир на земле должен быть сохранен. Я думаю, мы могли бы просто, встретившись, вообще не говорить ни слова о мире. Повторяю: тот факт, что такой конгресс вообще был организован, уже сам по себе — серьезная демонстрация в защиту мира. Когда я вернусь в Швейцарию, я напишу в крупнейших газетах об этом конгрессе, и я определенно скажу, что самым ярким и самым радостным впечатлением были встречи с коллегами и друзьями — старыми и новыми, мы вовсе не говорили все время друг с другом о мире, но мы знали, что у нас у всех одна, единая цель — сохранение мира на земле...

...Такой конгресс на Западе? Ну, это абсолютно исключается... Уму непостижимо, сколько хлопот и средств, вероятно, затратил болгарский Союз писателей, чтобы организовать и провести такой конгресс; я разговаривал об этом со многими западными коллегами, американскими и западногерманскими, они все хватались за голову — у нас до неправдоподобного пренебрежительно относятся к писателям, просто нель-

зя себе представить, чтобы такой конгресс мог бы состояться на Западе, это просто что-то совершенно невозможное. Я нахожу, что организация конгресса была безупречной, просто поразительно, насколько все хорошо было организовано. И я видел, что на всех моих коллег, всех тех, с кем я говорил об этом, уровень, масштабы, четкость организации произвели большое впечатление.

Еще о выступлениях? Конечно, когда слово берет, например, представитель Кубы, то у него другой взгляд на мир, другие точки отсчета, чем, скажем, у нас в Швейцарии, чем в Западной Европе. Когда выступает представитель развивающихся стран, его поле обозрения иное, чем в высокоразвитой стране, но, пожалуй, больше всего мне понравилось выступление Элтона Фэкса — американца, негра из Америки, который рассказывал, как он в Америке живет: он выходец из рабочего люда — лично меня это заинтересовало больше всего; меньше всего меня впечатляли программные заявления — призывы бороться за мир: ясно, мы все хотим мира, кто же не хочет мира? Если уж говорить парадоксами, то я думаю, даже те промышленники, кто производит на Западе оружие, тоже, можно сказать, хотят мира, они заинтересованы в международной напряженности, им нужна напряженность, но им не нужна война...

Увезу ли я из Софии какие-либо новые общественные, творческие импульсы? Ну, я приехал не для того, чтобы этот конгресс дал мне что-то такое, чего я еще не осознал сам, ведь я и так живу ради того, чтобы мир на земле был сохранен. Но воспоминания о многих людях, с которыми я здесь встретился, о разговорах, которые мы здесь вели, о самом конгрессе вообще — это такие воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь, и, конечно, будет много-много разговоров с моими коллегами в Швейцарии, со многими людьми, которым я буду рассказывать, как нам здесь понравилось, как нас здесь принимали, что мы говорили, о чем я беседовал с тем и с этим; я думаю, что уже само по себе все это — некое приобретение в моей жизни, хотя вовсе не обязательно оно найдет конкретное отражение в одной из моих книг — это просто настроение, которое в тебе живет, которое остается в тебе до самой твоей смерти...

Был ли я в Советском Союзе, что сохранилось в памяти от поездок? Да, я был, мои впечатления были очень хорошими, я разговаривал со многими людьми, меня очень обрадовало то, что я увидел в вашей стране. Должен сказать вам — у нас на Западе довольно распространен страх перед «нападением русских». Все это не имеет под собой почвы, страх необоснован, те, кто бывал в Советском Союзе, знают, что это смехотворный вымысел. И тем не менее она бытует. Я лично очень, очень благодарен Советскому Союзу за то, что он есть — такой, как он есть, хотя бы уже по той простой причине, что иначе нигде на земле не был бы осуществлен эксперимент социалистического государства и мир мог остаться таким, каким он был раньше. Социалистический эксперимент я нахожу очень важным для людей, очень хорошим — мы все должны быть очень благодарны Советскому Союзу за усилия и преодоления на его трудном пути...

4. ...ПРАКТИЧЕСКОЙ

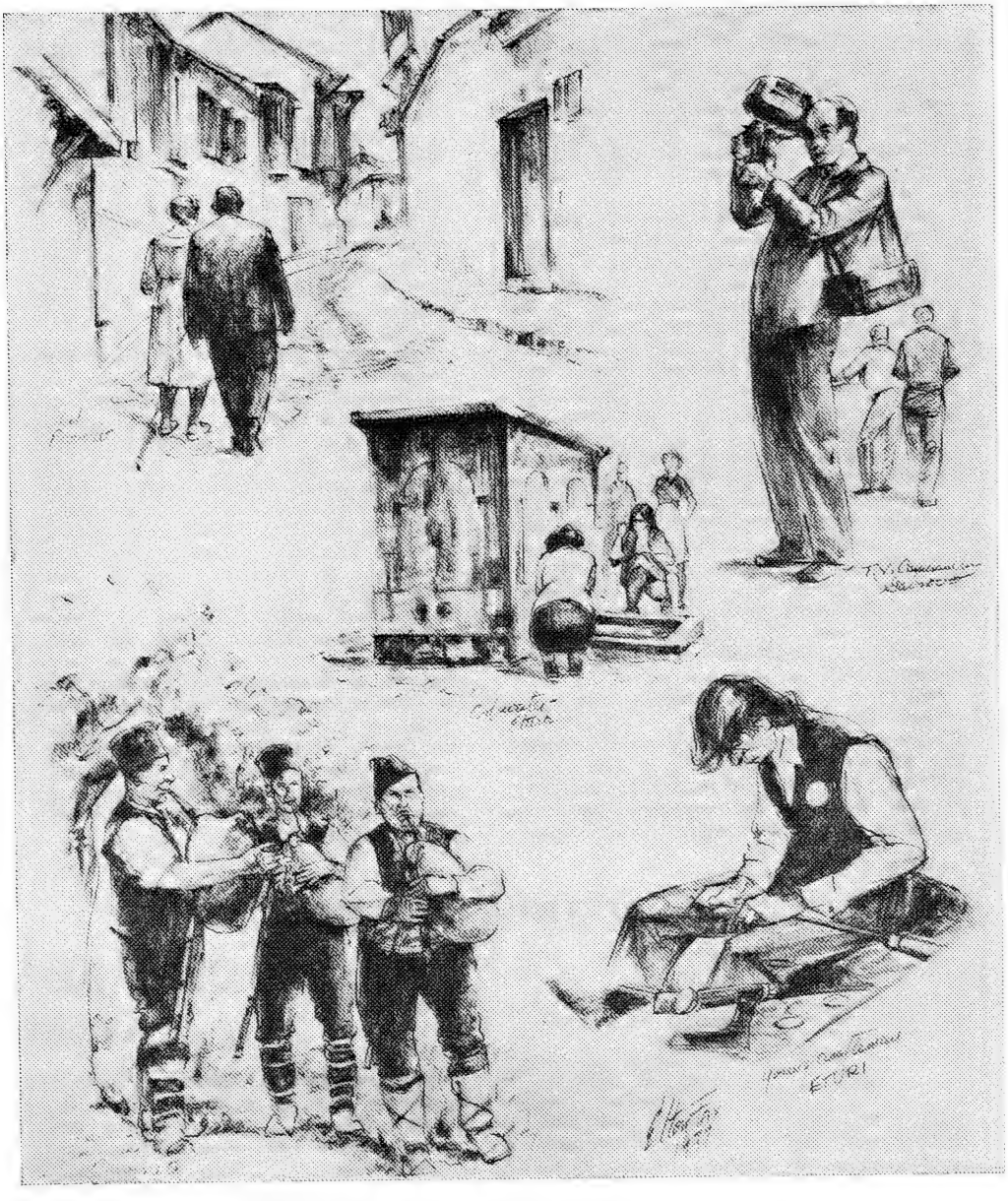
Робер Андре

ФРАНЦИЯ

Мое мнение об итогах Софийской встречи... Конференция только что завершила свою работу, и ее результаты, как и ее перспективы, в целом оставляют у меня чувство оптимизма. Я говорю о перспективах, ибо верю, что такие встречи должны содействовать не только настоящему, но и будущему. И мне думается, нам удалось эти перспективы обеспечить.

Прежде всего здесь выявилось определенное совпадение во взглядах, выраженных разными ее участниками в своих выступлениях. И я должен сказать, это совпадение было весьма значительным: все говорили о мире, все желали мира и все выражали неудовлетворение и тревогу по поводу современной международной обстановки...

Когда мы соберемся в будущем, очевидно, предусмотрим возможность внести больше конкретных конструктивных предложений; меньше повторять друг друга, сосредоточиться на преимущественном рассмотрении поставленных задач сквозь призму профессиональных писательских творческих проблем, позволяющих полнее определить, как человек искусства представляет себе проблему мира на земле... И быть может, еще одно: постараемся предусмотреть возможность изыскать — как бы это ни было трудно — время для дискуссий между выступлениями — в комиссиях, в кулуарах. Я прекрасно знаю, что это извечная проблема, так как время ограничено и все хотят получить слово, но забывать об этом нельзя. В этом духе я и высказался в конце встречи, как вы могли это заметить. Стремясь выразить свои мысли о мире на



Из зарисовок Элтона Фэкса. В старом Пловдиве.

земле, опираясь на личный опыт в литературе и искусстве...

Многие ораторы говорили о том, что было бы неплохо от имени Международной ассоциации литературных критиков обратиться ко всем писателям с просьбой присоединиться к нам и пригласить участников Софийской встречи и тех, кто не принял в ней участия, продолжать участвовать в борьбе за мир, в работе, которую мы начали здесь, в Софии...

Должен сказать — я говорю это совершенно искренне,— что Софийская встреча прошла с успехом, на который я даже и не надеялся... Хочу в конце еще раз с удовлетворением подчеркнуть, что мы не поставили точку на встрече в Софии, а открыли дискуссию, которая, конечно уже в другой тональности, будет продолжена на будущих конференциях и которая, я уверен, в итоге принесет ощутимую пользу в борьбе за будущее нашего мира.

Интересные инициативы, призванные укреплять международное культурное со-

трудничество в духе Хельсинки?.. Я думаю, одним из первых можно назвать проект МАЛК, который мы начали осуществлять в этом году совместно с ЮНЕСКО и Ассамблеей по безопасности и сотрудничеству в Европе: я имею в виду Золотую Библиотеку. Само название звучит, возможно, несколько двусмысленно, неточно, поэтому разъясняю: речь идет о списке шедевров европейской литературы, которые решено издать под эгидой ЮНЕСКО и различных Ассоциаций. Книги будут изданы одновременно на языке оригинала и на других европейских языках.

Несколько слов об этом начинании? Существует немало серий такого рода, например, такая известная, как антология всемирной литературы, издаваемая ЮНЕСКО. В данном случае у нас другой подход: мы предпочитаем отбирать истинные шедевры, то есть выбираем у писателя одно или несколько произведений, наиболее характерных для данной культуры и имеющих существенное значение для всего человечества. Мы создали специальный комитет, его первая встреча состоялась в Париже в конце апреля, итог этой встречи в целом положителен, за три дня мы сумели обсудить весь список почти до конца. И вот здесь, в Софии, состоялась наша вторая рабочая встреча, во время которой нам удалось прийти к полному согласию относительно списков литературы по странам... Какие надежды мы возлагаем на эту инициативу? Прежде всего, чтобы люди разных стран Европы смогли лучше узнать друг друга благодаря произведениям их величайших писателей, которые были недоступны широкому читателю — либо по издательским причинам, либо из-за отсутствия переводов,— мы хотим создать такую популярную библиотеку, которая — да простят мне столь честолюбивое сравнение — сыграла бы такую же роль, какую играла Энциклопедия Дидро в XVIII веке...

5. ...ЛИРИЧЕСКОЙ

Элли Пеониду

КИПР

С большим волнением и радостью я приняла приглашение принять участие в этой международной встрече писателей.

Когда я со своим мужем — он тоже литератор — приехала в Софию, то смогла увидеть деятелей культуры со всего мира, мне представилась возможность знакомства с известными писателями, чьи книги пользуются большой популярностью в мире; кто знает, смогу ли я встретиться с ними когда-нибудь еще... Повестка дня встречи была очень интересной, каждое выступление обогащало, на мой взгляд, внося новую, важную грань в наше общее дело борьбы за мир. Кроме того, в кулуарах, в Варне, на различных экскурсиях мы общались со своими коллегами, образованными литераторами и общественными деятелями — эти контакты очень многое дали, многое еще предстоит додумать.

Что показалось особенно важным? Для нас, киприотов, особое значение имело знакомство с турецкими делегатами, наши беседы проходили в дружественной атмосфере, и мы пришли к выводу о необходимости сотрудничать, вести дискуссии с целью найти решение той большой проблемы, которая стоит перед нашими двумя народами, точнее сказать, тремя народами — Кипра, Греции, Турции. Мы здесь собирались вместе, писатели — представители кипрской, греческой и турецкой делегаций, и подготовили совместное заявление о необходимости вывода с Кипра всех иностранных войск, о необходимости выразить солидарность с идеей независимости Республики Кипр...

Поэтическая «Универсиада»? Мои впечатления об этом вечере огромны, особенно потому, вероятно, что у нас нет традиции публичного чтения стихов... Мы очутились перед колоссальной аудиторией, которая затаив дыхание слушала поэтов (а их было около тридцати), читавших стихи на своем языке. Потом те же стихи звучали в переводе. Эта восторженная аудитория своими аплодисментами, своей любовью к поэзии показала нам, что поэзия не есть нечто статичное, что она жива в народе, в частности, в народе с высокой культурой, которая создана в стране социализма. Эта «Универсиада» просто потрясла. У нас свои стихи можно издать лишь на собственные деньги, распространять книгу приходится тоже самому, среди друзей; никто не может гарантировать, что она будет продана, если поэт не пользуется широкой известностью. Это было особенное чувство — видеть, как молодежь, да и все присутствующие аплодировали поэтам.

Писатель в борьбе за мир... Да это же вечная тема, начало ее — в гомеровской эпохе. Троянская война давным-давно позади, но Гомер остался и говорит нам о происшедшей трагедии, о зле, об убитых... Еврипид в трагедии «Троянки» обращается к оружию сатиры и иронии и вместе с тем оплакивает судьбы несчастных троянок,

ставших рабынями греков. Аристофан также при помощи сатиры и иронии разоблачает еще неуязвимое в его время афинское государство... Поэзия, и вообще искусство, не может исчезнуть, не есть нечто преходящее. Наоборот, подлинная, сильная поэзия, подлинное искусство с течением времени раскрывают свои все новые и новые грани, вновь мы оказываемся лицом к лицу с добром и злом, осознаем, что служит благу человека, а что во вред ему, вместе с художником осуждаем войну и благословляем мир во всем мире.

О чем еще хочется сказать? О радушии и гостеприимстве, оказанных всем нам Народной Республикой Болгарией и, в частности, Союзом писателей Болгарии, который не пожалел ни времени, ни усилий, ни средств и так великолепно организовал эту встречу. Это невозможно ни в какой другой стране, за исключением социалистических, я совершенно уверена. Хочу также поблагодарить всех писателей, которые приняли приглашение Болгарии и приехали на встречу, придав ей своими именами большую значимость. Со страниц вашего журнала я хотела бы приветствовать всех его читателей и поблагодарить редакцию за то, что в журнале неоднократно печатались мои стихи в переводе известных советских поэтов, за то, что моя поэзия, таким образом, стала известной не только советскому читателю, но и за ее рубежами... С вашей страной мы хорошо знакомы, бывали там несколько раз и полюбили этот прекрасный, великодушный, великий народ, который не ограничивает себя мелкими проблемами и будничными заботами... Я хотела бы поздравить всех вас с 60-летним юбилеем и пожелать еще стольких лет и в тысячу раз больше, счастья, успехов в построении коммунизма, в борьбе за его окончательную победу...

Дни пребывания в Софии были для меня полны прелести и значения. Я буду помнить о них всегда. С людьми, о которых я раньше читала или встречала их имена на обложках книг, мы вместе гуляли, разговаривали, обедали и даже пели и танцевали... А во время работы обсуждали серьезные проблемы литературы, поэзии, искусства. Это невозможно забыть, такой опыт сотрудничества обязательно следует развивать. Очень хотелось бы, чтобы Софийская встреча, состоявшаяся через сорок лет после первой встречи в Париже, стала традиционной, чтобы ее итоги не остались лишь документом в протокольных записях, чтобы ее опыт был широко использован, продолжен, чтобы состоялись и другие подобные встречи с участием других писателей, чтобы наше движение все больше ширилось и охватило собой весь мир — это один из путей сохранить мир, отразить нападки и притязания реакции...

Пользуясь этой беседой с вами, я хотела бы сообщить читателям «Иностранной литературы» (это первый советский журнал, напечатавший мои стихи, и я ему очень обязана), что именно им я посвящаю последний свой поэтический сборник под названием «Цикл осуждения», в котором идет речь о несчастье Кипра, его трагедии. Темы стихотворений этого сборника—горе и страдания, которые принесла война маленькому народу, ставшему жертвой реакции и кругов НАТО, которые стремятся разрушить мир, в частности в пылающем районе Ближнего Востока. Это — вопль, призыв к миру. Все народы: греки, турки, армяне, англичане, американцы, народы Советского Союза — должны жить в мире на голубой и любимой нами планете Земля. Мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы построить лучшее будущее для всего человечества и избежать катастрофы...

Ана Мария Матуте

ИСПАНИЯ

В последнее время из-за болезни я как-то утратила контакты с литературной средой, вообще оказалась словно оторванной от мира — так бывает с больными. И вот теперь я вновь «среди своих» — и это придает мне сил, рождает желание опять ринуться в бой — в тот бой, где «наступательным оружием» служит писательское слово. Очень радостно видеть, сознавать, как много нас, людей доброй воли, тех, кто готов бороться за мир и справедливость во всем мире... Я не смогла прослушать все выступления, но те, что я слышала, содержали немало важного и интересного. Конечно, от меня что-то в речах ускользало, но основную их направленность я все же усвоила, а это уже очень много. Все выступления были по-своему значительны, все они дают пищу для размышлений, раздумий...

Дискуссии во время заседаний, принятые решения для меня очень важны, пожалуй, даже слишком весомы для моего скромного пера. Я думаю, есть много общего между тем, о чем говорилось на встрече, и тем, что я делаю, вернее, пытаюсь делать. Иначе говоря, цели, к которым мы стремимся, одни и те же: мир, справедливость во всем мире...

Что было самым интересным? Я бы сказала, все увиденное и услышанное меня очень увлекло и взволновало, сама себе я немного напоминаю женщину, которая берет микроскоп и вместе со своим ребенком заглядывает в него· дело в том, что со мной сюда приехал и мой сынишка, и, пожалуй, самое интересное для меня — наблюдать, как он реагирует на совершенно новую для него социалистическую действительность, следить за выражением его

лица, выслушивать его впечатления, вопросы... А спрашивает он то и дело: «Мама, а что это? А почему это не так, как у нас»,— и все ему приходится объяснять. Сама я раньше уже бывала в Советском Союзе и, как могла, старалась подготовить сына к поездке в социалистическую страну: ведь и мне в свое время понадобилось многое объяснять. Но никакие, даже самые лучшие объяснения не заменят того, что видишь собственными глазами, ощущаешь, так сказать, собственной кожей. У моего сына глаза еще детские — ясные, пытливые, зоркие, он замечает много такого, что не сразу разглядят мои глаза пожилой женщины, он охватывает все с поразительной быстротой, подмечает многое такое, чего не выразишь никакими словами: он заставил меня лучше понять то, что я узнала в пяти своих зарубежных поездках. Меня просто поражало то, что говорил сын о разных, порой незначительных деталях... Впрочем, в таких поездках, как эта, мелочей, по совести говоря, пожалуй, не бывает, все очень важно. Думаю, что для нас обоих эта поездка очень полезна и плодотворна, это — как в мире писателей и книг: когда познакомишься с автором лично — начинаешь глубже понимать его произведения...

Уильям Сароян

США

Я считал для себя честью получить приглашение, столь любезно направленное мне председателем Союза писателей Болгарии Пантелеем Заревым. Меня привлекала возможность еще раз побывать в прекрасной Болгарии, в прекрасной Софии, возможность встретиться на конференции со многими коллегами, чтобы обсудить совместно проблемы ответственности писателя перед народом своей страны, перед народами всего мира — я считаю их очень важными.

Все мои ожидания более чем оправдались. Я думаю, что наш конгресс, наша встреча прошла с бóльшим успехом, чем можно было предположить...

Мы — писатели, которых знают и читают в самых разных странах,— считаем своей святой обязанностью выступление в защиту мира, ибо война была бы равносильна самоубийству человечества. Задача еще и в том, чтобы исключить, предотвратить случайную катастрофу.

Помимо серьезных дел, которыми мы тут занимались по мере своих сил и способностей, нам предоставили возможность слетать из Софии в Варну — одно из самых красивых курортных мест на Черном море и, пожалуй, во всем мире; мы осмотрели здесь множество достопримечательностей — новых и древних. И везде болгарский народ оказывал нам теплое гостеприимство и радушие.

Я, Уильям Сароян, хочу заявить, что за все время пути сюда из Калифорнии я не испытывал большего наслаждения, чем сейчас, сидя в тени черешневого дерева, в этом черешневом (чем не чеховский вишневый сад?) саду, в древнем поселке, недалеко от Пловдива, где некогда — давным-давно — процветала фракийская цивилизация...

Мы живем сегодня в коварном мире, полном опасностей, которым подвергаются наш разум, дух, воля, достоинство... Мы живем в мире, где нам угрожает возможность оказаться жертвами роковой ошибки, просчета, недоразумения... И все же лично я убежден, что человеческая раса будет продолжать существовать, расцветая и совершенствуясь, и я, со своей стороны, готов внести в это хотя бы скромную лепту. Еще раз хочу объявить во всеуслышание, как я рад, что принял участие в этой встрече, и выразить благодарность Союзу писателей Болгарии и народу Болгарии... И я провозглашаю на двух своих языках — английском и армянском — здравицу в честь болгарского искусства и культуры, народа и жизни... Большое спасибо.

6. ...ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ и в то же время АНАЛИТИЧЕСКОЙ

Мариам Уоддингтон

КАНАДА

Во-первых, я должна сказать, что не люблю бывать ни на каких конференциях. По той простой причине, что предпочитаю, чтобы мои отношения с людьми были глубокими и близкими, а на конференциях — где все носит незаконченный характер и где вы встречаетесь с людьми, может быть, первый и последний раз в жизни,— я всегда как-то не в своей тарелке, они напоминают мне пиршества в вагоне-ресторане — так я отношусь к проведению конференций как в своей стране, так и за рубежом. Если вы не

знаете языка других писателей и не читали их произведений и посему для вас сложно установить с ними контакт, то трудности только возрастают. А иной раз бывает, что читали их книги, но они вам не нравятся, и поэтому вы опять же совершенно не стремитесь сблизиться с их автором — нельзя же, чтобы всем все нравилось, даже в том случае, если тот или иной писатель очень хорош и вы чувствуете с ним общность и если даже его произведения более близки вам по духу, чем многие другие. Но, несмотря на противоречивые чувства в отношении этой конференции, я была польщена приглашением и очень рада его принять: я никогда не была в Болгарии и хотела бы поехать туда и увидеть все своими глазами. Вот я и приехала... То, что такое большое количество писателей собралось и выступало на этой конференции, само по себе замечательно. Должна сказать, что лично мне эта конференция принесла несомненную пользу; я познакомилась с двумя писателями, которых я бы никогда не встретила, если бы не эта конференция: с Николасом Гильеном — творчество этого большого кубинского поэта очень меня волнует, немецким романистом из ФРГ Кристианом Гайспером — произведений его я не читала, но сам он произвел на меня очень хорошее впечатление, один из его романов переведен на английский язык, и, по-моему, это интересный и много повидавший в жизни писатель.

И конечно, отмечаешь необычайно дружественное отношение к нам болгарского народа и высокий уровень образования и преподавания в этой стране — я посетила здесь английский факультет Университета, мне очень у них понравилось, один из студентов пригласил меня на выпускной банкет, который доставил мне большое удовольствие...

Я довольно застенчива и не люблю привлекать внимание к своей персоне, мне кажется, писатель должен находиться на своем рабочем месте и творить, и не он сам как личность, а его книги и произведения должны говорить от его имени. Поэтому, когда я сюда ехала, я не собиралась выступать, потому что никакой я не оратор и, кроме того, я не слежу за политическими событиями на международной арене. Однако, когда я увидела, что среди большого количества участников конференции так мало женщин, я решила попросить слова и выступить от имени женщин. Мне хотелось напомнить присутствующим, что хотя женщины обычно не высказывают своих суждений на подобных конференциях, тем не менее именно им есть что сказать, так как именно они — хранительницы и продолжательницы жизни на земле... И еще о том, что люди рождаются в результате родства душ, живут в связях друг с другом и умирают, также будучи связаны с другими. Быть в контакте с людьми, беречь основу этих контактов — вот самое важное для меня дело в жизни...

Поэтическая «Универсиада»? Впервые в жизни я попала на такой вечер поэзии. В моей стране поэзию тоже любят и правительство оказывает поддержку искусству: поэты оканчивают школы и университеты, и молодые люди в большом количестве посещают поэтические чтения. Но никогда прежде мне не приходилось видеть, чтобы три с половиной тысячи человек собрались на стадионе слушать стихи при участии такого большого количества поэтов. Лично меня очень заинтересовала поэтическая манера выступавших. У нас поэзия несколько более спокойная по характеру — здесь же поэты были очень эмоциональны, а слушатели необыкновенно восприимчивы, даже дети сидели тихо и слушали с огромным вниманием. Я смотрела на лица слушателей и видела на них, не могу подобрать слова по-английски, по-немецки это звучало бы как «Begeisterung», то есть это было нечто большее чем внимание,— воодушевление, сопереживание. Так что для меня тот вечер явился в чем-то открытием — он показал, сколь по-разному могут воспринимать поэзию в разных странах те, кого мы называем «средним слушателем»...

Что я увожу в душе с этой конференции? Может быть, все это очень субъективно, но главное, пожалуй,— незабываемое впечатление о щедрости болгар, их радушии по отношению к иностранцам, а также сознание, что нигде и ни разу в Болгарии я не чувствовала себя чужим человеком. Где бы я ни находилась, я чувствовала себя как дома — легко и спокойно. Это первое мое впечатление. С другой стороны, я встретила здесь нескольких интересных людей, с которыми я иначе бы не познакомилась. Уезжая домой, я увожу с собой несколько рассказов болгарских писателей в переводе на английский. И как я уже сказала, я познакомилась с двумя писателями, которые, как мне кажется, каким-то образом повлияют на мою работу.

Вы спрашиваете о Гильене — он несколько старше меня, я прочла кое-что из его книг, но не все. Что мне особенно нравится — так это то, что он начал как поэт, знакомый с существовавшими до него литературными школами, и при этом пошел своим собственным путем — вместо того чтобы стать более консервативным, он становился все более и более революционным. Что касается чисто человеческой точки зрения, мне кажется, что его произведения полны сострадания и юмора, лично мне такой настрой души близок и понятен, очень важно для меня, что Гильен очень человечен: самое главное для него в жизни — это люди. И для меня тоже... И еще я думаю, когда человек стареет — очень важно, чтобы он становился не менее, а более революционным...

Чем я руководствуюсь, подбирая стихи для своих университетских курсов? Главное — чтобы стихи были хорошими. Я люблю знакомить студентов с творчеством различных по стилю поэтов — в свое время я познакомила их с поэзией Маяковского, и теперь, я думаю, это сказывается каким-то образом на творчестве некоторых канадских поэтов. Так что лично я могу порой

оказывать определенное влияние на своих учеников при помощи того нового, что я сама узнала. Но наша пресса не обращает ни малейшего внимания на подобные вещи — может быть, только в моем досье заполнят еще одну страничку (с м е е т с я) для сведения тайной полиции, я уверена, что такие досье существуют...

Что можно предпринять для улучшения контактов между нашими странами в сфере культуры? Мне кажется, между Канадой и Советским Союзом уже имеются широкие контакты. Здесь и культурный и научный обмен — в Канаде не раз я встречалась с представителями советской интеллигенции. Правда, писателей среди них было не так много — но перспективы, на мой взгляд, совсем не плохи, мы здесь на правильном пути, жаль, что между Болгарией и Канадой такого обмена пока совсем не налажено...

Что позволяет сказать мой опыт работы о современной молодежи? Я испытываю самые лучшие чувства по отношению к молодежи. Молодые люди полны надежд и отваги. Не знаю, почему так происходит, но с возрастом некоторые люди теряют часть этих качеств — приходится зарабатывать на жизнь, и, может быть, не все так получается, как им хотелось бы... Однако у многих достает стойкости... Всегда изумляюсь, как много мои студенты узнают нового в течение учебного года. Я люблю преподавать, а моим студентам, кажется, нравится учиться. Я восхищаюсь их умением работать, думаю, что нынешняя молодежь в этом смысле лучше, чем мое поколение. Мне кажется, они очень добрые, большинство из них во всяком случае. Я обычно говорю — правда, не знаю, так это в Советском Союзе или нет,— что несмотря на то, что наши мужчины очень современны по взглядам, а я считаюсь интеллигентной и образованной женщиной, тем не менее ни один из них, за исключением моих студентов или моих детей, никогда не спросил, что я думаю по тому или иному вопросу. Что же касается моих студентов и детей, то им интересно знать мое мнение, и они охотно обсуждают со мной самые разные проблемы...

Йозеф Рединг

ФРГ

Да, я охотно приехал сюда; смолоду сам я не раз столкнулся с войной в своей собственной стране: в шестнадцать лет пришлось стать солдатом — с тех пор я ненавижу войну, почти во всех своих книгах воюю против нее. Сейчас, после первых дней, после первых речей, могу сказать: я правильно поступил, приехав сюда, очень важно это — сесть с писателями других стран за один стол и убедиться, что все они тоже хотят мира, дома ведь работаешь над своими книгами почти в полном одиночестве, в изоляции. А здесь вдвойне ощущаешь мощную силу единения — силу солидарности, полтораста писателей — не шутка... Я думаю, важно, что эта солидарность, эта энергия, направленная на защиту мира, здесь, на нашем конгрессе, скрепляется еще и властью политиков: я с большим интересом выслушал приветственные послания Брежнева и Живкова в адрес конгресса. Это для меня новое наблюдение: оказывается, писатели хорошо себя чувствуют, не только на своем собственном уровне обсуждая проблемы мира, но и с участием политиков — известных лидеров в сегодняшнем мире. Я думаю, что это был очень важный конгресс. Яркие речи? Очень сильно выступил Евгений Евтушенко: я почувствовал его личность — в этой речи личность поэта слилась с личностью человека, и в лирике своей он зовет к единству людей во имя мира — все его высказывания так искренни, так убедительны, очень сильное впечатление, оно останется надолго. Знаете, я сейчас думаю, что если бы наш конгресс сегодня даже и закончился бы, даже и тогда он не был бы напрасен. То, что с нашей трибуны — на второй день работы — уже было сказано о мире, нельзя сбросить со счетов, политики всего мира вынуждены будут заняться результатами конгресса, даже те, кто не посылал в его адрес приветственных слов. И я думаю, что все мы должны быть бесконечно благодарны этой стране — Болгарии, которая со своими восемью миллионами населения оказалась таким великодушным хозяином. А впрочем, это абсолютно закономерно и логично, что общество, которое развивается при социализме, хочет сохранить свои завоевания и прилагает для этого немалые усилия.

Октябрьская революция? На мой взгляд, и сегодня она служит воодушевляющим символом — прежде всего для народов, которые все еще не имеют свободы, я уверен, что в Азии, Африке, Латинской Америке модель социализма рассматривается как символ надежды, пример для создания новых общественных структур. Путешествуя по этим странам, я видел, с какой надеждой смотрят там на страны, которые или уже шестьдесят лет, как Советский Союз, или десять, двадцать, тридцать лет — как это имеет место в других социалистических странах — прочно существуют по-новому. И убеждался, что эти шестьдесят лет подтвердили, что социализм — форма существования людей, гарантирующая равенство, свободу, братство — если назвать, а это уместно, хотя бы одни только лозунги французской революции. Это все реально

и уже осуществлено, а не является несбыточной утопией: до Октябрьской революции считалось, что то, что говорили Маркс и Энгельс, вообще неосуществимо, а сегодня социализм живет и крепнет. Без социалистических завоеваний мир был бы на сегодняшний день неизмеримо беднее, сегодня даже удивительно вспомнить, что некогда социалистические страны кто-то не принимал всерьез, что их не хотели признавать, вспомните США, к примеру. Что же касается нашей международной встречи писателей из всех стран мира здесь, в Болгарии — новой социалистической стране, то полагаю, что при других структурах, существовавших шестьдесят лет назад, под эгидой монархии или империализма, такой конгресс был бы просто невозможен.

Для истории шестьдесят лет — очень короткий отрезок времени, некоторым системам понадобилось, чтобы утвердиться, сто, двести, пятьсот и даже тысячу лет, социализм еще очень молод, ему всего шестьдесят лет. Человек, которому сегодня шестьдесят лет, еще полон творческих сил, еще способен развивать и совершенствовать свои творческие возможности, так что от социализма вполне можно ожидать новых форм развития к празднованию следующих юбилейных дат — 70-й, 80-й, 90-й... Я вижу в социалистической модели прообраз дальнейшего развития общества. И потому разумнее было бы и для тех стран, которые не считают социализм возможным для себя, которые еще не приняли социализма, реагировать на него как на положительный импульс, толчок к здоровому соперничеству, от которого человечество может только выиграть. Военный конфликт — абсолютно безумная идея: война между блоками означала бы гибель человечества, ни одна из систем не уцелеет, мир развалится на части, человечество кончит свое существование — все предыдущие войны были только прелюдией, ничего другого тут не скажешь. Надо жить вместе, сосуществовать, обмениваться товарами, приезжать друг к другу, как сейчас мы приехали сюда, в Болгарию, нас здесь сегодня много — представителей различных национальностей, у нас разные мировоззрения, но у нас у всех одна единая цель — сохранить ради всех нас мир на земле. Кампанию против социалистических стран я нахожу просто старомодной, опасной затеей, противоречащей элементарному здравому смыслу...

Что формировало мои взгляды на жизнь? Я родился в семье рабочего, мой отец был бетонщиком, и впервые несправедливость в том мире, в котором я жил, я испытал, когда не смог дальше продолжать обучение наравне с другими,— мне было десять лет, и другие мои одноклассники, сыновья врачей и торговцев, у которых были деньги, пошли учиться в старшие классы, хотя успевали хуже меня, а я не пошел, потому что мой отец не был в состоянии вносить двадцать марок ежемесячной платы, мой отец зарабатывал тогда двести марок в месяц и не мог платить ежемесячно двадцать марок за гимназию, и из-за финансовых трудностей я остался в народной школе. И только потом, с трудом, постепенно, в вечерней школе, самообразованием я достиг такого уровня, что смог сдать экзамен на аттестат зрелости и продолжить свое образование, но я не забыл, что в определенных социальных ситуациях люди сталкиваются с несправедливостью. И всегда я относился с симпатией к общественным системам, которые стремятся устранить эти социальные несправедливости. У вас гораздо проще занять человеку справедливое, равноправное положение в жизни. Это, конечно, не означает, что я без оговорок приемлю все в одной системе и отвергаю в другой,— я подхожу критически к обеим системам, но должен признать, что простому человеку легче развернуть свои способности в социалистической стране...

За последние годы я посетил в вашей стране многие города и деревни, я был, конечно, несколько раз в Москве, а также в Ростове-на-Дону, в Киеве, Львове — на заводах, в колхозах, домах, разговаривал с рабочими — обращает внимание большое чувство собственного достоинства у рабочих людей. В Ростове-на-Дону побывал на тракторном заводе, самом большом тракторном заводе в Европе, где занята не одна тысяча рабочих. У меня была возможность побеседовать с разными рабочими — я заметил, что они солидарны в своих ответах: живут хорошо, достаточно зарабатывают, по двести двадцать рублей в месяц. Хватает ли им на жизнь? Да. Нравится здесь работать? Да, работаю уже не один— и сыновья работают, и внуки, сказал один пожилой рабочий, у меня есть садовый участок с домиком, завод имеет свой дом отдыха, рабочие и служащие получают премии, они чувствуют себя хозяевами завода. Здесь знают и любят свои традиции, охраняют произведения искусства, реставрируют церкви, здесь хорошие музеи, хорошие научно-исследовательские институты, я разговаривал с врачами — медицина имеет выдающиеся достижения; философия — это для меня было неожиданно — развита очень хорошо, вообще чувствуется, что народ имеет хорошие перспективы. Ну, суммируя, я столкнулся с солидным, имеющим под собой твердую почву чувством собственного достоинства целого народа. При этом советские люди вовсе не чувствуют себя какими-то сверхчеловеками, они равноправные и самостоятельные члены семьи — мирового человечества. Они хотят жить в мире с другими людьми, они не ставят себя выше других людей, но у них нет никаких оснований недооценивать себя, в общем они вызывают симпатию — таковы мои главные впечатления от поездок по Советскому Союзу.

Мы у себя на Западе совершаем ошибку, пытаясь судить о вашей литературе, прочитав книги лишь двух-трех писателей, популярных по одиозным политическим мотивам, а с основной литературной продукцией советских писателей совершенно не знакомы. К большому сожалению. Я считаю, что в Советском Союзе есть много писате-

лей, которые заслуживают, чтобы их знали, настоящая литература — источник, который очень многое мог бы дать нам; нужно скорее наверстывать упущенное.

Сдвиги в восприятии советской действительности? Конечно, в прошлом, в годы «холодной войны» представления в Федеративной Республике Германии о советских людях определялись расхожими клише: советского человека чаще всего уподобляли некоему типажу из фольклора — существу, безнадежно отставшему от современной цивилизации. Теперь, в последние годы, многое изменилось — немало способствовала этому, в частности, работа Германо-Советского общества в моем родном городе Дортмунде есть институт зарубежных стран, и там каждый месяц устраивается германо-советский вечер, его называют «русский чай»; специалисты выступают с сообщениями и докладами о Советском Союзе, показывают слайды, обсуждают различные проблемы развития Советского Союза — постепенно дело стронулось с мертвой точки, люди узнали, что же это такое — Советский Союз. С дифференцированной картиной жизни в Советском Союзе мы стали знакомиться лишь в самые последние годы. Раньше довольствовались общими пустыми фразами, схематичными образами, трафаретными представлениями дурного толка. Определенную роль в этих изменениях сыграли и ваши журналы — «Советский Союз», «Советская литература», которые издаются на немецком языке,— они стремятся представить более точную картину жизни в Советском Союзе.

Что мог бы я пожелать читателям вашего журнала? Я несколько раз был гостем вашей прекрасной страны, я видел, что люди могут там спокойно жить, радоваться жизни, растить детей... Я надеюсь, что наш общий страх перед войной непременно должен в конце концов отступить; ради этого все мы должны продолжать усилия в борьбе за мир... Я могу только пожелать читателям вашего журнала, чтобы они еще многие десятилетия читали его и чтобы мы могли обмениваться нашими журналами, чтобы я и другие писатели ФРГ регулярно получали ваш журнал и могли бы посылать вам свои книги и наши журналы... Пришло, наконец, время по-настоящему познакомиться друг с другом, а не узнавать друг о друге из третьих рук, надо, чтобы мы могли увидеть друг друга, посидеть вечером друг с другом, пожать друг другу руки, рассказать друг другу о себе. Я желаю, чтобы после 60-й годовщины мы все дожили до 100-й и до — ad multus annos [1], как говорили древние римляне...

Прощаясь с гостями

Слав Христо Караславов

БОЛГАРИЯ

Значение встречи? На мой взгляд, оно огромно. Здесь собирались многие писатели планеты, и их голос в защиту мира прозвучал необычайно убедительно.

Мы говорим, что существование человечества немыслимо без воздуха. И точно так же развитие культуры невозможно без мира на земле. Мир — это хлеб всех народов. Вас интересуют мои впечатления как одного из участников и одного из хозяев этой встречи... Мне кажется, писатели самых разных стран и континентов получили здесь полную возможность спокойно и твердо высказаться в защиту самого большого из всех человеческих благ. Особенно ясно это стало видно при расставании, когда многие наши гости выражали свои искренние теплые чувства к Болгарии и благодарность за то, что именно эта земля стала как бы притягательным центром, способствовавшим объединению прогрессивных сил литературы мира. По-моему, эту встречу можно назвать своего рода «малым Хельсинки», применительно к сфере мировой литературы и искусства. И это не только мое личное мнение. Выраженную в разных вариантах примерно эту «формулу» мне довелось слышать от многих писателей, когда мы с ними прощались в аэропорту...

Много интересных мыслей было высказано и по поводу творческих контактов — речь шла о том, что писателям многих стран здесь, в Болгарии, удалось познакомиться друг с другом. И познакомиться не только как защитникам мира, но и установить и закрепить личные, творческие связи — ведь многие из них знали друг друга лишь по книгам. По-моему — впрочем, судя по их словам, так думает и большинство наших гостей,— положено начало серьезному сближению писателей всего мира, и нашим общим желанием является, чтобы эта встреча не осталась единственной, чтобы она породила еще много новых встреч, которые будут происходить в том же духе утверждения идей мира и дружбы между народами, прокладывать большой светлый путь прогрессивному искусству, которое служит человечеству.

София — Варна — Пловдив — Москва
июнь — октябрь 1977 года

---

[1] На долгие годы (*лат.*).

◆

ПИСЬМА СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА (1923—1972)

Творческое и личное общение писателей всегда считалось важной стороной истории литературы и вызывало непраздный интерес читателей. Дружба писателей, их взаимные оценки, обмен литературными новостями — все это находит отражение в их переписке, и живой диалог художников-современников остается запечатленным на листках почтовой бумаги.

Но письма зарубежных писателей советским их коллегам и друзьям должны быть восприняты не только с точки зрения узкопрофессиональной, внутрилитературной, но и как политическое, общественно-культурное явление. Эти письма — свидетельства глубоких, искренних симпатий к нашей стране и ее литературе, интереса, который с первых шагов советской власти проявляли к нашим писателям многие крупнейшие художники современного мира. Достаточно назвать имена Теодора Драйзера, Стефана Цвейга, Анри Барбюса, Анны Зегерс, чьи письма представлены в настоящей публикации. Среди советских адресатов этих писем мы найдем крупнейших деятелей нашей литературы, писателей Константина Федина, Николая Тихонова, Михаила Зощенко, Алексея Суркова, Корнея Чуковского и других. Этой эпистолярной летописи писательских взаимообщений и дружб уже более полувека: первое из публикуемых нами писем — Шервуда Андерсона — относится к 1923 году, последние почта принесла совсем недавно.

В пору значительных мирных инициатив Советского государства, отвечающих требованиям «разрядки» международной напряженности и «духу Хельсинки», дружеские голоса прогрессивных зарубежных писателей звучат с особой силой и выразительностью. Они показывают широкий диапазон влияния и признания во всем мире достижений советской культуры.

Следует, конечно, иметь в виду, что публикуемая переписка — лишь малая часть эпистолярного богатства, представляющего тему связей советской и зарубежных литератур в целом. Многие письма этого рода уже были опубликованы ранее. Для других не пришло время быть напечатанными — они факт слишком еще недавней литературной жизни. Но и в избранных образцах письма эти могут служить весомым аргументом в пользу все более широкого дружеского общения зарубежных и советских писателей, взаимообогащения литератур.

«...Надо больше знать друг друга, люди, больше!..» — этот давний, очень давний призыв Максима Горького актуален и сегодня.

Публикуемые письма хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), в Центральном архиве Союза писателей СССР, а также в личных архивах Н. С. Тихонова, К. А. Федина, К. И. Чуковского, М. Я. Аплетина, Г. С. Брейтбурда, С. А. Дангулова.

Письма собрал и подготовил к печати Ник. Алексеев. (Письма Ш. Андерсона подготовила М. Крылова. Письма, адресованные Вс. Вишневскому,— В. Черных). Перевели письма Ник. Алексеев, О. Боброва, Ю. Добровольская, Ю. Жукова, И. Зорина, Н. Камионская, О. Кругерская, В. Стеженский.

ШЕРВУД АНДЕРСОН — П. ОХРИМЕНКО

1

Нью-Йорк, 27 января 1923

Дорогой господин Охрименко, я все это время часто вспоминаю о Вас. Здесь находится Московский Художественный театр, я посмотрел у них «Вишневый сад» [1], и мне захотелось пожить в России, выучиться Вашему языку и писать пьесы для такой чудесной труппы.

У нас драматурги обычно все сводят к сюжетным хитросплетениям, которые фальсифицируют жизнь. Поэтому их пьесы вызывают разочарование.

На днях я был у моего издателя Б. Хьюбша и попросил его выслать Вам все мои книги. Мой новый роман «Множество браков» [2] выйдет недели через две, т. е. в середине февраля, и я пришлю его Вам.

Некоторые мои рассказы здесь напечатать трудно. Я пишу о любви, неграх и т. д., а это шокирует редакторов наших журналов. Прислать Вам такие рассказы?

Дней через десять я уеду из Нью-Йорка на Дальний Запад и, наверное, пробуду там до весны. Потом, если будут деньги, съезжу в Европу. Хотелось бы побывать в России, да вряд ли на это хватит средств. Впрочем, посмотрим.

Я сейчас пишу роман о том, как человек индустриального века — т. е. я сам — приучается жить воображением. Героя я назову Шервуд Андерсон, но буду описывать не те события своей жизни, которые подлинны, а ту жизнь, которая происходит в воображении.

Буду рад, если Вы иногда черкнете мне. Хотелось бы знать, какие мои книги выходят в России и нравятся ли они читателям. Буду очень благодарен, если Вы пришлете мне экземпляр. Пишите мне на имя Б. Хьюбша, 116 У, 13-я улица, Нью-Йорк; Ваши письма мне перешлют. Дайте знать, когда придут мои книги.

Ваш Шервуд Андерсон

2

3 марта 1924

Дорогой г-н Охрименко!

Я немедленно напишу своему издателю, чтобы он выслал Вам экземпляр «Коней и людей». Я просил послать книгу Вам еще осенью, когда она только что вышла, но, видимо, ее отправили не заказной бандеролью, и она до Вас не дошла.

С г-ном Драйзером Вы можете связаться через его издателей Бони и Лайврайта. 61 Вест, 48-я улица, Нью-Йорк. Я сегодня же попрошу их выслать Вам «Сестру Керри» — это его ранний роман — и сборник рассказов «Освобождение», к которому я писал предисловие.

Моя новая книга, «История рассказчика», должна выйти осенью, и я Вам ее пришлю. Сейчас я пишу роман, но целый месяц я проболел и страдаю бессонницей.

Конечно, до нас дошло известие о смерти Ленина; многие задаются вопросом, что теперь будет с Россией. Должно быть, и для всей Европы теперь настанут нелегкие времена, если вспомнить, какие ныне обстоятельства.

У нас все по-прежнему, все так же торжествует англосаксонское самодовольство на американский лад. Если какое-то подобие духовной жизни и теплится, то заправляют ею дельцы от науки и искусства.

Что касается меня, я часто думаю, что мог бы жить во времена Линкольна и других деятелей прошлого с их верой в политическую борьбу и политическую мысль,— у меня больше нет этой веры. Все стало неизмеримо сложнее и запутаннее, и слишком мало у нас людей, которым эти сложности были бы по плечу.

Что бы там ни говорили, я доволен, что книга вышла в вашей стране, и уж раз ваше издательство не платит мне гонорара, пусть хоть высылает по шесть экземпляров каждой выходящей книги.

Что касается Драйзера, то если у вас его будут переводить, начать, по-моему, стоит с романа «Сестра Керри» [3].

С искренним уважением
Ваш Шервуд Андерсон.

ШЕРВУД АНДЕРСОН (1876—1941) — американский писатель.

ОХРИМЕНКО Петр Федорович (1888—1976) — переводчик с английского. Участник первой русской революции 1905—1907 гг., Охрименко эмигрировал в США и на родину вернулся в 1911 году. Великая Октябрьская социалистическая революция застала Охрименко в Донбассе, где он был избран председателем Совета рабочих депутатов Должанского района, а затем делегатом на I Всероссийский съезд Советов, где с ним беседовал В. И. Ленин.

Из произведений Андерсона Охрименко перевел: «Уайнсбург, Огайо», «Торжество яйца» (1925), «По ту сторону желания» (1933) и многие рассказы.

[1] Гастроли Московского Художественного академического театра в Америке начались 8 января 1923 года в Нью-Йорке и закончились в сезоне 1923/24 года.

[2] Роман Андерсона «Множество браков» (1923) на русском языке не выходил.

[3] С писателем Теодором Драйзером Ш. Андерсона связывала тесная дружба. Он написал предисловие к первому изданию романа Драйзера «Сестра Керри», вышедшему в СССР в 1927 году.

СТЕФАН ЦВЕЙГ — К. А. ФЕДИНУ

1

Зальцбург, 10 декабря 1928

Дорогой Константин Федин!

Мне положительно не везет с Вами! Когда я был в Москве и в Ленинграде (незабываемое впечатление!), Вы были одним из первых, о ком я спросил, потому что мне так хотелось пожать Вам руку и поблагодарить Вас за Вашу прежнюю книгу «Города и годы» и тем более за новую — «Братья», которую я прочел с захватывающим интересом [1]. Я нахожу, что искусство композиции в этом романе еще более выросло, и, кроме того, Вы обладаете тем, что так не понятно большинству в русских художниках (и чего я, к моему огорчению, совершенно лишен),— великолепной способностью изображать, с одной стороны, народное, совсем простое человеческое, и одновременно создавать изысканно артистические фигуры, раскрывать духовные конфликты во всех их метафизических проявлениях. Очень хотелось бы подробно поговорить с Вами, непременно дайте мне знать, когда Вы снова приедете в Германию. Не надо жалеть времени, когда речь идет о творческом разговоре и узнавании друг друга.

Я должен также когда-нибудь публично высказаться о Вашей книге. Сейчас я на четырнадцать дней уезжаю в Швейцарию, чтобы поработать там и побыть с почитаемым мною другом Ролланом. Затем я снова буду все время здесь и всегда готов к встрече с Вами. Не забывайте, что среди многочисленных читателей, которых Вы приобрели в Германии, у Вас есть также настоящий поклонник.

Преданный Вам
Стефан Цвейг.

2

Зальцбург (1929?)

Мой дорогой и уважаемый Константин Федин!

Мне стыдно перед Вами до глубины души, что я так долго путешествовал по Европе и был так поглощен многочисленными делами, что все еще не написал того бесконечно длинного письма, которое хотел Вам написать. Причина этому, правда, очень уважительная: я хотел поразить Вас статьей о Ваших книгах, которые я необыкновенно люблю и которые принадлежат к наиболее значительному, что дала нам новая русская литература. Но мне вдруг пришло в голову сочинить одну вещь, и я должен был ее написать. Так что это лишь отодвинуто, а не отвергнуто.

Однако я серьезно думал о Вас и следил за тем, чтобы Большой Конгресс международного ПЕН-клуба направил Вам свое приглашение. Ваше присутствие доставило бы большую радость, потому что Ваши книги знают и Вы говорите по немецки так великолепно, что могли бы выступить, а в Вене Вы, по-моему, еще никогда не были. Может быть, я могу поэтому надеяться, что Вы примете приглашение ПЕН клуба, тем более что, как Вы увидите из письма президента клуба Феликса Зальтена [2], всем участникам будут предоставлены материальные льготы.

Тогда у меня, наконец, будет большая радость — я смогу Вас приветствовать не только в Вене, но, надеюсь, и у себя в Зальцбурге. С нетерпением жду возможности пожать Вашу руку.

Сердечно Ваш
Стефан Цвейг.

СТЕФАН ЦВЕЙГ (1881—1942) в 1928 году вместе с другими иностранными литераторами во время «толстовской недели» (100 лет со дня рождения Л. Н. Толстого) посетил Москву, Ленинград, Ясную Поляну. Цвейг выступал на торжествах с речами о классике русской и мировой литературы. С. Цвейг состоял в дружеской переписке с К. А. Фединым, посвятившим его памяти статью «Драма Стефана Цвейга».

[1] Романы К. Федина «Города и годы» (1924) и «Братья» (1927—1928) напечатаны в Берлине в 1927—1928 годах.

[2] Феликс Зальтен (1869—1945) — австрийский писатель, журналист и литератор. Президент австрийской секции ПЕН-клуба до 1933 года.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР — М. М. ЗОЩЕНКО

18 ноября 1933

Дорогой м-р Зощенко,

Вам, несомненно, уже знакома газета «Американ спектейтор» [1], но приложение к письму позволит лучше уяснить ее особенности и задачи; Вам выслан также последний номер, который Вы, возможно, не видели. Газета, как Вы убедитесь, не преследует коммерческих целей. Она желала бы служить посредником для выражения примечательных суждений которые повсюду в мире высказываются по эстетическим, экономическим и гуманистическим вопросам.

Я с очень большим интересом читал Ваши юмористические произведения — те, которые у нас переведены и напечатаны,— и мне бы очень хотелось, чтобы Вы что-нибудь

предложили в «Американ спектейтор». Нам несложно сделать перевод, и, если Вы пришлете материал на русском языке, Вы можете быть уверены в том, что он будет переведен на английский тщательно и любовно.

Ввиду того, что в настоящее время объем газеты весьма скромен, мы не можем печатать статьи более чем в 1500 слов и менее чем в 500; желательный размер — 1000 слов. За принятый материал мы обычно платим из расчета цент за слово.

Вам, конечно, ясно, что ни один редактор не имеет права заказывать или принимать материал по собственному усмотрению и что материалы идут в печать после того, как они одобрены всеми редакторами. Тем не менее Вы можете быть уверены в том, что материалу, представленному Вами на рассмотрение, будет оказано самое тщательное и дружественное внимание.

Сердечно Ваш
Теодор Драйзер.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР (1871—1945) в 1927 году был приглашен советским правительством в СССР. За 77 дней пребывания в нашей стране писатель побывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси, Одессе и других городах. Свою книгу «Драйзер смотрит на Россию» (1928) писатель сам назвал «аплодисментами Советской стране».

Первый перевод в Америке произведений М. М. Зощенко (1895—1958) относится к 1925 году (Samething satanic stories, Living age Boston Wilson N. Y. Company).

[1] «Американ спектейтор» — литературная газета, издававшаяся в Нью-Йорке Ш. Андерсоном, Т. Драйзером, Юджином О'Нилом и др. Какие произведения Зощенко были напечатаны в этой газете, установить не удалось.

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ — В. В. ВИШНЕВСКОМУ

10 ноября 1936

Милый Всеволод, мы вернулись из Испании уже дней десять тому назад, но с тех пор мне пришлось еще поездить, и дома такая суматоха что я никак не могла выбрать время, чтобы написать Вам. А написать мне хотелось, чтобы порадовать Вас: в осажденном Мадриде под вой сирены предупреждающей о воздушной атаке перед кинотеатрами, в которых идет «Мы из Кронштадта» [1], стоят длинные хвосты! Хорошо, правда? Это настоящий и нужный успех.

Мне хотелось написать о нашей поездке, но я, к сожалению почти все время хвораю и сейчас пишу через силу; жар и прочая гадость. Мы живем только испанскими событиями, от газеты до газеты.

Видели в Мадриде Мишу [2]. Он работает изо всех сил, и его разносторонние познания сейчас очень полезны.

В Париже беспокойно, испанские события заразительны.

...Если не лень — напишите, очень приятно получать письма из Москвы. Самый сердечный привет Софье Касьяновне[3].

Боюсь, что сейчас Париж произвел бы на Вас менее радужное впечатление, Вы застали расцвет, медовый месяц, Вам повезло...

Еще привет!
Эльза Триоле.

Письмо написано по-русски.

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ (1896—1970) — французская писательница, писала на русском и французском языках.

ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ ВИШНЕВСКИЙ (1900—1951) — русский советский драматург.

[1] Сценарий фильма «Мы из Кронштадта» принадлежит Вишневскому.
[2] Михаил Ефимович Кольцов (1898—1942) — журналист и писатель.
[3] Софья Касьяновна — жена В. В. Вишневского.

ЖАН-РИШАР БЛОК — В. В. ВИШНЕВСКОМУ

Из Москвы Январь 1944.
Гостиница «Националь»

Дорогой Вишневский. Да здравствует Ленинград! Мы разделяем вашу огромную радость. Лучше сказать, она — наша. Очень хочу Вас видеть. Благодарю за Вашу дружескую записку, полученную в клинике. До скорого? Обнимаю Вас и приветствую Вашу жену.

Жан-Ришар Блок.

ЖАН РИШАР БЛОК (1884—1947) — французский писатель-публицист, в 1941—1944 гг. находился в СССР. В Москве он написал поэму «Октябрь мужества», пьесу «Тулон», в которой художественно сопоставил восстание французских моряков тулонского порта против гитлеровских оккупантов с эпопеей Сталинграда.

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ — К. А. ФЕДИНУ

Хольте, Дания, 25 марта 1946

Дорогой и уважаемый товарищ Константин Федин!

Сердечное спасибо Вам за привет из Нюрнберга [1], который нас очень обрадовал. Мы еще вспоминаем приятный вечер, проведенный с Вами и Вашей милой женой в Вашем прекрасном доме, и мы надеемся снова Вас увидеть — у нас или где-либо в другом месте!

Было бы прекрасно, если бы Вы когда-нибудь представили могучую советскую литературу в Копенгагене, а потом погостили бы у нас в Хольте.

Всего наилучшего Вам и Вашим близким!

Преданные Вам
Иоганна и Мартин Нексе.

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ (1869—1954) неоднократно бывал в СССР. Знакомство Нексе с К. А. Фединым состоялось в Ленинграде в 1923 году.

[1] В Нюрнберге К. А. Федин присутствовал на судебном процессе над главными военными преступниками фашистской Германии.

ФРИДРИХ ВОЛЬФ — В. В. ВИШНЕВСКОМУ

Берлин-Панков, 12 апреля 1947

Дорогая Соня, дорогой Всеволод!

Мы были очень рады получить ваше письмо, тому, что вы дали знать о себе! Чем больше проходит времени и чем дальше мы от Москвы, тем чаще мы вспоминаем об этом городе и «о русских людях».

...Дорогой Всеволод, ты хочешь получить «обзор» нашей театральной жизни и литературы? Ну, несколько статей я написал, в основном о распространении снобизма в наших театрах (в первом номере нашего здешнего театрального журнала «Theater der Zeit»). Я выступил против нигилизма и мистики Сартра и Ануя. Пьесы последнего ставят все время даже в нашей зоне... Хороша пища для нашей молодежи? Что касается меня, то жаловаться не приходится: в одном только Берлине четыре театра поставили четыре моих пьесы. Ну, да не об этом речь. Наши театры лишены свежего прогрессивного духа, есть режиссерские находки, талантливые звезды, но до сих пор ни одного театра с ясной линией и сплоченным коллективом. Есть хорошая театральная школа в Веймаре под руководством Максима Валентина, который опубликовал интересную книгу о Станиславском; очень хороша была показанная у нас смелая постановка лондонского театра «Work shop» «Ураниум-235», направленная против атомной бомбы. Пискатор [1] писал мне, что он охотно приехал бы к нам поработать, у него в Нью-Йорке театральная школа и два маленьких театра; вчера я услышал, что этим летом к нам собирается приехать Бертольт Брехт. Ты пишешь о новом романе Фаллады (я думаю, что ты имеешь в виду «Каждый умирает в одиночку») и спрашиваешь мое мнение. Ну, о Фалладе я уже не раз высказывал здесь свое мнение, совпадающее полностью с мнением Вилли Бределя и Вайнерта [2]. Я прилагаю несколько газетных вырезок, среди которых отрицательный отзыв о Фалладе [3] нашей «Berliner Zeitung» при тогдашнем редакторе Херриштадте.

...Я посылаю тебе оба мои небольших романа, которые были опубликованы в 1943—1944 гг. в Советском Союзе, а теперь переизданы здесь, у нас. В них поднимаются немецкая и немецко-русская темы, и проблемы, конечно, исследуются не поверхностно. Прочитай их! Как слышно, их хочет опубликовать парижское «Editions du Minuit». ...Всеволод, а что же пишешь ты сам? Как обстоят дела с твоим новым фильмом? Драма? Роман?? Ты говорил мне в 1941 году, что у тебя есть план нового, большого романа? Я работаю над одной вещью для юношества и над... либретто для оперы. Ты не читал моей пьесы «Что посеешь...», сюжет которой — война Гитлера против Советского Союза? Она опубликована в «Интернациональной литературе» (Москва, 1944). Я считаю ее одной из лучших моих пьес...

Целую тебя и Сонюшку крепко.

Ваш Фридрих.

ФРИДРИХ ВОЛЬФ (1888—1953) — немецкий драматург, после установления в Германии фашистской диктатуры в 1933 году эмигрировал в СССР, где находился до 1945 года.

[1] Эрвин Пискатор (1893—1966) — немецкий режиссер.

[2] Эрих Вайнерт (1890—1953) — немецкий поэт.

[3] Ганс Фаллада (1893—1947) — немецкий писатель.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Н. С. ТИХОНОВУ

Варшава, 4 марта 1954

Дорогой друг!

Присылаю тебе самые сердечные слова благодарности за твою память обо мне и о моем юбилее [1] — спасибо за статью, речь, телеграмму и за все твои дорогие слова, полные настоящей дружбы и понимания. Они являются для меня большим поощрением в моей работе для блага моей родины и для борьбы за всеобщий мир и понимание между народами. Твоя личная дружба ко мне является для меня еще одним залогом дружбы между нашими обоими народами.

Я сердечно жму твою руку и прошу передать привет благодарности всем друзьям в Союзе советских писателей и в Советском комитете защиты мира.

Твой
Ярослав Ивашкевич.

Письмо написано по-русски.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ (род. в 1894 г.) — польский писатель, председатель Союза писателей ПНР.

[1] 20 февраля 1954 года Ивашкевичу исполнилось 60 лет.

АСЕН БОСЕВ — М. Я. АПЛЕТИНУ

София, 24 декабря 1955

Дорогой Михаил Яковлевич,

прошло уже два месяца с тех пор, как я расстался с Вами. И все еще не верится мне, что не могу сию минуту позвонить Вам и услышать Ваш дружеский и шутливый голос. Простился я с Вами и с Москвой, но никогда не забуду ни Вас, ни Москву. У Москвы своя душа, и она привязывает к себе навсегда.

У себя на родине я доволен тем, что могу более систематично заниматься творческой работой. И я могу сказать, что уже вполне попал в плен детской литературы! Мое сердце шепчет: ты освободи меня от служебных обязанностей, пиши!

И я начал исполнять его указку. Хотя и отдыхаю, но я успел уже написать несколько новогодних веселых стихотворений. Здесь меня встретила такая радость: вышел из печати сборник моих избранных произведений.

Мы уже устроились в квартире и привыкаем жить без Москвы. У меня здесь тоже много друзей и больше всего — ребята. Погода у нас почти весенняя.

Михаил Яковлевич, я очень прошу принять от нас на память маленький подарок. С такой флягой у нас обычно пьют вино при веселых случаях. На приемах мы, вместе с нашими песнями, часто пили заздравный тост.

Пусть эта «бъклица» напоминает Вам о наших встречах. Я посылаю Вам еще один экземпляр моей новой книги и один номер пионерской газеты, где отпечатаны мои стихи.

Михаил Яковлевич, у меня к Вам просьба (это уже как по телефону!) передать тов. Суркову А. А. и Полевому Б. Н. приложенные для них книжки.

Как Вы поживаете, Михаил Яковлевич? Вам и Вашей жене сердечные приветы. Желаем Вам здоровья и всего хорошего.

Ваш Ас. Босев.

Письмо написано по-русски.

АСЕН БОСЕВ (род. в 1913 г.) — болгарский детский писатель.

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ АПЛЕТИН (род. в 1885 г.) — многолетний руководитель Иностранной комиссии Союза советских писателей СССР.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — А. А. СУРКОВУ

Берлин, начало июня 1958

Товарищу Алексею Суркову
Москва

Благодарность и привет!

Позвольте мне выразить Вам свою благодарность за то, что вы сердечно разделили радость по случаю присуждения мне международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» в 1958 году.

Работа писателя, почти лишенного зрения, не позволяет мне выразиться более пространно, но Вы, несмотря на краткость моего письма, конечно, не сомневаетесь в моей искренней преданности Вам и всем товарищам по нашему лагерю мира.

Ваш
Арнольд Цвейг.

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ (1887—1968) — немецкий писатель и общественный деятель.

АЛБЕРТ РИС УИЛЬЯМС — С. А. ДАНГУЛОВУ

Нью-Йорк, 9 января 1961

Дорогой Савва Дангулов!

Вашу книгу я получил. Большое спасибо. Случилось так, что разные мои друзья прислали мне несколько ее экземпляров.

Этим летом мы находились на побережье в штате Мэн, довольно далеко от Оссенинга, где мы живем постоянно. И по разным причинам я получил Вашу книгу с опозданием. Затем, по возвращении домой, я некоторое время пробыл в больнице.

Только теперь я закончил чтение Вашего достоверного рассказа о встречах и беседах Ленина с американцами. В той мере, в какой я имел великое счастье несколько раз беседовать с Владимиром Ильичем и лично знать всех, за исключением одного из его собеседников, о которых Вы рассказываете в своей книге, я воспринял Ваш рассказ с особенным интересом и радостью. Если Вы и не всегда фотографичны во всем, что касается времени и места, то зато даете верные портреты людей во всем разнообразии их ума, духа и темперамента.

Какое огромное количество материала Вы должны были собрать в Вашей небольшой книге и связать воедино в свободно текущем рассказе. Этот рассказ развивается так непосредственно, живо и естественно, что я уверен, молодое поколение с большим удовлетворением прочтет книгу, так же как, очевидно, большое удовлетворение испытывали Вы, когда ее писали. В общем, книга интересная и увлекательная, и я рад, что написал об этом нашему хорошему другу и товарищу Борису Полевому.

Особенно мне нравятся те места, где Вы даете свободу своему поэтическому воображению и в нескольких живых, выразительных фразах воскрешаете в моем сознании события, их подробности, атмосферу, характерные черты мест, пейзажи и времена года. Я почувствовал, что вновь шагаю по улицам и площадям революции, пересекаю мосты Невы, прохожу воротами Кремля, иду кремлевскими скверами.

Как я уже отмечал, эти заметки с выражением благодарности должны были быть посланы Вам несколько недель назад. В этой связи они должны были явиться и моим поздравлением с годовщиной Октября. Но мы говорим: «время бежит» — и как быстро!

И вот уже теперь, когда на меня надвигается 1962 год, я приношу свои поздравления с Новым годом, и я, очевидно, первый из поздравивших Вас.

Пусть 1962 год принесет мир этой земле.

Примите мои поздравления с Новым годом.

Алберт Рис Уильямс.

АЛБЕРТ РИС УИЛЬЯМС (1883—1962) — американский прогрессивный писатель и публицист, впервые приехавший к нам в 1917 году и последний раз — в 1959-м. Автор воспоминаний о личных встречах с В. И. Лениным. («Ленин. Человек и его дело», 1919, США; русский перевод — в 1925 г.).

В годы второй мировой войны в США вышла его книга «Русские. Страна, народ и за что он сражается» (1943).

САВВА ДАНГУЛОВ (род. в 1912 г.)—автор книги «Ленин разговаривает с Америкой», написанной на основе малоизвестных документов и свидетельств мемуаристов.

РИЧАРД ОЛДИНГТОН — Б. Н. ПОЛЕВОМУ

Сюри-ан-Во Шер, Франция, 16 июля 1962

Дорогой мистер Полевой,

нам доставили очень большое удовольствие встреча с Вами и то, что мы услышали о битве за Сталинград от одного из победителей. И нам обоим очень понравился обед, которым Вы нас угостили.

Мне кажется, Вы сказали, что читаете по-немецки, поэтому я посылаю Вам отдельным пакетом мою книгу о Веллингтоне, изданную в Цюрихе.

С наилучшими пожеланиями

искренне Ваш

Ричард Олдингтон.

РИЧАРД ОЛДИНГТОН (1892—1962) — английский писатель; по приглашению Союза писателей СССР в 1962 году посетил Советскую страну и здесь отметил свое 70-летие.

РИЧАРД ОЛДИНГТОН — А. А. СУРКОВУ

Сюри-ан-Во Шер, Франция, 18 февраля 1962

Дорогой м-р Сурков,

вернувшись домой, я послал Вам телеграмму [1], но совершенно невозможно до конца выразить Вам мою благодарность, Вам и всем моим друзьям в СССР за теплое гостеприимство и все, что Вы для нас сделали.

Отдельно посылаю Вам «Опасные связи» Лакло в моем переводе [2]. Иллюстрации ужасны, но я посылаю именно это издание, потому что только в нем напечатано мое предисловие, в котором описана жизнь Лакло и любопытная роль, которую он сыграл во время первой французской революции. Вполне возможно, что этому столь острому разоблачению ряда французских аристократов XVIII века можно найти параллель в вашей национальной литературе. Вы, вероятно, знаете творчество Лакло не хуже меня, но если случайно Вы его не читали, я уверен, что Вам будет интересно с ним познакомиться.

Все многочисленные подарки из Советского Союза разложены на буфете в этой комнате; в центре стоит советский флаг, а за ним — полученный от Павла Чувикова [3] адрес, которым я горжусь. Самовар работает отлично, и я каждое утро пью из него чай. Все сорта чая хороши, но грузинский — урожая 1962 года исключительно вкусен. Друзья здесь говорят, что в Париже я смогу достать русский чай.

...Посылаю с письмом открытку, изображающую Сюри-ан-Во; видите, это обычная небольшая французская деревушка. Я живу не в самой деревне, а в маленьком хуторке под названием Мэзон Салле (он является частью общины Сюри-ан-Во), который находится справа и позади фотоаппарата.

С наилучшими пожеланиями
искренне Ваш
Ричард Олдингтон.

[1] Телеграмма от 12 июля 1962 года: «Самая горячая благодарность от нас обоих Вам и всем друзьям в СССР за Вашу теплоту и щедрое гостеприимство. Письма следуют. Ричард Олдингтон».
[2] «Опасные связи» — роман в письмах французского писателя Шодерло Пьера Амбруаза Франсуа де Лакло (1741—1803).
[3] Директор издательства «Иностранная литература».

ДЖОН ЧИВЕР — К. И. ЧУКОВСКОМУ

12 ноября 1964

1

Дорогой Корней,

одно из моих самых приятных воспоминаний о России — Ваше веселое лицо, Ваша светлая комната и блеск Вашего ума.

Единственное, о чем я жалею,— что я, возможно, слишком засиделся у Вас в гостях. Однако я надеюсь побывать у Вас еще раз, может быть, весной, и тогда Таня [1] подскажет мне, когда уходить.

Наверное, это слишком высокопарно для письма, если я скажу, что дружба писателей может стать силой, которая не позволит миру развалиться на куски, и все-таки мне дает новые силы сама эта мысль.

Ваш Джон Чивер.

2

27 декабря 1964

Дорогой Корней,

очень было приятно получить от Вас письмо. Мои привязанности не так прочны и неизменны, как мне бы хотелось, но о вашем народе и о вашей стране я всегда вспоминаю с такой живостью и такой любовью, что решительно намерен и дальше вспоминать их так же. Как было бы замечательно сделать что-нибудь для того, чтобы между нашими странами стало меньше неясностей и чтобы они крепко подружились. Я попрошу «Нью-Йоркер» выслать Вам подписку на журнал, чтобы Вы могли читать рассказы Джона Апдайка. Сам я, вероятно, еще год не буду печатать рассказов.

У нас дома все в порядке, мы благополучно перенесли рождественские праздники с их буйством и ажиотажем. Вчера мой старший сын отправился на первый свой бал, надев смокинг, и я от гордости за него вел себя просто нелепо — в конце концов он сказал, чтобы я перестал таращить на него глаза.

Апдайки пишут мне, что у них — особенно у Мэри [2],— как и у меня, такое чувство: когда мы ездили в Россию, мы словно не путешествовали, а приехали к себе домой.

Приходят письма от Тани, и я от них в восторге, как и от всего, что, кажется, сокращает дистанцию между нашими странами.

Ваш Джон Чивер.

ДЖОН ЧИВЕР (род. в 1912 г.) — американский писатель, в 1964 и 1971 годах Чивер по приглашению Союза советских писателей посетил СССР.
[1] Татьяна Максимовна Литвинова — переводчик с английского.
[2] Жена американского писателя Джона Апдайка, участвовала в поездке Апдайка и Чивера в СССР в 1964 году.

ГУРБАХШ СИНГХ — Н. С. ТИХОНОВУ

Подмосковье, 7 августа 1966

Мой дорогой и уважаемый Н. Тихонов,

позвольте выразить мою глубокую благодарность за Ваше любезное приглашение на лечение и отдых. Лечение в вашей замечательной больнице и отдых в изумительном санатории почти поправили мое здоровье. Я буду благодарен всю свою жизнь за беспредельную заботу советских людей.

А теперь позвольте мне выразить благодарность за исполнение моего желания — предоставление возможности поездки в Лондон, куда я приглашен ассоциацией индийских рабочих в Англии. Я собираюсь выступить там по случаю Дня независимости Индии [1] и разъяснить тысячам моих соотечественников великое значение Ташкентской Декларации [2].

Вы были чрезвычайно заняты во время моего двухмесячного пребывания в Москве. Я надеюсь, что после моего возвращения из Англии вы будете столь любезны, что дадите мне возможность лично выразить мое уважение и добрые пожелания Вам и товарищу Котову [3].

Я также прошу Вас доставить мне удовольствие — принять небольшой подарок, который сам по себе очень дешев, но ценен тем, что сделан руками трудолюбивых индийских кустарей, заслуживающих лучшей доли в этом мире, но вынужденных ждать хороших времен. Демон войны пожирает ресурсы, столь необходимые для их будущего.

С любовью и уважением
искренне Ваш Гурбахш Сингх.

ГУРБАХШ СИНГХ (род. в 1895г.) — индийский писатель, пишущий на пенджабском языке.

[1] День независимости отмечается в Индии 15 августа.

[2] Ташкентская декларация по инициативе Советского Союза была подписана в 1966 году в столице Узбекистана руководителями Индии и Пакистана с целью прекращения военного конфликта, возникшего между ними.

[3] М. И. Котов — ответственный секретарь Советского комитета защиты мира.

ОБЩЕСТВО ДИККЕНСА — К. И. ЧУКОВСКОМУ

24 января 1967

Дорогой м-р Чуковский,

мне доставило очень большое удовольствие получить Ваше письмо, и я с интересом узнал, какое значение имел для Вас Диккенс. Вы видели Англию много лет тому назад, когда я был еще ребенком; в те дни на улицах было полно экипажей и гораздо легче было представить себе истинно диккенсовскую атмосферу.

Теперь, конечно, многое очень изменилось и становится все труднее отыскать какой-нибудь уголок, который напомнил бы нам о временах Диккенса. Это, среди прочего, мешает мне, когда я беседую о Диккенсе с детьми; они не имеют никакого представления о том, как жили в эпоху Диккенса, у них нет никакого понятия о том, как ездили на лошадях и проч.

Как хорошо, что Вы побывали на Даути-стрит, 48,— мы очень гордимся тем, что сохранили этот дом. Нам кажется, что это один из домов, имевших особенно большое значение в жизни Диккенса. Наверное, здесь он — этот восторженный молодой человек 24—27 лет — и понял, что ему по силам не просто написать книгу, которая будет пользоваться популярностью, но писать и дальше, создавать все новые и новые свои удивительные типы. Должно быть, это была замечательная минута его жизни.

Когда я езжу в другие страны с лекциями о Диккенсе, я делаю это часто, мне доставляет огромное удовольствие видеть, что Диккенс помогает дружеским отношениям между людьми. Я всегда надеялся приехать как-нибудь в Москву и прочитать лекцию о Диккенсе. Мне много раз приходилось встречаться в Англии с Вашими соотечественниками. Не знаю, суждено ли мне испытать это удовольствие,— время идет, и я старею, дальние путешествия становятся для меня утомительны.

Мне придется попросить кого-нибудь передать Вам это письмо, так как я не уверен, что разобрал адрес, указанный Вами на конверте. Шлю вам самые добрые пожелания и благодарю за Ваше письмо.

Искренне Ваш
Джон Грейвс, почетный секретарь.

ДЖОН ГРЕЙВС — почетный секретарь лондонского Общества Диккенса, основанного в Лондоне в 1902 году. К. И. Чуковский познакомился с ним во время посещения в 1962 году мемориального дома Чарльза Диккенса — своего любимого писателя.

ЛЕОНГАРД ФРАНК — К. А. ФЕДИНУ

1967

Объяснение в любви Константину Федину — и не только к его 70-летию!

Когда мы снова были с женой в ГДР, там произошла наша незабываемая встреча с большим писателем-романистом Константином Фединым. Мы вместе пообедали и хотели поехать прогуляться. Когда такси остановилось перед отелем, Федин сбросил свой плащ на землю и при свете солнечного дня провел по плащу мою жену к машине — жест, который во всем мире мог, пожалуй, прийти в голову только этому любимцу женщин.

Из своего опыта писательской работы я знаю, что для романиста нет ничего труднее, чем изображать социалистическую экономику на судьбах людей. Федину в его романах это удалось.

У прозаиков не столь одаренных, если они хотят изобразить политически обусловленные человеческие судьбы, получаются лишь политические передовицы, место которым в газете.

Леонгард Франк.

ЛЕОНГАРД ФРАНК (1882—1961) — немецкий писатель. Знакомство Франка и Федина состоялось в 1928 году в Берлине. О своих встречах с немецким писателем К. Федин рассказал в книге «Писатель, искусство, время» (М., 1961, 2-е изд., стр. 318—333). Писатель вспоминает, что за месяц до смерти Франк писал ему:

«Надо бы быть моложе — настолько молодым, чтобы вкусить еще нового мира,— мне, человеку, который в мире старом был обманут столь во многом и все-таки не сдался, а в малую меру своих сил сделал, что мог, для победы социализма».

АННА ЗЕГЕРС — К. А. ФЕДИНУ

Берлин, 14 февраля 1967

Дорогой Константин Федин,

Ваша доброта, Ваш ум, Ваше теплое сердце были с нами во времена войны и мира, Ваши книги потрясали нас снова и снова, они обращали в плоть то, что ушло в прошлое. Начиная с запутанного возвращения на родину после первой мировой войны[1] до бомб второй мировой войны и надежды на подлинный мир.

Ваше спокойное доверие помогло в трудные времена многим моим немецким друзьям-писателям, потому что Вы умели разбираться в людях, различать добро и зло.

Вы умели это, потому что знали Германию изнутри. Оттого что Вы сами пережили первую мировую войну на чужбине, в Германии, Вы так глубоко узнали ее людей!

Я сама многому научилась у Вас, когда мы, например, сидели за одним столиком в Гарце[2]. Спокойно и правильно Ваше внимание высвечивало то, что так глубоко волновало нас тогда. Однако это внимание, подлинно художественное внимание, которое зримо судит о незримом, останавливалось также на небольших будничных событиях. Помните ли Вы еще влюбленную пару за соседним столом, которая была такой веселой по приезде и уже на другой день стала отчужденной? Все это тяжелое и легкое, серьезное и веселое сочетается для меня в Вашем существе, дорогой Константин Федин.

Наверное, не разрешается посылать такое письмо ко дню рождения. Вы сами сказали мне однажды: когда хочешь засвидетельствовать лучшие чувства, а также когда посылаешь поздравление дорогому для тебя человеку, ничего хорошего из этого никогда не получится, потому что прерываешь работу на часы и дни; ибо, именно будучи писателем, воспринимаешь слова всерьез и очень долго подбираешь их.

Было бы хорошо, будто это новый обычай, чтобы, когда один писатель поздравляет другого, он посылал бы последнюю сочиненную им страницу новорожденному. Не завести ли нам этот обычай для следующих дней рождения?

Во всяком случае, это поздравление получилось не таким удачным, как мне хотелось бы, поскольку нужно было бы выбирать самые лучшие, самые прекрасные слова. Но именно Вам мне хочется писать сразу, на одном дыхании. Без заботливого выбора слов, лишь в беззаботной сердечности.

Тысячу и еще больше добрых пожеланий всего хорошего в Вашей жизни шлет Вам

Ваша

Анна Зегерс.

АННА ЗЕГЕРС — немецкая писательница (ГДР) и видный общественный деятель. Письмо Анны Зегерс обращено к К. А. Федину по случаю его 75-летия, широко отмеченному в СССР.

[1] Первая мировая война застала студента Московского коммерческого института К. Федина в Германии, где он усовершенствовался в знании немецкого языка. Там он был задержан в качестве гражданского пленного и возвращен на родину четыре года спустя.

[2] В 1972 году в приветствии читателям журнала «Советская литература» № 10 (на немецком языке) К. А. Федин писал об А. Зегерс: «...вновь зажигаются в моей памяти встречи с нею в Веймаре и в горах Гарца, в Берлине и Москве, и мне очевидно, что требования, обращенные ко всему множеству писателей, от души выполняются Анной Зегерс самой... Она вправе звать писателей к дружбе. И ее зов слышится далеко за рамками литературных содружеств — он раздается там, где слово литературы должно помогать сердечному общению людей» («Литературная газета», 1972, 15 ноября).

ЭЙДЕН ЧЕМБЕРС — К. И. ЧУКОВСКОМУ

14 августа 1969

Дорогой г-н Чуковский,

недавно с большим удовольствием и восхищением я прочитал Вашу книгу «От двух до пяти» [1], выпущенную издательством Калифорнийского университета.

Поскольку эту книгу распространяет в Великобритании американское издательство и отдельного английского издания пока нет — о чем я очень жалею,— у нас эта книга известна не так хорошо, как в Соединенных Штатах, где она и попалась мне на глаза, когда я там недавно был. Конечно, она включена в рекомендательные списки литературы для студентов английских библиотечных учебных заведений, но о ней не знают преподаватели, родители и все остальные, кто интересуется детьми и детскими книгами. Я считаю, что столь значительная книга, в которой так много интересного, должна стать более известной и доступной.

Я детский писатель и критик и в следующем году буду регулярно помещать статьи в здешнем журнале «Чилдренс бук ньюс», где рецензируются детские книги. Уверен, что статья, показывающая ценность и значение книги «От двух до пяти», в какой-то мере помогла бы сделать книгу более широко известной в Англии.

Кроме того, мы с женой собираемся начать издание журнала, посвященного серьезному критическому исследованию детской литературы. Подобного издания в Великобритании пока что не существует. Предприятие это дорогостоящее, и едва ли за него возьмется какая-нибудь коммерческая фирма, но частному лицу оно, может, и удастся, если издатели проявят трудолюбие и упорство, а авторы согласятся писать без гонорара. Мы с женой не пожалеем труда, и уже нашлись люди, готовые писать для нас. Первый номер выйдет в будущем январе.

В связи с Вашей книгой и нашим журналом возникает несколько вопросов, на которые, надеюсь, Вы не откажетесь любезно ответить.

Прежде всего, вопросы, касающиеся статьи, которую я хотел бы написать о Вашей книге.

1. Когда читаешь Вашу книгу, поражают, помимо другого, Ваши познания насчет того, как говорят дети: Вы собрали материал со всех концов Советской России. Меня интересует, насколько глубоко воздействовала вся эта работа на характер Ваших собственных произведений для детей.

Насколько мне известно, в Англии ни в печати, ни частным образом никто не пытался собрать такую коллекцию характерных для детей слов и выражений; есть книга под названием «Мысли и язык школьников», но для нее материал брали больше из детских игр на улице, чем из разговоров детей у себя дома, где Вы нашли так много индивидуального и своеобразного. Как Вы собрали все Ваши примеры?

2. Вы придаете большое значение стихотворным детским рассказам. В Англии по традиции гораздо больше издается, как Вам известно, рассказов в прозе для такого же возраста. Не могли бы Вы что-нибудь дополнить к тому, что Вами об этом сказано в книге? Как Вам кажется, дают ли о себе здесь знать какие-то русские особенности или дело обстоит сходным образом повсюду?

3. У нас постоянно спорят о том, как писать «для» детей. Некоторые говорят: нельзя писать «для» детей — и вообще «для» кого бы то ни было. Человек пишет только для себя, а если детям нравится то, что он написал,— что ж, тем лучше. С такой точки зрения вообще не существует никакой «детской литературы». Просто есть книги, которым дети отдают предпочтение перед другими, и такие книги разумно помещать в особые детские библиотеки, а не вместе с книгами, которые нравятся взрослым, а детям — нет. Что Вы думаете по этому поводу? Выражаясь языком критики, каковы, на Ваш взгляд, критерии, которыми следует руководствоваться, аттестуя ту или иную книгу как детскую? (Это очень большая проблема — можете просто улыбнуться и оставить мой вопрос без внимания. Ведь для ответа может понадобиться целая книга!)

4. Не могли бы Вы поделиться со мной мыслями относительно другой трудной проблемы — она касается тех детей, которые могут, но не хотят читать. У нас всего чаще так обстоит дело с подростками, но я уверен, что отношение к книге зарождается гораздо раньше — возможно, в период от двух до пяти лет. Может быть, все дело в том, каким образом детей знакомят с напечатанным словом? Добавьте еще, что дома нет книг, что родители никогда не читают своим детям вслух. И так далее.

Все это очень большие вопросы, и, наверное, лучше мне подождать, пока ответите, прежде чем обременять Вас другими!

Теперь кое-что в связи с критическим журналом, о котором я упомянул.

1. Есть ли у Вас какие-нибудь статьи о детской литературе, которые Вы позволили бы нам перепечатать? Мы были бы чрезвычайно признательны и польщены. Из Вашей книги я знаю, насколько значительно все, что Вы пишете, и мы были бы в восторге, если бы именно через наш журнал английская публика познакомилась с Вашими трудами.

2. Есть ли в России какие-нибудь особенно значительные труды критиков о детской литературе, которые нам следовало бы знать? Не назовете ли Вы мне их и не скажете ли, как их можно приобрести?

Найдется ли у Вас время и желание мне ответить или нет, я пользуюсь случаем передать Вам свои добрые пожелания и поблагодарить Вас еще раз за помощь и ободрение, которые я почерпнул в Вашей книге.

Искренне Ваш
Эйден Чемберс.

ЭЙДЕН ЧЕМБЕРС — английский детский писатель и критик.

[1] Книга К. И. Чуковского об особенностях детского разговорного языка «От двух до пяти» выходила в СССР с 1928 по 1970 год двадцать один раз. Перевод ее за рубежом впервые появился в США (1968). Книга переведена также в Болгарии, ГДР, Польше, Чехословакии, Швеции, Японии.

АННА ЗЕГЕРС — К. А. ФЕДИНУ

1 марта 1972 года
к 24 февраля 1972 года [1]

«Человек большой души», «щедрого сердца» — эти выражения все же не вполне соответствуют прекрасному русскому слову «великодушный». Слову, которое как бы создано для Федина. Разумеется, весьма редко случается, чтобы человек был одновременно и великодушен, и умен, и справедлив, чтобы он был большим художником и обладал велнкодушием, чтобы его жизнь и творчество были проникнуты обоими этими качествами.

А Федин был таким в годы войны и мира. Его гумаиность была настолько гармоничной, что даже в самые худшие времена он не сделал по отношению к людям ни одной неправильной оценки, потому что справедливые люди бесстрашны. Друзья, которые в тяжелые годы во время войны были в Советском Союзе, часто рассказывали мне о том, как Федин успокаивал и приободрял их своим доверием.

Не только его книгам, хотя они и принадлежат к первым, прочитанным мною, взволновавшим меня русским романам советской литературы,— но также совместному пребыванию с Фединым я благодарна за неповторимо прекрасные часы в моей жизни. Эти простые добрые часы случались как в Советском Союзе, так и здесь, у нас, например в «Вальдотеле».

Как его дочь угощала нас чудесными кушаньями в Москве! Как он своим гостеприимством создавал веселое застолье! Как он улыбался и, по-молодому шагая, вел нас к затерявшейся церквушке, о которой я говорила, что он, вероятно, ее вовсе не найдет...

А в «Вальдотеле»! Как он читал по лицам людей за соседними столиками их характеры и судьбы и, наверно, не ошибался. И люди приветствовали его, сияя от счастья, в маленьком немецком городке, как будто он только вчера расстался с ними, в том самом небольшом театре, где он был вынужден зарабатывать себе на хлеб во время первой мировой войны, когда он был интернирован.

Его великодушие, его добрая строгость, когда речь идет о серьезных вопросах в его собственной стране, его искусстве романиста будут оставаться с нами еще долго, потому что возраст измеряется не годами, а внутренней силой.

Я обнимаю Вас, Константин Федин.
Ваша
Анна Зегерс.

---

[1] 24 февраля 1972 года К. А. Федину исполнилось 80 лет. Юбилей широко отмечался в советской и зарубежной печати. Как председатель Совета Общества дружбы с ГДР Федин был награжден Государственным советом ГДР орденом «Звезда дружбы народов». Помимо поздравительного письма юбиляру А. Зегерс написала статью «Добрая строгость» («Литературная газета», 1972, 23 февраля).

ФЕРДИНАНДО КАМОН — Г. С. БРЕЙТБУРДУ

Падуя, 21 ноября 1972

Любезный Брейтбурд,

сегодня утром получил Ваше письмо. И хоть я с Вами не знаком, как мне кажется, имею теперь о Вас некоторое представление. Конечно, как только представится случай познакомиться лично, я его не упущу: если Вы приедете в Италию (в Милан, в Рим, во Флоренцию, в Венецию, куда угодно), я буду рад с Вами встретиться и потолковать.

Москва для нас с женой — давняя мечта. Мы часто говорим о том, что надо бы совершить эту поездку, но на автомобиле слишком далеко, а самолетом... я никогда не летал. Пора мне привыкать к этому средству сообщения. Я объездил почти всю Европу, но только на машине и на поезде.

В Вашем пространном и прекрасном письме много наблюдений. Разрешите мне отвечать Вам по порядку, так нам будет легче понять и узнать друг друга.

Начнем с двух «легких подозрений», возникших у Вас перед тем, как Вы приступили к чтению моих романов. Первое: «Редко хороший критик становится романистом». Я не согласен с Вашей формулировкой относительно «хорошего критика» — Вы слишком великодушны. В Италии мои первые книги «Ремесло поэта» и «Жена тирана» не были восприняты как критические, а скорее как публицистика, ведь это интервью,

беседы. А задумал я их вот почему: я жил один, в изоляции, в глуши, среди необразованных людей, которые даже не умели как следует говорить по-итальянски; чувствуя в себе призвание поэта, писателя, я испытывал живейшее желание общаться с поэтами и писателями. Так у меня вошло в привычку совершать раз или два раза в месяц поездки к писателям, которые особенно меня интересовали, и брать у них интервью. Я построил свою жизнь следующим образом: попросил, чтобы мне, как преподавателю, выделили свободный день — понедельник; таким образом, выехав в воскресенье, я мог к вечеру добраться до любого города, в понедельник взять интервью и к ночи того же дня вернуться домой. Так я делал многие годы. Писатели беседовали со мной; потом я сообразил, что наши диалоги, возможно, могут заинтересовать и читателей. Тогда я эти наши беседы опубликовал.

Второе ваше сомнение: «Все рецензии похожи одна на другую». Да, Вы правы. Я часто задавал себе вопрос: почему рецензии все одинаковые? И сам себе отвечал: потому что все литературные критики — горожане, они родились и жили в городе и на мой мир смотрят чужими глазами. Насколько мне известно, в Италии нет ни одного литературного критика, который был бы крестьянским сыном. Видите ли, Брейтбурд, когда я отправляюсь в гости к литератору (к Феррети, Милано, Фортини, Роверси, Пазолини, к Моравиа, Пратолини, Бассани, Дзандзотто и др.), это не просто поездка из венецианской области в Милан или Рим, это — путешествие из средних веков в двадцатый. Вы меня понимаете?

Говоря о моих романах, Вы называете их «достоверными книгами»: этим определением я дорожу больше всего.

Вы упрекаете меня за термин «роман-истина». Пожалуй, Вы правы. Признаю, что было ошибкой прибегать к этому обозначению; я не хотел, чтобы оно относилось ко всей книге, озаглавленной «Жизнь вечная», а лишь ко второй ее части. В этом смысле письмо Ваше для меня важно.

Вы выдвигаете два возражения, касающиеся 1) моей концепции мира, лежащего «вне истории», и 2) стремления показать животное начало, наивную жестокость. По первому пункту у меня был долгий спор с Фортини. Тут действительно есть о чем поспорить. Но прежде, по-моему, надо объясниться. Когда я говорю «вне истории» (у меня вышла книжка стихов под таким названием, и я собираюсь включить ее в новый поэтический сборник, который скоро выйдет в изд. Гардзанти), так вот, когда я говорю «вне истории», я прекрасно знаю, что ничто не может быть вне истории, но я имею в виду историю официальную и хочу сказать: официальная история игнорирует крестьянский мир; все, что в нем творится, как бы вовсе не происходит (я хочу сказать: не происходит с точки зрения буржуазии, университетских профессоров, составителей учебников по истории и т. п.). Мой мир в известном смысле мир особый. (Он сам должен найти способ заявить о себе, сказать: я тоже существую. Я пытаюсь помочь ему в этом. Пытаюсь сказать, что мой мир существует, и выступать тому свидетелем.)

Что касается животного начала, то я должен сделать одну оговорку. Мы с Вами живем в совершенно различных измерениях, в странах, глубоко отличающихся по своей социальной структуре, культуре, литературе. Если у нас, в Италии, писатель говорит о крестьянах и воспроизводит их диалект, то это значит, что культурный писатель говорит о мире бескультурья с культурными читателями. Зачем он это делает? Либо затем, чтобы взять себе читателя в сообщники, то есть с целью чисто развлекательной, либо чтобы оскорбить читателя показом того, что, по его вине, выглядит иным, отвратительным. Я сейчас пишу на эту тему статью. Если хотите, могу Вам ее послать, и тогда можно будет насчет этого обменяться мнениями.

Думаю, что Паризе уже получил мои романы,— посылаю ему письмо, чтобы спросить об этом.

Я в самом деле доволен, что Вам понравились мои книги. Не важно, что Вы не издательский работник. Я написал Вам, потому что у моего издателя нет контактов с СССР, свои дела я хотел бы поэтому решать сам, но это очень трудно, так как я никого не знаю. Если в Москве или в другом городе есть кто-то (человек, учреждение, издательское объединение, культурный центр...), кто занимается переводами западной литературы, и если Вы мне дадите соответствующий адрес, я позабочусь о том, чтобы переслать свои книги и установить письменную связь.

Пока же уже одно то, что Вы прислали мне такое искреннее письмо, мне важно. Узнав, что Вы не сумели найти «Жену тирана» [1] — в Италии эта книга уже разошлась,— я Вам пошлю ее и буду рад, если она Вам пригодится.

С сердечным приветом

Ваш

Фердинандо Камон.

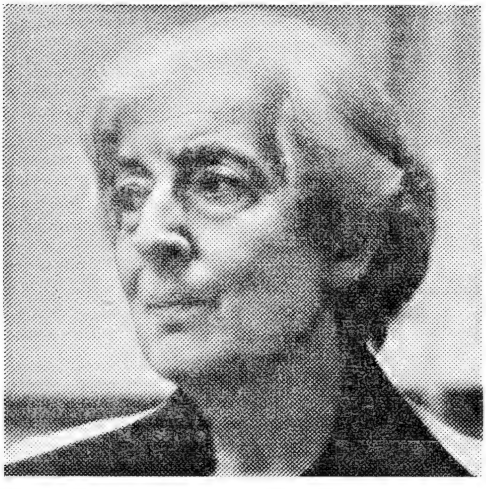
ФЕРДИНАНДО КАМОН (род. в 1935 г.) — итальянский писатель, романы которого «Пятое сословие» и «Жизнь вечная» вышли на русском языке в издательстве «Прогресс».

ГЕОРГИЙ САМСОНОВИЧ БРЕЙТБУРД (1921—1976) — специалист по итальянской литературе, переводчик и критик, многолетний консультант Иностранной комиссии Союза писателей СССР. Неоднократно печатался в нашем журнале.

[1] «Жена тирана» (1969) — подзаголовок книги бесед автора с итальянскими писателями.

◆

Наши гости



Мадлен Брон

Рубен Мелик

(ФРАНЦИЯ)

Наши гости приезжали в Москву для участия в Международной встрече переводчиков советской литературы за рубежом. Мадлен Брон — генеральный директор парижского издательства «Эдитер франсэ реюни». Поэт Рубен Мелик заведует в нем отделом поэзии.

«Иностранная литература» опубликовала переводы многих произведений писателей Франции, вышедших в этом издательстве. «Эдитер франсэ реюни» в основном издает художественную литературу, причем не только произведения французских авторов, но и большое количество переводных книг, и в частности советских. В преамбуле издательского каталога есть такие слова: «В издаваемых нами сериях произведения русской классики и наиболее характерные образцы советской литературы от ее истоков занимают такое привилегированное место, как ни в одном другом издательстве Франции». Это не просто декларация. Об исключительном внимании и интересе к русской классике и современной советской литературе говорят факты. Благодаря «Эдитер франсэ реюни» французский читатель имел возможность познакомиться с произведениями Чехова, Горького, Шолохова, Маяковского, Эренбурга, Гладкова, Ажаева, Антонова, Николаевой, Айтматова, Гусейна, Аксенова и других русских и советских писателей.

Беседа начинается с частного вопроса к Мадлен Брон: что означает алая розетка на воротнике ее блузки?

— Это орденская планка. Я участвовала в Сопротивлении.

Ответ более чем лаконичен. А за ним долгие годы войны, во время которой М. Брон была генеральным секретарем руководящего комитета Национального фронта Сопротивления южной зоны Франции, координировала деятельность его местных организаций, осуществляла связь с Национальным фронтом оккупированного фашистами севера страны. Благодаря ей регулярно выпускался информационный бюллетень, печатавший сводки Совинформбюро. Мужество и самоотверженность принесли Мадлен Брон высокие награды — орден Почетного легиона и офицерский знак — розетку Сопротивления. Она была вице-президентом первого послевоенного Национального учредительного собрания Франции — кстати сказать, первой женщиной на этом посту,— многократно избиралась депутатом парламента от департамента Сены по спискам коммунистической партии.

Но сейчас Мадлен Брон меньше всего склонна говорить о прошлом. Она в заботах о сегодняшнем дне. Условия, в которых работает издательство, печатающее произведения авторов-коммунистов, нелегки, трудности встречаются на каждом шагу. В этом году в «Юманите» промелькнуло выразительное фото: разбитые стекла витрины, а рядом спокойная фигура «ажана», словно ничего не произошло. Скупые слова текста разъясняют: совершено нападение на издательство «Эдитер франсэ реюни», бесчинствующие молодчики в звериной ненависти к честному печатному слову уничтожили немало книг и документов. А ведь издательство находится не где-то на окраине — в самом центре Парижа.

— Франция переживает серьезный кризис,— говорит Мадлен Брон.— Он охватил не только экономику, но и другие сферы жизни, в том числе литературу и искусство. Кризис остро отражается и на издательском деле, и на читателе, покупательная способность которого падает. Крупным издательствам, располагающим большими финансовыми возможностями, доступны астрономические тиражи, широкая рекламная шумиха вокруг своих книг, протаскивание бестселлеров на полки книжных магазинов. Но ведь их целью является не книга как таковая, а стремление получить как можно больше прибыли от книжного бизнеса. Нашему издательству, которое проводит независимую политику и в то же время добивается высокого полиграфического уровня, сейчас особенно трудно.

Из последних книг, выпущенных издательством, гостья выделяет романы «Улица Трех Солнц» Андре Ремакля, «Заклинатель машин» Жана Дидераля и «Сезон сафари» Франсуа Крюсиани.

Разговор заходит о новых сериях издательства, в частности изящно оформляемых поэтических сборниках малого формата. Эта серия уже получила отклик на страницах журнала, и мы просим рассказать о ней подробнее.

— Первая книга серии «Маленькая сирена» появилась в 1960 году. С тех пор уже вышло 43 названия. Стихи Пьера Сегерса, Мигеля А. Астуриаса, Алена Боске, Николаса Гильена и других опубликованы большими тиражами — 20—30 тысяч экземпляров. Наряду с этим мы выпускаем и первые поэтические сборники молодых поэтов, но уже меньшими тиражами, скажем, две тысячи. Однако в случае успеха мы их переиздаем. Одна из последних книг серии, «Мое живое тело», принадлежит Рубену Мелику.

О сборнике Р. Мелика журнал сообщал читателю. Его сборники уже отмечались литературными премиями — Аполлинера в 1948 году, Арто в 1960-м; этот, последний, премирован Обществом литераторов Франции.

В своей издательской деятельности Рубен Мелик не ограничивается популяризацией творчества французских поэтов. «Эдитер франсэ реюни» подготовило антологии македонской и вьетнамской поэзии, выпустило сборники Николоза Бараташвили (тексты даются параллельно на грузинском и французском языках), болгарского поэта Христо Ботева, венгерского — Аттилы Йожефа, греческого — Янниса Рицоса. Сам Мелик составил антологию армянской поэзии. В нее вошли помимо произведений советских поэтов стихи армян, живущих во многих странах мира. Это издание — плод огромного, кропотливого труда.

— Главное, к чему я стремился,— говорит Рубен Мелик,— это избежать опасности, которая всегда подстерегает антологическое издание: переводчик книги не должен подавлять индивидуальности переводимых им поэтов. Этим качеством отличается поэт-переводчик Франсуа Кетель. Издательство еще задолго до выхода антологии армянской поэзии в свет получило предварительные заказы из многих стран. Успех книги позволил задуматься о нозых изданиях такого рода, в частности об антологии русской советской поэзии.

— Только вот взяться за такое грандиозное предприятие, охватывающее период от начала революции до наших дней,— с улыбкой признается Мадлен Брон,— нам еще недостает храбрости. Ясно одно: мы не имеем права ограничиться воспроизведением текстов, которые уже фигурировали в других изданиях, переводами, ранее публиковавшимися. Нужно, использовав лучшие опыты, сделать что-то новое. Пока мы решили подготовить двенадцатитомное издание советских поэтов разных республик. Чувашский поэт Айги уже составляет для нас антологию поэзии своего народа. Мы хотим воспользоваться поэтическими переводами на русский язык, с которого нам легче переводить на французский чем, скажем, с чувашского. Конечно, это издание предполагает огромную подготовительную работу.

Л. ЗАВЬЯЛОВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ»

Так названа изданная недавно автобиография 89-летнего английского писателя и политического деятеля Феннера Брокуэя. Еще в 30-е годы книгу его «В недрах левого движения» с увлечением изучали члены Молодежной лиги лейбористской партии. По словам одного из участников этой организации, ныне члена парламента Сида Бидвела, все произведения Брокуэя читаются с большим интересом. Написаны они четко и ясно, что очень важно для молодежи, пытающейся определить свой политический путь.

Брокуэй рассказывает о наиболее важных периодах своей жизни, о самых ярких впечатлениях детства и юности, о том, как попал в тюрьму за то, что отказался участвовать в первой мировой войне. Незадолго до второй мировой войны он был избран членом парламента и был им также с 1950 по 1964 год. Политическая деятельность Брокуэя была отмечена многочисленными выступлениями за свободу порабощенных стран и народов.

Неудивительно, что Ф. Брокуэй всегда был мишенью для фашистов и расистов. Еще во время второй мировой войны стало известно, что имя его внесено в гитлеровский список самых опасных людей Великобритании.

Газета коммунистов Великобритании «Морнинг стар» писала, что новая книга Феннера Брокуэя несомненно будет способствовать процессу сплочения антиимпериалистических сил. Автобиография «К завтрашнему дню», как и более ранние его произведения, в значительной степени рассчитана на молодых коммунистов Великобритании и на тех, кто только вступает на путь борьбы.

КЕМ ЖЕ ТЫ СТАЛА, ТРИКСИ ТРЭШ?

Внимание британских рецензентов привлек роман Тома Уэйкфилда «Трикси Трэш. Звезда восходящая», выпущенный издательством «Рутледж энд Киган Пол». Рецензент «Таймс литерари сапплмент» В. Каннинхем причисляет книгу к достаточно распространенному в английской литературе жанру «романов больших дорог», начало которому было положено Филдингом и Смоллеттом. Типичным героем в таком повествовании, развертывающем перед читающим широкую картину действительности, является пикаро, молодой человек без роду и племени, выходец из самых низов общества, меняющий профессии и местожительство из-за своей вечной непоседливости. Именно таков Том Джонс Генри Филдинга, ставший классическим образцом героя этого типа.

Том Уэйкфилд несколько изменил традиционную романическую форму. Его пикаро не молодой человек, но молоденькая девушка Маргарет Дейвис, которую все знают под ее псевдонимом певички Трикси Трэш.

Трикси Трэш родилась в небольшом шахтерском городке, в малообеспеченной рабочей семье. Девочка росла без родительского присмотра Окончив школу, она, благодаря своей внешности кинозвезды и секс-бомбы, быстро оказалась в мире кино, телевидения, поп-музыки — в мире, где вся жизнь подчинена закону существования «иа публику». Жизнь Трикси Трэш, пишет Том Уэйкфилд, стала похожа «на танец в быстром темпе» с быстро меняющимися партнерами.

По мнению рецензента журнала «Лиснер» П. Китчен, роман интересен не только превосходно выписанными типами рабочих в маленьком провинциальном городке, но и весьма важной для современной западной литературы проблемой цельности личности.

Герой-пикаро, вернее героиня-пикаро, и та ситуа-

ция, в которую ее поставила жизнь, стали для писателя, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент», благодатным материалом для размышлений на тему, что же составляет цельность человека.

П. Китчен пишет, что в романе Тома Уэйкфилда отчетливо звучит вопрос; как сохранить человечность, сберечь индивидуальность в жестоком, циничном мире? Фарс — киношная жизнь героини — постепенно по ходу развития романа превратился в трагедию, определяющуюся вопросом: кем же ты стала, Трикси Трэш?

Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» с успехом идет в театре им. Адрианы Будевской в Бургасе. Спектакль поставлен советским режиссером Г. Опорковым и оформлен художницей И. Бируля, работающими в ленинградском Театре им. Ленинского комсомола. Болгарская печать высоко оценила работу советских мастеров, которые сумели, как пишет журнал «Театр», «мобилизовать творческую активность коллектива».
На снимке: сцена из спектакля «Вишневый сад».

(Журнал «Театр»)

БОЛГАРИЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Традиционными Яворовскими днями в Поморье отмечался юбилей национального болгарского поэта Пейо Яворова, 100-летие со дня рождения которого — важная дата в истории болгарской культуры. В течение пяти дней в Приморском парке, близ знаменитых Яворовских скал, проходили интересные встречи, литературно - музыкальные вечера.

Союз болгарских писателей организовал в связи с юбилеем поэта конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Яворову и Поморью. Большой интерес вызвала и открывшаяся в Поморье выставка «Яворов и болгарский театр».

К 100-летнему юбилею поэта фирма «Балкантон» выпустила две долгоиграющие пластинки с записью стихов Яворова и его песен. Издается пятитомное собрание сочинений поэта. В год юбилея предполагается постановка его пьес в столичных театрах. Будут выпущены юбилейные монеты и почтовые марки.

100-летняя годовщина со дня рождения П. Яворова включена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В Париже под патронатом ЮНЕСКО планируется организация выставки о жизни и творчестве поэта.

ВЕНГРИЯ

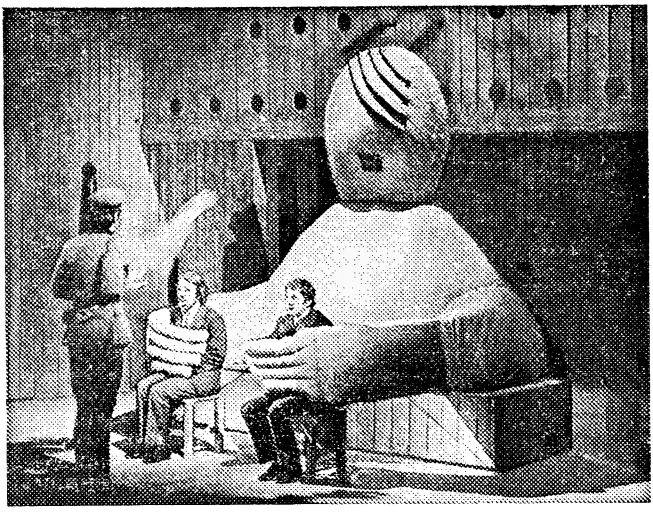
ПЬЕСА ОБ ЭНДРЕ БАЙЧИ-ЖИЛИНСКИ

Венгерский писатель Дюла Гернади написал пьесу об известном венгерском политическом деятеле и публицисте Эндре Байчи-Жилински (1886—1944). Сейчас она поставлена на сцене Драматического театра г. Печ.

По свидетельству журнала «Фильм, синхаз, мюжика», в основе пьесы Гернади лежат подлинные факты из жизни и деятельности Байчи-Жилински.

События, происходившие в Европе после прихода в Германии к власти Гитлера, заставили Байчи-Жилински (в прошлом депутата Государственного собрания, одного из организаторов Национальной радикальной партии и лидеров партии мелких землевладельцев основателя и редактора ряда органов печати) пересмотреть свои прежние пронационалистические взгляды и примкнуть к либеральной оппозиции.

Как представитель этой оппозиции Байчи-Жилински неоднократно подымал свой голос против преследования сторонников левого движения, против усиливающейся фашизации страны и военной политики хортистов. В 1942 году он открыто встал на сторону коммунистов во время инсценированного правящими кругами хортистской Венгрии процесса по обвинению «в антигосударственной деятельности» Золтана Шенхерца — одного из выдающихся руководителей Коммунистической партии Венгрии. С этого момента Жилински активно включается в антифашистскую борьбу и вскоре становится одним из организаторов венгерского комитета Освобождения. 19 марта 1944 года, в день оккупации Венгрии фашистскими войсками, Байчи-Жилински был арестован гес-



На снимке: сцена из спектакля «Эндре Байчи-Жилински».
(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

тапо и в декабре казнен нилашистами.

Режиссеру спектакля Роберту Ноградн, отмечается на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика», удалось найти интересное художественное воплощение образа Байчи-Жилински. Роль его исполняют четыре актера, каждый воссоздает «своего» Байчи-Жилински, в целом же получился монолитный образ этого видного деятеля венгерской истории.

«Спектакль «Эндре Байчи-Жилински», поставленный драматическим театром города Печ,— отмечает рецензент журнала,— несомненно принадлежит к заметным удачам этого коллектива».

ГДР

ПРЕМИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СВОБОДНЫХ НЕМЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Пресса Германской Демократической Республики опубликовала сообщение о присуждении одной из крупнейших премий страны — премии Объединения свободных немецких профсоюзов, которой удостоены деятели культуры, журналисты и ряд коллективов.

За свою выдающуюся деятельность премией награжден известный актер и певец Эрнст Буш. Премия за фильм «Мама, я жив» (см. «ИЛ» № 6, 1977) присуждена Конраду Вольфу, Вольфгангу Кольхаазе и Вернеру Бергману. Создание девятисерийного телевизионного фильма «По морю» (см. «ИЛ» № 9, 1977) отмечено премией режиссеру Вольфгангу Людереру, сценаристу Еве Штайн, артисту Хорсту Дринде и другим членам творческого коллектива. Премии удостоены драматург Руди Штраль «за вклад в развитие драматургии» и Рихард Крист за книгу «Вокруг половины земного шара за сто дней».

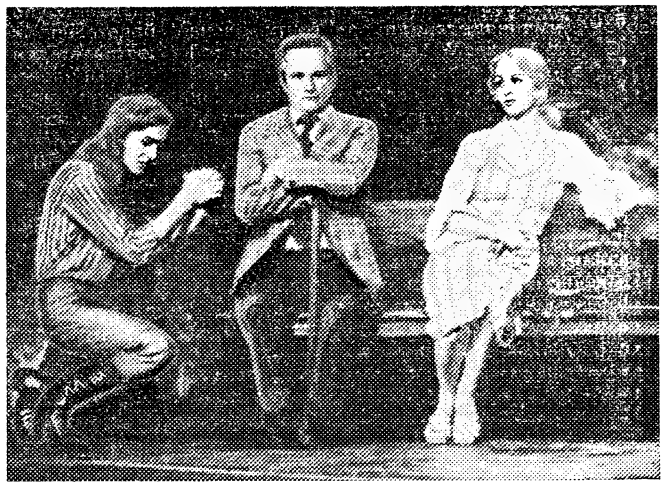
Премии получили также кружки пишущих рабочих, кружки живописи и графики, рабочий театр комбината «Вильгельм Пик», рабочие ансамбли.

Журналистские премии присуждены работникам редакций заводских газет, сотрудникам радио и телевидения за передачи, посвященные производственной тематике.

«СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

...Старый замок Волькенштайн в Тюрингии. Сейчас в нем пансионат для административно - управленческого аппарата. Сюда поздно вечером прибывает супружеская чета — Норберт Штоцек и его жена Тилли. Они долго стучат в запертые ворота, им долго не открывают. Неожиданно появляется странный молодой человек. Это — принц Арно фон Волькенштайн, которого еще в XV веке заколдовала злая фея. Теперь, благодаря Штоцеку, он расколдован, так как Штоцек стучал в во-

На снимке: сцена из спектакля «Арно — принц фон Волькенштайн, или Кадры решают все». В ролях артисты Удо Шенк, Альфред Мюллер и Енни Грёльман.
(Журнал «Театер дер цайт»)



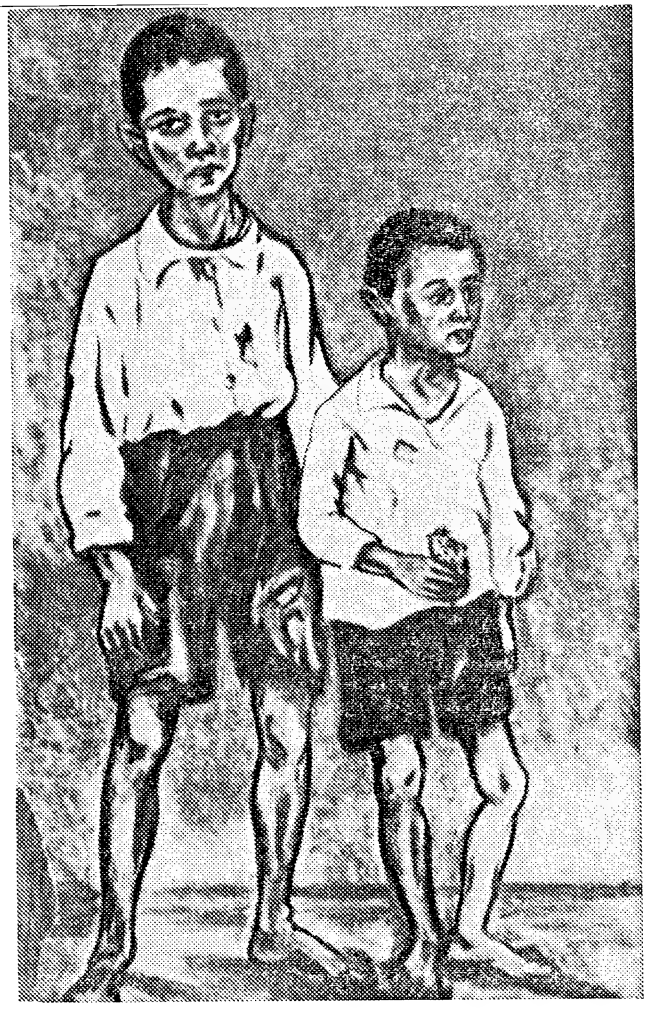
рота 13 раз — волшебное число...

В жизнь педантичного, въедливого чиновника вторгаются чудеса, в которые он не хочет верить, но которые постепенно меняют его представления о жизни, заставляют вспомнить о том, каким он был в молодости, когда еще мог сочинять стихи, заставляют по-новому увидеть свою Тилли. А наивный трогательный юноша, шагнувший через несколько веков в 1977 год, изо всех сил старается понять и принять новую для него действительность...

В интервью корреспонденту «Берлинер цайтунг» драматург Руди Штраль назвал свою комедию «Арно — принц фон Волькенштайн, или Кадры решают все» «сказкой для взрослых» (см. «ИЛ» № 6, 1977). Недавно режиссер Карл Гассауер поставил эту пьесу в берлинском театре имени Горького. Отмечая удачную постановку Гассауера, Райнер Кернадь пишет в газете «Нойес Дойчланд», что новая комедия Руди Штраля заставляет зрителей не только смеяться, но и серьезно задумываться. «В пьесе много романтики, волшебства, фантазии и наряду с этим — глубокого смысла».

«Романтически реалистической пьесой» называет газета «Берлинер цайтунг» комедию Штраля.

«Руди Штраль — единственный современный драматург, хранящий верность жанру комедии — пишет рецензент журнала «Театер дер цайт».— В его новой комедии, как и в предыдущих, главная тема — мораль современного общества и современного человека. Именно этой теме служат художественные средства его творчества — юмор, фантазия, сказочность, романтика...»



На снимке: одна из работ Орестиса Канеллиса из серии «Свидетельства об оккупации».

(Газета «Ризоспастис»)

ГРЕЦИЯ

«СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОККУПАЦИИ»

С большим успехом прошла в Афинах выставка известного греческого художника Орестиса Канеллиса, организованная картинной галереей «Астор». На предыдущей его выставке, состоявшейся три года назад, были представлены зарисовки жизни греческой провинции, и в первую очередь острова Лесбос, где родился О. Канеллис. На этот раз он представил крупный цикл работ под общим названием «Свидетельства об оккупации». «Тема этих работ,— сказал художник корреспонденту газеты «Ризоспастис», — несчастье, боль, смерть, унижение, которые принесла фашистская оккупация. То, что я пережил, что я видел. Первые наброски моих работ были сделаны тогда же, с натуры, без какого бы то ни было художественного замысла. Запечатлеть эти свидетельства было для меня душевной потребностью. Назначение искусства — осознание и воспроизведение правды. Оно открывает путь к борьбе с несчастьем».

ТРЕБОВАНИЯ АФИНСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ

С протестом против правительственной политики в сфере книгоиздательства вы-

ступила Ассоциация афинских издателей.

Ассоциация требует принятия мер, которые стимулировали бы дальнейшее развитие книгоиздательства в Греции, помогли бы преодолеть нынешний тяжелый кризис в этой области. Она предлагает предусмотреть государственные ассигнования на закупку книг для публичных библиотек. Предлагается также создать ряд передвижных библиотек, призванных вести просветительскую работу в провинции. В фонд передвижных библиотек Ассоциация афинских издателей готова выделить книги на сумму 1 000 000 драхм.

ЕГИПЕТ

ФИЛЬМ О СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

Египетские режиссеры Юсуф Шахин и Али Бадерхан приступили к съемкам полнометражного художественного фильма, посвященного истории Суэцкого канала. События, о которых расскажет фильм, охватывают период с середины XIX века, когда был прорыт канал, до его национализации правительством президента Насера в 1956 году и последующей англо-франко-израильской агрессии против Египта. По словам режиссеров, главный герой фильма — египетский народ.

КНИГА О ТАХА ХУСЕЙНЕ

В Египте вышла книга литературоведов Хамди Саккута и Марсдена Джонса «Таха Хусейн», представляющая собой первый том в намеченной к выпуску серии «Выдающиеся представители современной литературы Египта», инициаторы которой намерены познакомить читателей с крупнейшими египетскими писателями XX века.

По мнению автора рецензии, опубликованной тунисским журналом «ИБЛА», том, посвященный выдающемуся египетскому писателю и ученому Таха Хусейну (1889—1973), — несомненная удача авторов. Он содержит биографию Таха Хусейна, характеристику его как человека и писателя, а также подробную библиографию трудов этого крупного деятеля арабской культуры и исследований, посвященных ему и его произведениям, в общей сложности 2173 названия. «Трудно переоценить пользу, которую подобная работа принесет исследователям литературы».— пишет в заключение рецензент.

Второй том выпускаемой серии будет посвящен египетскому поэту и публицисту Аббасу аль-Аккаду.

ИНДИЯ

ПРЕМИИ ДЕЯТЕЛЯМ КИНО

Высшая национальная премия — «Золотой лотос» — присуждена фильму «Охота», поставленному известным бенгальским кинорежиссером Мриналом Сеном на хинди. Об этом сообщил на состоявшейся в индийской столице пресс-конференции министр информации и радиовещания Л. К. Адвани, огласивший решение жюри о присуждении деятелям кино национальных премий за 1977 год.

Первую премию за исполнение мужской роли завоевал бенгальский артист Митхун Чакраварти, сыгравший главную роль в картине «Охота»; первой премией за исполнение женской роли награждена тамильская актриса Лакшми.

Из фильмов, поставленных на хинди, первая премия присуждена картине «Маслобойня» — работе известного режиссера Шьяма Бенегала. Премии за лучший сценарий удостоен кинодраматург Виджай Тендулькар, автор текста этого фильма.

Картина «Молодые побеги», созданная на языке каннара, признана лучшим региональным фильмом года, ее постановщик П. Лансеш награжден премией за лучшую режиссуру.

На снимке: лауреат премии «Золотой лотос» тамильская актриса Лакшми.

(Газета «Джан юг»)

ИРАК

КНИГА О НАЗЫМЕ ХИКМЕТЕ

В Ираке, Сирии и других арабских странах выходят переводы произведений Хикмета, на сценах арабских театров ставятся его пьесы, печатаются исследования о его творчестве.

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», в Ираке скоро выйдет из печати книга советского литературоведа Акпера Бабаева «Назым Хикмет. Жизнь и творчество».

Книга переведена на арабский язык иракским публицистом Алд аль-Ваххабом ад-Дакуком.

ИТАЛИЯ

ПРИТЧА О БЕДНОСТИ

Новый роман писателя Марио Ла Кавы «Девушка из темного переулка» — один из современных образцов традиционной для Италии «меридионалистской» литературы, повествующей об отсталом и нищем юге Италии, анализирующей юж-

обличающей нечеловеческие условия существования жителей городков и селений Юга. В произведениях писателей-«меридионалистов» неизменно в той или иной степени звучат социальные мотивы и публицистический пафос. Это полностью относится и к роману Ла Кавы, который писатель Джузеппе Бонавири в обширной рецензии в газете «Унита» называет «притчей о бедности».

Марио Ла Кава в своих произведениях уже создал немало ярких женских образов (в романах «Характеры», «События в Казиньяне» и др.). Теперь к ним добавился образ Елены — девушки из темного переулка, ставшего символом нищеты, жестокости, жалкого существования, убивающего человеческую личность. Действие романа происходит в Калабрии. Елена, пришедшая из деревни, терпелива, безропотна, не теряет надежды на лучшее будущее. Но нищая лачуга на окраине городка, где она поселилась, грязный и мрачный переулок, где проходит вся ее жизнь, издевательства людей, к которым она поступила в услужение, все это постепенно убивает стремление девушки отстоять свое достоинство, право называться человеком. Окончательный удар по ее самолюбию, вере в справедливость наносит первый и единственный человек, которого она полюбила,— Джулио, американский солдат, итальянец по происхождению, жестоко ее обманувший. Елена — жертва не только своего происхождения, своей неудачной судьбы, но и тех социальных условий, которые с самого рождения предопределили ее поражение в борьбе за человеческое достоинство, утверждение себя как личности. Она — жертва жестокости в самых различных ее проявлениях, жестокости, которая царит в «темном переулке», на всем итальянском Юге.

Вслед за Бонавири положительную оценку роману дает и критик Энцо Панарео на страницах газеты «Паэзе женное повествование Ла Кавы,— пишет он,— это рассказ о трепетной душе, богатой человеческими чувствами, но вместе с тем это и история заговора — заговора, который плетет жестокое, эгоистическое общество и конечной целью которого является, как всегда, одно — обречь бедняков на «маргинальное» существование». Иными словами — выталкивать их на обочину жизни.

БРУНО КАРУЗО

Пятьдесят рисунков, созданных в течение последних пятнадцати лет, представил Бруно Карузо на своей выставке, с успехом прошедшей в римской галерее «Кадоро».

Через все эти рисунки проходит одна сквозная идея — обесчеловечивание человека в современном обществе потребления. Рисунки, изображающие буржуазных дам с хищными лицами, закутанных в меха, символизируют своеобразные джунг-

На снимке: рисунок Бруно Карузо из серии «Джунгли».

(Газета «Унита»)

ли. Протестом против жестокости и насилия, господствующих в джунглях современного буржуазного общества, считает эти рисунки газета «Унита».

Рецензент газеты подчеркивает политическую направленность творчества Карузо.

ЛИВАН

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ЛИВАНЕ»

В бейрутском издательстве «Дар аль-Машрик» вышла книга театроведа Гассана Саламе «Политический театр в Ливане (1968—1973)».

Молодой ливанский театр неразрывно связан с политической жизнью страны, что проявляется как в пьесах, посвященных исторической тематике, так и в произведениях на современную тему. Проблеме отражения политических событий в ливанской драматургии последних лет и посвящено исследование Г. Саламе.

Гассан Саламе, пишет автор заметки, опубликованной тунисским журналом «ИБЛА», анализирует тематику, композицию, язык пьес, оценивая их с идеологической и эстетической точек зрения. «Поражаешься,— замечает рецензент,— высокому профессиональному уровню и боевому духу этого театра».

Книга снабжена библиографией и иллюстрирована.

МЕКСИКА

ИНТЕРВЬЮ КЛАУДИО ОБРЕГОНА

Клаудио Обрегон — один из самых популярных и серьезных актеров современного мексиканского театра и кино. С большим успехом в театре Университета города Веракрус прошел спектакль с его участием под названием «Поиграем в лесу». Во время гастролей театра в Венесуэле мексиканский актер дал интервью корреспонденту газеты «Трибуна популар» Умберто Орсини.

На снимке: Клаудио Обрегон и Элизбета Серьменьо в спектакле «Поиграем в лесу».

(Газета «Трибуна популар»)

— Как началась ваша театральная деятельность?

— В театре я начал работать 18 лет назад. Первоначально в университетском театре-студии. С 1968 года выступаю как профессиональный актер.

Начинающий актер в Мексике не может целиком посвящать себя театру. Нет таких организаций или законов, которые могли бы гарантировать работу молодому актеру. В течение десяти лет я играл на сцене лишь в свободное время.

— Во скольких спектаклях принимали вы участие?

— Более чем в пятидесяти. Это были так называемые «свободные постановки», потому что в Мексике нет постоянных театральных трупп, которые имели бы общие цели и придерживались определенной идеологии. Обычно находятся предприниматели, ставящие тот или иной спектакль, или же этим занимаются сами актеры, как было, к примеру, с недавним спектаклем «Давние времена» Гарольда Пинтера. Я в нем тоже участвовал. Существуют университетские группы, которые дают возможность режиссерам привлекать их к участию в своих спектаклях.

— Вы также снимались в кино...

— Да. И самыми моими интересными работами были фильмы «Джон Рид — восставшая Мексика» и «Это случилось на руднике Марусиа». Последняя лента, режиссером которой был чилиец Мигель Литтин, вызвала широкий резонанс не только в Латинской Америке, но и в Европе.

СБОРНИК РАССКАЗОВ ПОЛИ ДЭЛАНО

«Две ящерицы в одной бутылке» — так называется сборник рассказов, недавно выпущенный мексиканским издательством «Мортис». Автор его — чилийский писатель Поли Дэлано, после фашистского переворота в своей стране переехавший в Мексику. В том же году за первый сборник рассказов «Смена маски» Дэлано получил первую премию ежегодного общелатиноамериканского конкурса «Каса де лас Американас». Рецензенты предрекали талантливому писателю несомненный успех — и вот в 1975 году их прогнозы оправдались: он стал победителем национального конкурса Мексики на лучший рассказ.

В новый сборник Поли Дэлано вошли десять рассказов, принесшие ему два года назад победу на конкурсе. По мнению рецензента журнала «Каса де лас Американас», они поражают

«непринужденной манерой повествования, стремлением по-новому взглянуть на привычное в окружающей нас действительности, на красоту природы». Каждый рассказ, пишет он, как бы освещен улыбкой молодого автора, «улыбкой то веселой и ласковой, то исполненной горечи и боли».

НОРВЕГИЯ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СТОЛПЫ ОБЩЕСТВА»

Спектакль «Столпы общества», показанный по телевидению Норвегии, получил широкий отклик в печати.

«Несмотря на то что драма Г. Ибсена написана ровно сто лет назад и действие ее происходит в последней трети прошлого века, спектакль «Столпы общества» звучит актуально для современного зрителя,—пишет театральный обозреватель газеты «Фрихетен». — Актуально потому, что основной конфликт, вокруг которого строятся нравственно-этические коллизии, характерен и для современного буржуазного образа жизни.

Главный герой пьесы — консул Берник, преуспевающий делец, почтенный гражданин и добропорядочный семьянин, оказывается мошенником и предателем, готовым во имя сохранения своего престижа и благополучия погубить кого угодно,— продолжает обозреватель.— В этой драме, как считает один из исследователей творчества Ибсена, на реалистическом материале, на примере конкретных человеческих судеб выдвинута широкая социальная и моральная проблематика».

На снимке: сцена из спектакля «Столпы общества». В главных ролях: Б. Бёрсун и К. Хансон.

(Газета «Фрихетен»)

ПОЛЬША

ЛЕНИНИАНА КРАКОВСКОГО ХУДОЖНИКА

Краковский художник Влодимеж Карч, который все свое творчество посвящает в основном теме рабочего движения, готовит по случаю шестьдесят пятой годовщины приезда В. И. Ленина в Польшу два полотна для музея Ленина в Кракове. На одном будут изображены В. И Ленин и Н. К. Крупская на рабочей демонстрации в Кракове, на другом — портрет В. И. Ленина, читающего «Рабочую газету», орган СДКПиЛ.

Помимо этого Влодимеж Карч работает над триптихом для музея Ленина в Москве, на котором будут изображены эпизоды жизни и деятельности Владимира Ильича в Кракове.

К тридцатипятилетию создания Войска Польского краковский художник готовит также полотно о братстве польских и советских вооруженных сил.

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ В ПОЛЬСКОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Как сообщает газета «Жице Варшавы», по случаю столетия со дня рождения Феликса Дзержинского варшавское издательство «Аркады» выпустило альбом репродукций польских художников «Феликс Дзержинский в польской живописи и графике». В предисловии к альбому Яна Собчака говорится: «Разносторонняя деятельность Феликса Дзержинского, его крепкая дружба с Владимиром Ильичем Лениным, сложные и ответственные задания, которые ему поручала Октябрьская революция, все это нашло отражение в творчестве многих польских художников».

Издательство выбрало для альбома двадцать наиболее интересных художественных произведений. Помимо портретов Дзержинского здесь представлены картины и рисунки, посвященные его революционной деятельности: выступлениям на митингах, участию в рабочих забастовках и манифестациях.

Наряду с черно-белыми репродукциями в альбом включены и цветные. Репродукции сопровождаются комментарием Зофьи Езерской.

РУКОПИСИ ШОПЕНА

Ярослав Ивашкевич выступил в рубрике «Беседы с читателями», которую ведет уже многие годы в газете «Жице Варшавы», с рецензией на труд Кристины Кобыляньской «Рукописи Шопена», изданный в двух великолепно оформленных томах Краковским музыкальным издательством.

«Не по обязанности рецензента, а как гражданин Польши я должен отметить значение для польской культуры той поистине гигантской работы, которая к тому же была выполнена одним только человеком», — пишет Ярослав Ивашкевич. Достоинством издания, по словам писателя, является то, что в нем представлены все существующие в мире рукописи Шопена и приводится история поиска каждой из них

В труде Кристины Кобыляньской содержится много новых, доселе не известных биографических подробностей и фактов из жизни великого композитора. Оба тома, не говоря уже об их огромной научной ценности, отмечает Я. Ивашкевич, читаются с захватывающим интересом.

Работа по розыску рукописей Шопена велась в течение пятнадцати лет, велась не только в Польше, но и в различных странах мира, причем, как говорит сама исследовательница, в процессе поисков надо было научиться отличать подлинную нотную запись композитора от записи копиистов. Так, в процессе поисков был обнаружен альбом Жорж Санд, куда она записывала несложные произведения Шопена, созданные в Ноане, народные песни, романсы тех лет.

Особую ценность представляют также черновые наброски Шопена, тщательно собранные в свое время его сестрой Людвикой. Наряду с известными произведениями там содержатся наброски произведений утерянных и произведения дотоле не известные.

«Многолетний труд Кристины Кобыляньской, поистине гигантский труд одной слабой женщины, не имеет себе равных»,— так оценивает эту работу Ярослав Ивашкевич.

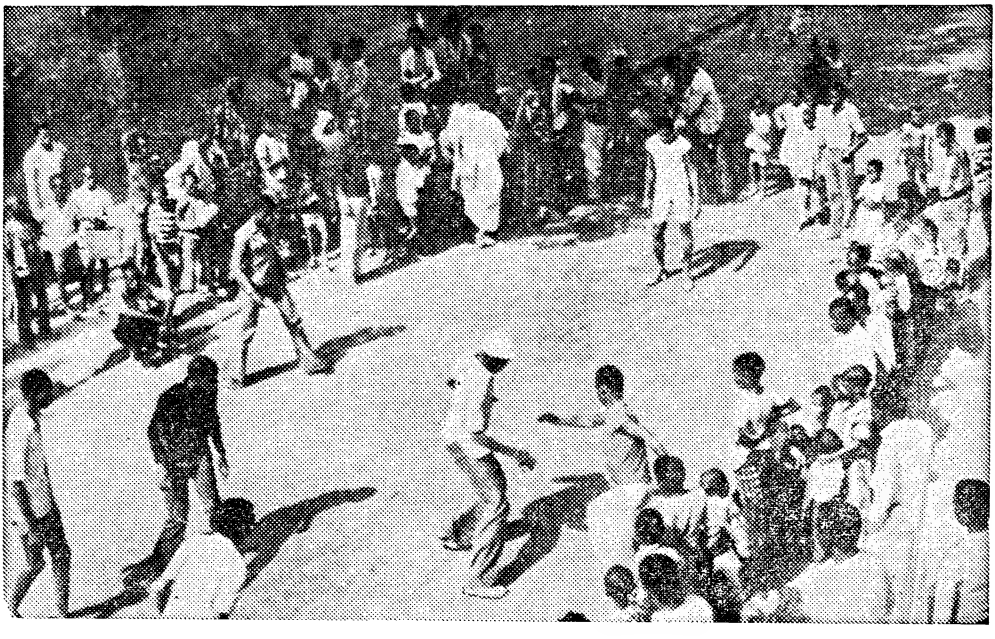
СЕНЕГАЛ

ПУТЬ В КИНО

Журнал «Африк литтерер э артистик» в одном из своих последних номеров познакомил читателей с Беном Дьогай Беем, новым именем в сенегальском кинематографе. Начало творческой биографии этого молодого режиссера весьма типично для Африки.

Бен Дьогай Бей рассказал корреспонденту журнала, что система обучения в школе его совершенно не удовлетворяла, а «заставлять отца пускать деньги на ветер» он не считал себя вправе. Юноша бросает школу и начинает заниматься самообразованием: проводит целые дни в библиотеках и архивах, увлекается

На снимке: кадр из фильма Бена Дьогая Бея «Бродяга».
(Журнал «Африк литтерер э артистик»)



театром, становится одним из самых активных членов Дакарского киноклуба, пишет стихи, рассказы, небольшие рецензии на фильмы. Постепенно он знакомится с ведущими сенегальскими кинематографистами: Сембеном Усманом, Джибрилом Диопом, Абабакаром Самбом, пробует свои силы как актер, ассистент режиссера.

Окончательно решив посвятить свою жизнь кино, Бей отправляется в Европу, чтобы изучить технику кинопроизводства. На студиях Франции, Швеции, Италии он работает в монтажных мастерских, лабораториях. «После всего этого,— рассказывает молодой режиссер,— я пошел в прямую атаку». В 1974 году в Париже Бей снимает со случайными актерами (платить им было нечем) короткометражную ленту «Черные принцы Сен-Жермен-де Прэ». В этой картине он высмеивает тех из приехавших работать во Францию африканцев, кто тратит все вечера на поиски белой подружки, чтобы потом хвастать перед друзьями, и молоденьких француженок, ищущих в африканцах экзотику.

С фильмом «Черные принцы Сен-Жермен-де-Прэ» Бен Дьогай Бей возвращается на родину. Через некоторое время ему удается через одного друга, французского оператора, раздобыть 850 метров пленки и заручиться поддержкой Национального кинематографического общества. В результате появляется второй короткометражный фильм — «Бродяга».

Ги Аннабель, автор статьи о молодом режиссере, называет этот фильм «критическим портретом Дакара». Герой его — чистильщик ботинок. «Я потому выбрал чистильщика, мальчишку в стране, которая мечется в сетях неоколониализма и феодализма, но пытается противостоять ежедневным унижениям,— говорит режиссер, — что ремесло чистильщика позволяет наглядно показать позиции угнетенного и угнетателя — первый всегда у ног второго, второй всегда над первым».

В заключение, давая оценку положению дел в сенегальской кинематографии, Бен Дьогай Бей заявил: «Сенегал — одна из тех стран Африки, которые в области кино наиболее продвинулись вперед, но несмотря на это у нас еще очень мало техников, сценаристов, режиссеров. Национальное кинематографическое общество имеет право потребовать от правительства необходимых для работы средств».

США

ТВОРЧЕСТВУ ЛЬЮИСА ХАЙНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Недавно в Бруклинском музее в Нью-Йорке была устроена выставка работ известного американского фотографа Льюиса Хайна (1874—1940). Сорок лет отдал Хайн фотографии, запечатлевая жизнь в самых разнообразных ее проявлениях. В то же время все его работы объединяет тематическая общность сюжетов — фотографии Хайна повествуют о нелегкой жизни и нелегком труде простых американцев — углекопов, монтажников, металлургов; о женщинах и детях, на лицах которых нет улыбки — слащавого символа американского «благоденствующего» общества.

«Фотография всегда имела для Хайна политический смысл,—пишет газета «Дейли уорлд».—В его руках фотокамера стала оружием в борьбе американских трудящихся за улучшение их жизненных условий и труда».

«В нашей жизни есть то, что должно вызывать глубокое уважение,— труд. Но в ней также много и того, что необходимо изменить, с чем нельзя мириться» — эти слова были девизом творчества Хайна, напоминает газета. В 10-е годы, когда в США развернулась борьба за отмену детского труда, фотография Хайна «Маленькие углекопы» стала самым суровым документом, обличающим систему американского трудового законодательства. «Он был гуманистом, веривший в то, что для достижения счастья всех людей нужно изменить мир. Этому и посвятил он свое искусство», — говорится в предисловии к каталогу выставки Л. Хайна.

«ЦЕПИ»

Так называется новый художественный фильм американского режиссера Артура Баррена. Герои фильма не вымышленные. Их прототипы — два несгибаемых борца за права негров в США — Анджела Дэвис и Джордж Джексон. Фильм рассказывает о зарождении негритянского движения братьев Соледад, которое, как известно, было подавлено и закончилось убийством Джорджа Джексона. Режиссеру, по свидетельству рецензента газеты «Юманите» Самюэля Лашиза, удалось показать, как возникает процесс политического самосознания людей, который ведет к упорной борьбе за свободу. Особенно правдиво показаны сцены в тюрьме, атмосфера расовой ненависти, несправедливости. Все актеры, занятые в фильме, отмечает рецензент, играют с редким воодушевлением. В особенности это относится к исполнителям главных ролей — Венетте Макги и Вернье Кази.

ТУНИС

ТВОРЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КЛАССИКИ

По сообщениям арабской прессы, тунисское издательство «Дар аль-Марифа» опубликовало пьесу известного поэта и драматурга Изз ад-Дина аль-Мадани «Прощение», в основу которой положено произведение классика арабской литературы, поэта и философа

Абу-ль-Аля аль-Маарри «Послание о прощении».

Среди произведений аль-Маарри «Послание о прощении», во многом предвосхитившее «Божественную комедию» Данте, занимает особое место. В этой книге арабский философ, описывая воображаемое путешествие своего героя в потусторонний мир, высмеивает мусульманские представления о рае и аде и под видом критики существующих там «порядков» обличает социальную несправедливость в современном ему Арабском халифате.

Аль-Мадани не впервые обращается в своем творчестве к средневековой арабской истории и литературе. Свою предыдущую пьесу «Зинджи» он посвятил восстанию черных рабов в Багдадском халифате в IX веке н. э. На исторические темы написаны и некоторые другие произведения драматурга. По словам аль-Мадани, в своих исторических пьесах он стремится отразить «проблемы общества, вечные вопросы, волнующие человека»,— такие, как свобода и борьба против эксплуатации, политической и экономической зависимости.

Как отмечают газеты, пьеса «Прощение» явилась результатом глубокого критического изучения драматургом наследия аль-Маарри.

ФРАНЦИЯ

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА ПЕРЕД РУАССИ»

На экраны страны вышел новый фильм французского режиссера Бернара Поля (известного по фильмам «Время жить» и «Бомаск») «Последняя остановка перед Руасси». Автор сценария — Мишель Пьеду, главную роль — директора завода — исполняет известный французский актер Пьер Монди.

Фильм, как отмечает газета «Юманите», затрагивает многие проблемы современного капиталистического общества: одиночество, безработицу, взаимоотношения отцов и детей и др. Но при всем этом его отличают цельность и реалистичность. Авторы фильма показывают людей небольшого парижского предместья, жизнь и заботы которых актуальны для всей Франции.

На снимке: Анн Жуссе и Жак Занетти — исполнители главных ролей в фильме «Последняя остановка перед Руасси». *(Еженедельник «Юманите диманш»)*

В прогрессивной прессе широко обсуждалась новая картина талантливого режиссера. Критики единодушно сходятся на том, что это наиболее зрелое произведение Поля.

«На материале повседневной жизни,— сказал Бернар Поль, корреспондент «Юманите»,— я хотел показать чувства самые сокровенные и глубокие в человеке... У меня не было готового сюжета, как при съемке фильма «Время жить» (сценарий его был написан по мотивам романа Андре Ремакля), но было желание рассказать об эволюции этих чувств... в определенных условиях современного общества. «Последняя остановка перед Руасси» — первый мой фильм, в котором я полюбил всех героев».

«ДРУГ В ЗЕРКАЛЕ»

Так необычно назвал Андре Стиль свою новую книгу, выпущенную издательством Жюлиара. Место действия — север Франции, район сталелитейной промышленности. Клеману и Реймону по тридцать лет, оба женаты, отцы семейства. Они встретились однажды утром на рыбалке. Потом стали ходить друг к другу в гости, познакомили жен. Потомственные рабочие, они унаследовали от своих дедов и отцов сдержанность в чувствах, определенный кодекс вежливости и чести. Первые встречи Клемана и Реймона взвешивались на очень точных весах. Взаимное доверие постепенно росло и вскоре для обеих семей — четверых взрослых и их детей — тревоги, радости и заботы стали общими. Но в жизнь друзей вторгается трагедия. Вследствие аварии в цеху Реймону на ноги выплескивается раскаленный металл, и после долгой болезни он становится калекой. Несчастье ожесточает его, делает желчным. Клеман продолжает навещать Реймона, но больше не находит в нем друга, каким тот был прежде. «Дружба,— по словам автора,— это ни с чем не сравнимая игра, где если не выигрывают вдвоем, то вдвоем и проигрывают».

О мастерстве Андре Стиля в этом романе пишет Жозан Дюранто в «Монд».

Патрис Дельбур в «Нувель литтерер» отмечает умение,

с каким писатель передает сочность, своеобразие, лаконичность языка рабочих Северной Франции.

Мари Луиз Кудер в «Юманите диманш» пишет: «А. Стиль посвятил свой новый роман драме, о которой редко пишут,— крушению дружбы. Он показывает, как на протяжении трех лет рождается, расцветает и умирает дружба... Стиль, как всегда, стремится раскрыть необычное в банальном. Это удается ему благодаря вниманию к деталям. Он раскрывает их значимость, и они многое объясняют в человеческих отношениях. Искусство Стиля глубоко человечно».

Сам автор в своем интервью газете «Юманите» говорит: «Это, прежде всего, роман о дружбе, подобно тому как «Роман — сон» был романом о любви. Но романом о дружбе он стал лишь в процессе работы над ним. Вначале я хотел создать роман о несчастном случае на заводе... Моей задачей было поставить вопрос, каким образом ужасная реальность несчастных случаев на производстве (во Франции— четыре смерти ежедневно, не считая раненых) еще не доходит до сознания очень многих людей, которые об этом ничего не знают или не хотят знать, в то время как о дорожных авариях и других «происшествиях» пишут во всех газетах. Почему то, что убивает и калечит на заводах, стройках, шахтах, кажется нам всегда более далеким? Что означает несчастный случай на заводе, если рассмотреть его вблизи? Отсюда возникла мысль, что книга должна быть написана с точки зрения кого-то очень близкого к жертве несчастного случая. А кто может быть ближе друга?

...Персонажи многому учат автора, если позволить им жить своей жизнью, не навязанной заранее задуманным планом... Эти двое рабочих потребовали и легко добились того, что их дружба заняла в книге больше места, чем все остальное. Этим они, очевидно, помогли мне выразить, какое значение я — признаю я это или нет — придаю дружбе, так же как и любви... Дружба мужчин, возникшая не в атмосфере буржуазной обеспеченности с ее пустотой или тревожной суетой, но в полноте и тяготах трудовой жизни, где работа и трудности не мешают «вопросу о счастье» рождаться ежедневно, развивается, следуя своей логике. Потому-то конец книги — то, что должно было стать в ней основным,— реакция Клемана на несчастье друга, подвергся большим изменениям. До такой степени, что я сомневался, писать ли... Он в самом деле отмечен определенной жестокостью. Но может быть, жестокость в романе закономерна, когда он осмеливается говорить о жестокости жизни».

ШВЕЦИЯ

РОМАН О МОЛОДЕЖИ

В издательстве «Бонньер» вышел роман Гун-Бритт Сундстрем «Супруги», получивший высокие отзывы в прессе.

Молодая писательница, автор романов «Студент — 1964», «Оппозиционная партия» (1967), «С точки зрения Лидии» (1973) и нескольких публицистических книг, Г.-Б. Сундстрем исследует нравственно-этическую проблему — пути и судьбы современной шведской молодежи, ее политические и духовные идеалы.

Для большинства героев Сундстрем характерны бунтарский дух, протест против обывательских стереотипов благополучия, мещанского равнодушия, обостренные поиски внутренней красоты и гармонии в человеке.

В новом романе писательница выдвигает на передний план историю взаимоотношений молодой супружеской четы, их интеллектуальную и эмоциональную жизнь.

Мартина и Густав знакомятся в университете, она изучает английский язык, он — философию. После университета Густав начинает преподавать в школе, а Мартина пишет диссертацию. Разделенные стенами университета, герои романа разделены и другими, невидимыми социальными и психологическими барьерами. Густав, поступив на службу, включается в систему с определенными сложившимися нормами и установками, в систему, обязывающую его достичь определенной ступени служебной лестницы, стереотипного семейного благополучия, материального достатка и т. д. Мартина предпочитает свободу и независимость от общественных уз и табу. «Этот выбор грозит серьезными последствиями в том обществе, где свобода почти равнозначна одиночеству», — комментирует рецензент журнала «Букревю».

Как и героиня предыдущего романа Сундстрем «С точки зрения Лидии», Мартина бунтует против общества, узаконившего эксплуатацию женщины в общественных, материальных, семейных отношениях, проповедуя анархическую свободу — «свободу от каких бы то ни было запретов и обязательств».

Короткие, сюжетно и психологически насыщенные эпизоды развиваются параллельно внутреннему монологу главной героини, ее комментариям и воспоминаниям, размышлениям и письмам.

Писательница в одном из интервью заявила, что роман «от начала до конца является попыткой философского осмысления стереотипной любовной драмы, ее психологических и этических параметров. Больше всего меня волнует не то, как поступают мои герои — нравственно или аморально, хорошо или плохо, благородно или низко, а мотивы и причины их поведения и поступков».

«Роман «Супруги», отражающий умонастроения и искания современной молодежи,— одно из значительных произведений молодой шведской прозы»,— пишет обозреватель журнала «Букревю».

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1977 год № 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Андре Робер — Взгляд египтянки (Повесть. Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 1.

Асанович Сретен — Мертвый лес и др. рассказы (Перевод с сербско-хорватского Александра Романенко), № 7.

Базен Эрве — Анатомия одного развода (Роман. Перевод с французского Юрия Жукова и Розы Измайловой. Послесловие Валентина Катаева), № 2, 3.

Барнард Кристиан, Стэндер Зигфрид — Нежелательные элементы (Роман. Перевод с английского А. Клышко. Вступление Аполлона Давидсона), № 6—8.

Браун Анджей — Испытание огнем и водой. (Роман. Перевод с польского М. Игнатова и К. Старосельской) № 12.

Видал Гор — Бэрр (Роман. Перевод с английского А. Файнгара и М. Брука под редакцией Е. Сурица), № 7—10.

Гессе Герман — Степной Волк (Перевод с немецкого и послесловие С. Апта), № 4, 5.

Де Яко Альдо — Повесть с эпилогом в тюрьме (Перевод с итальянского и вступление Г. Смирнова), № 11.

Зарев Владимир — День нетерпения (Роман. Перевод с болгарского Лидии Баша), № 3—5.

Ийеш Дюла — В ладье Харона, или Симптомы старости (Роман-эссе. Перевод с венгерского Т. Воронкиной). № 5, 6.

Ихимаэра Вити — За соседским забором и др. рассказы (Перевод с английского И. Багрова), № 9.

Карпентьер Алехо — Превратности метода (Роман. Перевод с испанского М. Былинкиной и Юрия Дашкевича), № 9, 10.

Ленц Зигфрид — Запах мирабели (Рассказы. Перевод с немецкого Нины Федоровой), № 1.

Лессинг Дорис — Лето перед закатом (Роман. Перевод с английского И. Якушиной), № 6, 7.

Мванги Меджа — Неприкаянные (Повесть. Перевод с английского и вступление К. Чугунова), № 2—4.

Моррисон Джон — Писатель и свэгмен (Рассказ. Авторизованный перевод с английского Н. Роговой и Ю. Нагибина. Вступление Юрия Нагибина). № 6.

Нгуен Конг Хоан — В пути (Рассказ. Перевод с вьетнамского Николая Никулина), № 8.

Нойман Маргарета — Лес и др. рассказы (Перевод с немецкого Э. Львовой), № 1.

Плавка Андрей — Полная чаша (Перевод со словацкого Н. Аросевой), № 10—12.

Попеску Думитру Раду — Скорбно Анастасия шла (Повесть. Перевод с румынского Л. Долгошевой. Вступление Иона Друцэ), № 2.

Прада Оропеса Ренато — День рождения (Повесть. Перевод с испанского Г. Верхжовской), № 5.

РАССКАЗЫ ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 8

Сюгоро Ямамото — Три новеллы (Перевод с японского и вступление Б. Раскина), № 1.

То Хоай — Завтра — Новый год (Рассказ. Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева), № 8.

Фицджеральд Ф. Скотт — Последний магнат (Роман. Перевод с английского О. Сороки. Послесловие А. Зверева), № 1, 2.

Хаанпяя Пентти — Дорога и др. рассказы (Перевод с финского и предисловие Ю. Александрова), № 4.

Хоанг Фу Нгаук Тыонг — Как много огней... (Перевод с вьетнамского Мариана Ткачева), № 8.

Шатонё Роже — Через самую высокую дверь (Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 11, 12.

СТИХИ

Ади Эндре — Снег, исчезающий в грязи и др. стихи (К столетию со дня рождения. Переводы с венгерского Б. Дубина и Н. Горской. Вступление О. Россиянова), № 12.

Александрова Рада — Зависимость и др. стихи (Перевод с болгарского Евг. Винокурова), № 1.

Альберти Рафаэль — Из книги «К живописи» (Перевод с испанского и вступление В. Левика), № 2.

Бэнулеску Штефан — Баллада об Андрее Мертвом. Камень, или Песня старика из Добруджи (Перевод с румынского Кирилла Ковальджи), № 7.

Валек Мирослав — Из книги «Слово» (Перевод со словацкого Риммы Казаковой. Предисловие Ю. Богданова), № 8.

Гомеш Феррейра Жозе — На площади Маяковского (Перевод с португальского Риммы Казаковой), № 11.

Гонгора и Арготе Луис де — «О влага светоносного ручья...» и др. стихи (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 1.

Диавара Гауссу — России (Перевод с французского Александра Карлова), № 11.

Диас-Плаха Гильермо — Ленинграду (Вольный перевод с испанского Константина Симонова), № 11.

Донков Калин — Как соль и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 1.

Дросте-Гюльсгоф Аннета фон — На башне и др. стихи (Перевод с немецкого Ирины Грицковой. Вступление М. Рудницкого), № 6.

ИЗ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ АНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ (Перевод с санскрита Веры Потаповой. Предисловие И. Серебрякова), № 8.

ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод с китайского и вступление Л. Эйдлина), № 10.

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ КИТАЯ (VII—XIII вв.) (Перевод с китайского и вступление М. Басманова), № 3.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Натальи Астафьевой), № 4.

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ, № 7.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ ФРГ (Вступление А. Гугнина), № 9.

Каррера Андраде Хорхе — Дверь, распахнутая в деревья и др. стихи (Переводы с испанского Сергея Гончаренко, О. Савича, Бориса Слуцкого. Вступление Сергея Гончаренко), № 4.

Киттнер Дитрих — Пришел наш час (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 9.

КЛАССИЧЕСКИЕ ЯПОНСКИЕ ТАНКИ (Перевод с японского и вступление Веры Марковой), № 5.

Койш Павел — Из книги «Для чего человеку дом» (Перевод со словацкого и вступление Олега Малевича), № 3.

Константинов Георги — «Твердят обо мне не напрасно...» и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 1.

Лара Омар — Из истории города и др. стихи (Переводы с испанского Риммы Казаковой и Л. Беринского. Вступление Риммы Казаковой), № 5.

Лимперт Рихард — Цена места (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 9.

Майвальд Петер — Песня о пособии по безработице и др. стихи (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 9.

Майореску Тома Джордже — Как на экране и др. стихи (Перевод с румынского Кирилла Ковальджи), № 7.

Менарт Янез — «Время дежурит на какой-то планете...» и др. стихи (Перевод со словенского Бориса Слуцкого. Вступление Александра Романенко), № 2.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ БОЛГАРИИ (Вступление Андрея Германова), № 1.

Николеску Василе — Весенняя песня и др. стихи (Перевод с румынского Л. Беринского и Кирилла Ковальджи), № 7.

Новак Тадеуш — Псалом о лете и др. стихи (Перевод с польского Натальи Астафьевой), № 4.

Озга-Михальский Юзеф — Здесь под Можайском. Неисчерпаемость (Перевод с польского Зигмунта Левицкого), № 11.

Петров Валерий — Кузнечики и др. стихи (Перевод с болгарского Марии Петровых), № 6.

Пиларж Ян — Следы на снегу (Перевод с чешского Елены Литинской), № 11.

Порумбаку Вероника — Ответ. «Под куполом...» (Перевод с румынского Л. Беринского), № 7.

Потье Эжен — Песенка рисовальщика. Красный Жак (Перевод с французского и вступление Валентина Дмитриева), № 11.

Содномдордж Дамдинцоогийн — Размышления у глобуса и др. стихи (Перевод с монгольского и вступление Г. Ярославцева), № 7.

Стэнеску Никита — Лад (Перевод с румынского Льва Беринского), № 11.

Суардиас Луис — Горы Таджикистана (Перевод с испанского Олега Островского), № 11.

Сулейман Мишель — Каменный памятник и др. стихи (Перевод с арабского и вступление Михаила Курганцева), № 12.

Те Хань — Книги Ленина (Перевод с вьетнамского Л. Никольской), № 11.

Тодоров Ангел — Октябрь (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 11.

Тропман Артур — Правописание (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 9.

Хаджиу Григоре — Гравитация света и др. стихи (Перевод с румынского Л. Беринского), № 7.

Харасымович Ежи — Попрад и др. стихи (Перевод с польского Натальи Астафьевой), № 4.

Цанев Иван — Мемориальная доска. Ресторан (Перевод с болгарского Евг. Винокурова), № 1.

Черкез Владимир — Руки (Перевод с сербско-хорватского Роберта Рождественского), № 10.

Шютт Петер — Путь познания и др. стихи (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 9.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Варас Хосе Мигель — Культура в борьбе за право существовать (Перевод с испанского Т. Коробкиной), № 7.

Нагибин Юрий — Голландия Боба ден Ойла, № 4.

КРИТИКА

Аллен Уолтер — Постскриптум к «Традиции и мечте» (Перевод с английского И. Левидовой. Послесловие А. Мулярчика), № 12.

Гиленсон Б. — «Я тоже — Америка». К 75-летию со дня рождения Ленгстона Хьюза, № 3.

Гордышевская М. — Этика и космос. Свет и тени научно-технического прогресса в англо-американской научной фантастике семидесятых годов, № 10.

Жечев Тончо — Новые проблемы — новые романы (Перевод с болгарского М. Тарасовой), № 1.

Затонский Д. — Реализм в литературе и в литературоведении, № 2.

Злобин Г. — Куски ковра, или Мосты Торнтона Уайлдера, № 6, 7.

Иорданский В. — Внутренняя динамика народной культуры. Опыт Тропической Африки, № 5.

Кин Ц. — Пессимист, который не сдается, № 5.

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ. Федоренко Н. — В русле интернационализма (Ташкентская встреча молодых писателей стран Азии и Африки). **Салганик М.** — Путь в Индию (Размышления о молодой ин-

дийской поэзии). **Хитцер Фридрих** — Надежда и предостережение (Перевод с немецкого Э. Л.), № 3. **Дуггал Картар Сингх** — Новые имена в пенджабской поэзии (Перевод с английского и вступление М. Салганик), № 12.

Любарская Алла — Американский буревестник. Горас Тробел и революционная Россия. Неизвестные и забытые страницы демократической литературы США, № 11.

Плавиус Гейнц — Движение вширь и вглубь. О прозе ГДР семидесятых годов (Перевод с немецкого Н. Литвинец), № 4.

Пытлик Радко — Книга, обращенная к сегодняшнему дню (Перевод с чешского и вступление С. Востоковой), № 10.

Розенбаум Карол — Диалог с эпохой. Три книги трех словацких поэтов (Перевод со словацкого И. Богдановой), № 8.

Саруханян А. — «Каменистое поле» ирландской поэзии, № 7.

Федоренко Н. — Мгновение с Дюлой Ийешем, № 6.

Хитцер Фридрих — Литература агрессии (Перевод с немецкого И. Зильбермана), № 9.

Шерлаимова С. — Возможность, предоставленная историей. К проблеме общности литератур европейских социалистических стран, № 11.

Яковлев Н. — Гор Видал и Аарон Бэрр, № 8.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Васильева Г. — Урок труда и любви Эжена Гильвика, № 10.

Гончаров Валериан — Энрике Хиль Хильберт — коммунист, писатель, человек, № 11.

Затонский Д. — Мартин Вальзер. Штрихи незавершенного портрета, № 7.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Диас-Плаха Гильермо — Слово о Хуане Рамоне Хименесе (Перевод с испанского Н. Малиновской), № 9.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Завада Вилем — Земля и люди моего сердца (Главы из книги. Перевод с чешского и вступление Л. Будаговой), № 5.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Ленков Григор — Приближаясь к Пушкину, № 12.

ОБСУЖДАЯ НАПЕЧАТАННОЕ

Делюсин Л. — Дискуссия о культурах Востока и Запада в Китае 20-х годов, № 1.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ПИСЬМА СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА (1923—1972). № 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

К 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе. (Предисловие Евг. Долматовского), № 5—9, 11. **Артур Рэнсом, Цюй Цю-бо, Альберт Рис Вильямс, Петер Илемницкий, Теодор Драйзер** — № 5; **Ленгстон Хьюз, Шарль Вильдрак** — № 6; **Эрскин Колдуэлл, Фридрих Вольф, Жан-Ришар Блок, Пьер Куртад, Бруно Фрей** — № 7; **Имре Добози, Элен Пармелен** — № 8; **Клара Сёллёши, Гюнтер Вайзенборн, Мартин Наг, Кэндзабуро Оэ, Владимир Познер** — № 9; **Пабло Неруда, Нгуги Ва Тхионго, Андре Ремакль** — № 11.

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Октябрь и современный мир. Кобо Абэ, Эрве Базен, Габор Гараи, Вильгельм Гирнус, Алекс Ла Гума, Юлиан Кавалец, Слав Хр. Караславов, Алехо Карпентьер, Десанка Максимович, Иван Скала, № 11.

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР. **Петер Шютт** — Два комментария к советской действительности, № 10; **Роже Шатонё** — Ответ родины социализма, № 10; **Абд ар-Рахман аль-Хамиси** — Точка опоры; **Майк Дэвидов** — Реальность самого гуманного мира, № 11.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР. **Вацлав Садковский** — Форум культурного обмена; **Андраш Апоштол** — Как измерить права человека?, № 12.

К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ. Вадим Кожевников, Валентин Распутин, Агния Барто, Юрий Трифонов, № 6.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ.— ТОДОР ЖИВКОВ — Участникам Международной встречи писателей в Софии; **Л. БРЕЖНЕВ** — Участникам конференции писателей стран Европы, США и Канады; **Эрве Базен** — Мир — это борьба; **Пантелей Зарев** — Нас объединяют великие и гуманные цели, № 8; **Любомир Левчев** — По велению совести; **Богомил Райнов** — Нарисовать мир; **Йозеф Рединг** — Со страстью и разумом; **Филлип Боноски** — Мир — это воздух, № 9.

СОФИЙСКИЙ ДНЕВНИК. Интервью, взятые **Е. Стояновской** у участников международной писательской встречи. **(Константин Симонов, Миколас Слуцкис, Пьетро А. Буттита, Ян Штевчек, Тибор Череш, Альфредо Гравина, Джон Чивер, Гор Видал, Чарльз П. Сноу**—№ 10; **Брайан Филан, Фарли Моуэт, Азиз Несин, Николай Христозов, Ежи Путрамент, Андре Стиль, Филлип Боноски, Мартин Наг, Субхас Мукерджи, Вальтер Дигельман, Гуго Гупперт** — № 11; **Элтон Фэкс, Эрнешту Мануэл де Мэлу-э-Каштру, Скотт Момадей, Отто Штайгер, Робер Андре, Элли Неониду, Ана Мария Матуте, Уильям Сароян, Мариам Уоддингтон, Йозеф Рединг, Слав Христо Караславов** — № 12.)

Бернгардт Рудигер — Масштаб гуманизма. Начало строительства новой демократической немецкой культуры и вклад офицеров Советской Армии (Перевод с немецкого Н. Истоминой. Послесловие Григория Вайса), № 5.

Вальдес Виво Рауль — Ангола: крах мифа о наемниках (Сокращенный перевод с испанского В. Волкова и В. Чиркова. Послесловие В. Волкова), № 3.

Капусцинский Рышард — Немного об Анголе (Фрагменты книги. Перевод с польского С. Ларина. Предисловие В. Иорданского), № 8, 9.

Караганов А. — Поле и оружие борьбы, № 2.

Кук Джоун Марбл — В защиту Homo sapiens (Перевод с английского В. Воронина. Послесловие П. Симонова), № 6.

Магрудер Джеб Стюарт — Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту (Фрагменты книги. Перевод с английского В. Воронина Послесловие С. Кондрашова), № 1.

Хови Тамара — Джон Рид — свидетель революции. (Фрагменты книги. Перевод с английского Г. Ерофеевой. Вступление Саввы Дангулова), № 4.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Большакова Ю. — Гражданственность и лиризм, № 10.

Дьяков Л. — К 500-летию Джорджоне, № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

В. И. — «Свобода, которую они имеют в виду», № 7.

В. П. — В гуще жизни среди народа, № 5.

Гусев Ю. — Современность социалистической литературы. № 6.

Давидсон Аполлон — «Дьявольский ящик» в Трансваале, № 4.

Зверев А. — «Вверх по крутой дороге», № 12.

Косиков Г. — Чтение: статус социальный и идеологический. № 2

Литвинец Н. — Литература, которая борется, № 11.

М. Б. — Мнимое противоборство, № 9.

Перехватов В. — Комикс в новой роли, № 3.

Прожогина С. — Кривое зеркало «Монд», № 7.

Рубанова И. — Кино без литературы?, № 1.

Сергеев М. — Беды «свободной профессии», № 2.

Тимашева О. — Бельгийцы открывают Бельгию, № 5.

Филипчикова Р. — Оглядываясь на пройденный путь, № 4.

Фридман М. — Связь с жизнью, № 3.

Чернышев В. — Народ и литература, № 9.

Шагаль В. — «Арабские горизонты», № 3.

Шашкова М. — Документ эпохи, № 10.

ИНТЕРВЬЮ

Альберти Рафаэль: «Я верую в поэзию, живущую в памяти...» (Перевод с испанского Э. Брагинской. Вступление В. Ясного), № 2.

Бенедетти Марио: «Политика, ворвавшаяся в поэзию...» (Перевод с испанского Е. Родзевич), № 9.

Гараи Габор — «Мой писательский кабинет». Беседа с Иштваном Шимоном. (Перевод с венгерского Т Воронкиной), № 1.

Добози Имре: «Я родился в год Великого Октября» (Перевод с венгерского Л. Васильевой), № 8.

Крёц Франц Ксавер: «Изображать людей с позиции коммуниста...» (Перевод с немецкого Э. Львовой. Предисловие В. Стеженского), № 6.

Лукан Владимир: «Значение Октября ощущается во всех событиях современности» (Перевод со словацкого Л. И. Васильевой), № 9.

НАШИ ГОСТИ

Агриколянский В. — Леслав Бартельский. Ежи Плеснярович (Польша), № 4.

А. Г. — Петер Шютт (ФРГ), № 9.

Булгакова Н. — Элисео Диего (Куба), № 5.

Булгакова Н. — Николас Гильен. Луис Суардиас (Куба), № 10.

Вержховская Г. — Фернандо Намора. Мария Велью да Кошта (Португалия), № 7.

Завьялова Л. — Мадлен Брон. Рубен Мелик (Франция), № 12.

Кузнецова И. — Антонина Майе. Мари-Клер Бле (Канада), № 7.

Пархомовская С. — Ян Пиларж (ЧССР), № 9

Попова Н. — Розмари Киффер (Люксембург), № 1.

Попова Н. — Андре Ремакль (Франция), № 3.

Толкунова Н. — Джеймс Олдридж (Великобритания), № 2.

Харлап Л. — Юрий Брезан (ГДР), № 9.

Чугунова А. — Дан Хэуликэ, Ион Яноши, Аурел Мартин, Габриэл Димисяну (Румыния), № 10.

АНТИРУБРИКА

Аллен Вуди — Рассказы (Перевод с английского Юрия Зараховича), № 6.

Брайнхольст Вилли — Улыбки Дании (Рассказы. Перевод с датского Марины Тюриной), № 3.

Бухвальд Арт — Фельетоны (Перевод с английского Валерия Новикова), № 2.

Галчинский Константы Ильдефонс — Стихи (Перевод с польского Александра Роховича), № 3.

Годо Жорж — Миниатюры (Перевод с французского Людмилы Ведениной), № 5.

Гродзеньска Стефания — Рассказы (Перевод с польского Леонида Ленча), № 8.

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ... Эдмунд Пирсон. Барбара Хаджинс. Доналд Ренз (Перевод с английского М. Лорие), № 7.

ИСПАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ И АНОНИМНАЯ ЭПИГРАММА (Перевод с испанского Павла Грушко), № 1.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭПИГРАММА (Перевод с итальянского Владимира Васильева), № 9.

Киттнер Дитрих — Памфлеты (Перевод с немецкого Александра Гугнина), № 2.

Люсеберт — Сатирические стихи (Перевод с нидерландского Виктора Топорова), № 2.

Маршалл Артур — От первого лица (Рассказы. Перевод с английского Андрея Дубровского), № 1.

Моргенштерн Кристиан — Стихи (Перевод с немецкого Виктора Топорова), № 5.

Мушатеску Тудор — Фразы (Перевод с румынского Михаила Хазина), № 3.

Паркер Ричард — Как мальчика превратили в тачку. (Рассказ. Перевод с английского Михаила Загота), № 3.

ПИСАТЕЛИ РИСУЮТ СЕБЯ, № 8.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА ВАНГЕЛИСА ПАВЛИДИСА (Греция), № 10.

Превер Жак — Стихи (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 4.

Рацифандрихаманана Кларисс — Кто я? (Рассказ Перевод с малагасийского Людмилы Карташевой), № 4

РУМЫНСКАЯ ЭПИГРАММА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (Перевод с румынского Михаила Хазина). № 8.

Сароян Уильям — Вы когда-нибудь влюблялись в крошку? (Рассказ. Перевод с английского Марины Аксеновой), № 1.

«САТИРА В БОРЬБЕ ЗА МИР» (С Международной выставки художников в Москве), № 6.

Саэди Голамхосейн — Я, Плешивый и Кейкавус (Рассказ. Перевод с персидского Джехангира Дорри), № 9.

Стивенсон Джеймс — Проект Билли (Перевод с английского Аркадия Гаврилова), № 6.

Хакс Петер — История моей оперы (Фантастический фельетон. Перевод с немецкого Эллы Венгеровой). № 7.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Анастасьев Н.— Коллективный портрет Америки (Американская новелла XX века), № 3.

Андраша М.— Бесконечная улыбка (М. Джамаль-заде, Хосроу Шахани, Ф. Тонкабони. Трое под одной крышей), № 9.

Беньямин Ласло — Моим читателям (Ласло Беньямин. Стихи), № 3.

Борисов В.— Биография «Книги друзей», № 2.

Бочаров А.— Многозвучность правды (Ганс Фаллада. У нас дома в далекие времена), № 2.

Бочаров А.— Разные грани (Венгерский рассказ. В лучах света. Сборник рассказов венгерских писателей), № 10.

Будагова Л.— Поэзия в действии (Поэзия ЧССР. Из современной чешской и словацкой поэзии), № 6.

Бэр Иоаким — Фланнери О'Коннор на русском языке (Фланнери О'Коннор. Хорошего человека найти не легко), № 7.

Васильева И. — В поисках истоков (Мелвин Брэгг. За городской стеной), № 4.

Вачкув Юзеф — Новые перспективы («Вопросы литературы» № 12, 1975), № 2.

Гончаров Валериан — Альфредо Варела — поэт и гражданин (Альфредо Варела. Стихи), № 4.

Горчаков Овидий — По планете шагает Октябрь (Сборник «Друзья Октября и мира»), № 11.

Гусев Владимир — Накануне событий века (Эуджен Барбу. Яма), № 7.

Дичаров Захар — Облик времени и душа народа (Современная монгольская повесть. Современная монгольская новелла. С. Дашдоров. Синие горы вдали), № 10.

Доронина Р.— С верой в человека (Велько Петрович Избранное), № 1.

Иванова А.— В Финша пришла новая жизнь (То Хоай. Западный край), № 4.

Кисунько В.— Наш собеседник Бранко Гавелла (Бранко Гавелла. Драма и театр. Сборник статей), № 9.

Левыкина Л.— Открытие красоты («И была любовь, и была ненависть», Рассказы японских писателей), № 8.

Липкин С.— Строка кончается, а мысль безгранична (Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина), № 2.

Небольсин С.— Пядь земли, соль земли (Пал Сабо. Пядь земли), № 10.

Невиш Мариу — Всегда живое наследие (Эса де Кейрош. Новеллы), № 8.

Огнев Владимир — Поэзия нового мира (Поэзия социалистических стран Европы), № 11.

Олдридж Джеймс — «Чтобы писать для детей, надо быть поэтом...» (Джеймс Олдридж. Спортивное предложение), № 1.

Попов И.— Человек нового мира (Вашим, товарищ, сердцем и именем. Писатели и деятели искусства мира о В. И. Ленине), № 5.

Разговоров Никита — «Кто же побеждает?» (Джеймс Олдридж. «Спортивное предложение»), № 1.

Ржевская Н.— Снова о структурализме (Структурализм: «за» и «против». Сборник статей), № 7.

Сикорский Вадим — «Огня следы...» (Лиляна Стефанова. Избранная лирика), № 4.

Софронов Анатолий — Песни борьбы (Поэзия борьбы. Сборник стихов), № 5.

Урнов Д.— Английские книжки и московские мальчишки (О выставке английской детской книги во ВГБИЛ), № 6.

Фоняков Илья — Черты поколения (Из современной болгарской поэзии), № 8.

Фонякова Э.— В двух измерениях (Рышард Фрелек Возвращение), № 9.

Хазанов Юрий — Многоликий брат мой... (Голоса Америки. Из народного творчества США), № 4.

Чанцев А.— Позиция писателя (Эса де Кейрош. Новеллы), № 8.

Издано за рубежом

А. З.— «Семья человека — семья человеческая» (Ларри Войвуди. За дверями спальни), № 9.

Анджапаридзе Г. — Смех честный и горький (Том Шарп. Пейзаж с Блоттом; Малькольм Брэдбери. Исторический человек), № 3.

Балашов П. — Кто он — этот «загадочный Мефистофель»? (Фридхельм Денингхаус. Драматическая концепция Джорджа Бернарда Шоу), № 2.

Балашова Т. — Неправдоподобная правда (Андре Стиль. Romansonge), № 3.

Бенедетти Карло — Об одной литературной сенсации (Стефано Д'Арриго. Horcynus Orca), № 4.

Востокова С., Малевич О. — Актуальность истории (Йозеф Томан. Сократ), № 2.

Гамарра Пьер — О женщинах Алжира (Франсуаза Коррез. Женщины из кишлака), № 4.

Гарднер Джон — Семья человека — семья человеческая (Ларри Войвуди. За дверями спальни), № 9.

Еленков Константин — Неустаревающий жанр (Атанас Свиленов. Собеседники; Веяния апреля), № 5.

Знаменская Г. — Книга о Генрихе Манне (Иоахим Зайппель. Прощание с Европой), № 7.

Кин Ц. — Современная сказка (Паоло Вольпони. Герцогский занавес), № 1.

Клавихо Педро — Важнейшее завоевание Октября—создание нового человека (Педро Клавихо. Репортажи из Москвы), № 11.

Книпович Е. — Легенда и современность (Юрий Брезан. Крабат, или Изменение мира), № 4.

Кобо Хуан — Заново открывая прошлое... (Рафаэль Абелья. Повседневная жизнь во время гражданской войны), № 5.

Корреа Васкес Педро — Учиться у Горького, № 11.

Кушник Губерт — Разговор о насущных проблемах (Франц Йозеф Дегенхардт. Пожарища), № 5.

Ла Гума Алекс — В ожидании нового романа (Артур Мейман. Жертвы), № 4.

Любимова Е. — Хорошая книга о плохой жизни (Жан Санита. Взрыв на шахте), № 2.

Любош Юрик — Поэзия родного дома (Интервью с Андреем Плавкой), № 10.

Млечина И. — Воспоминания о юности (Вольфганг Кёппен. Юность), № 9.

Мулярчик А. — В начале века (Э. Л. Доктороу. Регтайм), № 1.

Николеску Татьяна — С верой в будущее (Дину Сэрару. Мгновение), № 8.

Огнев Владимир — Земное древо жизни (Ласло Беньямин. Стихи), № 3.

Островский О. — Строкою мужества (Хуан Гонсало Росе. Избранное), № 6.

Паклина Е. — Посол революции (Густав Юханссон. Александра Коллонтай, посол революции), № 9.

Перехватов В. — Рождественские приключения африканцев (Киприан Эквенси. Беспокойный город и рождественское золото), № 8.

Прожогина С. — Лабиринт смерти, или «Идеальная топография для типичной агрессии» (Рашид Буджедра. Идеальная топография для типичной агрессии), № 1.

Разговоров Никита — Неподвижное путешествие (Робер Мерль. Мадрапур), № 10.

Ремакль Андре — Самая обыкновенная история (Жан Кейроль. История дома), № 7.

Рожновский С. — Альфред Курелла — революционер и писатель (Альфред Курелла. За что мы боролись?), № 3.

Сальседа Хуан Антонио — Аргентина: лучший роман года? (Сильвина Бульрич. Не забывай Таормины), № 7.

Стрижевская Н. — «Дней связующая нить...» (Поэтическая серия «Птит сирен»), № 8.

Токарев Л. — Сквозь призму легенды (Роже Бордье. Демонстрация), № 10.

Хорев В. — Новые книги Анджея Брауна. (Анджей Браун. Испытание огнем и водой; Бунт), № 8.

Чугунов К. — Родословная Алекса Хейли (Алекс Хейли. Корни. Сага об одной американской семье), № 6.

Яноши Ион. Мунтяну Ромул — Русская и советская литература в Румынии, № 11.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

Кондратович А. — Польский критик о советском писателе, № 1.

Кошут Леонгард — Отстаивая звание человека (Перевод с немецкого Н. Литвинец), № 3.

Неуважны Флориан — «Потерянный кров» Йонаса Авижюса (Перевод с польского В. Агриколянского), № 5.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ, № 1, 3, 8, 10.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

◆

Авторы этого номера

■

АНДЖЕЙ БРАУН — ANDRZEJ BRAUN (род. в 1923 г.).

Польский прозаик, поэт, журналист. В годы войны был участником антифашистской борьбы. Дебютировал в литературе как поэт в 1946 г. Первый роман Анджея Брауна «Леванты» («Lewanty», 1952) — о жизни и труде рабочих судоверфи — в 1955 г. был удостоен Государственной премии. В последующие годы А. Браун опубликовал несколько сборников стихотворений, рассказы, очерки, романы «Сияние в темноте» («Blask ciemności», 1956), «Покорение неба» («Zdobycie nieba», 1964), «Пустота» («Próżnia», 1969, в русском переводе вышел под названием «Сердце колокола»). Роману этому в 1971 г. была присуждена премия Министра культуры и искусства. Затем писатель выпустил книгу статей и очерков «По следам Конрада» («Śladami Konrada», 1972), романы «Бунт» («Bunt», 1976) и «Испытание огнем и водой» («Próba ognia i wody», Gdańsk, Wydawnictwo morskie, 1975), который мы предлагаем вниманию читателя. За этот роман А. Брауну была присуждена литературная премия Центрального совета профсоюзов. (О двух последних книгах А. Брауна см. статью В. Хорева в «ИЛ» № 8 за 1977 г.). В «Иностранной литературе» № 7, 1974 г. напечатан рассказ А. Брауна «Был час выбора...».

«Испытание огнем и водой» войдет в сборник «Польские повести», выпускаемый издательством «Художественная литература».

■

ИГНАТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературовед, переводчик с польского, кандидат филологических наук. В его переводах выходили произведения Я. Ивашкевича, Л. Кручковского, Е. Шанявского, Е. Брошкевича, Е. Путрамента, Ю. Кавалеца и др. За переводческую деятельность ему присуждена польская литературная премия.

■

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Советский переводчик с польского. Переводила произведения А. Рудницкого, С. Зелинского, Я. Ю. Щепанского, В. Маха, Я. Ивашкевича, К. Филиповича, М. Домбровской, Т. Новака, Ю. Кавалеца и др.

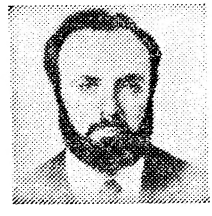
■

МИШЕЛЬ СУЛЕЙМАН (род. в 1932 г.).

Ливанский поэт, прозаик, литературовед; доктор филологических наук. Автор нескольких сборников стихов и поэм, романа «Гнев масс», сборников рассказов. Опубликовал более тридцати литературоведческих работ о поэзии, новелле, драматургии. Ряд его произведений переведен на европейские языки.

Публикуемые стихи получены от автора в рукописи.

■



КУРГАНЦЕВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский поэт-переводчик, критик и публицист. Автор книги литературно-критических и публицистических очерков «Факелы и родники» (1973). В его переводах вышли антологии африканской и арабской поэзии «Танец при свете костра» (1962), «Молодые поэты арабских стран» (1965), «Из африканской лирики» (1967), «Гнев и надежда» (1970), «Ветвь оливы» (1970), «Голоса на рассвете» (1972), «Три арабских лирика» (1976), «Ритмы» (1977).

■

ЭНДРЕ АДИ — ENDRE ADY (1877—1919).

Выдающийся венгерский поэт. Автор многих книг стихов — «Новые стихи» («Új versek», 1906), «Кровь и злато» («Vér és Arany», 1907), «На колеснице Ильи-пророка» («Az Illés szekerén», 1908). «Хотел бы, чтоб меня любили» («Szeretném, ha szeretnének», 1909), «Наша любовь» («A Magunk szerelme», 1913), «Во главе мертве-

цов» («A halottak élén», 1918) и др. (Подробнее о нем и его творчестве — в предисловии О. Россиянова.)

Переводы стихов Эндре Ади печатались в Советском Союзе в антологиях и выходили отдельными сборниками «Стихи» (М., 1958 и М., 1975) Книга «Творчество Эндре Ади» О. К. Россиянова вышла в 1967 г.

Предлагаемые читателю в этом номере стихотворения, взятые из разных сборников 1906—1918 гг., публикуются на русском языке впервые. Они войдут в книгу избранных произведений поэта (издательство «Корвина» Будапешт) над которой работают сейчас советские переводчики.

■

УОЛТЕР АЛЛЕН — WALTER ALLEN (род. в 1912 г.).

Английский писатель, эссеист. Как литературовед получил известность после выхода в свет его исследования «Английский роман» («The English Novel», 1954), в котором история английского романа прослежена от истоков жанра до начала XX в. Следующая крупная работа У. Аллена — «Традиция и мечта Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня». Эта книга в 1970 г. переведена на русский язык. В последовавшей затем книге «Беспокойный Запад» («The Urgent West», 1969) критик рассматривает историю романа в США от его зарождения до начала нынешнего столетия.

Статья «Постскриптум к «Традиции и мечте» получена от автора в рукописи.

■

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ (род. в 1917 г.).

Индийский прозаик и литературный критик. Пишет на пенджабском языке. Большой известностью пользуется его роман «Ногти и мясо», посвященный теме раздела Индии и Пакистана в 1947 г. Роман этот переведен на ряд индийских и европейских языков. В Советском Союзе печатались его рассказы и статьи. В 1965 г Картар Сингх Дуггал был награжден премией Литературной Академии Индии.

Статья «Новые имена в пенджабской поэзии» получена редакцией в рукописи.

■

ГРИГОР ЛЕНКОВ (1938—1977).

Болгарский поэт, переводчик. Окончил факультет славянской филологии Софийского университета. Был заместителем главного редактора журнала «Родна речь». Стали популярными в Болгарии переводы Г. Ленкова с чешского, словацкого, русского, лужицкого языков. Переводил лирику А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Статья о переводе «Евгения Онегина» получена редакцией в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**.

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

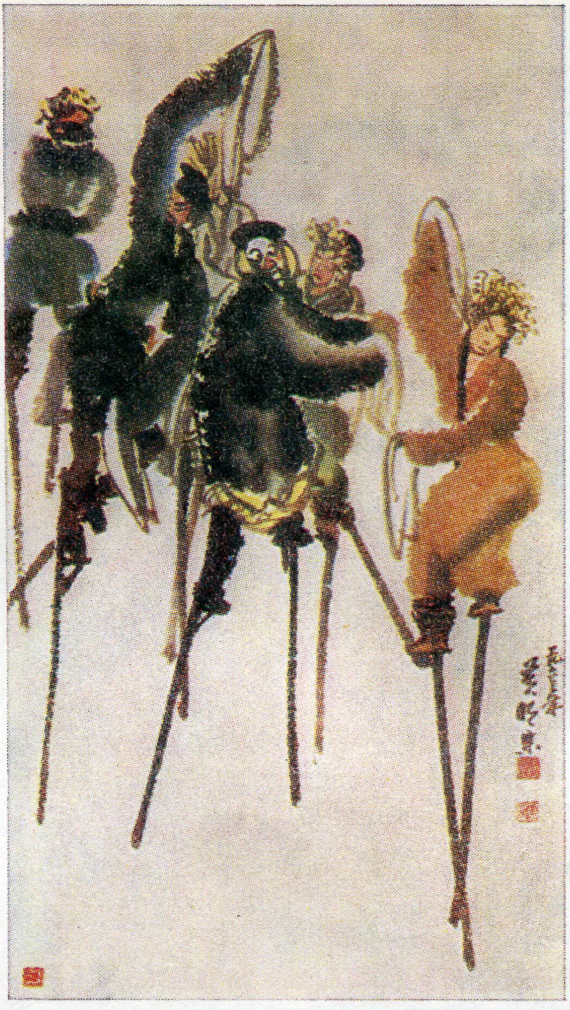
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/X 1977 г. А10736. Подписано в печать 4/XI 1977 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,19.

Тираж 593.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 3255.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



ВИ БЕНГ ЧОНГ. Праздничная процессия

ЧУА МИА ТИ. Обеденный перерыв